

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1968

11



1968

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIV

№ 11

Ноябрь, 1968 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
НИКОЛАЙ ВОРОНОВ — Юность в Железнодорожке, повесть	3
ЮЛИЯ ДРУНИНА — В праздник, стихи	96
В. ШУКШИН — Из детства Ивана Попова, Миль пардон, мадам! Рассказы	98
Ф. ИСКАНДЕР — Два стихотворения	116
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН — Вся королевская рать, роман. Перевел с английского В. Голышев. Окончание	119

### ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО — Ржаной хлеб	177
-----------------------------	-----

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Ю. ФЛАКСЕРМАН — Страницы прошлого	208
-----------------------------------	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. КАРДИН — Служитель Совестного суда	242
---------------------------------------	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	253
И. Борисова. Возвращение Бекова — Ю. Айхенвальд. Поэт и его переводы.— А. Липелис. Проза Вадима Шефнера — А. Лебедев. Реалистическая фантастика и фантастическая реальность.— Л. Зонина. На смерть матери.	

<i>Политика и наука</i>	270
-------------------------	-----

А. Давидович, С. Покровский. Актуальные проблемы советского права.—  
Ф. Цанн. Социология и личность.— Вл. Канторович. У истоков экономической реформы.

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ — В. Баранченко. Гавен.— В. И. Лебелев. Булавинское восстание 1707—1708 гг.— Л. Е. Минц. Проблемы баланса труда в СССР.— М. Поступальская. Вечно живой.— А. В. Луначарский. Воспоминания и впечатления.— П. Косенко. Павел Васильев.— С. Великовский. ...К горизонту всех людей. Пут. Поля Элюара.— А. Кугель. Театральные портреты.— В. Б. Мириманов. Африка. Искусство.	281
ОТ РЕДАКЦИИ	286
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---



---

---

НИКОЛАЙ ВОРОНОВ

★

## ЮНОСТЬ В ЖЕЛЕЗНОДОЛЬСКЕ

*Повесть*

### *Глава первая*

«**Р**акитники, ракитники — серебряно весло. Не видели, ракитники, ку-у-ды Маню унесло?»

Давно не вспоминались Марии эти слова из маминой сказки. С того дня, пожалуй, не вспоминались, когда крестная с крестным везли ее из станицы Ключевской на Золотую Сопку, маленькую станцию под уральским городом Троицком, чтобы выдать замуж за вдовца Анисимова, работавшего на путях.

Плакала она тогда. Увозят от матери с братом в незнакомые люди. Ничего веселого не видела. Без отца росла. Только изредка приезжал на побывку, весь в касторовом, ремни вперехлест. На коленях качал, песенку пел: «Зеленая веточка над водой стоит». Так и не довелось пожить вместе: то германская, то гражданская. Сдался в плен красным. Тифом заболел. Два товарища, тоже казацки офицеры, оставили в татарском ауле, где — и сами будто бы не помнят. Скорей нигде не оставляли, просто выбросили из розвальней за придорожный сугроб.

Сколько смертей было у нее на глазах. Столько несчастий пролегло через душу.

«Ракитники, ракитники — серебряно весло. Не видели, ракитники, ку-у-ды Маню унесло?»

Сейчас они и впрямь серебряные. Полощутся верхушками. Шелестят. Встанешь в рыдване, засмотришься — уходит их светлое колыхание под синий холм.

А когда ее везли выдавать замуж, горели ракитники.

— Пластают,— говорила крестная.

— Пластают,— повторял крестный.

Огонь трещал и хлопал. И хотя вдоль той дороги неблизко тянулись ракитники, с обочин нет-нет и наносило сильнушим жаром, и Мария падала на дно плетеного ходка, лежала, пока не переставало припекать. Было на ней кашемировое платье, собственность Елизаветы, жены оружейного мастера Заварухина.

Пропьют Марию крестная с крестным, заберут платье, и опять ей носить кофту и юбку из мешковины, если муж (материю по карточкам получает) не обрядит во что другое.

То ли судьба, то ли случай: и тогда было голодно, и теперь тоже. Ну да ничего. Раз прежде, девчонкой, не пропала, то и сейчас не пропадет. Страшней того, что хлебнула за свои двадцать три года, уж, наверно, не хлебнет.



Не за себя боязно — за Сережку. Маленький и ужасно совкий. Руку чуть в веялку не засунул. Со скирды шмякнулся. Кабы знахарка Губариха не накидывала горшок на животишко, ходил бы весь век наперелом и неба не видел.

— Марeya, верховой навстречу. Никак в черной коже? Кабы не Анисимов.

— Не должен.

— Поди, учуял неладное. Аль по трубке сообщили.

— Савелий Никодимыч, ты, ради бога, не останавливай. Как едешь, так и езжай.

— Не обессудь, Марeya, но супротив...

— И что вы все его боитесь?

— Не все, кому нужно — те.

— Лоза вы, не казаки.

Перерушев, сидя правивший бокастой жеребой кобылой, обернулся. В Ершовке, откуда они ехали, его считали смирным, но боялись взгляда дегтярно-темных глаз.

— Папка скачет! — воскликнул Сережа.

Она и сама уже узнала Анисимова. На белом коне. В поблескивающей на солнце кожанке — вчера целый вечер начищала угарной ваксой. Подскакивает в седле нахохленно, чуть-чуть вправо скошено туловище.

Села на сундук. Куда деться? Была бы одна — кинулась бы в ракиту. С мальчонкой не кинешься. Напугаешь его. Да и не схоронишься: крикнет отец — отзовется. Несмышлениш. Матери горе, а он гарцует на сундучной крышке.

Испугалась. Выхватит Анисимов сына из рыдвана — и поедешь туда, куда он поскачет. Поймала Сережу, стиснула меж колен. Брыкался, егозил:

— К папке, к папке!

Перерушев начал насвистывать, будто его совсем не тревожит приближение Анисимова. Осторопь Перерушева обернулась в Марии гневом: янички казаки, испокон веку храбрые люди, и те страшатся Анисимова. Она вот не испугается.

Веселая улыбка была на лице приближающегося Анисимова. Мария оробела, как только он, близко подскакав и остановив коня, принялся нахваливать Перерушева за то, что не забывает добра. Не поверила Мария этим похвалам и оробела потому, что знает — с улыбки Анисимов затевает ссору, где не он владеет яростью, а ярость им.

Голова Перерушева опущена. Кулаки, держащие рыжие волосяные вожжи, приподняты. Показывает, что не намерен ни растабарывать, ни стоять. Сына и жену Анисимов не замечает. Белый иноходец, рвущийся в бег, кольцом ходит по дороге, задевая крупом морду Чирушки.

И вдруг по глазам Марии вскользь прошел металлически яркий взгляд мужа, словно полоснули саблей около лица.

Огромная, атласно-голубая, во впадинках грудь коня надвигается на Чирушку, боязливо пятящуюся и отгибющую голову. Рыдван опрокинулся, и Мария увидела черноту, как бы затмившую ее сознание. Опаматовалась, уже стоя на ногах и крича:

— Сережа, где ты?

Рядом в своей домотканой коричневой рубаше, окрашенной в отваре ольховой коры, зачем-то двигал затвор берданки, наверное загонял в ствол патрон, Перерушев и по-бабьи приговаривал:

— Убил, убил...

Мария не могла понять, кто кого убил и где она находится. Но едва Перерушев прицелился с колена куда-то вверх, сообразила, в кого он метит.

— Брось! Брось винтовку!

Берданка, застывшая было в воздухе, встала торчком, из дула вынул дымовой ободок. Через мгновение возле оскаленной морды коня Мария увидела Анисимова, потрясенно смотрящего куда-то за нее. Ой, Сережа! Зажал ручонкой нос и рот, по рубашке — ручьи крови. Подняла Сережу.

За спиной голос Перерушева:

— Ых ты, голова — два уха. Чё наделал? Прочь. Стрелю.

Заорал-заревел Сережа. Неужто страшно разбился? Неужто скакать в больницу? Принялась утирать кровь. Как с облака, с иноходца Анисимов:

— Маруся, я не хотел... Сережа, я не нарочно... Маруся, нá платок.

Мария резала вгорячах то, на что раньше лишь решалась намекать. Старый. Постылый и ей и людям. Жалко, что мазали по тебе кулаки.

Уже не с берданкой — с толстым красноталовым прутком, сломленным при выезде из Ершовки, появился Перерушев. Хлестнул с потягом по гладкому боку белого коня. Потом замахнулся на Анисимова, но ударить не осмелился, только кричал, чтоб катился отсюда вслед за своим иноходцем, скачками убегающим в сторону Ершовки.

Анисимов побрел по проселку. Мария, прижимая к груди сына, смотрела вслед мужу. Всегда ходивший твердо, быстро, он приволакивал теперь по мураве подошвами сапог.

Показнись! Привык ни во что ставить человека. Правильно говорил старик Аржанкин: «Отольются тебе, Пантелей, дитячьи слезы. Не замал бы. Да маток при них оставлял. Мужики всем ворочают на земле. Нам и отвечать». Как ты вредничал: «Осот полоть, а семя по ветру пускать? Извини-подвинься».

Мария опять оберла сына рубахой, отороченной по подолу кружевами. Мелочь — нос расквасил. Беды с ним приключались почище — с амбара на плуг упал. Ничего. Как на кутенке заросло.

Перерушев скрутил медной проволокой треснувшую оглоблю. Помог Марии завалить в рыдван сундук.

Анисимов ни разу не оглянулся.

Перерушев был сам-семеро: пятеро детей и жена, которая в последние годы часто прибалывала. Незадолго до отъезда он заметил, что ночами ей не хватает дыхания. Приподнимается на кровати, ловит воздух темными, как черемуховая ягода, губами. Повалится на подушку, замрет. Склонись над ее лицом — и едва чуешь, как она дышит. Поутру спросишь: «Что с тобой, Полюшка, деется ночью?» — «Страшный сон привиделся». — «Ох, скрытничает?» — «Что ты, отец, неужто я тебя обманывала когда?» — «Смотри. К фельшеру б свозил». — «Никаких фельшеров не надо. Ты у меня фельшер».

На днях совсем плохо стало. Призналась: «Колотье в груди. Никкак от сердца? Днем разомнусь, разломаюсь — не шибко беспокоит, особенно ежели подувает со степи. Лягем спать — тут и заударяет в груди. Как сожмет — прощай белый свет». — «Духота. Их вон сколь, ребятишек. Ровно кузнечные меха, воздух сосут». — «Нет, отец, здоровье отказывает».

Сбежал за Губарихой. Настояем валерьянова корня пошла. Кровь пускала. Обеспокоила старуху Полюшкина кровь: больно густа.

Ни за что не отлучился бы, никого никуда бы не повез. Марии не мог отказать: с тридцатого года поддерживала его семью, потому и дети живы. Не она, так перемерли бы. Мучки приносила, картошечки. Не от достатка делилась. Тоже выкручивалась правдами и неправдами. Мужик у нее сурьезный, председатель. Она к нему: пухнуть, мол, начи-

наем с Сережкой, выпиши продуктов. «Нельзя. Особых условий не буду создавать. Деревня голодает, а вы за сытостью гонитесь. Не позволю. Живите, как все». Ну и выкручивалась. Когда уж немоготу — к кладовщику обратится, тот кой-чего крадучись даст. Унюхает Пантелей, что вкусным в дому пахнет, взъерепенится: где добыла? Буржуазная, мол, ухватка у тебя: о своем брюхе пещься. Ты со всем миром страдай. Честным будет твое существование, советским.

«Оно, конечно, правильно говорил,— рассудил Перерушев.— Но у него своя линия, а у нее своя. Он об сыночке не думал. С зарей уйдет, затемно воротится. Все на ее заботу. Ежели разобраться, жизнь была у нее — тощица. Поневоле заскучаешь о муже, худ ли, хорош ли. Да нет, поди, любила... Как завидит в окошко — на крыльцо и за калитку. И не бранились будто: по-соседски мы бы слыхали. Что у них было — споры. Он, значит, придерживался, как ему велели. И она не против. Но все им недовольна: очень, дескать, ты суровый. Ленин был не хуже тебя большевик, однако понимал, что, окромя законов, надо еще придерживаться, что душа подсказывает. Душевность у народа в великой цене».

Как будто осоку под себя подтыкал Перерушев, а сам на Марию оглядывался. Притулилась спиной к сундуку, нитку в бусинку продевает. Забылась, поди, низая бусы. Молоденькая! У молоденьких самое горькое горе скоро отлегают. И мила! Всегда-то всем нравятся кудрявые волосы, а Перерушеву прямые, вроде Марииных. Падают, как вода с плотины. И сверху иконная гладь, ровно кто позолотил. Будет у нее счастье. Найдется парень и возьмет. Мужичья к Железному хребту съехалось видимо-невидимо.

«Почему так получается? Старый, постылый. Ых! Разве же он старый, Анисимов?»

Перерушев вскинулся, клюнул красноталовым прутом холку Чирушки.

Правил напрямик, отбиваясь от дороги на восток. Сизо-серая степь вышла — приближались к холмам. Колеса стукались в трещины земли, под рыдваном курилась пыль. Впереди лошади пестро-темными волнами поднимались и падали кузнечики с шорохом громче шуршанья шин, расслабившихся на ободьях.

«Куда сушит? — думал Перерушев. — Каркают старухи: господня кара. Два лета сподряд пожгло хлеба. Не веришь, что он есть, а и сомневаешься. Аль за всем за этим он? Следит. Где стерпит, где отступится, где и накажет. Нас-то за что? Мир поим-кормим. Что мы видели? И нам наказание?»

Перерушев спрыгнул на затекшие ноги. Обходя рыдван, приседал от боли: под пятки как дробь насыпали.

Хоть и не обильно смазал оси, собираясь в путь, деготь вытапливался на шпонки и закапал ступицы.

Какой-то башковитый тележник придумал рыдван: скрипит, колышется кузов, на живульку приделаны ребра к нижним и верхним жердинам, но годами возит снопы, сено, кизяк, косцов и жниц и не рассыпается. И теперь сдюжит туда и обратно, лишь бы Чирушка не подкачала.

Довольный рыдваном, Перерушев посмотрел на Марию и Сережу. Она поникла, из ее кулака, прижатого ко лбу, свисала струйка бус. Мальчонка, сидевший на сундуке — ноги калачиком, плечи торчком, — куксился, собираясь заплакать.

— Народец, вы что? Ракушек наглотались?



Мария не шелохнулась, Сережа заканючил:

— К папке...

Перерушев хотел было сказать: «Нечего убиваться за папкой, он вас чуть не угробил», — да раздумал. Свою приунывшую семью он обычно взвешивал тем, что пел «Камаринскую», приплясывая.

— Эх, ты, — крикнул он и приподнял ногу и с такой силой ударил по земле, что из-под подошвы фыркнула пыль. Одной рукой пощипывая штаны, другой ударяя по надутой щеке, он принялся подпрыгивать и нарочно свалил картуз.

Сережа развеселился, притопывал на сундуке. Оживилась и Мария.

Они доехали до холмов, перевалили седловину и спустились в дол, к озеру. Теперь они ехали по белым ковылям, оставляя в них черные глубокие колеи.

Озеро было обкошено. Перерушев загнал Чирушку в камыш. Пыльными губами она ловила остролистные верхушки, хрумтела, косясь на людей. Марии казалось, что лошадь боится, как бы они не засобирались в дорогу, потому и посматривает умоляющими глазами.

Пока сын гонял по отмели сеголетков и пока Перерушев, зашедший в воду по шею, нырял, выдирая из дна рогозу, Мария разломала жареного крольчонка и отвалила три ломтя от каравая, испеченного из смеси лебеды, ржи, картошки.

Сережа не разрешал резать своих крольчат, а Перерушев считал, что есть их великий грех. Она соврала им, будто купила у пастуха тушканчиков, пойманных петлей, и сжарила.

На сладкое Мария разделала им рогозу. Она считала, что самое вкусное в рогозе — сердцевина в основании ствола, и удивилась, узнав от Перерушева, что гораздо вкусней сердцевинки длинные, выпускаемые корнями когти, из них вымахивают новые рогозовые факелы. Очищенные когти напоминают капустную кочерыжку.

Зной истаял. Запрягли Чирушку. К вечеру были в горах. Ехали вдоль обманной реки: то и дело мерещился где-то впереди тревожный, гортанный галдеж толпы, а когда приближались к тому месту, откуда доносило звуки, то это был пережат: шумела зубчатая вода, падая ступенями по голышам.

Перерушев беспокойно оглядывался: полымливо закатное небо. Не к худу ли? Не к пожарам ли?

Когда спускались к броду, на той стороне, из туманной дорожной пробойны среди елей, появился пеший парень. Патлы нечесаны, рубаха навыпуск, штанины внизу лоскутьями. Молчал, пока они не достигли пережатной стремнины, и тогда приказал:

— Обратно. Карантин. Сибирка.

Перерушев оскорбился:

— Нешто сразу не мог сказать? Поди сам теперь поверни.

Босяк спустился к броду, скользя голыми ногами по рыжему песку. Лошадь прядала ушами, всхрапывала. Она ощерилась, едва парень попробовал схватить ее под уздцы. Его дерзость окончательно взбеленила Перерушева. Он вскинул берданку. Тот отскочил и отстал.

На повороте их нагнал жалобный крик:

— Девушка, подай хлеба!

Перерушев отозвался: нету у них хлеба для лихого человека. Парень, робко труся за рыдваном, жаловался, что от самого Железнодорожка у него во рту не было хлебной крошечки. Милостыню не подают ни в деревнях, ни на дорогах, принимают его за бандита. А он никакой не бандит. Он вербованный. Работал на мотовозе. Сцепливал вагонетки, вываливал из них бетон. За день набегаешься, намаешься, спишь,

какдохлый. Общежитие — барак. Нары от стены до стены. К вечеру полторы сотни гавриков сойдутся — свара, драки, ночью воровство. Крали все, что не на нем. Последний раз даже сапоги с ног стащили. Решил — в бега. Пробирается в Маракаево, к матери. Детям и внукам закает. Легче кротом рыться в земле, чем на стройках ошиваться.

Мария велела остановить, отрежет бедолаге хлебушка. Но Перерушев гнал лошаденку, шепча, что в горах балуют разбойники, и этот, видать, из них, хоть и прикидывается казанской сиротой, а доверься ему — ножом полоснет.

Парень отстал, заплакал и пошел обратно к броду, утираясь рукавом.

— Мамка, дай ему хлеба! — закричал Сережа и ткнул ее в плечо.

— Никодимыч, останови.

Под неодобрительным взглядом Перерушева Мария ссадила Сережу на дорогу, и он отнес к ручью отломленный от каравая кусок. Парень макнул хлеб в ручей. Ел вяло. Еще, наверно, обижался. Мария спросила, правду ли он рассказывал о Железнодорожке. Он кивнул головой. Задумалась. Заметила, что Перерушев ждуще поглядывает на нее, готовый повернуть обратно. Промолчала. Поехали дальше.

Башкирки, сгребавшие сено, попросились к ним в рыдван. В красноватой темноте высадили башкирок в ауле, а сами, окруженные надсадным лаем собак, бесприютно остались стоять посреди улицы. Одному Сереже было хорошо: спал, пригревшись к мамке, под оренбургской пуховой шалью. Чирушка, пугаясь репьястых длинношерстных собак, рванула было вперед, но Перерушев осадил ее и погнал на зов: «Урус, айда!»

Над ними сжалилась старуха, только что ехавшая на задке рыдвана и молча канувшая в темноту, как и другие согребальщицы. У старухи они напильсь чая, загрызая его шарами розоватого, каменно-твердого румчука. Всласть отдохнули на пуховых подушках и верблюжьей кошме.

Потом у них был ночлег в татарской деревне, и опять с чаем, но заваренным смородиновым цветом. На этот раз они грызли не сладкий румчук, а кислющий, разжигающий аппетит круг, тоже приготовленный из молока, но снятого, соленого, долго квасившегося в казане.

К полудню четвертого дня проехали тополевую рошу, оборванную солнцем. Завидели в котловине высокие постройки. Они были покрыты чем-то белым, и что-то белесое, запахивая их, пушилось в небо. Гадали: завод не завод, мельница не мельница. Женщина-рыбачка сказала им, что это печи, на которых обжигают известняк; после известняк увозят в вагонах и засыпают в домны вместе с железной рудой.

Перерушев и Мария опечалились: до Железнодорожка, по словам рыбачки, оставалось еще верст двадцать. Сережа обрадовался: в пути он пересвистывался с сусликами, ловил ящериц, следил за тем, как кобчики ловят мышей.

Мария уже и не чаяла, что они засветло кончат переваливать холмы — бурые, плитчатые, с проволочно-жестким коротким старником, который, наверно, и козы не ущиплют. Но едва взошла вслед за лошадью на макушку ребристой горы, остановилась, пораженная: в глубокой впадине кадил в небо металлургический завод.

А она-то посмеивалась, когда кто-нибудь из ершовских мужиков, побывавших в Железнодорожке, рассказывал, что над заводом такой вышины дым, что аэроплану не подняться выше него! Столбы дыма были кольчатые: раструбистыми, жуково-черными, космы из них свисали желтоватые; клубы, летевшие из кирпичных труб над огромным сте-

кляннокрышим зданием, восхитили Марию разноцветностью: синее трепетало рядом с красным, оранжевое, сливаясь с голубым, возносилось зеленым, на темном пылало алое.

Перерушев, угрюмо молчавший, вздохнул.

— Что, Никодимыч?

— Как только здесь люди живут?

— А что?

— Дым-от... Бузует день и ночь. Угару не прохлебнуть. В два счета околдешь.

— И так боязно, Никодимыч...

— Я не припугиваю. Я дивуюсь на человека. Что-нибудь да выдумают себе на погибель.

— Не нами заведено. Трогай. До вечера надо на квартиру встать.

Спуск был крутой. Перерушев сам не сел в рыдван и Марию с Сережей не пустил.

Поблизости от дороги, у скалы, Сережа спугнул тушканчика, погнался за ним. Тушканчик, выметнувшийся из-за скалы, плохо видел на солнечном склоне: он петлял возле Сережинных ног, задевая его колени то кнутиком хвоста, то длиннущими задними лапками. Сережа думал, что тушканчик играет с ним, и, останавливаясь передохнуть, приговаривал:

— Ну, мамка! Ну, мамка!

Мария была довольна: он счастлив. Что ему отец, если она рядом?

У подошвы горы вытягивался из-за барачков верблюжий караван. Оттуда наволокло вместе с пылевой поземкой щелочной запах. Тушканчик напрямик ударился к гольцам на макушке горы.

Верблюды напугали и Чирушку, и пока они, высокомерно ступая, не поднялись на перевал, она все шарахалась, приседая в оглоблях. Над ней потешались, скалясь в улыбках, молодые киргизы-погонщики.

Барачки были новые, нештукатуренные. На досках золотела смола. Из щелей завалинок выдувало золу. Под бельем, сохшим на крученых электрических шнурах, шмыгали дети, играя в догонялки.

Марию и Перерушеву распотешила курица, привязанная к будке. Курица видела на высокой грядке колючие огурчики. Ей хотелось склевать их, но шпагатина была коротка, и курица прыгала на одной ноге, целясь желтым носом в тошенький огурчик, и, не доставая его, недоуменно крутила головой. Было смешно, что курицу привязали, как жivotину, да еще для приметности запытали крылья фуксином.

Из барачного окна, растворенного на будку, высунулась баба:

— Чего ржете? Эка невидаль — привязана несушка.

— То-то что невидаль, — крикнул Перерушев, заслонился ладонью и тут же открыл серьезное лицо, словно сгреб улыбку в кулак.

— У вас и того нет. Таракан, поди, на цепь прикован?

— Ты не сердчай, тетя. Лучше скажи...

— Племянник выискался! У меня в племянниках нету шаромыжников.

— Ты лучше скажи, гражданочка, есть ли тут заезжие дворы аль что навроде.

— Для вас приготовили. Начальство экстренное совещание для того собирало.

— Я — по-доброму, ты — срыву.

— Тут все злые. Посъехались со всего свету, жилья не хватает, товаров тожить, хлеб по карточкам, и тот, чтоб выкупить, битву целу надо выдерживать. Тут только американцам и немцам благодать. Магазины у них, столовки. Заработок получают прямо в банке. Придет, ему куби-



ков золотых отвешают на весах. Он ссыпал кубики в мешочек и — айда-пошел.

— Вот оно как! Заезжие дворы есть?

— Гостиница выстроена. Подле управления. Да туда только головку пушают. Прорабов, инженеров... Вы не торговать ли чем?

— Мальчонку вот продадим.

— Нам бы своих прокормить. Сами каковски будете?

— Из Ершовки.

— Неужто в город надумали? Отсиделись бы в деревне, поколева голодно.

— И в деревне не слаше.

— Зато кур не привязываете.

— Не привязываем. Точно. Давно башка рубил и ашал. Кто курица держит — яички сдавай. Ну их. Нам лишь бы шай был.

— Чудной ты мужик! Зачем язык ломаешь? Через аулы-т ехали — страшно? Говорят, башкирцы да татары разбойничают.

— Наплюй тому в шары, кто говорит. Вперед в нашем селе ограбят. Здесь как, балуют?

— Х-хы, балуют... Народу постеклось всякого. В деревне завсегда спокойней: там народ на виду. Вертайтесь, поколева не поздно. Мой мужик видал виды. Из зимогоров он. И то другой раз оторопь берет. Послушайте меня. Вертайтесь...

## *Глава вторая*

Странно выбирает память.

Помню, я любил зверюшек, птиц, насекомых. Наяву заселял ими наш каменный амбар, в снах они диковинно озорничали вместе со мной.

Я мечтал о поездках, но меня никуда не возили. Наконец-то мне выпало путешествие, когда я встретился с отцом, ловил кузнечиков-«гармонистов» и бегал за тушканчиком, прятался за Перерушева, боясь, что верблюды будут плевать. Однако все это я позабыл и позднее представил себе, как оно было, лишь по рассказам Перерушева и матери. Правда, иногда мне кажется, что то, что я узнал от них, наложилось на те глухие изображения, которые неосознанно хранились в памяти. Никак не пойму, почему я надолго забыл эту поездку. Наверно, впечатления были настолько яркими, что за светились, как слышатся с фотографической пленкой.

И все-таки удивительней в памяти не странность отбора, а глубина. В каждой поре жизни она выхватывает из темноты забытого какие-то картины, случаи, лица, ощущения, и через них видишь самого себя и людей, среди которых обретался.

Я лезу сквозь коноплю. Она растет на земляной крыше сарая. Передо мной, порошась с макушек, облепленных хрустко-сладким семенем, зелено вьется дурмящая пыль. В коноплю залетел галчонок, я ишу его. И вдруг конопля начинает туго тянуться у меня под мышками. Я падаю. Внизу плуги: железные крылья, зеркальное перо лемехов. Я лечу прямо на плуги. Наверно, я не успел испугаться, когда падал, но растопырил ладони, чтобы не убится.

Кто меня доставил домой и как вела себя мать, увидев мою проломленную от виска до виска голову, — не помню. Мгновения ясности — как синие щели из темноты. Вижу мать: склонив голову, она толчет медным пестом сахар; сахаром она засыпала рану на моей голове. Отца вижу, но где-то в дымке угла: лицо грифельное, ни глаза не сверкнут, ни зубы не объявятся, обычно блестящие, как речные раковины.

Наш дом рублен из сосны-бронзовки. Крыша красная. Над трубой жестяной терем, над теремом петух на высокой ноге. Раньше дом занимал поп — он служил у дутовцев и бежал, — теперь в доме живем мы.

Взберешься на осоколь в палисаднике и глядишь с неба — дом смахивает на голову рака, от него, сомкнутыми клешнями, забор из плитняка. Меж плотно уложенным плитняком умыто светились в одном месте какие-то белые камни. Однажды я надумал вытащить их из забора. Вытаскиваться они не захотели, я вывернул их гвоздодером и заметил дупло. Расширяя дупло, я выбирал из забора крапчатую рыжую гальку. И все ясней обозначался снизу, из тайника, ларец, окованный серебром. Ларец был замкнут. Я исковырял и исцарапал это серебро, поднимая гвоздодером крышку. Сверху в ларце лежал бумажный жернов; я катнул его, он разматывался лентой. Тут на крыльцо выбежала мать. Она и сказала, что круг, распустившийся по траве, состоит из денег, которые называли «керенками», их выпускали видимо-невидимо и не разрезали на отдельные листочки, так они и переходили от покупавшего к продававшему не то что такими рулончиками — случалось, целыми мешками.

Уже вместе с матерью я достал из ларца кипу завернутых в клеенку ассигнаций. Среди них была длинная-длинная зелено-радужная бумажка с портретом высокомерной большеволосой царицы. Мать стукнула меня этой хрусткой бумажкой по носу.

— Знаешь, сколько рублей? У кого был такой билет, тот в сыр-масле купался.

— А где поп купался? В бочке?

Мать, не отвечая мне, вытащила из ларца бархатную коробочку, раскрыла: на атласе сверкнул золотом и зелеными глазками браслет. Она сунула коробочку под дутый рукав, схватила ларец и скрылась в доме. Я нашел ее в горнице. Она выхватывала из ларца сверток за свертком. Иконки. Наган. Подсвечник. В подсвечнике какой-то столбик, обернутый кусочком ризы. Выдернула столбик за макушку — сыпанулись на половики маленькие золотые монетки. Мать упала на колени и ну хватать монетки.

Пока мать копалась под столом, я взял наган и удрал во двор. Такой же наган был у отца. Для меткости он, бывало, стрелял в амбарные двери. Я прицелился в кулацкую харю, которую отец намаракал на двери сапожным варом. Курок шелкнул — наган не выстрелил.

Мать внушила мне, чтобы не говорил отцу про браслет, перстень и золотые червонцы; обещала за это скрыть, что я был неслухом.

Я раскладывал царские деньги на ступеньках. Едва отец вошел в калитку, он быстро сгреб деньги со ступенек, а те, что были у меня в руках, вырвал. Потом он резал их, сидя на крыльце в сатиновой косоворотке и суконных галифе. Звонко лязгали овечьи ножницы. Я канючил:

— Отдай, не ты нашел.

Мать поддерживала меня:

— И так мальчонке нечем играть.

Он еще злей жулькал расходящиеся в пальцах ножницы, говорил, что какой-нибудь гад может пустить клевету: вишь, мол, Анисимов старые деньги хранит, стало быть, ждет, что на российский трон опять сядет император. Когда лезвия ножниц расхватили бумажку в том месте, где красовалась большеволосая царица, я затрясся:

— Дурак. Дураковский... Найди сперва...

Он ударил меня по щеке.

Раскулачивали Аржанкиных. В рыдван, на красные подушки, побросали ребятешек. Их пятеро; старший — мой товарищ и ровесник Иг-

натка. Гликерья, их мать, голосила. Она рослая, а бабы, поддерживающие ее, коротышки. Она валится вперед. Бабы не дают упасть, жилища изо всей мочи. Она то сокрушается по мужу, который накануне полоснул себя по горлу литовкой, то спрашивает кого-то: «Да как же это так? За собственное добро на высылки, погибать? Да оно ж в страданиях нам далось».

Осень. Воздух уже настужен тучами. Тучи грозно-синие, и тянут куда-то вороны гнушимися стаями, и нет-нет да померещит: на всей земле горят деревни и ветер тащит по свету пепел.

Дом Аржанкиных наполовину кирпичный, наполовину бревенчатый. Нижний этаж по наличники в земле, в нем кухня и молельня, в молельне — Игнаткин дед Устин. В позапрошлом году он сорвал живот на стоговании сена и с того времени на улицу не показывается.

Когда толпа забормотала, затопталась в любопытстве и смятении: «Устина из-под земли выводят», — Гликерья замолкла, замерли бабы, которые только что, крихтя, подпирали ее.

Был ли в подземелье Аржанкиных глубокий, наклонный коридор, я не знаю. Однако мне видится такой коридор идвигающийся оттуда старик. Наверно, через коридор хлестал сквозняк: полы Устиновой шубы отмахивало на провожатых.

Когда рыдван с Аржанкиными уехал, мой отец устроил торги. Поставил торчком скатанный ковер и объявил цену. Молчание. Деньги за ковер он просил маленькие, но и таких ни у кого не оказалось: не на торги шли. А может, неловко было людям покупать имущество недавних своих сельчан, пусть и кулаков: плач Аржанкиных, должно быть, продолжал ломиться в их уши, хоть рыдван уже качался за околицей.

Отец сбавлял цену дважды, и только тогда ковер взяли. Торги пошли живей. Унесли смазанные салом бродни, швейную машинку «Зингер» (золотокрылые львы на футляре), Игнаткин зимний борястик, пуховую перину. В куче вещей оказалась шуба Устина, крытая черным сукном и с бобровым подкладом. Шубу отец не стал продавать — бросил к ногам Перерушева:

— Ты у нас многодетный, Савелий Никодимыч. Бери бесплатно.

Перерушев попятился в толпу.

— Тяжелая. Плечи сломаешь. Ну ее. Раньше не нашивал, и не дай бог...

Вечером отец отнес шубу Перерушевым. Они взяли ее, но изрезали на пальтишки, шапки, воротники.

Отец долго серчал на Савелия, а Савелий чуждался его.

В то далекое осеннее предвечерье, когда раскулачивали Аржанкиных, почти вскользь прошел для меня один случай. Игнатка, из рыдвана, с красной подушки, шепнул:

— Сергуня, притащи из крольчатника белую самку.

— Айда вместе.

— Не пустят.

Белая пышная крольчиха стригла морковную ботву. Она была ручная, и я схватил ее. У нее были розовые глаза; я мечтал тогда: вот бы мне розовые глаза, красивей ни у кого бы не было.

Крольчиха сердилась. Я пригладил ее к своему брюху, потихоньку понес.

— Сережа... — Отец стоял с милиционером у входа в подземелье. Потрогал длинные уши крольчихи. — Ты куда ее?

— Игнатке.

— Нельзя. сынок.

— Она Игнаткина...



— Ты умный. Пусти. Пускай бежит. Без призора она не останется. В колхоз заберем.

— В крольчатнике много... Белую Игнатке.

— Пусти. Пускай бежит.

Он задержал на ушах крольчихи ладонь, вкрадчиво забрал их в кулак и оттянул крольчиху от моего живота.

— Игнатке скажи: она-де в нору скрылась.

Я прятался в толпе. Когда Игнатка заметил меня, я крикнул:

— Она в норе! — И насупился и наклонил лоб. А вскоре уже крутился около рыдвана как ни в чем не бывало.

Долго в детстве, если вспоминалось раскулачивание Аржанкиных, я думал не об этом случае, а о причитаниях Гликерьи, о подземельном старике и о торгах. Года за два до войны я ездил в гости к отцу. И однажды, когда ошкуривал с ним сосновые стволы, вдруг подумал: и зачем он не разрешил отнести Игнатке крольчиху?

Я забыл, как в поисках ночлега мы колесили по Железнодорожску с горы на гору, ненадолго задерживаясь там, где примостились барачные участки. В земляничных «шанхаях», лепившихся на отшибе, по изволокам, не останавливались: еще на въезде в Железнодорожск слышались о том, что по ночам в них грабят, убивают, крадут скотину. Я забыл, как просил мать вернуться в Ершовку: там кого угодно примут в любой избе, не зарежут и лошадь не уведут. Перерушев будто бы внушал моей матери, что надо слушать детишек: они всегда говорят истинную правду.

Допоздна наш рыдван стоял около девятнадцатого барака по Уральской улице. Моросило. Перерушев никому не позволял приближаться к повозке, грозясь винтовкой. Пьяная цыганка, покачиваясь по-одаль, упрашивала, чтоб позволил поворожить; он отшучивался: не по чему гадать — ладонь не видно, темно, как у сома в брюхе, да и он сам горазд сучить выдумки, в пять минут целый моток насучит. Она отвязалась и ушла в табор, разбитый за бараком, на пустыре близ конного двора.

Все это я узнал от матери и Перерушева. Первый день в городе истаял у меня в глазах, от ночи остались пляшущие у таборных костров цыганята и знойные отсветы на крыше барака, политой по толю стекло-видно-черной смолой.

Куда делся Перерушев с мокрой Чирушкой и как мы очутились в комнате Додоновых, я тоже забыл. Зато я помню первое пробуждение в девятнадцатом бараке. Я на полу, бок о бок с матерью. Я лежу на спине, мать на животе, лбом в руку, ноги вразброс. Надо мной кисти скатерти. Где-то за этой скатертью шепоток — детский вперемежку с взрослым. Поворачиваюсь. Сквозь нитяные кисти вижу свесившихся с кроватей в подстольный полумрак двух девочек: одна с челкой до ресниц и со щелью меж верхними зубами, другая — крапчатый нос и выпуклые глазенки. Девочка с челкой заулыбалась и кончиком языка заткнула щель меж зубами. Я не любил девчонок, но эта понравилась: смешно затыкала языком широкую щербину. Девчонка поменьше прищурилась, как старуха, выпятила нижнюю губу и противно суксилась. Я растерялся. Никто из ершовских девчонок не осмеливался дразнить меня так нахально. Я просунул под скатерть кулак и сразу отдернул: засмеялись дядька и тетенька. Я засопел от обиды.

Девчоночье изголовье находилось по правую сторону стола, изголовье взрослых — по левую. Прилаживаясь к дырочкам в скатерти, я

следил за тетенькой и дядькой. Он, как дочки, свесился под стол, молча кивал мне с пряничной улыбкой и с опаской, что забуюсь его, будто я был грудным беспонятливым ребенком.

На холмах возле Ершовки валялись куски гипса. Разбиваешь гипс — он рассыпается на серые мерцающие иглы. Бросишь гипсовые иглы кому-нибудь за шиворот или тебе бросят — ох и колко. У дядьки были какие-то гипсовые волосы — колючие, серые, мерцающие. Глаза еще чудней: словно он второпях умыл их подсиненной водой. Тетенька, упираясь подбородком в дядькино плечо, добродушно шерилась. Зубы редкие, как повыдерганные через один. Вот от кого у девочки с челкой щербина! Щеки у тетки ржавые-ржавые. Вот от кого у другой девочки конопушки!

Дядька ниже свесился под стол, чуть не задевает острыми волосами половицы.

— Кто будешь?

Потешным делается перевернутое лицо. Однажды с яра я увидел себя в реке вверх тормашками, меня распотешил вид собственного лица, я стал его передразнивать и едва не свалился в омут.

Глядя на перевернутое дядькино лицо, я зажал рот. Когда же дядька заговорил, уткнулся в подушку. Проснулась мать и толкнула меня локтем.

— Смешинка в рот попала, ничего,— сказал дядька и опять спросил: — Кто, говорю, будешь?

— Председателев сынок.

— Озорник! А зовут?

— Сережа.

— Чей?

— Анисимов.

— Я — Петро Додонов, работник у государства.

— Чего это?

— Заковыристый вопрос. К примеру, мы всем баракком будем работать, а ты будешь находиться при мешке. Огромный мешок. Сколь ни клади, никак не набьешь. Пшеница — туда, домна и паровоз — туда, штуки ситца — тоже туда, доходы — опять туда... Ты охраняешь мешок, распоряжаешься, платишь жалованье и выкидываешь в магазины хлебушек и товары. И получается: ты — государство, мы работники у тебя. Я, к примеру, на электрическом кране ежжу.

— И я хочу.

— Я не для ради баловства. Я для ради дела.

— У-у...

— Ты не укай. На тракторе катался?

— Катался.

— Поглянулось?

— Меня папка подсадил.

— Ясно. Поглянулось. Он, трактор-то, из железа. Я помогаю железо делать. Стою в кабине крана. На вагонных платформах, лафетные называются, привозят стаканы. Большие — от пола до потолка! В стаканах раскаленное железо под названием слитки, наврде хряков. Хряки эти задницами в дно стакана, а на пяточках у них крышки. Крышки я и снимаю. Под кабиной крана штанги, в штангах прорези. Я выпускаю штанги. Смотри.— Утвердившись грудью на ребре кровати, он нагнул голову и начал как бы выпускать из плечей руки-штанги.— Выходит, я нужный для народа человек. Без меня пашню не спашешь, сатина не наткеш, хлеба в городе не испекешь. Тесто-то в железные формы сажают.

— Разговорился. Расхвастался. Разве с дитем можно про завод?

— Можно, Фекла. Мальчонке лет пять. К тому — с понятием. Слышала: «Председателев сынок». Всем ответам ответ. Сережа, сам председатель-то где?

— В Ершовке. Нет, в мэтээсе, наверно. Он не председатель.

— То председатель, то не председатель.

— Петро, отвяжись от ребенка!

— Узнать хотелось.

— Много будешь знать — состаришься.

— Я разве старый, Сережа? Тридцать годов.

— Старый. Моему папке тридцать три. Он старик.

— Кто говорит?

— Мамка.

Мать шевельнулась, но ничего не сказала. Я увидел по виску, что она улыбается в подушку.

— У мамы у твоей свое понятие. Вообще-то твой папа молодой.

— Он у нас сурьезный.

— Су-урь-езный? Хорошо.

— Его в мэтээс директором.

— Директором?

— Ага.

— Вон как!

Мать быстро перевернулась на спину и, хотя глаза чего-то страшлись, радостным голосом поздравила хозяев с праздником: было воскресенье. Хозяева тоже радостно поблагодарили и поздравили ее, но за их словами, в которых было искреннее расположение, сквозило желание узнать то, что они хотели выведать у меня, да помешала мать.

— Не мой ли соловей вас разбудил?

— Ваш соловей пузыри носом пускал, когда наши синички проснулись.

— Намаялись мы в дороге. Я без задних ног спала. Нам-то что... Мы у добрых людей. Перерушеву худо, сызнова по жару едет. Кобыла вдруг ожеребится. Домой приедет, кабы жену в гробу не застал. Оно бы и лучше ей умереть. Ребятни... Куда наплодили?

— Умреть — не шутка, — сказал Додонов. — Я в такие крупорушки попадал. Еще немного — и раздробило б. Другой бы на первом кедре удавился или камень на шею — и в бучило. Я? Ни-ни. Жить нужно до самого что ни на есть последнего поворота. Бывало, отчаешься: кончать надо. Мечешься, мечешься... Наелся или приветил кто, солнышко вышло... Помирать? Ни в какую!

Фекле, пока муж говорил, не терпелось что-то возразить Марии, она разевала рот и кряхтела, сдерживаясь, чтобы не прервать его.

— Вот те на! — закричала она, дождавшись. — Матери на погост? Без матери погибель. Мужик мужиком остается. Вам бы только глотку залить вином и всякие удовольствия справить. Ребятишки для вас муравьи. Мать всю себя израсходует на детей. Лучше матери никого на свете не сыщешь. Правильно, девчонки?

— Правильно, — ответила старшая, с челкой.

— Ты дерешься, — ответила младшая, с конопушками.

— Вас не лупить — на загорбок заберетесь и не слезете, покуда вза-муж не удерете.

— Высказалась? — спросил жену Додонов.

— Высказалась, — передразнила его Фекла.

Перед завтраком мать вытянула литровую бутылку водки, которую в Ершовке затолкнула в валенок. Петро, ходивший поразломаться на турнике, увидя водку, остолбенел. Словно в полусне он сел к столу и смирно и грустно посматривал на бутылку. Фекла добродушно по-



бранила его: сидит как заколдованный, а на жену никогда так не глядит. Зря сухой закон устроили только в Железнодорожье, надо бы по всей России: больно много везде пьяниц и дебоширов. То ли дело женщины — не пьют, не курят, не злобствуют.

Моя мать склонилась над чугунной сковородкой с красноперками. Рыбки ужарились до коричневой и хрупкости, но она все переворачивала их. пристыженная, растерянная.

Фекла спохватилась, что, ворча на мужа, задела и Марию, и начала выкручиваться: выпить, конечно, можно, если в меру — оно даже полезно. Скулы у нее запыхали румянцем, она закрыла дверь на задвижку. захватила в щепоть за края жестяные кружки.

Я, Катя с челкой и Еля с конопушками принялись уписывать красноперок. Додоновы и мать подняли кружки. Наперебой предлагали выпить за знакомство, за все хорошее, за родителей. И без водки они казались весело-хмельными, а когда выпили, то стали еще радостней и склонялись друг к дружке, как давние знакомые, которым довелось свидеться через много лет. Меж ними возник какой-то чудной разговор. Но для них это было неважно. Главное было то, что вместе им приятно, что они хохочут и разговаривают.

Девчонки и я торопились побольше уплести рыбы. Время от времени Катя и Еля прыскали, наблюдая за взрослыми. И меня тоже потешало, что взрослые были, как маленькие, однако я сердчал: зачем смеются над ними девчонки, каких в Ершовке называют ноздредуйками?

Мой отец, когда бывал пьяный, хохотал и бил ладонями по коленям. Мать любила порассуждать о том, как жили уральские крестьяне до революции. Были у нас в Ершовке люди, которые плакали, опьянев, бузили, притворно пытались удушиться. Но я не видел там никого, кто бы, выпив, радовался так, как Фекла. Она тискала меня и дочек, вставала позади Петра и моей матери и ласково гладила их волосы.

Вдруг ей словно бы сделалось душно: грудь начала высоко вздыматься. Пальцы блуждали по коффе.

— Отец!.. — крикнула она мужу.

— Что, Феклунь?

— Отец!..

— Иди, Феклунь, посиди-ка подле меня.

— Отец!..

— Иль сбегай за двухрядкой к Печеркиным. Дадим трепака.

— Не понимаешь ты. Не понимаешь. В бараке я самая счастливая, отец!

Локти Феклы разлетелись, и она стояла, пошатываясь, сжимая в кулаках полотно кофты. Щерила с веселой яростью свой щелястый рот.

— Ух, баба, вдругорядь кофту пополам.

— Отец, ты седой дурак! Я самая счастливая! Я умереть могла. Ты, Катя и Елька. И живем. Отец, я рада!

Она целовала в коридоре детей, сбежавшихся на ее крик, дала нам по сушеному кренделю и кусочку сахара, варенного на молоке.

Когда Додонов, загребая раскислыми руками, выставил всех нас, детей, в коридор, я очутился около Кости — высокого длинношеего мальчика. Мальчик наклонился ко мне и сказал, что на тринадцатом участке много драчунов: чтобы меня не задолбили, он берет меня под свою защиту. Стало страшновато, но я презрительно покосился на него: я сам отобьюсь от любого забияки, кого хочешь заклюю. В смущении он почесал затылок. Я догадался: ему известно то, о чем я не подозреваю; он снисходительно отнесся к моей самоуверенности, и все-таки ему было неловко что он навязывается в заступники.

Могло случиться, что мы начали бы с ним враждовать: самолюбие

на самолюбие! Но мы обнялись, пошли к нему в комнату, где он показал мне фотографический ящик, укрепленный на трех ножках, воткнувших-ся в пол латунными копытцами, деревянный парабеллум, карту полушарий земли, нарисованную цветными карандашами и прибитую медными гвоздями к дощатой стене. Все это он сделал сам.

Он взял с угольника альбом, обтянутый рыжей кожей. На коже— золотые порхающие ангелы. Расшелкнул шарики застежек. В первую страницу альбома была вделана карточка; на ней, поддерживая ребенка, склонившего на свое крохотное плечо очень большую голову, сидели на стволе дерева мужчина и женщина. Мужчина с чубом, в косоворотке, галифе и хромовых сапогах. У женщины волосы до плеч, над бровями толстая челка, глаза широкие, словно натянутые к ушам, губы выставлены, будто она только что пила с блюдечка чай.

— Мать. Я. Отец.

— Твоя мать башкирка?

— В нашем полушарии такого народа нет. Моя мама из индейцев.

— Она индюшка?

Я еще не задал ему вопрос, а во мне уже начал подниматься смех, а едва задал, то так фыркнул, что из носа выхлопнулся пузырь.

Я и утереться не успел, как полетел на пол. Костя тотчас поднял меня, спросил, не зашибся ли. Я давился воздухом. И когда отворилось дыхание, власть заревел, но быстро утишил голос до ноющих всхлипов: догадывался, что виноват перед высоким мальчишкой.

— Моя мама индианка. Повтори.

— Не хочу.

— Брось сердчать.

— Как дам — полетишь по задам.

— На, ударь. Только запомни: индианка.

Я ткнул мальчика в живот. Мальчик нарочно поджался. Мы помирились, сцепив мизинцы и приговаривая:

— Не драться, не кусаться, камнями не кидаться.

Вышли на крыльцо барака. Прямо к моим ногам шмякнулась набитая травой фуражка. Поддал фуражку на крыльцо пацан в парусиновых полуботинках. У него были белые волосы и такая розовая кожа, будто он облез от солнца.

— Пни! — крикнул пацан.

Я замешкался. Он прыгнул к крыльцу и ребром ладони по ногам меня, по ногам с какими-то собачьиостервенелыми выдохами. Я еще не успел ни взвиться от боли, ни разозлиться, он уже сшиб фуражку на землю, погнав к воротам, обозначенным кусками вара, не обращая внимания на то, что игроки, рассыпавшиеся по полю, надсадно орал:

— Венка, рука!

Я сразу не сообразил, для чего Костя, прыгнув с крыльца, побежал за Венкой, и лишь тогда догадался, когда Костя с разбегу саданул Венку плечом, а тот, упав, проволочся по земле, которая, как позже я ее р а с ч у х а л, была камениста (подошва горы), усеяна стеклянным боем и крошечком из кокса, каменного угля, кирпичей и застывшего металлургического шлака.

На рев Венки прилетела его мать. Она схватила сына со спины за майку, повела домой, подгоняя тычками кулака.

Венкина мать была в очках. Я подивился этому, думал: их носят только дядьки. Диковинной мне показалась и ее обувь. Она походила на пимы, только не катаные, а стеганые, отчего они выглядели волнисто.

С этого дня я почему-то заужавал мать Венки. С этого же дня Костя стал моим заступником, а Венка товарищем, при случае тайком на- травливающим на меня мальчишек.

### Глава третья

Фекла Додонова не советовала моей матери устраиваться на заводскую и строительную работу: легкую не дадут — специальности нет, на тяжелой надорвешься, и одежонку, пусть она и немудрящая, какую успела завести, поистрепнешь, не в чем будет в цирк-кино сходить, да и с кавалером повстречаться: годы молодые, своего потребуют. По нынешней обстановке надо метить на фабрику-кухню, в столовку, в магазин. Сама будешь сыта и сыночка найдешь чем-нибудь накормить. Спасаться надо, иначе свезут на старое кладбище у станицы.

— Прибивайся, Маруся, к продуктам. Ничего красивше не сгадаешь. В них вся судьба. Сама прознала — не петух напел. Наголодалась за три года. В первую голову ты норови устроиться в хлебный. Вот было бы счастье и тебе и сынку! И нам тоже счастье. Каждый бы день удавалось выкупить по карточкам. Неужто не оставила бы нашу норму, если бы хлеб кончался?

Мать покорно нагибала голову. Нагнешь, пожалуй! В Ершовке мы редко без хлеба сидели, сами пекли: с лебедой, с просом, с картошкой, но пекли.

Городской хлеб мучной, но не выдерживает против деревенского: кислит, аж глаза косят, и глина глиной, хоть пушки лепи. И горячего не попробуешь. Привозят в магазин ночью, продают утром.

У нас хлебных карточек нет. Были бы — все равно мало толку. Не умеем с мамкой в очереди держаться и в магазин попадать.

Додоновы с утра работали. Только солнце из-за Сосновых гор — Фекла через перевал на одиннадцатый участок, в холостяцкий барак. Воды из колонки натаскать, титан вскипятить, белье угольным утюгом погладить. Когда парни на смену увеются, в комнатах прибрать и полы перемыть. Петро уходил чуть позже в свой цех подготовки составов. Не простых составов — с огненными слитками в изложницах.

Магазин открывали после ухода Додоновых и хлеб успевали продать до их возвращения. Да был еще недовоз хлеба, из-за этого в крик ругались бабы.

Вот и толкса люд ночами возле магазина.

Занимать очередь мы отправлялись на закате солнца. Фекле некогда было. Оторвет глаза от цинковой стиральной доски, стряхнет в корыто пену с веснушчатых рук, проводит страдальческим взглядом нас, выходящих в коридор.

Петро шагает впереди. Под его спецовочными ботинками, закапанными машинным маслом, хрустит земля. Сцепленные руки на крестце. Поводит головой, как гусак — не как такой, который ищет, кого бы ущипнуть, а как тот, что боится за семенящих позади гусят. Он весь в заботе: как бы на расколотую бутылку не наступили (Катя, Еля и я босы), в колючей проволоке не запутались и чтобы переждали на обочине дороги, пока презреет обоз золотарей.

Мать идет за нами. То и дело ловит младшенькую Додонову. Еля — разбойница. Вовремя не схвати — стукнет проходящего мальчугана, кинет камнем в трусящую мимо собаку, примется дразнить взрослых, высовывая язык. Всякий раз норовит подраться с моей мамой, но мама шуточно вскрикивает: «Ой, больно! Ой, свалишь!» — и девчонка, довольно рассиав, отвернется от нее и вышагивает степенно, пока не появится поблизости человек ли, кошка или воробей. На изгороди, стайки, столбы Еля тоже почему-то сердита; что под руки попадет — тем и лупит по ним. Но она и не распускает нюни, когда ее стукнут или сама ударится и

поцарапается. Катя бойкая, но не задира. День-деньской она поет и пляшет. Как не надоест? Позавчера заставила Феклу шить юбку до пят из атласной кофты, сизой от старости. Брови у Кати черные, сабельные, глаза карие. В длинной юбке она похожа на цыганочку. Сейчас она идет скользящим шагом, держась большим и указательным пальцами за мочки. Наверно, представляет, что сербиянка и в ее уши вдеты серьги.

Народу у магазина немного. Кучками старухи. Большинство людей уходит сразу: скажут очередному, какой у него будет номер, — и во-свосян.

С полночи у высоченной завалинки магазина начнется чумованье, как говорит Додонов. Люди будут выстраиваться по номерам, цепляясь друг за друга. Пересчитываться. Разбегаться при появлении участкового и осодмильцев — такой шум от улепетывающих ног, будто гурты овец лмятся в темноту. Стекаться мало-помалу из-за баракон, опять выстраиваться в одну нитку, пересчитываться, галдеть, ругаясь с опоздавшими, разбегаться и снова сходитьсь. К рассвету «восьмерьяющая», по грустной насмешке Додонова, очередь сильно убудет: мальчишки вдоль завалинки, старики, ну и всех других по шепотке. Сутые, даже тысячные стали первыми, двадцатыми, в крайнем случае — пятидесятыми. Кого-то скоро сменят (счастливики!), остальным маяться да маяться. До половины восьмого очередь сильно вытянется — прихлынут женщины, мальчишки, девчонки. Перед открытием понайдут дядьки, парни, позатиснутсь на крыльцо, отжимая к стене тех, кто выстоял ночь, собьются в толпу, разбухающую от ступенек и сеней магазина до крупноблочной уборной. Очередные возмущаются, протестуют, совестят.

Три ночи выстояли мы с мамой возле магазина. Раз мы не выкупили хлеб потому, что милиционеры, наводя порядок, перевернули почему-то очередь: те, что стояли в хвосте, были возведены на крыльцо, мы были первыми — стали последними. В другой раз мама бросила очередь: испугалась, что меня затопчут. Может, и затоптали бы, она еле-еле выбралась со мной из толпы, плакала, вскрикивала: «Паразиты, пустите!» В третий раз она отдала наш номер стрелочнику (у него был пристегнут к поясу жестяной рожок), и он отоварил додоновские карточки.

После две пятидневки выкупал хлеб Петро, потому что работал с четырьех и в ночь. Наверно, жалел и шадил нас.

На станции Золотая Сопка, где отец, еще до переезда в Ершовку, работал на железной дороге, мать торговала в вагоне-лавке, поэтому ее взяли на ускоренные курсы продавцов для коммерческих магазинов. В августе ей присвоили звание продавца-хлебoreза и определили в магазин на базаре. Здание было белое, с оцинкованной крышей, стояло на верхнем бугре холма. На соседнем бугре голубел шатер карусели. Вниз от магазина и карусели скатывались по косогорам китайские ряды. Ниже китайских рядов обычно теснились ямские вozy, и вдоль них, по другую сторону коновязей, шел торг скотиной, птицей, собаками, лесным зверем.

Интерес к базару перекрыл мои прежние пристрастья.

Собираясь на смену — он работал горновым на домне, — Кукурузин, отец Кости, наказал ему купить на базаре крепкой еленинской махорки. Костя позвал меня с собой, и мы пошли мимо клуба железнодорожников, где трубили духовики, разучивая «Мурку», мимо детского сада, за изгородью которого блестел черным лаком педальный автомобиль.

Костя шел с ведром; в ведре на фанерной пластине перекачивались граненый стакан и эмалированная кружка. В бараке я спросил у Кости, зачем он берет ведро, кружку и стакан. Костя промолчал.

Перебежав трамвайные линии и шоссе, мы спустились к роднику. Тропинка виляла среди паслена; над розоватыми звездочками его цветов шныряли медноколенные шмели; они сердились, гудели, петляли. Я сунулся в ведро за кружкой и тут же подскочил и вывернул руку, ища в локте жало, оставленное шмелем. Жала не было: меня «куснуло» ведро, накаленное злым солнцем. Мне стало стыдно перед Костей за мою бестолковость. Но он не думал смеяться надо мной, ласково улыбался. Какне у него белые зубы!

Над родником была опрокинута железобетонная труба. Родник наполнил ее до половины и падал в боковой пролом широко, гладко.

Мы с Костей свесились в горловину трубы, замерли, осененные прохладой. Снизу призрачно тарачились довольные наши рожицы, и было видно сквозь их стеклянность, как ключи постреливают из своих раструбистых дул кремневыми песочинами.

Мы всласть напились, смочили волосы, двинулись к базару. Костя нес ведро, налитое всклень, я — кружку и стакан.

Мы еще не поднялись до первых базарных холмов, как нас остановили точильщики, тащившие на плече деревянные станки с каменными дисками.

Точильщики пили воду, приохивая. Маслянисто-темную кожу на их долгих шеях волновали кадьки. Заметно было, что точильщики притомились на зное и торопятся куда-то, где их ждут для вострения ножей, точки топоров, разводки полотна пил. Они хотели заплатить Косте по пятаку за стакан, но вспомнили, как чиста водичка, студена, и заплатили по гривеннику.

Пока точильщики пили да доставали серебро, нас окружили башкиры в подвязанных лыком калошах, девушки, с которых ветер сметал цементную порошу, колхозницы в ржавых зипунах. Все они пили помногу, с передышкой — хватались за зубы и ворчали, когда Костя обмывал края стакана из кружки.

Сколько мы ни бегали на родник, ни разу не донесли воду до базара: покупали нарасхват.

Я надумал слетать в барак за другим ведром. Но Костя почему-то так зыркнул на меня, что я застыдился, словно сподхалимничал перед ним. Едва он сказал, что мы что-то больно-то расторговались, я возмутился: до вечера далеко. Он не стал спорить, принадел пустое ведро себе на голову и, держась за дужку, подался на базар по холмной дороге. Его брюки были перекошены в поясе — оттягивал карман, набитый мелочью. Перед тем я мечтал, что мы наторгуем два кармана монеток, и я попрошу, чтобы Костя отсыпал мне хотя бы горсть, и вот он, не знаю почему, расхотел продавать воду и, наверно, не отделит денег, если и попрошу. Я подумал, что всякий совестливый мальчишка сам бы догадался отсыпать своему дружку горсть монет. И так как он не оглядывался и, казалось, дразнил меня, время от времени шуруя пятерней в кармане, я швырнул в него никелированным шариком, и шарик громко стукнулся о днище ведра. Костя обернулся:

— Сдурел, что ль?

— А что ты?

— Ничего.

— Нет, чего...

— Заводной ты, Серега.

— А ты жадный.

— Это еще так-сяк. Я — нехристь.

— Что?

— Дедушка Пыхто.

Мы остановились. Песочно шурша, поскребывая бумажками, приближались табун метели. Он пыхнул в нас горячим дыханием, и мы поджались, прищурились, задеваемые гривами бурой пыли.

Навстречу нам, детски вкрадчиво ступая, шла китайка в крохотных туфельках. Она прынула с дороги, и все-таки метель задела ее. Она зашаталась и упала. Костя поднял китайку. Она кланялась, что-то говоря кукольным голосом.

Махоркой торговал старик. Дым козьей ножки притуманивал его усы. Костя спросил, еленинская ли. Старик кивнул. Костя не поверил. Тот подал ему замусоленную сигарку: «Курни». Костя курнул и захлебнулся. Старик корил его «за сумление».

Спустили мешочек с махоркой в ведро. Пошли к китайским рядам.

Нас догнал бородач в тельняшке, кожаных брюках, босой. Он только что вертелся за спиной старика с махоркой, примеряясь к нам взглядом. Из кожаной фуражки, которую он держал перед собой, выглядывал щенок.

— Огольцы, купите волчонка.

— Ищи, дядя, простачков.

— Думаешь — кутенок?

— Шакал.

— За глупые намеки я в чучело превращаю человека.

— Отвяжись, дядя.

— Думаешь, у кутенка тупая морда и загнутые уши — не волк? Чистопородный. На махру вон, в ведре, обменяю.

— Завтра летом в эту пору.

— Не поддашься на мен — весь базар взбулгачу. Сейчас закричу: «Жулик! Мешочек спер с махрой!» Сбежится масса. Так посадим на задницу, что внутренности оборвутся.

— Попробуй. Мы сильнее заорем. И тебе наподдадут, не нам. Тебя любой сразу определит, что ты за фрукт.

Бородач отстал. Но я испугался и запросился домой, в барак.

Костя удивился: неужели я перетрусил? Чепуховый случай — полхлебе встречал вымогателей. Ласково, снизу вверх, Костя чиркнул меня по затылку. Дескать, не журись, я с тобой.

Совсем близко полыхнули пестротой китайские ряды. И я мигом словно бы обронил свои страхи и неожиданно притомившую мое дыхание нежность к деревне. Над прилавками покачивались, вращались, бубнили многоэтажные грозди воздушных шаров, хлестались атласные ленты, трепетали веера, трещали бумажные цветы, лакированные воском.

Костя вдруг сделался важным. Он был доволен, что разноцветность, многозвучность, таинственность этого мира, который ему нравился, привели меня в восторг.

Остановил он меня напротив китайца в сатиновой тюбетейке, которого серьезно величал Иваном Ивановичем. Китаец, отзываясь, тоже без улыбки относился к своему неожиданному имени-отчеству.

Костя хотел вызнаться у Ивана Ивановича, как делать и чем надувать воздушные шары, чтобы они летали; Иван Иванович прикидывался, будто не умеет объяснить, отвечал неопределенно, больше вертел пальцами и непрерывно зануздывал лицо хитрыми ужимками.

Иметь пугач, свинцовый, с барабаном и мушкой, с насечной рукояткой, похожий на милиционерский наган, — вот из счастья счастье! Денег на пугач у Кости наберется, сколько надо, но он заинтересовался свинцовым соловьем — синяя грудь, красный хвост.

Китаец этот был, наверно, жалостливый. Я сник, и он уговорил меня

выстрелить за его счет. Пугач так бабахнул, что я подскочил от восторга, а народ, роившийся между прилавками, повернул к нам опасливые глаза.

Утешился я на мгновение. Отдавая Ивану Ивановичу пугач, я ощутил, как холодеют мои щеки и губы.

Костя влил в соловья воды, приложился к хвосту, дунул. Столбиком поднялась трель, каждый звук — градинка в лучах солнца.

— Одобряешь Иван Ивановичев пугач? — дыша в хвост соловью, спросил Костя.

— Тебе-то чего?

— Одобришь — куплю.

Оборотясь, он взял с прилавка пугач, сунул мне за пазуху, отсчитал китайцу серебро. В дополнение к пугачу он купил десяток пробок для зарядки барабана.

Перед тем как уйти, он с улыбкой сказал Ивану Ивановичу, что сегодня ему повезло, потому что он выведал у китайца секрет, как делать и надувать воздушные шары, и что завтра он надеется узнать, как отливают пугачи.

Иван Иванович кивал головой: притворяясь, что серьезно относится к словам Кости, он пытался сжать губы, но они никак не сходились на выпяченных зубах.

В этот день на мою долю еще выпали неожиданные радости: я катался на карусели — на голубом слоне, на черно-белой зебре, на красном жирафе, на желтом бегемоте. Притом бесплатно. Но главное — я был внутри карусели, под куполом, и сам ее крутил, упираясь в смолистый сосновый брус. Впереди меня бегал Костя, перед ним машисто вышагивал Миша-дурачок. Сатиновая косоворотка обжимала его мокрую спину, обозначая толстоствольный хребет. Миша ласково мычал, оглядываясь на нас, азартно квохтал, подбадривая, чтобы убыстряли вращение.

Вчера Костя, когда обещал познакомить меня с Мишей-дурачком, говорил, что он добрей любого умного и сроду-роду не злится, как бы кто над ним ни измывался. И все-таки становилось боязно от Мишиного мычания и квохтанья.

Воздух, прокаленный солнцем, был душным от пота и запаха жилицы, и мы после трех остановок спускались на землю и, переминаясь с ноги на ногу, стояли на обдуве до тех пор, пока не позовет Мишу одноруким начальником карусели.

С этого дня я и один стал похаживать на базар. Присмотря за мной почти не было: мать целыми днями училась на курсах. Я толкся возле возов, с них продавали из кадок розоватое кислое молоко. Крестьянки меня жалели. Опрокинут в глиняную кружку половник молока, я и тяну его тоненько, лоскуты пенки осаживаю до дна и только потом достаю пальцами. А еще вяленых карасей мне подавали, творог. Случалось насыпали в ладошку сушеного молозива. Или побредешь подсолнечные семечки пробовать. Зажмешь левый кулачишко, будто там деньги, и пробуешь семечки. Но, бывало, что и к мешку не подпустят: «Проходи, голопузик, не то базарному сдам. Много вас шляется». И обидней было: натеребят уши, в затылок натюкают, под зад напинают.

За царством семечек — царство балаганов. Изгонят из семечного царства, подашься в балаганное — туда, куда приносят лудить посуду, чинить примусы, заливать калоши, где принимают пушнину и шкуры, сдают старые автомобильные камеры, рога, тряпье, цветные металлы; тут же производится союзка сапог, катка валенок, ремонт ружей, швей-



ных машинок, велосипедов. Работают здесь инвалиды. Кто хром, кто кос, кто кривобок, но всяк мастер — золотые руки, прибауточник, хитрец, хват. Покуда ходишь по балаганам, чего-чего не приметишь. Самогон в глотки опрокидывают, кулаками занюхивают; болвашки олова выторговывают, узлы овечьей шерсти, бутылки соляной кислоты; подойники сбагривают, чесанки; перед красивыми заказчицами похваляются удалством; гогочут над анекдотами, печалются известию, что опять кто-то оголодал и преставился на толкучке, иль на вокзале, иль у себя в землянушке, выкопанной в горé.

Где ни бродишь — в конце концов очутишься внутри карусели. Взмыкнет приветственно Миша-дурачок. Пристроишься, жмешь на брус и одновременно гонишься за ним. Передышка. Бег. Отдых. Вращение. И все сызнова. Взмокнули волосы, тряхнешь головой — капли посыплутся.

— Уходилсь Серега, — скажет Миша и отправит на круг, чтоб, катаясь, обсох.

Увидит тебя однорукий. Прикажет наблюдать, не полезет ли кто через изгородь. Пообещаешь, а сам не показываешь виду, когда порхнет через изгородь беспризорник, детдомовец, барачный пострел. Если перемахнет через нее парень либо женатик — на этих заверещишь. Не малыньки!

Мише платят с выручки, притом серебром. Бумажки и медяки он не признает. Серебро ему вручают пенечками, завернутыми в газетные клочки. Он складывает пенечки в шелковый китайский кисет, и мы, кто помогал ему, провожаем Мишу до «Девятки». Он будет сидеть в столовой, потягивая пиво до полуночи, покамест не появится в зале участковый милиционер.

Официантки, шутя, наперебой упрашивают Мишу проводить их на квартиру. За вечер он пообещает провожать и Лельку, и Милю, и Симу, и завзалам Галину Мироновну. Перед закрытием «Девятки» он сидит женихом. Официантки носятся по столовой, собирая тарелки, вилки, ножи, сдают буфетчице рюмки, кружки, бокалы, графины, срывают со столов скатерти. Мимоходом допрагиваются до Миши, подмигивают, шепчут.

Появляется участковый. Официантки переодеваются в комнате за малиновыми бархатными портьерами. Милиционер выпроваживает Мишу на крыльцо, обещая, что сейчас выйдут и Лелька, и Миля, и Сима, и завзалам Галина Мироновна. Покамест счастливый Миша пялится в небо, официантки выскользнут на улицу через кухню, и участковый разведет их по домам, чтобы не тронули бандиты.

Все закончится тем, что сторож столкнет Мишу с крыльца.

Назавтра Миша опять в «Девятке». Официантки ему врут. Но он и без того не сердится. Они опять приглашают Мишу в провожатые. Он радуется, верит. И повторяется прежнее.

В понедельник на карусели не катают. Миша неприкаянно слоняется по базару. Спросят, почему он кислый, — пожалуется:

— Однорукий придумал выходной. Мама<sup>ня</sup> ругаться будет.

— Неужто, Миша, ты ее содерживаешь?

— Мама<sup>ня</sup> копеечки просит.

— Есть-то ведь ей надо.

— Ливерные пирожки.

— Значит, пирожки с ливером матери носишь?

— Из «Девятки».

— А вот в «Девятку» тебе не след ходить. Ты не инженер какой-нибудь, не американец.

- Галина Мироновна расселдится.
- Эка важность.
- Галина Мироновна женится на мне.
- Тогда ходи. Дело сурьезное. Человеку парой назначено жить.

Правильно, Миша. Калган у тебя варит на все сто.

Милостыню Миша боится просить. Срамили много раз: «Буйвол краснорожий! Иди-ка ты на товарную станцию вагоны разгружать». Иногда он заработает тем, что туши из ледника в мясной павильон переносит, или тем, что дотащит комод, шкаф, кровать.

Однажды в такой маятный для Миши день я был в коммерческом магазине. Мать посадила меня возле деревянного помоста, на котором стояла, отवेशивая хлеб. Я выколупывал дранкой из бумажного стаканчика мороженое и заедал горбушкой серого хлеба. Под прилавком, впритык с помостом, белел ящик, куда мать бросала бумажные деньги. Если возьму несколько рублей, то она, вероятно, не узнает, а Мишу — он голодный давеча плелся по зеленому рынку — они спасут.

Я привстал на колени, начал опускать руку в ящик. В этот момент к ящику наклонилась мама, чтобы дать сдачу с тридцатки.

Я отдернул руку. Ждал, что мать ударит, — видел, как бьют на барахолке воров.

Мать погладила меня, отшатнувшегося, по волосам.

— Тебе сколько надо, Сереженька, ты спроси. Смогу — пожалуйста. Без спросу никогда не бери. Недостача получится, и меня в тюрьму посадят. Без меня ты никому не нужен. Я в тюрьме умру, ты тут. Ты на что хотел?

— Ни на что.

— На ути-ути? На пробки для пугача?

— Ну тебя.

— Виноват ведь. Давай бери мороженку и хлеб и без остановки до барака.

Мишу я разыскал на толкучке. Я стыдился: сам поел, а ему ничего не принес. Я шатался за ним украдкой.

Многие знали Мишу и здоровались с ним. Редко кто упустил случай потешить себя. Миша кивал на приветствия своей маленькой головой, торчавшей над толкучкой. В ответ на вопросы он чаще всего что-то бормотал. Вряд ли он знал всех, кто его знал.

Посреди барахолки Мишу остановила игривым восклицанием «Мишенька, ненаглядный!» баба в сатиновом, с цветами шиповника сарафане. Толстуха крикнула Мише:

— Миш, болтают, Галину Мироновну собираешься взять за себя? Рассчитываешь, пивом будет поить?

— Пива хочу.

— Скрытный ты стал. На козе не подъедешь.

— Брось ты.

— Не брось. Право слово. На пиво дам, только ты на балалаечке сыграй.

— Нельзя.

— Почему ж нельзя? Раньше было лзья.

— Базарный запретил.

— Базарному бы только запрещать. Плюй. Он ушел. На трамвай ушел. Сыграй, Миша, на балалаечке. Трешницу дам.

— Серебром?

— Все бы тебе серебром. Разменяешь у мороженщицы -- и вся забота.

— Клади.

Миша шлепнул об землю фуражку. Толстуха наклонилась и положила три рубля.

— Стой! Миша на балалаечке сыграет. Желает смотреть — деньги в фуражку!

Собралась толпа торгашей, покупателей, зевак.

Я приподнялся на цыпочки. Миша смотрел вниз, словно разглядывал носы своих разбитых свиных ботинок. Он мелко тряс ушастью головой, бубня:

— Плям, бам-бам-бам. Плям, бам-бам-бам.

Из толпы, окружившей Мишу, слышались подбадривания, повизгивающий смех, то негодующая, то поощрительная матерщина.

Я догадался. Заревел. Пошел, злобно толкаясь.

Когда рассказал Косте (он сидел в будке, шлифуя линзу), у него сделалось большое от возмущения и тревоги лицо.

### *Глава четвертая*

До переезда в Железнодорожск я вижу себя почти только летом. Вёсны, зимы, осени, как молоко сквозь цедилку, прошли сквозь мою память, словно я и не жил в эту пору, а спал на теплой печи, укрытый с головой тулупом. Застряло в памяти снежное дыхание сиверко, вóроны гнущимися стаями в день раскулачивания Аржанкиных, глянцеви́то-оранжевая плотная соломенная скирда, с которой я упал, вздумав скатиться по ее отвесному боку, деревянные санки, летящие с горы прямо на мотки колючей проволоки. Уже учеником ремесленного училища я узнал от матери, что врезался в проволочные мотки и никак не мог из них вылезти. Она и дед, отцов отец, выпутали меня из проволоки, отвезли на дрезине в станционную больницу.

С Железнодорожска я вижу себя в осенях и зимах, а позже — и в веснах.

Много открытий, радостей и тревог вместила моя здешняя первая осень и первая зима.

Я сплю у Кости Кукурузина в балагане. Доски, из которых Костя с отцом (я был у них помощником) сбили балаган, — свежего распила, березовые, пахнут родником.

Иногда на рассвете Костя уходит на металлургический завод. До заводской стены — три линии бараков. Возле последней линии — рулопромывочная канава, потом заводская стена, за ней, вдоль рельсов, — хребты каменного угля, навалы горбыльника, штабеля шпал и поставленные на попа бочки с цементом и варом.

Пути забиты поездами. Чтобы попасть к овощехранилищам и фруктовым складам, нужно проныривать под днищами платформ, заваленных сизоватыми, пористыми на поверхности, двугорбыми болванками чугуна, проскальзывать под сцеплениями хопперов, высыпавших из себя на доменной эстакаде магнитную руду, перебегать по тормозным площадкам гондол, запыленных известняком, перебираться через буфера вагонов-самосвалов, наполненных коксом.

Возвратясь, Костя никогда не будит меня и редко ложится досыпать: тело у него нахолодает от зоревое тумана, и я сердито брыкаюсь или жалобно хнычу, если нечаянно до меня дотронется. Он потихоньку что-нибудь мастерит, поглядывая, не проснулся ли я. Я притворяюсь спящим. Он, вероятно, чувствует мой следящий взгляд, но не успевает его засечь, как мои веки уже закрыты. Я снова чуточку разлепляю ресницы. Он улавливает, что я проснулся, но делает вид, что не заметил этого.

В конце концов я позевываю, выгибаю грудь и, вскочив на колени, тарашусь на алые помидоры, на антоновские яблоки, на трещиноватую дыню, завезенную к нам из Средней Азии. Приносил Костя и темную, лопающуюся от спелости сызранскую вишню. Однажды притащил целое сито зеленого винограда, по которому очумело ползала пчела.

С вечера я упрашивал Костю взять меня на склады, но он отказывался, говоря, что могу угодить под поезд или схлопотать заряд соли. Там сторожа, все не спят и с берданками шастают. Днем, тайком от Додоновых и от Кости, я иногда уходил все-таки на завод, сманив с собой Тольку Колдунова, братьев Переваловых, Хасана Туфатуллина.

Только Колдунов — коротыш. Икры у него мячами, голова огромная, стриженная, с седловинкой.

Переваловых трое. Старший, Минька, глуховат, застенчив, долго терпит, когда к нему привязываются, но если уж вспыхнет — не разбирает, кто перед ним, однолеток ли, дядька или баба. Средний, Борька, долговязый и ловок смешить. Их отец, обувной мастер «индпошива» из артели «Коопремонт», обожает Борьку: «Чистый скоморох! Возьмет да чему-нибудь откаблучит!» Младший — Гринька-воробишатник. И что ему дались воробьи? Вечером зола и шлаковое крошево сыплется в барак: Гринька по чердаку ползает, воробьев ловит. Лупил его отец, мать драла за вихры: «Не замай воробьишек, не носи домой. На постели гадят, на стол пакостят». Сопит. Помалкивает. Родители на работу — он туда, где воробьев припрятал, и в комнату.

Хасан и Минька ровесники. Им по восемь, нам с Толькой — седьмой доходит, Колдун с Гринькой — шестилетние.

Хасан — ногайский татарин. Отец у него есть, но, как и мой, живет поврозь от семьи — от Хасана, его матери Нагимы и двухгодовалого братишки Амира. Отцом Хасан похваляется: он у него маляр и заколачивает страшно много денег. Я не знал, кто такой маляр, и думал, что отец Хасана какой-нибудь главный начальник над заводскими инженерами. Как-то Хасан завел меня в соцгород. В подъезде нового розового каркасного дома я увидел двух мужчин, один из них качал воздух в баллон с известковой болтушкой, другой водил около стены распылителем, насаженным на длинный черен, и стена, покрываясь мелким крапом, нежно розовела. Печальный, смуглый носатый мужчина, орудовавший распылителем, оказался отцом Хасана — Габдрахимом Арслановичем, однако я не был разочарован, хоть он и представлялся мне другим: в его строгой печали была какая-то значительность. После, вплоть до окончания войны, я изредка видел Габдрахима Арслановича. Он проходил, чудилось мне, сосредоточенный на прежней своей заботе... Сейчас, когда я вызываю из прошлого некую фигуру, мне становится жаль, что никогда не узнаю, о чем он думал.

Хасанова мать Нагима, повариха «Девятки», была, по выражению барачных женщин, поперек толста. Врач, столовавшийся в «Девятке», советовал Нагиме курить, чтоб окончательно не ожиреть. Но Нагима не собиралась курить: в девчонках ее дразнили щепкой, она мечтала стать толстой и стала толстой.

По тропам в полыни, где нас не было видно, мы выходили к складам. Нас тут же отпугивали обратно в полынь дневные сторожа, грузчики, кладовщики, возчики, угрожая каталажкой, озорно свистя и улюлюкая. Они пугали нас понарошку, но мы убирались: поймают — серьезными сделаются, кто пытается фамилию и из какого мы барака, кто в милицию требует отвести, а кто и за уши до земли пригнет.

Мы уходили на свалку битого стекла. Искали осколки зеркал и линз, обломки зеленых пластин, внутри которых проступали медные сетки.

За стеклышками железнодорожных фонарей охотились наперебой. Как мы радовались мгновенным цветовым превращениям мира! Была серой будка (из нее дают пятиминутные гудки о начале и конце смен), было морковным здание прокатного стана, были белыми кольца пара (где-то на стане, говорят, работает паровой молот и пускает их в небо) — и вот все это стало красным, зеленым или желтым, лишь стеклышки перед глазами меняй.

На свалке мы обнаружили, что Колдунов путает цвета. Он надулся и улизнул в полынь. Мы никак не могли взять в толк, почему он путает, а мы — нет. Мы и не думали дразнить Колдунова, однако нам попало от его матери Матрены. Она бранила нас с высоким барачного крыльца, зачем мы доглядели, что ее Толенька не различает цвета...

Как-то раз никто из мальчишек не захотел идти на завод, и я взял с собой Катю и Елю Додоновых. Они давно просились за стеклышками.

Мы удачно прошмыгнули под составом вагонов-холодильников, потом под составом цистерн. На третьем от товарных складов пути стояли вагоны-самосвалы — думпкары, впереди них почихивал паровоз.

Я посадил на лесенку тормозной площадки Елю. Хотел посадить и Катю, да там, в голове поезда, возник гул движения. Я вытолкнул Елю на тормозную площадку, и покамест паровозный толчок передавался сюда по сцеплениям, сам выметнулся на площадку.

От думпкара к думпкару прокатилась судорога нового толчка; по ту сторону поезда проверещал свисток составителя, и мы плавно, как во сне, поплыли.

Своей гибкой быстротой Катя напоминала кизильских ящериц. Как легко они прыгают вверх по скалам!

Я крикнул Кате, когда поезд пошел, чтобы она отбежала к цистернам, но она скользнула к подножке, уцепилась, вспрыгнула коленями на нижнюю ступеньку, выскочила на площадку и юркнула к Еле, ухватившейся ручонками за мазутный тормозной винт.

Паровоз набирал скорость, однако я надеялся, что его задержат на сортировке. Поезда через нее редко пропускали сквозняком. Вагонным мастерам нужно ведь потюкать молоточками по колесным бандажам и осям, масленщикам добавить масла в подшипники, а сцепщикам проверить, ладно ли продеты в серьги крючья и прочно ли свинчены черные резиновые шланги — по ним подают в тормоза воздух.

Мы пронеслись между эшелонами с колотыми глыбами мерцающего антрацита, и сортировка, как я ни удерживался взглядом за станцию и стоящего у ее дверей дежурного, оторвалась, съехала влево, за бугор, на котором, весь кровавый от ягод, одиноко топырился куст шиповника.

Тут я забоялся. Завезут куда-нибудь, откуда и в месяц обратно не доберешься. Но боязни и тревоги не выказал: прыгать еще вздумаю, дуры!

Я повернулся к девочкам. Они, эти сестрички, о которых я думал как о страшной обузе и которых представлял в будущем испытании всего лишь плаксами, совсем не унывали. Обе, держась за винт тормоза, слегка приседали, норовя попадать в ритм колесным ударам. Они радовались, что едут на паровозе. И было на их мордашках такое же торжество, какое бывало у меня на лице, когда катался на карусели.

Хоть я и караулил, чтобы никакая из развеселившихся сестричек не кувыркнулась под вагон, все-таки кое-что я успел разглядеть, мимо чего мы пролетали по металлургическому заводу. До сих пор мое зрение словно прошивают огненные проволоки. Они возникали в теневой глубине здания, откуда-то выхваченные длинными щипцами рабочего, и в ней же пропадали, на мгновение выстрившись красной полупетлей. Кран «Де-маг», перекосив неуклюжий кузов, опускал на фундамент трансформа-

гор; с боков трансформатор был в темных отвесных трубах и походил на гарнитула, **подобравшего под брюхо ноги.**

С высоко вскинутой над землей эстакады в тоннельное, обладаемое золотым жаром нутро здания, весь старательно закругленный, паровозик вдвигал платформы, на которых лежали корыта не корыта, колоды не колоды — слишком уж они были велики для корыт и колод, — и торчало из них гнущее, мятое, резаное железо.

Едва поезд стал забирать в сторону Железных гор, я успокоился: дальше рудника не завезет.

Паровоз долго брал подъем и где-то на переломе дороги в уклон остановился. Я рассудил, что у него не хватило силенок, он **поднакопит** пару и двинет дальше. Тем временем я ссажу девчонок, и мы **будем** добираться домой.

Холм, на котором мы оказались, скатившись по насыпи и отойдя от нее к сизым скалам, мало чем отличался от холмов, у подошвы которых ютились бараки нашего тринадцатого участка. Все то же: пучки жесткой травы, заячья капуста, сочная, несмотря на бездождье, засохшая, но все еще душистая богородская травка. Только тут кто-то накидал много комков глины и всяких диковинных камней. Опередив Катю, я схватил крупчатый, порохово-серый камень, в нем были сиреневые, с ноготь, глазки. Другой камень, походивший яркой желтизной на золотые поповские червонцы, я сцапал у самых ног Ели. И так как я заорал: «Чур, на одного!» — она рассердилась и плюнула мне на кулак — в нем была зажата драгоценная находка. Я бы, конечно, побил Елю, если бы не зашумел щебень на полотне и не крикнул мужчина, размахивающий красным флажком:

— Айда сюда быстрее. Руду будут рвать. Как бы не убило.

То был поездной кондуктор. Едва мы, торопясь, выбрались по насыпи к последнему вагону, откуда-то из земли вздулся гром, а когда он закатился за небеса, то на миг так притихли и горы и воздух, что мы присели в страхе и ожидании.

Через несколько секунд стал приближаться какой-то шелестящий топот. Мы запянулись под тормозную площадку, теснимые кондуктором, и тотчас на листовые стальные кузова думпкаров посыпался каменный град.

Состав покотил дальше. Мы вернулись на холм. Главная гора Железного хребта была окутана розово-бурой пылью. Валившееся за полдень солнце не застило облака, поэтому оно легко просвечивало поволоку пыли, отчего рудные горизонты — гигантская лестница в небо, на ступенях которой челночат поезда, стучат буровые станки и кланяются желзнякам птицевидные экскаваторы, — были ясно разноцветны.

Поглазев на гору, мы насобирали камней. Скрывая друг от друга находки, начали спускаться с холма на холм к алым трамваям, сновавшим далеко внизу и казавшимся отсюда совсем махонькими. Катя скоро вывалила из подола свои камни, оставила только один, как и я и она думали, золотой самородок и понесла его в кулаке. Еля хоть и плелась позади, но сокровищ из подола не выкидывала и подступаться к себе, чтобы узнать, что же она тащит, не позволяла. Мне было идти легче и веселей: у меня карманы. Правда, они терлись об ноги.

Прибыли мы домой затемно и уже досыта наредевшись: нас не пускали в трамвай, а когда мы незаметно, за взрослыми, залазили в вагон, то высаживали со стыдом: «Ишь, катаки, ишь, баловники!»

Мать била меня бельевой веревкой. Фекла пригибала Катю и Елю за волосы до самого пола. Петро то меня отнимал у матери, то отбирал дочерей у жены. Перепало и ему: заступник выискался!

Утром к Додоновым заглянул Костя. Он слышал, какую баню нам

устроили матери. Вечером, после уроков, он оставался на кружок физики, потому-то его и не было в бараке, а то бы он не дал избивать нас — дверь бы вышиб, а не дал. Кто-то внулшил это Косте или, может, он сам понял: лютовать над детьми — значит превращать их в тихонь, неслухов, лицемеров, злыдней. «Злоба из ума вышибает,— говорил он,— урезает душу: была с поле, станет с лоскуток».

Всего, о чем он говорил, я понять не мог, но восхищался им на манер Савелия Перерушева: «Ну, башка!» Я понимал лишь то, что он меня жалует. У меня саднило спину, а главное, я видел, какие у меня пасленно-фиолетовые рубцы, оставленные на спине веревкой, потому что, едва взрослые ушли на работу, я топтался перед неоправленной пластиной зеркала и, выворачивая шею, рассматривал исхлестанную от бока до бока, неузнаваемо чужую кожу. Захотелось, чтоб Костя охнул, увидев, как я избит. Я заголил рубаху, услышал его невольный стон и попросил:

— Подуй.

Он потихоньку опустил мою рубаху.

— Мужчина. Терпи до последнего.

Его внимание привлекли камни, сложенные на подоконник. Никакого золота мы вчера не нашли. Блестящие желтые кубики были серой. Черный веский комок, из которого выступали лиловые кристаллы, оказался магнитным железняком с вкраплениями граната. Гранаты так обрадовали Костю, что он вздумал выколупнуть кристаллик, отшлифовать его и вставить в гнездышко перстня взамен стекляшки.

Катя полюбопытствовала: кому он подарит перстень?

— Мачехе. Отец жениться будет.

— Мачехе? Знаю я, какой мачехе. Никакой не мачехе. Нюрке-задаваке. Ну и красавица! Конопушки на носу.

— Конопушки у Нюры настоящие золотые, не то что ваши камни.

Я удивился, почему справедливого Костю задела Катины слова.

Катя не переносит Нюрку, я переносу и не переносу. Нюрка не замечает меня. Для нее и другие мальчишки — все равно что есть, что нет. Я не знаю, должна ли она их замечать, но я уверен, что она должна замечать меня, друга Кости, меня, Сережу Анисимова, у которого самая лучшая на свете мама. Нюрка должна была бы чувствовать: мне нравится, что в белом ее лице есть нежная голубоватость, что Нюра быстро ходит, даже то, что ноги у нее вогнуты в коленях, отчего, по толкам баб, она не шагает, а «чапает». Бабы даже приговаривают в лад Нюркиной поступи: «Чап-чап, чап-чап...» Но она меня не замечала.

Костя, конечно, не всерьез рассердился на Катю. Он развлек нас, показывая, как магнитный железняк притягивает иголку. Железник Костя дал сперва Еле, потом Кате, и магнитные забавы утешили их.

После этот рудный камень забрал я, притягивал им булавки, кнопки, гвоздики. Долго, привязав к нитке, волочил по земле и радовался, видя, как нарастает на нем бахромка искрасна-рыжей железной пыли.

### *Глава пятая*

Люди часто пророчили: «Не сносить Сережке головы». Слыша это, мать сокрушалась, а бабушка Лукерья Петровна подтверждала: «Истинно не сносить!»

Бабушка приезжала в Ершовку, но отец отправил ее обратно, в Троицк, где жил ее сын Александр с женой, сыном и дочкой, потому что она зубатилась с ним при каждом случае.

Когда она уехала, нам показалось, что вседневная духота в доме, накаленном голым солнцем, стала сносней. На время прекратились рас-



при между матерью и отцом. Я прыгал, как ягненок, радуясь свободе и безопасности. Бабушка держала меня во дворе, охваченном каменным забором. Неподалеку были река, гальники, песчаные косы. Ищи среди галечника на перекате яшмовые шарики, режь лозу и плети морды, строй запруды и загоняй крапчатых пескариков, стекляннобоких сигушек, светлоперых лобанцов. И там же скалы, степь, ящерицы. А сбежать со двора трудно: следит, наколотит, не куда-нибудь бьет, а по темени. После равновесие теряешь. Подойдешь к колодцу, наклоняешь бадью с водой к губам — и вдруг поведет тебя в сторону и ты очутишься на земле. И тут опять явится бабушка, закудахчет: «Да дитенок, да что с тобой подеелось?» Сама-то знает, что случилось, и знает, что ты об этом знаешь, но будет кудахтать: все глаже, заискивая, рассыпаясь в похвалах, что ты, дескать, хоть и упал и тебя ушибло бадьей, а не заплакал.

Она ненавидит моего отца, ни в чем не дает ему спуска и, однако, боится, как бы я не пожаловался, что она долбила меня по голове: он уже грозил выгнать ее к чертям собачьим, если она не бросит своей дурацкой палаческой привычки.

Мать никогда не трогала меня пальцем, она гордилась, что никогда не бьет меня, — и вот отхлестала веревкой. Почему? Почему обещала вызвать бабушку, без которой, сама же говорила, нам живется лучше и спокойней?

Пока мы у Додоновых, ей совестно ее вызывать: мы их и так стеснили. Правда, они не против: пожалуйста, пусть приезжает в любое время. «Где шестеро ютажуются, там и седьмому место выкроим». Но мать не соглашалась.

Я сержусь на мать за то, что она упорно хлопочет о комнате. Ей помогает Нюркин отец Авдей Брусникин. Его выбрали старшим барака, он самый грамотный человек и машинист турбины. Кроме того, матери помогает стучаться в КБО («не постучишься — не откроют») кастелянша общежития Кланька Подашникова. Кланька, как и моя мать, совсем молода. Она смешная, наряжается парнем — фуражка, косоворотка, брюки-клеш, — играет в духовом оркестре на огромной трубе, на геликоне.

Освободилась двадцать четвертая комната в нашем бараке, но начальник КБО никого туда не поселяет и нам в порядке отказывает. Мать зовет Авдея и Кланьку «посидеть за бутылочкой». Я довольнехонек: мать не может достать комнату. Кручусь дома, обеспокоенный тем, чтобы они своими советами не научили ее, как «вышибить жилплощадь». Авдей твердит: «Надо действовать на законном основании, не то за жабры схватят. Действуй и жди». Мать твердит свое: «Все жданки съели, Авдей Георгич». Кланька обнадеживает ее: «Чего-нибудь придумаем». Петро с Феклой помалкивают.

Авдей уходит: ему в ночную, он еще не спал. Все, какие-то значительные, скрытные, поджатые при Авдее, сразу разминают плечи, и становится ясно, что теперь они скажут, о чем молчали. Продув мундштук геликона, Кланька предлагает:

— Попробуй сунуть.

— Верно! — в один голос кричат Додоновы.

— Сколько? — спрашивает мать. — Кому?

— Комендантше Панне Андревне.

Кланька спешит на сыгровку: от клуба железнодорожников, возле которого в теплую погоду оркестр проводит репетиции, скатываются к нам вниз по пригорку удары барабана. Вскоре уже слышны оттуда азартные звуки румбы. Изредка коротко, как-то подземно, ухает среди них Кланькин геликон.

Поутру, когда Додоновы потихоньку уходят, мать, сторожко обра-

чиваясь на Катю и Елю, стоит над сундуком, долго развязывает какой-то узел. Он тощает, тощает. Наконец развязан батистовый платок, и у матери на ладони треугольная коробочка из-под пудры. Мать запускает в пудру пальцы, достаёт с донца кругляшок, дует на него, обтирает батистом, и я вижу золотой червонец, которым она любит.

Через день мы перетаскиваем вещи в двадцать четвертую комнату. А еще через день приезжает отец.

Костя учил меня лазить по столбам на проволочной петле. Я увидел отца в тот момент, когда крепко обхватил столб, а ногу с петлей подтягивал вверх по столбу. Отец шел, понутив голову. Холодноватая сентябрьская поземка шуршала по его хромовым сапогам и слегка задевала галифе с лосинами и кожаный френч.

Я соскользнул вниз. Отец напугался: так неожиданно и сильно я налетел на него. Я был обрадован и думал, что и он обрадуется. Но он даже не поднял меня над собой и даже сделал выговор, что я чуть его не сшиб. Хмурясь, он расспрашивал, правда ли, что за мной нет никакого надзора, что я хожу попрошайничать на базар, что мне чудом удалось выскочить из-под внезапно тронувшихся думпкаров.

Я смекнул: кто-то из барака, может, тот же Авдей Бруснинкин, послал ему письмо в Колупаевку, где находилась машинно-тракторная станция. Я испугался, как бы он не забрал меня.

— Враки.

Враки? Он подозревает, что я лгу, чувствует это, верней — видит. Так же, как другой раз видел насквозь, каким духом дышит человек — большевистским или кулацким, — а не умел доказать.

Я упорствую. В нем что-то меняется, он становится ласковым, просит отвести на базар.

У китайца Ивана Ивановича отец покупает пучок длинных витых конфет в радужных хвостатых обертках. Прямо в дверях коммерческого хлебного магазина он врезается плечом в человеческое кишение, чтобы пробиться к середине прилавка, где торгует, вертятся на высоком деревянном мостике, моя мать.

Я мчусь на карусель. Вздогаю под шатер. Миша приветливо мычит. Шагаю, двигая сосновый брус. Жую вязкую, отдающую патокой конфету. Миша тоже жуёт конфету. Мы смотрим друг на друга, улыбаемся. Все живей и веселей набираем разгон.

Уже в ясно-нежном свете вечера мать, отец и я бредем на участок. Бредем не нижней дорогой, которая проходит меж двухэтажными рублеными домами с потеками просмоленной накипи на стенах, меж баракон (начальные из них столовая-ресторан «Девятка» и детские ясли), а верхней — изволоком Первой Сосновой горы. Выше изволока землянки, «шанхай». Там сейчас гвалт, суетня, работа. Ватага мальчишек ловит седого козла. Козел перебирается с землянки на землянку, прыгая по балаганам, поленницам, голубятням. У синенькой землянки стригут овец. Вороха шерсти — дымом на полотне стены. Где-то, предчувствуя нож, всхрапывает свинья, наверное, ее обступают мужики: сшибут кувалдой, навалятся, зарежут. На саманной крыше девушки в малиновых платьях провенвают подсолнечные семечки на лоскут толя. Кое-где возле сараев женщины доят коров. Начинают закрывать ставни, и «шанхай», только что весело отражавший оконцами пылание заката, чернеет, скрадывается под глухо-коричневый цвет склона.

В барачной части тринадцатого участка больше движения, беззаботности, шума. Детвора играет в прятки, в чижика, в котел. Парни гоняют красно-синий резиновый мяч. Подножки. Ругань. Грозные замахи. Девки, еще смирные, скучные, топчутся у торцовых завалинок, обшитых широкими досками. Ребята потихоньку болтают, побреськивают на ба-

лалайках, настраивают гитары. Старухи и молодайки, укутав потеплее грудных младенцев, посиживают на крылечках.

На закате в бараках, как и в землянках, тоже хватает хозяйских хлопот. Теленок, тесня хозяйку, вертит мордой в пустом ведре; дядька, вставляя в переломку патрон, направляется спать в хлев, чтобы не увели корову; татарка в платке, распушенном до пояса, вычесывает из козы пух длиннозубым яблоневым гребнем; снимают с веревок белье; замки навешивают на стайки; затаскиваются в комнаты подстилки, одеяла, всякое стеганое тряпье, на котором спят и которое выбрасывали на просушку.

Отец и мать молчат. Наверно, потому, что, когда идешь высоко и много видишь, не хочется говорить. Они смотрят в разные стороны: мать — на макушку горы, ребристую от скал, отец — на завод, где желтеют вдоль стены тополя, где розово зеркалятся стеклянные крыши проката, где становятся заметны над трубами мартепов пляски огня.

Отец приосанился:

— Хватит играть в молчанку!

Мама не поворачивает к нему лица: наверно, ей безразлично, что он скажет. Несмотря на это, он начинает свое увещевание. Подурачились. Пора бросить. Вместе будем переворачивать старую деревню и ставить новую. Жить с ним, конечно, не сладко. Да вель народ бедствует. Даже здесь, в городе, нехватки в продуктах и товарах. Неужели ему перво-наперво справлять личные удовольствия? А об народе во вторую очередь думать? Конечно, у него был перегиб в общественную линию. Он это учел. У тебя пристрастие к нарядам? Будет тебе мануфактура. За ситец, за сатин, за сукно он ручается. Мечтаешь об гарусной кофте? И кофта будет. Зажмет совесть в кулак и... Хоть он и против всяких вечеринок и выпивок, он ради нее и танцевать будет, и песни петь, и водки глоток-другой хлебнет.

— Не для того мы, конечно, совершали революцию, чтобы возвращать господские привычки. И зря ты защищала барские проповеди директора ШКМ<sup>1</sup>. Этикет, этикет... Мы создаем новые нормы поведения. Этот директор из бедняков, а весь на помещичьих дрожжах и отрыжках. Шляпа, галстук с эмалевой защепкой, запонки, подтяжки... Наверняка втайне стремится к возвращению дворян и всякой прочей господской шпаны. Но если ты захочешь общаться со всякими людьми — пожалуйста... Сама своим умом дойдешь, что никаких вечеринок не нужно, тем паче — лакать вино. Партиец обязан всегда быть с чистым сознанием. Алкоголь одурманивает, вносит в сознание примеси дурмана. Врага прошляпишь. Мещанские идейки не сразу определишь. Съедутся, веселятся, холодец жрут, вилоквую капусту, чуть ли не плавающую в конопляном масле, пироги из сомятины... Без тебя не раз затягивали в компанию. Невесту подыскали. Молоденькую учительшу из Черноотрога. Не поехал. Мне уже выговаривали: «Что-то ты, Анисимов, игнорируешь нас?» Учителюшу расхваливал: «Ватрушка на меду!» И хватал, что за один присест слопал пятьсот штук пельменей. Ленин был не нам чета и сроду ничего подобного себе не позволял. Правильно секретарь райкома товарищ Чепыжников твердит: «Духовно мы должны быть выше масс, а в потреблении оставаться вровень. Они недоедают, и мы недоедаем. У них скромная одежда, и у нас. Ну разве что фасоном постройже, отутюженная, починенная, со всеми пуговками!». Возвращайся. Радио проведу. Сережку стану буквам учить. Хочешь, опять

<sup>1</sup> Школа крестьянской молодежи.

детский сад организуй. Дом выделю, кровати охлопочу, кухню оборудую. Не могу я без тебя, без Сережи. Руки у меня отпали — да и все тут. Может быть, даже лучше, что ты уезжала. День и ночь занимался делами МТС. До меня тут трактор сгорел, лобогрейки ломались, плуги из строя выходили. Я кое-кого на заметку взял. Кто вредил — все испарились. У меня только высунься — как суслика вылью. Пора, пора возвращаться. Давай сегодня ж обратно.

Он приехал на полуторке. Полуторка ушла за машинным маслом и тавотом. Он сядет в кузов, она с Сережей поместится в кабине.

Чем дальше отец говорил, тем жарче распался. Сегодня он вроде опьянел. Сухое лицо набрякло краснотой, будто в парилке целый час высидел. Глаза притуманило. Жалко мне его. Он сказал: «В пустом доме стены гложут». Жалко! Не знай как ссутулился.

Я хочу в деревню. Там ласточата в гнездах. Жерехи валькуют хвостами на перекатах. Бугаи на улицах, угрюмые, преследующие все, что движется.

Я хнычу в поддержку отцу. Мать молчит, потупившись. Я чувствую, что она откажется уезжать. Пускаюсь в рев. Грожу, что здесь меня зарежет паровозом. Отец утешает и для окончательного успокоения просит погрызть китайскую крученую карамель.

— Вот видишь, Маруся, ребенок и то сознает: он погибнет в городе. Слишком опасно. И любознательный. Да еще ж без надзора. За ним нужен глаз да глаз. В деревне и то сколько раз был на волосок от смерти. На мамоньку свою Лукерью Петровну особенно-то не надейся. По пятам за Сережей не станет ходить. Зато за провинность кулачищами будет бить. До дураков мальчонку затуркает. Не поедешь ко мне — отсужу его. Я большевик. Я пролетарий.

— Чего отсуживать? Забирай хоть сейчас.

Отец взбесился: слыхом не слыхал о матери, отказывающейся от ребенка в пользу отца! Впрочем, чего другого ждать?

— Эта особенность у вас, Кольвановых, в роду. По наследству передаете.

— Так бы и твоей родне передавать. Узнали бы, как плачут кровавыми слезами.

Полуторка, облепленная ребятей, стояла у барака. Меня обуяла гордость, что начальник над этой машиной не кто-нибудь, а мой отец, и я закричал, словно никогда с ними не знался, на сестер Додоновых, на братьев Переваловых, на Колдуна, на Хасана, на Венку, на тех, кого не успел рассмотреть:

— Ну-ка слазьте!

Отец вкрадчиво меня одернул:

— Зачем сгоняешь, сынок? Твои ж товарищи. Им интересно.

Из кабины выпрыгнул Костя Кукурузин. Пятерней провел по моему лицу сверху вниз. Средний палец мазнул по носу, пришелся на губу, вывернул ее, и она шелкнула, когда палец сорвался с нее. В кузове захихикали. Я плюнул в их сторону и стал дразниться, что Костя шпана, на троих одна штана, что он крадет арбузы, что он жених Нюрки конопатой.

Я уселся в кабине. Шофер — бритый, подбородок клешнят, как коровье копыто, — растянул рот, пропищал китайским резиновым чертиком «ути-ути».

Отец, ушедший с матерью за моей одеждой, вернулся пустой. Он был бледен и на вопрос шофера о том, что случилось, выругался.

В этот миг я ощутил неожиданную тревогу, пронырнул под мышкой

у отца. Но он поймал меня за рукав толстовки, влез со мной в кабину. Я дрыгался:

— Пусти! К мамке, к мамке!

По дороге на переправу я ревел, зажатый им, как в тисы. Однако стоило мне увидеть киргиза, въезжавшего на паром верхом на осле, башкирок, толкающих двухколесные, с кубастыми ящиками тележки, воронежских пышногривых битюгов, которые пятились от парома, таща повисшего на поводьях кучера, как я прекратил плакать, стал показывать отцу и шоферу на все, что меня привлекало, и засыпать их вопросами.

Катер, тянувший паром, работал с моторными перебивами. Он часто клал трос на воду; натягиваясь, трос стрелял каплями вверх. Пруд был маслянисто-тяжелый, хотя и зыбился. От вида этой неприятной воды так стало мне сиротливо, и такое я почувствовал стыдное раскаяние, и такая боязнь за маму одолела сердце, что я зажмурился, чтобы не видеть белого света. И мгновенно словно уплыл куда-то в смолу, тягучую, связывающую.

Очнулся я оттого, что кто-то навалился на меня и дует в ресницы, стараясь их разлепить. Сразу не разобрал, чье лицо надо мной. Пугаясь, лягнул коленами и оторопел, узнавая мать.

— Вот они, лапушки,— запела она, целуя мои ладошки,— малиновые ноготочки, сахарные пальчики. Да разве ты нужен отцу? Мне только нужен.

Я обхватил ее за шею и никак не отпускал от счастья и от страха, что, если она встанет и уйдет на работу, больше я никогда ее не увижу.

### *Глава шестая*

Целый день в бараке только и было разговору, что задули новую домну. Это известие передавалось из уст в уста торжественно, обсуждалось многозначительно взрослыми — кормильцами, стариками-домоседами, нянчившими малых детей, и даже нами, пацанвой. Девчонки задувка домны не волновала, разве что Нюрку Брусникину, и то лишь потому, что ее отец Авдей был машинистом турбины на воздуходувке, обеспечивающей домны воздухом и паром, а может, еще и потому, что это интересовало Костю Кукурузину, с которым Нюрка собиралась пойти смотреть первую плавку чугуна на печи «Комсомолка».

Костя и меня приглашал, но я отговаривался: неохота у бабушки отпрашиваться и мама, когда придет из магазина, забойтся, что я сунусь под раскаленный металл. Костя наверняка догадывался, что причина совсем не в этом, а в том, что он берет с собой Нюрку, однако не заговаривал об этом. У Кости было правило: никому не давать отчета, куда и с кем он идет. В своевольном поведении его было, однако, столько независимости и достоинства, что Владимир Фаддеевич предоставлял сыну полную самостоятельность, а Костя умело, без лишних трат и подсазок, вел их холостяцкое хозяйство. Учителя были довольны его успехами и дисциплиной. Что же до обитателей барака, их поражало, что Костя сам смастерил фотоаппарат и сделал электростатическую машину, дававшую молниевую искру. На это все барачные смотрели, как на заглумность и как на талант, который дан не многим.

Я ушел в комнату, умоляя про себя Костю забежать за мной. Он забежал и, словно моя мольба передалась ему, удивленно промолвил:

— Серега, ты чего? Идти так идти.

— Да, сынок, да, красавец,— запричитала бабушка, оглаживая байку дымчагого пальто Кости,— не отпускай ты Сережу от себя. За

руку ухвати да этак и держи. Ведь он у нас сорван. Ведь что он вытворял в Ершовке... На плуг падал. Кабы не знахарка...

— Слышал, Лукерья Петровна.

— Да, сынок, да, умница, да он ведь один-разъединный у нас. Ведь ежели что, боженька ты моя, ведь светопреставление... За руку ухвати да этак и держи.

Мы поехали в трамвае. Вагон промерз, серым инеем обложило фанерный потолок, на стеклах выросла толстая снежная твердь; она в булатно-синих оттенках монет. Казалось, что едем неизвестно где и куда, то ли по городу, то ли по степи, и нет в ней ни жилья, ни зверя на тысячи верст вокруг.

Кондукторша пригрозила пассажирам, что принципиально не будет объявлять остановок, если граждане, набившиеся в гамбур, не возьмут билетов. А может, и сама она не знает остановок? Или ей, стоящей на сиденье калошами, надетыми на валенки, не хочется протирать продушину, быстро затягиваемую ледком, и вглядываться через нее, что там, в мире, куда мы прибываем?

На одной из остановок народ, согласно толкаясь для разогрева, попер из вагона в оба выхода.

Мы выскочили прямо в дым. Ветер вытягивал дым из трубы агломерационной фабрики, пригибал его на бараки пятого участка — они казались снулыми — и ташил в котловину завода, куда, подстегиваемая морозом, шла темная среди снега толпа.

Вахтер выудил нас из толпы: что-то, кажется, мы никогда не проходили мимо него? Мы стали уверять, что проходили, на шестом участке живем. И там он нас не встречал. Сам с шестого. Пришлось сознаться. Он потеснил нас от ворот. Унижались, упрашивали — не пустил! Тогда Нюрка, не переносившая отказов, передразнила его: вахтер шепелявил.

Проехали на трамвае еще остановку. Долго трусили рысцой, прикрывая лица варежками, до каменных бараков шестого участка. Отсюда, передохнув в затишье, бежали шапками вперед. Такая палящая стужа была в ветре, что только это и спасало, если двигаться в наклон, чтобы не захлебнуться, не обморозиться. Взглянешь из-под шапки, обметанной куржаком, — перед тобой покрытая копотью, маслами, пеком, пробуравленная конской мочой дорога, газгольдер с красным хлестким флагом, угольная башня, задеваемая облачной рванью, дымы пегие, грачиной черноты, ядовито-желтые, и выхлопы пара из коксохимовских тушильных башен, и его превращения в ледяные гвоздики, выпадающие со звоном.

Сбоку подступы к домне загромождены. Хаос кирпича, будок, грузоподъемных лебедок, решетчатой арматуры, стальных суставчатых труб, через которые мог бы пролезть десятипудовый боров. Подле железобетонного пня домны, куда Костя вывел меня и Нюрку, мы все трое, вконец ознобясь, на перегонки пустились к лестнице и поднялись на литейный двор. Точно такая же лестница подле первой домны, на которую Костя изредка брал меня, идя к отцу. Недавно Владимира Фаддеевича перевели на новую печь, и теперь он здесь и защитит нас, если будут прогонять.

Чуть забрезжил свет литейного двора, кто-то, молодежато спускаясь оттуда, цыкнул:

— Вы зачем?

— Пионеры. Приветствовать! — крикнула Нюрка.

И едва мы взлетели наверх и шли мимо людей, стоявших группами у перил, Нюрка, когда намеревались нас задержать, зычно повторяла все то же, для убедительности выдернув концы галстука на отворот пез-

пельной кроличьей шубки: «Пионеры. Приветствовать». Я шел за ней. Чей-то насмешливый бас заметил, что я не то что в пионеры — в октябрята, наверно, еще не принят. Она ехидно отозвалась:

— Ростиком не вышел.

Даже сегодня, когда ей должно было быть за это неловко перед Костей, она не обращала на меня внимания.

Я не умел, как она, уклонять взгляд от неприятного человека, если он смотрел, желая встретиться со мной глазами, потому, презирая Нюрку за это, я завистливо поражался ее способности начисто не замечать тех, кого она не хочет замечать.

Находчивость Нюрки немного смягчила мою нелюбовь к ней. Я даже на миг помечтал тогда, что она подружится со мной: ведь я хороший и она не должна относиться ко мне равнодушно. Но ее ехидное «ростиком не вышел», предназначенное не тому насмешнику, а именно мне, резануло меня. Я понял: Нюрка жадно меня замечает, и не для чего-нибудь — для мести.

Я чуть не заплакал. Что я ей сделал? Почему она сразу невзлюбила меня? Чем виноват перед ней барак, что она презирает в нем всех, кроме своих родителей, сестры Ольги и Кости Кукурузина? Зачем она задается? Неужели нужно задаваться, если у тебя вогнутые в коленях ноги, бело-голубое лицо и вся ты быстрая, верткая и невозможно не повернуть тебе вослед голову?

Раньше мне была противна мысль пожаловаться Косте на Нюрку за себя и за весь барак; здесь вдруг захотелось пожаловаться, при ней же, пускай поморгает глазами, пусть сознается, что я правильно подметил ее гонор.

Но я не успел пожаловаться. Мы уже оказались близ паровой пушки, у которой, считая черные сырые ядра, скатанные из чего-то вязкого, стоял Владимир Фаддеевич. Он был обеспокоен тем, что бригаде горновых, где он за старшего, надо выдавать первый чугун «Комсомолки», а тут еще мы пришли. В другое время чихать бы ему, что не положено детям появляться у домны, а сейчас страшновато: здесь «верхушка» за вода и города, представители из области, из самой Москвы, из Наркомтяжа — не придрался бы кто... Да и не знаешь, что печь выкинет.

— Ладно. Встаньте на фурменную площадку, позади паровой пушки, и ступайтесь.

Владимир Фаддеевич обмахнул войлочной шляпой взмокшие волосы. Над горновой канавой лежал лист железа, и, завиваясь на его края, из канавы вымахивал факел горелки. Лист был багровый. Канавка под ним, заглаженная по всему руслу песком, сушилась. Ударом чуни, лопати-сто-широкой, сшитой из транспортерной ленты, Владимир Фаддеевич передвинул лист, опять подsunул горелку и вернулся к пушке. Опробывав пушку, он выгнал из ее ствола натисками пара бревешко, состоящее из той же черной сырой массы, что и ядра.

У первой домны мерно перемещались силуэты горновых. Силуэты были грифельно-мягки. Казалось, это не люди, а их тени, скользящие по панцирному низу печи. Пока я смотрел, как протачиваются сквозь бронированное туловище домны синие газовые огни, в горновую канаву вытек чугун. В первое мгновение, когда я еще ничего не понял и когда из летки полыхнуло белизной, мне померещилось, что проблеснуло и вот-вот вырвется солнце, кем-то закрытое на зиму. Но потом, унимая ослепительность белизны, вскинулось едва ли не под самое кольцо воздухопровода пламя и, сжимаясь, успокаиваясь, чисто обозначило выплывающий в канаву металл, который можно было бы принять за сметану, если бы над ним не толклись искры-пушинки, не дрожало марево.

Вдруг совсем рядом будто что-то подорвали. Взрывной толчок сме-



нился вязким утробным хлюпаньем. Оно перекаатилось в бурлящий клеткот, и вслед за повторным толчком слева от нас в воздухе пронеслись багровые ошметки и струи. На шею горновому выбрызнула огненная капля, и он, хватая ее, словно осу, вонзившую жало, крикнул:

— Чугун уходит! Берегись!

Владимир Фаддеевич, в тревоге обернувшийся к людям, которые топтались на краю фурменного пространства, закричал, чтобы они уходили. Досадливо, каким-то вышвыривающим жестом велел убираться и нам троим и, убедившись, что мы торопливо пятимся, прыгнул к паровой пушке.

Когда осекся возникший на минуту тугой гром, будто его закупорили, мы, оробело ступая, возвратились на прежнее место. Выглянули по направлению к летке. Пушка стояла, уткнув рыло в леточное отверстие. Ее корпус, заплесканный красным металлом, горел, исходил паром.

Костя сказал — авария, чугун сам потек из печи. Отец даже не успел подрезать и просушить летку. Взрывы могли быть и опасней: по сырой леточной глине металл идет жутко. Теперь плавку не выдашь вовремя: опять горновую канаву готовить, пушку набивать и с леткой придется повозиться. Дадут за это папке на орехи. Как бы в чем плохом не обвинили.

То, что летку проело чугуном и Владимир Фаддеевич ее закрыл без промедления, было лишь началом аварии. Домна, как только пушку отвели обратно, снова стала плевать. Заслоняясь полой суконной куртки, Владимир Фаддеевич прошуровывал горловину летки стальной пикой. Об него разбивались хлопья и шарики чугуна. И когда он, волоком таща обтаявшую в горне пику, отбегал к пушке, шляпа и куртка вспыхнули на нем. Он сорвал их и, топча чунями, спросил горнового, который должен следить за чугуновозными ковшами, прибыла ли посуда. Горновой ответил, что посуды нет. Владимир Фаддеевич помчался к огромному совку с песком, злыми жестами сзывая туда горновых; скоро они уже таскали песок и насыпали валы; меж валами, как мы догадались, будет пущен поток чугуна прямо на литейный двор.

Мимо нас, бранясь, проскочил мастер. Скача от вала к валу, он принялся распинывать их и налетел на Владимира Фаддеевича, опрокидывавшего бадью с песком.

— Отменяю! Лить металл на пути! Мерзавцы транспортники раньше ковши не могли подогнать. Ради праздника! В порошок! К стенке!

Владимир Фаддеевич снова побежал за песком, туда же бросились горновые, на минуту сбитые с толку яростью мастера.

Появление инженера в рябой толстой фуражке с наушниками (Костя шепнул, что это вроде начальник цеха) укротило мастера. На отчаянную просьбу Владимира Фаддеевича продолжать насыпку валов инженер наклонил голову.

Чугун, заполняя канаву, рыжевато-грязно чадил, выпрыскивал капельки. А потом, когда Владимир Фаддеевич, потянув за цепь, притороченную к рычагу, поднял перегородочную лопату, чугун хлынул по литейному двору, шкварча, выхлопывался вверх, затапливал влажный пол двора, выложенный железными плитами.

Хоть я и тревожился за Владимира Фаддеевича, я все-таки радостно глазел на все, что происходило передо мной. То, что и мою, и Костину, и Нюркину одежду запорашивало графитом (его выдыхало доменное вариво, своим мерцанием он напоминал елочный блеск), до того восхищало меня, что я еле сдерживался, чтобы не оскорбить помрачневшего Костю восхищением: «Как здорово-то!»

Наперекор опаске потерять дружбу Кости, восхищение тем сильнее томило меня, чем дольше тек чугун. Мало-помалу на литейном дворе на-

ливалось огненное озерко. Оно золотело, краснело, багровело. Воздух раскалился, жег щеки еще резче сегодняшнего ветрового мороза. Горновые извивались от жара, притрусывая пол песком и мешая металлу расплываться.

К моменту, когда из летки, бушуя, пузырясь и гуще дыша графитом, пошел шлак, паровоз подошел под желоба посуду. Владимир Фаддеевич пустил шлак туда и тотчас с другими горновыми принялся отдиравать твердые чугунные закрайки; если им не помогали ломы, они прихватывали закрайки щипцами на тросах, и мостовой кран, отъезжая, тянул их на себя и отрывал серо-черные ошметки.

По шмыганью Нюркиных калош, надетых на валенки, и по тому, как часто мех ее шубки задевал мой борястик, я догадывался, что ей невтерпеж уйти отсюда.

— Кость, пойдём.

— Да ты что?!

— Скучно. Смотришь, смотришь... Надоело.

— Побудем немного. В следующий раз ты о чем попросишь, сколько захочешь прожду.

— Знала бы — не пошла. Ла-дно... Оставайся со своим Сереженькой.

Она юркнула в толпу. Костя за ней, я за ним — среди пальто, волчьих дох, кисло пахнувших полушубков, фуфаяк, шинелей, поддевок, кожанов. Прошли подле стены в какое-то производственное помещение. В чем-то округлом, крашенном лаком (топка, конечно, такая) — стеклянный волчок-оконце, и сквозь этот волчок виден был в глубине топки, в сжатом гуле, сноп синего пламени, розового на размыве о кирпичную кладку, уходящую вверх. Спустились — увидели над собой спящие лампы на черной доменной короне. Скачка через рельсы. Бассейн, окутанный туманом.

Костя настигает Нюрку, ловит за плечи. Она поворачивается и лупит его по щекам. Он остолбенел. Я сшибаю со всего маху Нюрку в сугроб. Костя почему-то поднимает ее. Ни с того ни с сего она бросается к Косте, обнимает его и как будто целует. Из-за тумана, хлынувшего с бассейна, я смутно различаю их.

Туман разнесло. Мы сплошь в инее. Нюркина шубка белым-бела, словно горностаевая. Как ни в чем не бывало, Костя и Нюрка берутся за руки. Она предлагает идти домой, а он упрасивает ее зайти к Авдею Георгиевичу. Она соглашается.

Еще издали, шагая по обочине дороги, слышим пугающий шум, как будто где-то рядом прорвало плотину и вода рушится на лотки. Возле самой воздуходувки мы совсем не слышим приближающихся к нам сзади грузовиков и бетоновозов. Оглядываемся, чтоб не задавило.

Под сварными объемистыми трубами мне хотелось пригнуться и изо всей мочи помчаться обратно. Воздуходувка так неистово, плотно подает на домны воздух, что он движется, металлически свистя и шелестя, и этот свист и шелест наводят на душу такой ужас, что не знаешь, куда деться, и не чаешь, выберешься ли из-под этого загнанного в трубы ада.

К Авдею Георгиевичу на воздуходувку доставил нас веселый парень в кепке с оторванным козырьком. Вел по жарким закоулкам, все возле каких-то труб, чем-то толсто обмотанных, покрашенных в белое и красное. Здесь тоже жутковато и закладывало уши от шипящих и свистящих шумов.

Я взмок, скинул шапку, приспустил на руки борястик.

Наконец мы очутились в просторном высоком зале, где пол был выложен метлахскими плитками.

Турбогенератор, у которого я увидел Авдея Георгиевича, был глян-

цевито-черный и как бы состоял из трех бугров: большой — генератор, повыше, поуже и покруче — турбина, маленький — моторчик; на каждом надраенная медная пластина-паспорт.

В турбогенераторном зале я вдруг уловил, чем Авдей Георгиевич отличается от других барачных мужиков — грамотным лицом. (В Ершовке в какой уж раз, хваля секретаря райкома, отец заключал: «Принципиального человека угадаешь безо всяких-яких: грамотное лицо!»)

Костя тревожился за отца, но Авдей Георгиевич, должно быть, решил, что он хмур потому, что ему скучно, и начал объяснять, для чего на одном валу с турбиной и генератором маленький моторчик: это возбудитель генератора. Тут Нюрка противно прыснула в кулак. Я думал, что Авдей Георгиевич выговорит Нюрке, и тогда я пойму, почему она противно прыснула, но он только насупился.

Я не собирался слушать Авдея Георгиевича, однако задержался возле него: он, к моему удивлению, сказал, что в генераторе находятся магниты, и мне захотелось узнать, зачем они там. И хотя Костя тоже как будто заинтересовался этим, он на самом деле был сосредоточен на чем-то другом — на грустном и тревожном. Конечно, на том, что Нюрка ударила его по щеке. Нет, скорее всего на том, что его отца могут судить за аварию.

Авдей Георгиевич приглашал нас подежурить с ним до полуночи, когда он сдаст турбогенератор сменщику. Нюрка, ластившаяся к отцу, чтобы заглядеть недавнюю промашку, соглашалась, а Костя отказывался. В конце концов он рассердился и быстро пошел из зала. Я бросился за ним.

Снаружи было светло — в небе и на снегах волновались красные тени. Костя побежал к домнам. Завернув за угол паровоздушной станции, я увидел «Комсомолку». От нее и восходило, трепыхаясь, зарево. Вдоль железнодорожной обочины длинной стеной стояли люди. Они смотрели, как белый с просинью чугун льется с желоба в ковш, установленный на лафет платформы. В ковше клокочет, булькает, и оттуда выпрыгивают звезды и, падая на землю, шелкают.

Все люди какие-то неподвижные, как заколдованные. Костя протолкнулся меж ними, и скоро я увидел его на лестнице, ведущей на литейный двор. Ожидая Костю, я замер: струя падающего чугуна притягивала взгляд, навевала впечатление, что ты уснул и видишь жаркое марево, рвущееся из ковша, и мерцающие в этом мареве графитовые порошинки, и порсканье маховых искр из тягучей белой струи. Когда Костя, все еще тревожный, вернулся, мы побрели на трамвай. Вместе с тревогой за его отца я испытывал какое-то торжественное чувство. И хотя оно не вязалось с настроением Кости, мне казалось, что оно прекрасно, чисто и вечно.

Владимир Фаддеевич вернулся домой утром и проспал до нового дня.

Как говорил потом Костя, во всех газетах написали про его отца. Никто не ругал — наоборот, хвалили. И началом выпуска первой плавки считали тот час и те минуты, когда чугун самовольно пробил летку и хлынул в горновую канаву.

### *Глава седьмая*

Я любил вечера у Додоновых, когда взрослые настраивались на воспоминания.

Ляжем на свои постели, согреемся. Барак еще не спит. Там малышей в корытах купают, тут игра в лото, по деревянным бочатам номера

выкрикивают. Где-то в середине барака ребятня комнату вверх дном переворачивает: мать с отцом транспортники, ушли дежурить на железную дорогу, детишек домовничать оставили, и они теперь как на лошадях джигитуют. Подростки на кухне отираются. Визг девчонок. Шлепки. Выкрики: «Дурак, дурачино, съел кирпичино». На том конце гулянка: наварили кислушки, а чтоб скорей пьянила, наверно, махорки подсыпали. Печально поют: «Вы не вейтесь, русые кудри, над моею больной головой».

Полежим, слушая барак. Еще много всяких звуков бродит по нему: стучит швейная ножная машина, рокочет дробокатка, кругля кусочек свинца, поскрипывает пружина зыбки, воркуют голуби, принесенные на ночь из будок. Потом Петро, или Фекла, или моя мать скажет, что в деревне об эту пору делается, да скажет со вздохом, с отрадой, с мечтой, и потекут воспоминания, обыкновенно счастливые, такие, которых приятно и коснуться. Но иногда на кого-нибудь нападёт грустный стих, и тогда всем начнут припоминаться беды, несчастья, печали.

В додоновские вечера я и узнал о детстве матери и о том, что вынудило ее бежать от моего отца.

Муж бабушки Лукерья Петровна Иван Кольванов был казачий офицер. Сдавшись в плен красным, он вскоре заболел брюшным тифом, его отослали домой, в станицу Ключевку. До Ключевки он не доехал — пропал без вести. Чтобы сохранить детей, Лукерья Петровна перебралась на займку. Были у нее лошади, коровы, овцы, но в немного лет она осталась без скота: часть съели, часть продали. Последнюю корову и лошадь увели кочевые киргизы. Уцелели лишь телка и поросенок. К марту 1921 года все припасы на займке истощились. Станичный дом Кольвановых соседи тем временем раскатали на дрова.

Лукерья Петровна слыхала, что детей можно сдать в приют и там они спасутся от голода. Но колебалась: ежели умирать, так кучей. Старший сын Александр все-таки настоял, чтобы сдать в приют младшеньких: семилетнего Петю, пятилетнюю Дуню и трехлетнюю Пашеньку. Лукерья Петровна зарезала телку. Лучшую половину взял станичник Дошанка: за это мясо он подрядился довести ее и ребятешек до Троицка.

Конь Дошанки трусил прытко, хотя в розвальнях целиком лежала вся семья. Лукерья Петровна взяла Александра потому, что боялась возвращаться из города одна. Тринадцатилетняя Мареюшка должна была караулить займку, но увязалась за подводой, и ее тоже посадили.

Паша и Дуня не догадывались, куда их везут. Поутру, успокаивая их подозрение, мать весело говорила, что едут они в гости, там их будут потчевать медом, конфетами, солеными арбузами, яблочными пирогами, селедкой, ветчиной. Вдобавок Дуня получит платьице, Паша — атласную ленту и сандалики, Пегя — складешок и штаны до пят.

Дуня и Паша настроились на егозливость и восторги. Петя был угрюм: он чувствовал что-то потайное и опасное.

В городе мать велела Дошанке свернуть возле мечети. Остановились у односельчан Решетниковых. Дошанка развернулся и уехал.

Приют помещался возле собора. Под сводами звонницы каркали вороны. Лукерья Петровна встала перед храмом на колени, крестилась.

Воспитатель, растворивший ворота, на просьбу Лукерьи приютить трех малюток до нови повел ее в глубину двора. Мареюшка пошла за ними. Похоронщики выносили из сарая умерших детей и складывали в сани.

Лукерья Петровна выбежала за ворота. Она сказала Александру, что надо возвращаться домой и умирать всем вместе. Но Александр закричал, что на займку возвращаться не будет, пойдет на станцию и

уедет. Обругал мать, кинулся вверх по дороге, к вокзалу. Александр был ее любимчиком. Она умоляла его не уезжать, но он так и уехал и возвратился летом полумертвый.

Мареюшка заподозрила, что мать передумает, подтолкнула брата и сестренку, чтобы убегали от приюта, куда мать уговаривает своего Сашеньку. Петя схватил за руки Дуню и Пашу, и они, семеня, потянулись за ним. Лукерья Петровна скоро их догнала. Повернула под предлогом: дескать, пойдите возле приюта, а мы сходим на базар. Мареюшка возмутилась. Мать пообещала, что не обманет. Сжала Мареюшкину ладонь. Мареюшка тащила за матерью, приседая от боли. Как крыльями, Петя запахнул сестренку полами шубейки. Его рубашка расстегнулась. Поблескивал сбившийся на ключицу серебряный крестик.

Перед сумерками Петя прибежал. Никогда не был в городе и все-таки разыскал пятистенник Решетниковых. Он дрожал. Мамонька, родимая, от приюта их гонят: некуда взять, нечем кормить. Тиф всех подряд косит. Иди, мамонька, заведи Дуню и Пашу.

Уговаривали Петю: смилостивятся, заберут. Ни в какую не соглашался — нет и нет!

Оконная наледь стала синеть. Темнело. Он зарыдал и выбежал вон. Решетников уже на улице догнал Петю. Петя драться. Тут милиционер шел. Решетников к нему, зазвал в дом, поднес самогону, Лукерья чуть не целовала милиционеру сапоги. И милиционер увел Петю, пообещав определить его и Пашу с Дуней в приют.

Среди ночи внезапно потеплело. С крыш сыпала капель. Снега прорывали ручьи.

Утром Мареюшка и мать спустились к белому двухэтажному зданию приюта. Около здания — никого.

До заимки едва дотащились: дорога рассолодела, проваливалась.

От голодной смерти спасала Мареюшку с матерью поденщина у стачничных кулаков. День работы — кружка кислого молока, раздобьются — кусочек ржанинки прибавят, а то и половник шей.

Нанялись вскопать огород Михаилу Сороковке. Отворили тальниковую дверь у огорода и сразу увидели Андрюшу Грякова. Андрюша (он был годком Пети) ползал на четвереньках со сшибленным черепом. Сороковка стоял возле каменной завозни, держа в кулаке шкворень. Мальчик срывал былки лука, Сороковка подкараулил его и сшиб череп.

Пали на колени, рыдая, просили заступника, хоть он и отрекся от людей, поскольку они погрязли в грехах, покарать злыдня Сороковку. Мареюшка была убеждена, что Сороковка, высланный в начале коллективизации куда-то на Север, сгинул, как червь, ибо не могла не дойти до бога их с матерью молитва.

В тот год, когда выслали Сороковку (она об этом узнала позже), Мареюшку — уже Марию, мою мать, — выбрали заведующей детским садом в колхозе «Красный партизан», где ее муж Пантелей Анисимов был председателем.

Под детсад правление колхоза выделило особняк конезаводчика Тулузеева, который бежал в Китай с каппелевцами. Запущенные хоромы подновили. Благодаря старанию плотников и кузнецов быстро устали столиками, скамеечками, кроватками. Анисимов, как он радостно хвалился, выдрал в райпотребсоюз по штуке сатина, ситца и мадаполама. Полную неделю Мария почти не вставала из-за машинки, куда не израсходовала сатин и ситец на трусы, майки, сарафанчики, наволочки, а мадаполам — на панамки и лифчики. Нянек Мария подобрала спокойных, ласковых, стряпуху — искусницу. Продуктовые запасы колхоза были скудные, но ни разу кладовая не выдала детскому саду чего-нибудь в обрез, даже сахару. За этим строго следил сам Анисимов,

но главное — при малейшем опасении, что это может случиться, Мария пугалась, как бы кто не ослабел и не помер, всплескивала руками, и было похоже, что она тронется умом, если тотчас не получит продуктов по норме.

Это помню я сам, так как мать дневала и ночевала в садике и я ходил к ней. Помню рыжий песчаный берег, на котором резвилась детвора и куда на веселую сатиновую и ситцевую яркость слетались бабочки. Помню сундук, к которому после обеда мы гуськом подходили за сладостями.

Строго-настрого было запрещено зачислять в садик детей подкулачников, одиноличников и из тех колхозных семейств, где были бабушки или трудоспособные женщины, отлынивающие от страдных работ. Однако мать принимала на общественный кошт всех ребятишек, кому бы они ни принадлежали, если видела, что они опухли либо отошдали от недоедания. Когда какая-нибудь женщина, доведенная голодом до крайности, бросала у тулузеевской калитки своих заморышей, Мария, слышав плач, выскакивала туда, сгребала их к груди, целовала, гладила, а заведя на кухню, словно виноватая, не знала, как и накормить их покусней и досыта. Вечером отец разъяснял ей, что она сползает на политически вредную линию. Он ходил по комнате в хромовых сапогах, в галифе с кожаными лосинами, в железнодорожной, забранной под ремень суконной гимнастерке. Перед его затянутой фигурой и перед непреодолимостью тона мать робела и лишь одно повторяла, оправдываясь, что у нее не терпит сердце.

Он ожесточался. Выискалась жалостливая! Кулацкое семья приглубливаешь. Чего они не приглубливали твоих братьев и сестер? Иль забыла, как Сороковка приглубил шкворнем осиротевшего мальчонку? Иль запаматовала, как задарма батрачила на мироедов? Должна зарубить на носу: не всепрощение — классовая ненависть. Вот на него аж пять раз покушалось кулачье, и уж, конечно, никто из них слюней не распускал, что-де будет с нею и с Сережей, если удастся ухлопать Анисимова.

Поначалу казалось, что она повинится: наверно, он прав, прав. Но не могла она перешагнуть через свой зарок, что в отрочестве дала у приюта, когда узнала, что бесследно пропали и Петя, и Дуня, и Паша.

— Маленьких спасать! Допоследу! — кричала она. — Пусть они атаманские, купеческие, из дворян, от зверей-кулаков — они-то чем виноваты?

— Яблоко от яблони недалеко падает. Ты вот! Отец царизму продавался, а тебя тянет лакейничать поскребышам сельских эксплуататоров.

— Ума у тебя с гулькин нос, спесь одна и лютость. Лом, лом ты! Только бы разворачивал да крушил. Замахиваешься мир переделывать. Инструмент твой где? Ломом орудуешь, от лома и скопытишься.

— Завертелась змея на огне! Не нравится насилье? А как вы, казачье, над народом насильничали? Вас было только в Оренбургском войске сверх двух миллионов... Потерзали народишко. Клин клином. Сладко? А?

Ссора кончалась тем, что мать выскакивала во двор и там, замкнутая ночью и забором, бродила, рыдая.

Отец срывал с себя сапоги, галифе, гимнастерку. Наган под подушку. Забывался мгновенно. И его лицо было отмечено выражением неприимой справедливости даже во сне.

По требованию отца мать вызвали на заседание правления колхоза и сняли с работы.

А накануне нерадостной жатвы, во время полдневного урагана, какие здесь налетали часто, детский сад, кем-то подожженный в комнатах, весь выгорел изнутри и полузавалился. Дети увидели пожар с берега, где строили песочную деревню.

Вскоре после этой беды мать бежала в Железнодорожск.

### *Глава восьмая*

Любил ли он ее?

Его отношение к ней осталось в моих впечатлениях одноцветным: суров, взывает, наставляет. Хотя бы раз невольная нежность подплавила строгий взгляд и ласка, пусть мгновенная, подтопила льдистый фальцет. Ничего этого не находит в себе моя ранняя память.

И все-таки, наверно, он любил.

Вот что случилось, когда мне было уже почти полных восемь лет.

Конечно, ни я, ни мать, рассказывая через годы о том, в чем я сам участвовал, не могли помнить точные слова, которые тогда говорились. Но это было так. И уж совсем точно я помню, как себя вел, как поступал каждый из нас.

Мы уже легли спать и слушали, как укладывается на покой барак. Вдруг услышали чьи-то залубенелые шаги по коридору и стук в нашу дверь.

Чертыхаясь, бабушка приподнялась на постели: чтобы сбросить крючок, нужно было встать на колени и опереться о спинку стула. На ее вопрос: «Кого черти принесли?» — кто-то хворо просипел: «Свой, мамаша». Бабушка не стала открывать. Прежде чем улечься на перину и укрыться одеялом, она гаркнула, чтобы мать шла отпирать сама. От ее гарканья я всегда цепенел. Вероятно, потому, что если она гаркает на меня, то набрасывается потом и остервенело кует кулаками мою голову.

Сиплый голос задел меня своей тревожной знакомостью, и я чуть было не угадал, чей он, — но здесь гаркнула бабушка, и то, что должно было проясниться во мне, распугнулось, как мальки от внезапного всплеска.

Мать пробежала к двери — и обратно.

Я принял вошедшего за цыгана: он был в тулупе и в бараньей шапке с отогнутыми ушами, и когда шагнул через порог, увиделись черная борода и ртутный взгляд. Едва он выгнулся, стряхивая с себя тулуп, я узнал отца. За тулупом он стряхнул на пол и зимнее пальто.

Я не обрадовался отцу, потому что подумал, что он заехал только понаведать нас с мамой и я даже не успею ему шепнуть, чтобы он прогнал бабушку к ее сыну Александру, который тоже перебрался в Железнодорожск, работает сыроваром на городском молочном заводе и живет близ базара в двухэтажном рубленом доме; пускай бабушка цапалась бы с женой дяди Шуры, моей крестной, которая крикуша вроде нее и чумичка. Но когда отец поздоровался с бабушкой, дружелюбно протянув ей ладонь, а бабушка отбросила ее и вякнула, что никто тут в нем не нуждается, я отомстил ей, выпростав из-под фуфайки руки и поманив его пальцами:

— Пап, она обманывает. Иди сюда.

Он сел ко мне на сундук. Благоухал снегами и простором, терся о мою щеку колючим подбородком, хвалил за то, что я его не забыл. Я испытывал родство к отцу не потому, что возобновилось во мне сы-

новнее чувство, а потому, что догадался, что бабушка ненавидит его во мне: «Литый Анисимов. Как в станок литый»..

Мои руки уже расцепились над высвобождавшейся шеей отца, но неожиданно для себя я повис на нем, встревожась, что мать не примет его и ему придется тащиться в дом заезжих, он будет несчастен и ему покажется, что дотуда страшная далечень, как до Железной горы. И когда он наклонился над кроватью, собираясь поцеловать маму, и мама рывком отвернулась и закрыла голову ватным одеялом, я подумал, что так и случится, и заплакал от жалости к нему и к себе. И хотя мать сразу же раскрыла голову и стала меня успокаивать, понимая, почему я заревел, она оттолкнула его, едва он опять начал склоняться к ее лицу. Тогда он, не распрямляясь, вздохнул и сказал, что совесть не позволит ей прогнать его, потому что ради нее и меня он бросил директорство в МТС и лишился партийного билета.

Мать испугалась. Да что он, рехнулся, что ль?

Может, и рехнулся. Еще месяц назад если бы сам секретарь райкома сказал, что не мешало бы ему соединиться с семьей, коль жена и сын не едут в МТС,— он счел бы это вредительством. Ведь он без колебаний исповедовал исключительно правильный принцип: личное нельзя ставить выше общественного. На насекомых и то это правило распространяется: коль рой пчел ищет колоду, где бы соты навосковать и мед откладывать, так уж отдельная пчелка ни на какой нектар не позарится. И вот он поступил против правила насчет личного и общего. Сам же проповедовал, вдалбливал, врубал. А одиночества не сборол. Тоску. Он себя так поворачивал, а тоска его этак, покамест окончательно не повернула по-своему.

К Перерушеву поехал. Поделился. «Природа,— Перерушев толкует,— себя сказывает. Вертись — не отвертись. Иная птица без пары живет — человек не может. Заряд у него такой окаянный вовнутри. Чуть что — взрывает. Как же ты думал? Сына тебя тянет воспитывать — и опять она, природа!»

Не разберет он сам, говорил Анисимов, что с ним. Может, это только видимость причины? Может, вообще природы не хватило? Колодцы так исчерпываются... Детсад-то он помнит — кого принимать, кого не принимать. Умом и сейчас не согласен с женой, а в сердце, в чувствах, в самой глубине согласие притаилось. Он вот гадает, что с ним, и что в нем, и как он поступит через полчаса,— и только все в себе запутывает. Наверно, устал. Несколько раз вызывали, убеждали, страшали, стыдили. Да... о чем это он? А!.. Правда, он сам не знает, что сделает через полчаса. Может, пьяный будет, плясачка будет задавать, всех уважать, даже Лукерью Петровну («На кой мне твое уважение!»). Но может натворить и несчастий. Таких, что ужаснутся прямо все в городе и в Ершовке. Не всех он пожалеет. Есть такие... Всем они судьи расправедливые. Посмотришь — чисты, мухи не обидят, ни у кого к ним укора ни в чем. Но копнешь — им не то что среди судей, среди арестантов места не должно быть. Могилевская им губерния...

— Совесть твоя козлиная, — прервала его Лукерья Петровна, — сам от из эдаких. Ни уха, ни рыла не смыслишь в деревенском, клал бы шпалы, пришивал бы рельсы костылями. Нет, влез в деревню, хозяйничать влез.

— Кулацкие наветы, мамаша. Болты болтаешь. Не к тебе приехал, не с тобой говорю. Ясный, по-моему, дал намек: не ручаюсь сегодня за себя.

Мать урезонила его:

— Приехал непрошенный да еще стращает. В Ершовке никакого



воздуха не было от тебя, и сюда со своим уставом. Приехали в город, немного вольно вздохнули. Тисы у тебя — не характер. Так и метишь душу зажать. Не понимаешь? Притворству в директорах научился?

— На самом деле не понимаю. А притворство, верно, желал бы освоить. С Лукерьей Петровной немедленно бы поладил. Однако не желаю притворяться. Согласно идеям. Сворачивать с дороги и петлять не стану.

— Я про то и говорила. Ты катишь по дороге. На ней люди. Обезжать надо. Ты напрямик. Не считаешься... Я просто человек, просто пешеход, но я туда же иду, куда ты. Главное, люди мы разные. Все люди разные. И ты считайся с этим. Ты не считаешься. Что из этого получается — теперь по себе узнал. Могли уважить твое настроение? Не уважили. Надо было вникнуть, что с тобой приключилось? Не вникли. Чего там вникать! По-твоему сделали: вон из строя да на обочину!

— И правильно: дисциплина. Без дисциплины ничего бы на земле не зародилось и не выросло. Я, на поверку, слабак и мещанин, коль удумал от всего отойти. Посвятить себя тебе и Сереже.

— Поздно.

— Пожалей, Маруся. У меня ничего на свете не осталось. Я погибну. Пожалей. Прости.

— Ты жалел? Ты прощал?

— Не нужен ты ей,— злорадно вставила Лукерья Петровна.— Тебе железную жену, и та от тебя взвоят и удерет.

— Иди ты, бабуська. Папа лучше тебя. Мамка, давай возьмем папу. Он наш. Он заступаться будет...

— Не порть, Маруся, Сережину судьбу! — подхватил он.— Безотцовщина — ведь это горе для ребенка. Мальчишки всего больше в отцах нуждаются. От матери у них — ласка, душевная красота, от отцов — мужество.

— Ты наговоришь,— насмеялась бабушка.— Насобачился языком молоть. Масло язычиной своим мог бы пахтать.

— Маруся, не слушай ее. Она радуется, когда у других беда. Месть за лихо своей судьбы. Понимаешь? Я, Маруся, буду учитывать твою душу. А уж одевать буду — как снегурку.

Я видел отца в гневе, который не колеблется и не прощает. Но теперь он даже на бабушку гневался как-то непрочно. Угадывалась зависимость от того, как отнесется к этому мать. Она рассердилась, и он сник и, сгорбясь покорно, сел на перекладину между ножек стола. Бабушка, почувствовав его беззащитность и отдавая себе отчет в том, что если она не выдворит его сейчас, то он выдворит ее немного погодя, принялась кричать, чтобы он убирался, иначе она взбулгачит барачных мужиков и они отобьют ему печенку.

Он молчал, и бабушка скоро осеклась и замолкла.

У него было лицо обреченного на смерть, когда он надевал пальто и уходил.

Вернулся не один — с Александром Ивановичем. Оба были пьяны. Александр Иванович еще у порога положил себе под ноги алую головку сыра и начал ее катать от ноги к ноге, как футбольный мяч.

Есть люди, что бы ни делали, всегда кажутся безобидными, хотя вы и знаете, что они постоянно эгоистично-жестоки. Остается впечатление, что они невинны, хотя вам и случилось быть свидетелями их мерзких поступков. Воспринимаете вы этих людей так, потому что они настолько щедры, что готовы снять и отдать с себя последнюю одежду, что они,

по барачному представлению, просто дыры, то есть без меры бесхитростны, доверчивы и могут быть обмануты кем угодно. Кажется, что они безалаберны не из-за своих пороков, а из-за веселой беззаботности и полного безволия перед соблазнами.

Таким человеком был мой дядя Александр Иванович. То, что он, войдя в комнату, гонял ботинками головку алого сыра и время от времени пинал ее и она тяжело бухала в сундук, ни у матери, ни у бабушки не вызывало серьезного протеста. Они цыкали на него — дескать, побойся бога, люди уработались, уснули, — но цыкали для порядка, с улыбкой, а не для того, чтобы действительно унять его озорство.

Забавляясь, Александр Иванович, наверно, решил разбить головку сыра и поддал ее сапогом все резче, покуда она не треснула. Мгновенно забыв о сыре, он, потешаясь, стянул одеяла с сестры и матери и подгонял их, голоногих, в оборчатых полотняных рубашках, когда они натягивали на себя платья, и ухмылялся, лукаво мигая моему отцу, довольный пугливой спешкой, с какой они ныряли в подпол и под стол, извлекая оттуда закуски.

Дядя Александр Иванович поднял и меня. Чуть ли не со всей головки сыра обрезал он алые воскованные корочки и отдал их мне, не слушая, что мама это ему запрещала. Он знал, что корочки были моим желанным лакомством. Я удивлялся странности взрослых: они не брезгают сыром, хотя он и отдает сыромятным ремнем, а то единственно вкусное, что есть в нем, срезают и выбрасывают. Мать считала, что сырные корочки вредны для живота, а дядя поддерживал меня и втолковывал ей, что «раз организм требует, стало быть, не нужно препятствовать».

Александр Иванович пил. Дня не проходило, чтобы к вечеру он не абрался. Моя мать плакала, что он губит себя, и упрашивала его отстать от водки хотя бы из жалости к своим детям (их было трое) и к жене, отроду не видевшей ничего, кроме недоли. На мольбы был у Александра Ивановича один ответ:

— Нутро требует.

Это была явная отговорка, но ни мать, ни бабушку она никогда не возмущала. Влияние Александра Ивановича на них до сих пор остается для меня загадкой. Полагать, что они боялись его, нет оснований. Сердился он незлобиво, обид не помнил — ни тех, какие наносили ему, ни тех, какие наносил сам. Правда, в хмельном застолье он был охоч стравить спорщиков, подзадорить на свару людей, неприязненных друг к другу, но и это тоже не могло быть причиной, почему и сестра и мать как-то униженно прощали ему недостатки и покорствовали перед ним. Жена Александра Ивановича была чумичка и не мирилась с его пьянством; его считали неудачником, и, возможно, потому бабушка и мама ни в чем ему не перечили, чтобы он не чувствовал себя еще несчастней. А он помыкал ими, как хотел, при народе куражился, поучал их.

На этот раз он заставил их выпить по полной рюмке водки, провозглашая излюбленный тост: «Со свиданием!» — и вдалбливая сестре Марии, что она должна принять Анисимова, ибо он на всю жизнь решил своей судьбы. Он угрожал, что перестанет считать ее сестрой, если она не послушается или будет понуждать мужа к разводу. Эти внушения он перемежал советом и Анисимову, чтобы он не очень-то вытягивал шею перед Маруськой, а тещу почаще приструнивал. То, что сестра и мать ммурились, не выражая своего согласия, оскорбляло его; он было собрался уходить, но передумал, одетый влез за стол, напал на Анисимова за то, что тот бросил государственное дело ради женщины («Вон Стенька Разин попустился для ради ватаги персиянской княжной, а не

какой-нибудь там простолюдинкой»), а когда Анисимов огрызнулся, то назвал его казенной душонкой и выбежал из комнаты, велел матери и сестре гнать Анисимова.

Лукерья Петровна только того и ждала. Выпитая водка оглушила бабушку: ей казалось, что она выдержанно обращается к зятю, а на самом деле она надрывно орала, и удивилась и оторопела, когда Анисимов промолвил:

— Ну чего ты кричишь на весь барак?

Брусникин запозднил на воздуходувке. Покамест шел коридором, слушая, как разоряется Лукерья Петровна, понял что к чему и, стукнув в дверь, пригрозил старухе, что вызовет ее на общее собрание барака, если она помешает дочери и зятю наладить свои отношения.

Лукерья Петровна подбежала на цыпочках к двери, сказала лебезящим шепотом:

— Авдей Георгиевич, ты уж извини меня, ведьмачью каргу. Маненькохватила и раззадорилась.

Быстро легли спать. Отец устроился на полу. Постелил тулуп, в изголовье положил овальный чемодан из фанеры, укрылся пальто.

### *Глава девятая*

Они сошлись, но ненадолго. Все решили раздоры, затеваемые Лукерьей Петровной.

Под влиянием ее наветов Мария сказала Анисимову, чтобы он собирался и уходил, поскольку мать у нее одна-разъединая, и, какая бы она ни была, ни на кого ее не променяет из мужчин. Да и не любит она его. И жизни у них все равно не будет.

К моему удивлению, он торопливо сложил свои вещи:

— Чем так собачиться, лучше век шляться в холостяках.

По приезде в Железнодорольск отец устроился рамповщиком на коксовые печи, где подружился с долговязым смологоном Султанкуловым. Султанкулов толкал смолу по смолотоку, отец тушил водой пылающий кокс, выдавленный из печи на рампу. Новая работа была вредная — газ, волглый жар — и опасная: сорвешься на рампу, усыпанную свежеспеченным коксом, — сгоришь. Однако отцу эта работа понравилась: отвечаешь лишь за самого себя, заработок полновесный, ежесменно литр молока, а если стараешься — премируют деньгами и одеждой.

Маму ужасала перемена, происшедшая в нем. То дело, которым он занимался в деревне, она находила все-таки на редкость ответственным и важным, по силам только тому, кто не желает никаких благ лично для себя и добивается их для всего народа. Она считала, что Анисимов, при всей его жестокости, порядочен, честен, и поэтому его назначение трудиться там, а не здесь, где его может заменить всякий здоровый человек. Велико ли умение поливать кокс из пожарной кишки?

Он признавал, что она права, но совесть в нем не просыпалась, как того желала мама. Напротив, он не скрывал радости, что вырвался отсюда — из сложностей, тревог, бессонницы.

— Я отдыхаю умом и сердцем, живу просто. В этом, Маруська, больше счастья! Может, для общества и урон, не знаю... Мне-то как свободно и славно! — утешал он себя.

За ударную работу отцу дали комнату на третьем участке. Я навевался к нему: идти туда нужно было пешком и долго, через металлургический завод. Не всегда отец пускал меня в комнату, хоть я и прихо-

дил с мороза и ветра: на стук выскакивал в коридор, и над его плечами вместе с дымным паром вываливался веселый шум мужских и женских голосов. Придавив туловищем дверь и распростершись на ее толевой, обсыпанной кварцевым зерном обивке, отец растерянно вглядывался в мое лицо, пытаясь определить, что сейчас думаю о нем, как я отнесся к тому, что у него гулянка, и решая, куда меня сунуть или как выпроводить. Частенько он заводил меня погреться к Султанкуловым; тут мною занималась Диляра, сестра Султанкулова. Это была тоненькая ласковая девушка в зеленом атласном платье и мягких красных ичигах. Мне нравилось играть с Дилярой в догонялки. Комнатная теснота ее не смущала: удирая, уворачиваясь, она порхала с кровати на кровать, по табуреткам, скамьям, по печи и даже взлетала на стол. Если Диляры не оказывалось дома, отец заталкивал в карман моего борястика горсть конфет и печенья и приказывал идти домой. Ему было не до уговоров: выскакивал он без пиджака, взопревший от самогона и пляски, окутывался на холоду туманцем, как после бани. Наверяд ли он опасался, что простынет, а спешил отделаться от меня просто потому, что не терпелось вернуться в кампанию.

Я уходил, толкаясь в сенях барака. Ждал Диляру. Здесь было холодней, чем в коридоре, но туда я не возвращался, чтобы не попасться на глаза отцу или кому-нибудь из его гостей. Бывало, что, так и не дождавшись Диляры, я убирался затемно восвояси. Может, я не умел обижаться на отца, привыкнув еще в Ершовке к его строгой бесцеремонности (еще суше, помню, он отсылал меня, совсем малыша, из колхозной конторы, когда я, соскучившись по нем, наведывался туда), а может, я больше бывал огорчен тем, что не повидал Диляру, — только возвращался я на тринадцатый участок неунывающий, и когда бабушка, вызнав, как мне погостилось у папки, начинала сокрушенно кудахтать, я не чувствовал себя несчастным, а лишь досадовал на то, что она хочет, чтобы я возненавидел отца. Своим желанием вырастить во мне ненависть к отцу она вызывала во мне лишь ненависть к ее ненависти. К самой бабушке у меня ненависти не было — для такого резкого чувства я был слишком мал, — но еще в деревне возникло в моей душе невольное неприятие всего, что исходило от бабушки.

Обдумывая себя, вспоминаю те дни, когда моя сыновняя тяга не находила отзвука в сердце отца, и это воспоминание не окрашено печалью не только по причинам, о которых уже говорилось, но и потому, что обратный путь домой возвращал мне волю сродни той деревенской, когда я один уходил в степь или на реку и был сам себе властелин и всему открыватель. Гулы, рокоты, шелесты, сполохи, вспышки металлургического комбината напоминали мне о том, как много вдруг образовалось у меня свободы, и я, подгоняемый ее веселой, неутолимой властью, шел на плоский свет — оранжевые окна в черных корпусах, в тех корпусах, где из клеток прокатных станов струится проволока, вылетают тавровые балки, рельсы, швеллеры, скользят полотнища листов, выплывают на волны рольгангов тяжкие плахи; все это железно, багрово, огненно, разметывает суметь, звучит, восхитает, наводит страх. Затерянный среди зданий, как муравей в пещере, ты все-таки не заробеешь, не повернешь вспять — ты, отчаянный, пытливый, будешь ходить и ходить вдоль металлического потока, пока подламывающиеся от усталости ноги сами не потащатся домой.

Однажды, перебарывая усталость, я добрел до здания, откуда начинался прокат. Сюда «кукушки» привозили на платформах стальные слитки. Электрический кран, прикусывая клещами макушки этих слитков, сажал их по одному в нагревательные колодцы; там слитки стоймя томили в жару и, тоже порознь, перетаскивали в слитковозы; слитковозы до-

ставляли их к валкам, которые яростно, в огне и воде, обжимали их и длиннущим брусом выкатывали на позванивающие ролики.

Я сообразил: раз слитки доставляются сюда в изложницах со снятыми крышками — значит, где-то неподалеку находится цех подготовки составов.

Впереди лежала темная равнина, просеченная красными колеями железных дорог. В первый миг почудилось, что рельсы раскалены, но тут же я заметил красные лучи, прямо и плотно врезавшиеся в небо. Их-то и отражали назеркаленные колесами рельсы. Лучи перемещались, двигаясь в мою сторону. В робости и любопытстве я добежал до лестницы пешеходного моста и едва поднялся на мост — увидел, что лучи высвечивают из сизых изложниц, в четырехстенной тесноте которых стоят огненные слитки и так прожекторно просаживают выстекленную морозом высоту.

По дороге, которой паровоз-«американка» провез изложницы, я добрался до огромного кирпичного корпуса. Как только я вошел под его гулкие своды, мне в глаза бросился кран, выпускавший откуда-то из своего железного тела круглые черно-масляные штанги. В нижней части штанг были прорези. Их-то кран и приближал к ушкам колпака, надетого на изложницу. Иглистая седая голова следила из кабины за штангами. Я радостно вскрикнул, узнав Петра Додонова, и, махая рукой, помчался к платформе, над которой навис кран с отвесно высунутыми задымившимися штангами. Внезапно кран отпрянул от изложницы, будто чего-то испугался, и, вбирая штанги, пролетел своими фермами над мной.

Вскоре Додонов был уже возле меня. Улыбаясь, сказал, что изрядно струхнул, углядев мальчишку, бегущего к платформам: бывают случаи, когда изложницы падают, а ведь слитки увесисты — семь, девять, даже двенадцать тонн. Снаружи было студено, да и здесь, в помещении, холодно. Но сатиновая спецовка на Додонове взмокла и пахла горячим потом.

С зеленым эмалированным чайником Додонов сходил за газировкой, и мы взошли в кабину крана, куда он еле-еле согласился взять меня на минутку.

Огненный воздух опьянил меня, привел в восторг, но к этому восторгу припуталась такая оторопь, что с замиранием в животе я приговаривал «ух» и прикасался руками ко всему металлическому, невзирая на предупреждения Додонова, что могу обжечься до волдырей. А едва Додонов показал мне, как в слитке кипит сталь, я так заегозил у него в руках, что он отдернул меня от смотрового оконца и поставил на пол; как я ни упрашивал его еще разок поднять меня к оконцу, он не согласился. Если бы он быстренько не ссадил меня с крана, я бы, наверно, не запомнил навсегда маленькую, острую, слепящую голову того слитка, чуть ниже головы, внутри слитка — полый купол, а под куполом, среди белой прозрачной тверди — кипящую сталь: скачки струй и роенные шариков.

Завод завораживал меня таинственностью, заревами, музыкой (он гремел, как тысячи таких оркестров, в каком кастелянша Кланька играла на трубе), страшной красотой машин, непрерывной работой железа, огня, электричества, пара.

При всяком подходящем случае я убегал на завод. Бродил наобум. Повсюду было интересно. К отцу на коксохим заглядывал редко. Отец запрещал: вредно, газ, еще чаютку схватишь. Из производственных помещений меня почти никогда не прогоняли: в те годы было привычным, что по цехам шляется ребятя, особенно беспризорники и кусочники. Не-

сколько раз я все-таки побывал в комендатуре заводской охраны, оттуда меня доставляли домой с вахтером.

Бабушка была довольна, когда я день-деньской пропадал где-нибудь, но для порядка хлестала меня веревкой из конского волоса. Я кричал, силясь выдернуть свою голову из ее коленей. Чтобы в бараке думали, будто ее тревожат мои отлучки, бабушка жаловалась соседям, что нет со мной сладу, что уродился я шатучим и малахольным в прадеда Петра Павловича. Она выказывала на словах то, чего не было в ее душе, но я не обижался: хорошо, что не держит возле себя, мне того и нужно! Я не обижался еще и потому, что притерпелся к ее неискренности.

Однажды мы с Костей Кукурузиным пошли на домну.

Владимир Фаддеевич заправлял паровую пушку. Мы стояли и смотрели, как он набивает глиняными ядрами ее ствол. Внезапно со своей площадки свистнул ковшевой Мокров. Рукой он звал Владимира Фаддеевича к себе. Владимир Фаддеевич отмахнулся, да передумал: уж очень озадаченно и загадочно прижмуривал Мокров глаза в такт взмахам.

Оказалось, паровоз только что подогнал посуду и в третьем ковше от него спал беспризорник. Кепчонка прожженная, сквозь дыры торчат волосы; лоскутная поддевка пропитана цементной пылью; подошвы прикручены электрическим шнуром. Нутро ковша футеровано — кирпич к кирпичу, как зерно к зерну в кукурузном початке, футеровка отликает металлически-черной эмалью и явственно дышит зноем; на губах беспризорника улыбка. Должно быть, отрадно спится в ковше! Неужели забрался туда вскоре после того, как вылили жидкий чугунок? Неужели он ночует в посудине?.. Так ведь...

Я увидел мчащийся по горновой канаве желтый чугунок; вот он вильнул в отводную канаву, скоро докатится до желоба и хлынет в чашу, где раскидисто спит беспризорник.

Мокров швырнул в беспризорника колошниковой пылью. Подросток мгновенно проснулся и быстро шнырял глазами, прикидывая, куда его перевезли. Но стоило Мокрову сказать: «Ну-ка, постоялец, ослобоняй квартиру, а то чугунок за шиворот плеснем», — как беспризорник мигом полез из ковша по толстой проволоке, вдевая ноги в специально накрученные петли, сел верхом на край ковша, потом спустился на лафет платформы, порхнул на землю и удрал, волоча свою проволоку, поперек железнодорожных путей.

Все дружно засмеялись и тут же помрачнели. Владимир Фаддеевич и Мокров, конечно, потому, что, не досмотри они немного, и сгорел бы человек, а им всю жизнь вспоминать и казнить, я и Костя потому, что это был такой же, как мы, мальчишка, и мы невольно представили себе до отчаяния похоже его гибель.

Тогда во мне отложилось первое чувство опасности, исходящей от завода, по которому я до того путешествовал с бесстрашным неведением. Позднее, в юности, это чувство не прошло: затушеввалось, хотя я и привык к заводу и постоянной опасности, когда проходил производственную практику на коксовых печах. Оборвыш, спящий в гладком кирпичном кратере, — эта картина дала в моей фантазии такие превращения: одно, давно забытое, приходило летом в часы, когда загорал, — из солнца, забравшегося в зенит, вытек ручей, и земля, залитая им, пыхнув, исчезла; другое, являвшееся ночами, когда мир кажется особенно беззащитным, устоялось и нет-нет да и знобит своей тревогой, — беззвучный длинный предмет, обросший стратосферным льдом, скользит на спящий город; вспышка, и все — города не осталось.

### Глава десятая

Мать запретила мне ходить к отцу. Она и бабушка говорили о нем презрительно, вскользь, намеками, и я никак не мог допытаться, в чем он сейчас провинился перед ними. Я вызнал это в семье Колывановых — от дяди Александра Ивановича, от крестной Раисы Сергеевны, от двоюродного брата Саши: мой отец стал распутным! Чуть не каждую неделю женится да разженивается. Недавно посватал сестру своего закадычного дружка Султанкулова. Диляра ответила: «Договаривайся с братом». А брат ни в какую:

— Для гулянок ты, Анисимов, годишься: и заводной, и слабо хмелеешь, и ловко пляшешь, и на балалайке играешь. А для семейной жизни ты не готов: не отбесился, добра порядочного не завел, денег не скопил на невесту.

Отец назвал Султанкулова байским недобитком, а Султанкулов его голодранцем, бодливым быком с обломанными рогами. Рассорились, подрались.

Дядя рассказывал это о моем отце, потешаясь. Он был вроде доволен, что его бывший зятек ударился в разгул, менял жен и что Султанкулов дал ему от ворот поворот.

— На татарушечку польстился,— сказал дядя, и я не понял, то ли он осуждал его за плохой выбор, то ли считал, что он набрался слишком много нахальства, коль сватал Диляру.

Крестная Раиса Сергеевна, улавливая в голосе мужа дурашливость, а также пренебрежение к моему отцу, ущемлялась. Анисимов-то не вам чета! Колывановы — ветродуи, пьянчужки, себялюбцы, а он — голова, в политике разбирается, серьезный. Вам бы лишь винищем глотку залить. Сбили мужика с пути-истины, теперь сами же позорите его, будто он хуже всех. Увидите: подурит и образумится.

Дядя не спорил. Боялся ее: такой галдеж поднимет, на базаре услышат, а то еще взвизгнет, побледнеет, брыкнется на кровать, отливает надо...

Хоть и защищала она отца, мне неприятно было ее заступничество. Я слушал ее частую четкую речь — будто шестерни вращаются — и вспоминал странное прозвище Чакала, которое дала ей бабушка Лукерья Петровна.

От Колывановых побежал к отцу. Я жалел его и одновременно терялся: он и вправду совсем другой.

Отец правил бритву, ширкая ею по хлопающему черному солдатскому ремню. Отец дорожил и ремнем и бритвой. Эти вещи были для него историческими: он выменял их на махорку в освобожденном от колчаковцев Омске и на сухую снял тогда с лица юношеский пушок. Он любил и подготовку к бритью, и бритье, любил испытывать остроту бритвы на волосе, выдернутом из чуба: положит на лезвие, дунет, если волос надвое — скоблись. Ему доставляло наслаждение заливать помазок крутым кипятком, пенить в медной чашке мыльный порошок и накручивать облака пены на пробитое щетиной лицо. Бреясь, отец всегда красовался, даже если глазел на него один я.

Мама ругала его за пудру:

— Ишь ты, щеголь. Как князь какой-нибудь. Скрытый в тебе вельможа сидит. При чинах и богатстве ты бы весь расправлился.

Мой приход не обрадовал отца. Было похоже, что явился я некстати. Он хмуро намылил шею, подбородок, щеки. Первые движения бритвой он обычно делал от ямки меж ключицами, заводя лезвие к шее снизу, от груди. Теперь он понес бритву к кадыку, не наклоняя ручку, роговую, двупланчатую, придерживаемую мизинцем. Его пальцы колебнулись.

Он дал им успокоиться, отвердеть, опять понес бритву к кадыку и вдруг отбросил ее — отбросил панически неуклюже, каким-то спасающимся жестом. Потерянный, чем-то страшно удивленный, встал, пошел к рукомойнику, долго умывался.

Я не понял, почему отец отбросил бритву, но испугался. У меня что-то случилось с головой. Я хотел сейчас же додуматься до того, что меня напугало, но мешала какая-то застопоренность в соображении.

Такой же затор в голове был у меня прошлой осенью, когда на неделю зарядил моросливый дождь и вокруг барака была грязь, ее нанесло муравьиное множество участковых и земляночных людей, а также золотарские кони и повозки.

Я вышел на крыльцо. Подле него топтались на доске Борька Перевалов и Толька Колдунов. Мордашки приветливые, проказливые...

— Серега, припри мячик из-за будки Брусникиных, — приказал Колдунов.

Он любил командовать, а я не переносил, когда мной командовали. Бабушка затюкала меня своими командами. Наверно, по ее вине, как только кто-то что-то мне велит сделать, я чувствую поташнивание и могу взбелениться, как последний психопат. Попроси без грубости, хитрости и занскивания — вот что я принимаю спокойно и покладисто.

— Сам припри. Не барин.

— Чё, трудно? Чё, лопнет пузо?

Кажется, на драку нарывается Колдунов? Еще раз прикажет — отлуплю.

— Мы, Сережик, босиком. Мы об стенку играли. Нюрка схватила и закинула. Говорит, Авдей Георгич из ночной, спит. Принесешь? А?

Борька Перевалов — человек, не то что Колдунов, просит по-хорошему. Что ж, пожалуйста, принесу.

Метра на три дальше мячика я заметил лужу. В луже лежал конец провода, свисавшего со столба. Я уже совсем подошел к мячику, собрался наклониться, но что-то вступило в меня, ноги прямо-таки примагнитились, будто бы они были в железных ботинках. Хотел отпрыгнуть назад, но тут же забыл об этом и никак не мог вспомнить, хотя и трепетал от страха, что если не вспомню, то умру. Тут судороги начали меня опрокидывать. Попробовал сообразить, что это со мной, но такое онемение охватило мозг, что я покорился силе, гнувшей меня, и упал навзничь. Ноги сразу расковались и сами поджались к животу и боялись касаться земли. Из соседнего барака выскочил мужчина в резиновых сапогах, поднял меня, отнес на крыльцо под хохот Колдунова и Борьки. Он выругался, посмотрел на оборвавшийся провод. Я все еще не понимал, какая связь между проводом, мною и Борькой с Колдуновым.

Подвох Борьки Перевалова и Тольки Колдунова мог стоять мне жизни — об этом я узнал лишь вечером. То, что отец хотел зарезаться, до меня дошло тоже не быстро, а когда дошло, то я не находил себе места, пытаюсь избавиться от видения крови, которая хлестала из разрезанного горла отца. Странно я устроен: зачем надо путаться в том жутком, чего не случилось? Может, со всеми то же происходит после того, как они избежали чего-то страшного или кто-то спас их?

Я рассказал матери, как отец чуть не зарезался. Она стала сама не своя. Металась по комнате.

— Прекрати кидаться, — сказала бабушка. — Сдох бы, дак сдох. Ни дна ему, ни покрывки, ироду.

— Мама, да ведь если он решит себя, весь век казнить. Из-за меня ведь Судьбу из-за меня изуродовал. Да еще зарежется. Ох, бедная моя головушка. Из-за Сережи душа еще пуше страдает. Мыкается он между мной и папкой. Тебе-то, мама, что? Не приголубишь внука. Даже через



комбинат не проводишь. Взрослых вон режет паровозами почем зря. Думала — вызову тебя, спокойна буду за ребенка...

— Я с него глаз не спускаю. Да разве за ним уследишь? Он от самого черта спрячется.

— Вины твоей ни за что ни перед кем не было и не будет?

— И не было и не будет. Замолкни, пока кочергу на тебе не погнула. Я своих ребятешек выводила. Никого не просила. Выводи и ты своего. Я от своих еще никак не опамятуюсь.

Для переезда на третий участок мать наняла угольные сани. Извозчик и Костя Кукурузин еле взгромоздили наш сундук в ящик, притороченный к саням. Дорога, ведущая к бараку, была ледяная: по ней посили воду из колонки. Когда сани, скребя полозьями о лед, покатались, из барака выскочила бабушка. Она стояла на высоком крыльце, грозя, что нам отольются ее горькие слезы: господь, хоть он и многомилостив, не прощает, когда дети бросают родителей.

### *Глава одиннадцатая*

Отец сидел перед самоваром. В жестяную кружку, клокоча, бил кипяток. Едва я заскочил в комнату и крикнул, чтобы он шел носить вещи, отец закрыл кран и стиснул в ладонях кружку. Ладони жгло, но он не отнимал их от жести. Потом встал, поджался, будто живот заболел, ткнулся головой в черную жестяную обшивку печного барабана. Это испугало меня:

— Папка, ты что?

Не шевельнулся.

— Па-апка...

Он, шатаясь, вышел на улицу, к саням.

Весь вечер мать весело убирала комнату. Отец был хмур. Она, казалось, не замечала этого, но когда закончила уборку и оглядела выскобленный косарем пол, высокую от перины, ватного одеяла и подушек кровать, подсиненные задергушки на окне, карточку брата Александра Ивановича, раскрашенную цветными карандашами, то навзрыд заплакала. Я ждал, что отец будет успокаивать ее, но он как сидел у стола, перебирая свои старые документы, так и остался сидеть. Тогда я тоже заплакал и долго ревел вместе с матерью, а он рассматривал справки, грамоты, удостоверения и, если кто-то из обеспокоенных барачных жителей стучал в дверь, не отзывался.

Я не слышал утром, как он уходил на коксохим. Мать кормила меня затирухой и гладила по волосам: так она выражала жалость к себе и ко мне. Я спросил, почему вчера он не пожалел нас, и мать, внезапно начав задыхаться, сказала:

— У него закаменело сердце.

Близ барака грохотала камнедробилка. Скука пригнала меня сюда — мать ушла на работу. Сквозь прорезь дощатой галереи сыпался щебень. Я вспомнил о том, что сказала мать, и весь день мне хотелось помочь отцу, чтобы его сердце раскаменело.

Он брел со смены в сумерках. Ветер поигрывал им, словно резиновым зайцем. Я распахнул для отца дверь в барак, после обогнал и отомкнул комнату. Он проходил равнодушно, слепо, будто двери распахивались собой.

Покамест он пил из самовара кипяток, я вился вокруг стола. Папке плохо. Это мой папка. Ему должно быть хорошо. И если он узнает, как мне жалко его, ему будет лучше и сердце станет мягким и добрым.

Отец меня не замечал. Это было хуже колючей проволоки, которой оцепляют котлован, где заключенные долбят скальник. Между проволокой пролезешь, а тут бегай не бегай — ничего не выбегаешь.

Огонь в печи погас. Комната нахолодала. Отец присел перед топкой, колот молотком сверкающий уголь. Я собирал брызги угля, сыпал в ведро. Он похвалил меня за аккуратность. Я воспользовался его вниманием и спросил, что делается с человеком, у которого окаменело сердце.

— Помрет.

— Ты не помрешь! — крикнул я в отчаянии.

Он мстительно поднялся во весь рост.

— Кто тебя подучил?

Я растерялся.

— Кто подучил?

Я не понимал, чего он требует.

— Бабка подучила, мамка?

Почему он взбеленился? Такой обидой мне заполнило грудь, что я дерзко сказал:

— Никто. Сам.

Он сдернул с крючка колчаковский ремень. Я был в пальто. Хлестал он меня плашмя, и мне не очень было больно, но я заливался благим матом: ведь я тревожился о нем, а он бьет.

Мать, наверно, предчувствовала что-то неладное: с порога она бросилась к сундуку, на котором я играл в камушки, общупывала меня, словно никак не могла поверить, что я цел. Она углядела на моих щеках сухие потеки от слез и, гневная, повернулась к отцу:

— Ты?

— Я.

Завязалась ссора. Мать говорила, что он не смеет трогать меня даже пальцем. Он говорил, что и впредь будет пороть, если провинюсь.

— Ты лютуй над собой, а не вымещай на ребенке.

Отца возмущало, что она пытается присвоить себе все права на меня. Именно он, прежде всего он займется воспитанием сына, опираясь на строгое представление о порядке в обществе и о том, какими должны расти пролетарские дети.

От их крика и ярости некуда было деться. Я прилег на сундук и закрыл ладонками уши. Засыпая, слышал, как они укоряли друг друга за свою будто бы сломанную жизнь. Они бранились часто, и все о том же, и не уставали от этого, и никак не могли примириться с тем, что стряслось.

На свое горе, я потерял ключ от комнаты, и с тех пор родители, отправляясь работать, оставляли меня взаперти. Про вражду между ними я забывал в блужданиях по цехам, и вот теперь я мечусь по комнате, как жаворонок под коробом. К вечеру изматываюсь, ставлю в два этажа табуретки, забираюсь на полати и сижу не то в неприкаянности, не го в дреме до возвращения родителей.

Мать боялась, как бы я, забираясь под потолок и спускаясь оттуда, не упал, и велела отцу приколотить к доскам деревянные бруски. По брускам стало легко подниматься к лазу и выскакивать на полати.

Вскоре — может, через день, а может, через неделю, — уже в сумерках, не зажигая электричества, я забрался на полати с веревочным обрезком. Из потолка торчало ушко винта: вероятно, к нему кто-то, живший в комнате до нас, пристегивал ремень зыбки. Полатей тогда еще, конечно, не было. Вдоль стены стояла кровать, и зыбка как раз спускалась к изголовью, и ее удобно было подергивать, когда плзкал младенец.

Я протянул конец веревки через ушко и укрепил. На другом конце связал петлю, тоже старательно, неторопливо, и продел в нее голову.

Осторожней обычного я ступал на бруски, спускаясь по стенке. Петля начала заворачивать подбородок. Я замер. Руки мертвой хваткой сжали брусок. В ладони врезались шляпки гвоздей. Но я зажмурился и оттолкнулся.

Была ли боль, было ли удушье — забыл. Совсем забыл и то, как, повиснув, летел к противоположной стенке. Но осязаемо помню угол бруска, на который, летя обратно, попал босой ногой и схватился пальцами за неровный, колкий, волокнистый выступ этого угла, да так схватился, что удержался, а потом уж извернулся и поймался рукой за ближний брусок. Отец без охоты готовил бруски из еловой плахи. Колот топором, не остругивал, лишь делал затесы и отсечки.

Я выбрался на полати. Потрясенно сидел до прихода матери. Снимая меня оттуда, она как обескровела: серое лицо, черные губы.

Этим же вечером отец выкрутил из потолка винт и сломал полати. В семье установилась глубокая тишина. Непривычно, удивительно было выражение виноватой задумчивости на лицах родителей. А то как ни взглянут, как ни повернутся, постоянно у них на лицах прихмурь, уязвленность, ожидание наскока и желание дать отпор, не заботясь о том, чем все это закончится.

Однажды утром, проводив отца на работу, мать наняла грузовик, и мы возвратились на тринадцатый участок.

Бабушка Лукерья Петровна прытко таскала вещи и торжествовала: куда не денется. Так угодно пресвятой богородице и Михаилу-архангелу. Они забрали у нее за людские грехи мужа, трех маленьких детей, сына Александра Ивановича, но они милостивы и оставили в утешение дочь — полицу-кормилицу, да внука, который, когда возрастет, тоже не бросит бабушку, будет беречь и содержать и похоронит в красном гробу и с духовым оркестром.

Когда стаяли снега и по сырой, еще холодной земле разветвились клейковатые тропинки, мать повела меня на базар. Она была нарядная: туфли с калошами, темно-синий шевиотовый костюм, белый вязанный берет. И я был одет по-праздничному: бескозырка, бушлат с якорем на рукаве, костюмчик из ворсистого сукна. Картонная основа якоря была обметана малиновым шелком, и я нюхал шелк, пахнувший нежно и прочно.

Дорогой она сказала, что мы идем в народный суд, где ее должны разводить с Анисимовым. Хотя отец ничем не напоминал о себе и я не нуждался в нем, мне почему-то стало страшно, что они окончательно собираются развестись. Наверно, таилась в душе надежда, что они позабудут про обиды, соскучатся, простят друг другу.

Здание суда возвышалось на гребне горы. Оно было втиснуто меж магазином скобяных изделий и мастерской, где чинят гармони и где к тому же еще помещался часовой мастер.

Отец вышагивал по высокому крыльцу. На голенищах хромовых сапог прядали отсветы судебных окон. Кавказский ремешок перехватывал в поясе косоворотку. На черную пиджачную спину были кинуты концы кашне. Ослепительная белизна кашне подчеркивала дегтярную коричневую щек, вспушенный расческой над лбом смолевой чуб.

Какой он красивый!

Мать крепко держала меня за руку. Я вырвался, припустил вверх по косогору. Отец махнул навстречу мне через все ступеньки. Подхваченный им на бегу, я смеялся.

Он купил стакан урюка. Я обдирал зубами оранжевую вязкую кожицу, разгрызал косточки, добывая сладкие ядрышки, а он говорил, что

собирается уехать в Среднюю Азию. Города там сплошь в садах. Полным-полно винограда, яблок, персиков, грецких орехов. Базары богатые, красочней жар-птицы. Всё отдают почти задаром, кроме персидских ковров. Уехать. Поселиться. Счастье. Мамка пусть торчит подле Лукерьи Петровны, раз ей нравится тратить свою молодость на эту своевластную старуху. А если пожелает переселиться к нам — всегда примем.

Я размечтался о Средней Азии. При упоминании о бабушке невыносимой показалась жизнь в Железнодорожке: тычки, ярость, корёный хлеб.

У крыльца мать подала мне мороженое. Отец прохаживался около нас, и она, склоняясь и закрывая бушлат газетой, как бы не закапал мороженым, шепотом выведывала, о чем мы с ним разговаривали. Я не смог умолчать о Средней Азии. Мать грустно усмехнулась:

— Дальше вокзала не уедешь. Коль он не довез тебя до машино-тракторной станции... Через пруд переправились, и обратно с тобой вернулся... Ни в какие Ташкенты сроду не увезет. А увезет — горюшко будешь мыкать. Не прибежишь домой, там и сгинешь.

Судья спросил, с кем я пойду жить. Перед этим мне велели встать в проходе между длинными желтыми скамьями.

Я взглянул на отца. В его глазах надежда, ласка, тревога.

Я потоптался на толстой половице и сел возле матери.

Со стороны Железного хребта неся перевальный ветер. Он был твердый, неотвязный, гнал нас с многоглавой базарной горы.

Мать должна была радоваться, что ее развели, что я с нею, а она, семена по склону, все кручинилась, что я теперь безотцовщина и что не будет у меня настоящего детского счастья, если даже она определится за сознательного человека.

## Глава двенадцатая

В седьмом классе меня оставили на осень.

Я удивился: не то чтобы я забыл, что у меня были плохие отметки по алгебре и географии, но надеялся, что хорошо выдержу экзамены и за год мне выведут удовлетворительные отметки. А забыл я о том, как вел себя на уроках алгебры и географии.

Я сидел один на первой парте среднего ряда. И когда в класс вбежала математичка Бронислава Михайловна, всегда опаздывая и что-то не успев дожевать в буфете, я пискливо, с торжественной размеренностью произносил, подражая ее голосу:

— П'ятью п'ять — двадцать п'ять.

Я не знал ни жалости, ни меры — наверно, потому, что она несуразная, на бородавках у нее волоски, не умеет обижаться, мужа у нее нет, лохматая голова посажена прямо на туловище,— еще потому, что мои жестокие и неумные проказы потешали соучеников.

Географ Тихон Николаевич тоже обычно запаздывал. Его твердо сомкнутый рот, впалые щеки навели на мысль, что он в противоположность Брониславе Михайловне ест мало, может, и не каждый день. Также был чудак. Ожидая, когда наступит тишина, он командирски прямо стоял на кафедре. Стриженный. Скребет за ухом, а в это время дует, как в дудочку, узко и длинно складывая губы. Не здороваются с классом подолгу; тишина уплотняется, давит, становится нечем дышать, словно школа опустилась в земную глубину. Чтобы освободиться от этого чувства, я оборачиваюсь к классу, скребу за ухом, дую, как он. Географ велит выйти. Не ухожу. Рвет за руку — сопротивляюсь. Открывает дверь, вместе с

партой вывозит в коридор. Получив от директора взбучку, некоторое время сижу смиренно, и тогда Тихон Николаевич почти поет, объясняя материал, и не преминет упомянуть про Кулунду, Олекму, Белорецк, Великий Устюг, Эльтон и Баскунчак. Звучание этих слов трогает его до слез. И тут иногда я вдруг не выдержу: либо скрою рожу, либо стрельну по нему пулькой, согнутой из медной жилки.

На экзаменах кого-то вытягивали «канатами», а меня топили. Тот же географ целый час гонял по карте. Отвечал я бойко, с письменной контрольной по алгебре справился и все-таки летом должен был посещать подготовительные занятия косенным переэкзаменовкам. Мать умоляла меня не пропускать подготовительных занятий. Хотя я и считал, что со мной поступили несправедливо и что все равно могут оставить на второй год, я начал склоняться к тому, что, так и быть, уважу мать, но накануне первого же занятия ушел на рыбалку с барачными товарищами.

Наш огромный пруд сначала подпирала плотина, сооруженная между станцией Железной и левобережным полуостровом, потом возвели вдалеке от города другую плотину, а прежнюю затопило водой. Порыбачить у слива второй плотины, которой я еще не видел, и собрались ребята.

Идти до трамвая долго, ехать на нем того дольше, а после снова долго идти. Решили топать через горы, напрямик. Тревожились только, что нас встретят на перевале и погонят обратно парни с одиннадцатого, а потому приготовили — и для острастки и для защиты — поджигные наганы, ножи, рогатки, камни. Никто, однако, не задержал нас на перевале. И на самом одиннадцатом участке ни одна ватага не осмелилась напасть: мы шествовали слишком открыто и дерзко. Кроме того, время было дневное, около землянок, домов и барачных хлопотали по домашности женщины; враги, наверно, стеснялись при них налететь на нас. Ребят из соцгорода мы не очень-то остерегались: они, как мы, воевали с одиннадцатым за горы, только за свои — черные, ворончатые. Сорванцов со Шитовых и Карадырки мы боялись, но и они побаивались нас: если они нападут на нас здесь, мы станем их ловить и лупцевать, когда они будут приезжать покататься на пароме. Мы добрались уже до места, откуда виднелась в котловине тюрьма — белая стена, белые здания, красные трубы, коричневые зонты на окнах, — и всего лишь нам пришлось позубатиться один раз с братвой, жившей в поселке рядом с тюрьмой. Довольные везением, мы валялись на солнцепеке. Свобода! Опасности за спиной. Горы ничьи. Пеший посторонится, конный быстро проскачет, орава молча минует. Радость принесло еще и то, что мы вырвались из чадного воздуха; на тех, на наших, горах росли только полюнок да бала-лаечная трава, а тут синеют колокольчики, желто цветет карликовая акация и среди резучки и гусиной травы голубыми стежками петляют в низинах незабудки.

Поблуждав меж холмов, мы прибтели к старице, вышли ее лягушачьим берегом к реке.

Солнце скатывалось к западу, когда мы, просушившись, срезав удилица и накопав червей, подались к плотине. Чем ближе мы подходили к ее затвору, тем чаще попадались по берегу рыболовы. Перед началом слива, где вода, сваливаясь с бетонного желоба, вздымала облака буса и оглушительно шумела, удили военные — лейтенант и несколько красноармейцев, почерневших на ветру и зное. Приткнуться здесь было негде. Мы потолкались, восхищаясь их добычей. Течение шевелило насаженных на кордовые нити сазанов, язей, красноперок, лобанцов. Уходить отсюда не хотелось. Я переплыл на железобетонную глыбу, слегка выступавшую из потока. Макушка глыбы была крутая и такая шишкастая, что было больно и неловко стоять, но я устроился на ней. Вася приткнул-

ся возле колючей изгороди, все другие ребята подались по щебеночному мысу обратно, к тальникам.

Сквозь зеленатоватую кипень я различал живое золотое коловращение. Я кидал туда крючок, надеясь, что хапнет сазан. Леску быстро сносило, и, едва я подтягивал ее на себя, следовала поклевка, и я вытаскивал всего-навсего холоднящего ельчишку. Я снял поплавок, но никто из золотого рыбного коловращения, происходившего в воде подо мной, по-прежнему не цеплялся, зато чуть подальше я начал выуживать со дна крупных подвязков, каких раньше не случалось ловить. Потом стали брать окуни и попался большой рак. На кулан рака не посадишь, и я недолго думая затолкал его за майку. Рак колот мне брюхо хвостом. Терпеть было можно. Когда я решил, что рак утихомирился, он так прихватил клешней кожу, что я упал и распорол ногу.

Рана была глубокая. Пошел искать Саню, чтобы у него взять сахару — засыпать рану.

Ребята, сидя на мураве у костра, играли в очко. Тимур банковал, Саня брал карту.

— Шурка, где твой мешок?

Гринька-воробишатник увидел рану.

— Ого, кровищи!

От испуга Саня на миг оглянулся, но не успел посмотреть на мою рану — наверно, остерегался, как бы Тимур не смухлевал.

— Бери карту себе, — сказал Саня Тимуру.

— Погодите. Дайте комочек сахару. Быстро.

Голос у Васи был властный.

Кто сгряз свой сахар по дороге на плотину, кто взял одних голопузиков — дешевой круглой карамели, у Тимура и вовсе сахара не было. Саня молчал и не сводил глаз с колоды карт, которую держал Тимур.

— Шурка, не жмотничай. Двоюродник ведь ногу рассадил. Где мешок?

— Катитесь вы... Тимур, бери карту.

Тимур выкинул к королю семерку и десятку и загреб ладонью серебро, лежавшее на траве.

Саня вскрыл свои карты. Он играл втемную. У него было недобор — пятнадцать очков. Взвился, вопил, что, если бы мы не приставали к нему с проклятым сахаром, он бы снял банк.

Вася повел меня в поселок. Там сердобольная старушка промыла мою рану и привязала к ней лист подорожника. Эта же старушка шепнула нам, что в поселке директор металлургического комбината Зернов. Сейчас он ужинает у начальника плотины, а ночью ему устроят сазанью охоту. Как вода перестанет галдеть — значит, закрыли шлюзы. Тогда река ниже шлюза отхлынет от берегов и можно поживиться рыбкой под кустами, в норах и ямах, а особенно на железобетонном лотке. Мы поверили этому, когда из зоны, забранной в колючую проволоку, никелем сигнальных рожков блеснул сквозь темноту автомобиль Зернова.

Мы возвратились к костру. В ведре закипала уха. Саня невинно щерился, встречая нас.

Боря Перевалов дул в пятку Гриньки: под веселый хохот брюхо Гриньки вздувалось, как футбольная камера. Братья Переваловы любили потеху. Это был их аттракцион.

Съели уху. Легли впокат. Из мглы набросилось комарье. Уснули под рокот водобоя. Разбудил всех Лелеса Машкевич:

— Хлопцы, кто-то в тальнике лазит.

— Лось, — сказал Тимур. — Тебя ищет на рога поддеть.

Оказалось, в тальнике лазил дядька и чего-то шарил внизу.

— Дураки! — догадался Вася. — Не шумит. Плотина не шумит.

Он побежал к плотине, я поковылял за ним.

Над желобом вперекрест висели лучи прожекторов. В алюминиево-сером сиянии прыгал по железобетонному скосу гигант в броднях и кожанке. Он метил палкой по рыбине, но мазал — взрывались брызги. Прекратив преследовать эту рыбину, он кинулся за другой, с шелестом несшейся в тонком гладком потоке. Палка гиганта вцепилась как раз в то место, где торчал гребневой плавник, рассекавший воду. В следующее мгновение, сделав придавливающее движение ногой, он выхватил изпод нее сазана, победно потрясая им в услужливом свете; чешуя сазана переливалась, как кольчуга.

На краю обрыва стояли зрители: охранники плотины вперемешку со штатскими. Оттуда спустили корзину, и Зернов бросил в нее свою добычу.

— Рискну, — сказал Вася.

— Турнет.

— Подумаешь, хозяин!

— Подумаешь, да не скажешь.

— Была не была!

Вася нырнул под проволоку. Помогая себе колом, прошел вдоль яра и прыгнул на водоскат. Сверху кто-то приказал, чтоб он покинул запретную территорию.

— Для кого запретная, а для кого и нет.

На обрыве замешкались с ответом, и Зернов засмеялся и разрешил Васе остаться, только держаться в сторонке.

— Договор! — сказал Вася.

Они находились словно на дне ущелья. Оба погнались за рыбинами, и оба неудачно. Кто-то на обрыве увидел сома, который скатывался со стороны затвора, и крикнул Васе, а Вася не поверил, но, когда сом юлил мимо, все-таки ткнул его острием кола, да, должно быть, слабо, получил по ногам и растянулся. Еще стоя на коленях, вдруг ударил по чему-то и упал плашмя. Весь мокрый, притиснул к забору сазана, из которого текла молока.

Мне не терпелось попасть на водоскат. Я дрожал от азарта. На мое счастье, на мысу появился Лелеса; я велел ему караулить сазана и с ходу убил стальным прутом крупного молочника, более крупного, чем убили и Зернов и Вася. Наверху возмутились, потребовали, чтобы я кинул молочника в корзину, и я кинул, а про себя прибавил: «Чтоб вы подавились...» Потом мы с Васей мазали, а Зернов глушил за рыбиной рыбину. Он борзо бегал по водоскату. Преследуя мощного плоскоголового сома — тому вздумалось подняться к шлюзу, — Зернов наскочил на нас. Мы полетели кувырком. Сом увильнул в бучило. По каждому из нас, пока мы вставали на ноги, Зернов метко шарахнул брызгами. С этой минуты его рыбоубойный азарт иссяк.

Прежде чем взойти наверх, он распорядился натянуть сеть на краю слива. Скоро в воздушном прозоре между прожекторами заскользил по рельсам кран, полностью опустил затворы, и плотина смолкла. Вслед за схлынувшей водой среди водорослей, которыми порос желоб, заскакало, заскользило, заюзило множество всякой рыбы. Я убил головля с сазаном, тяжелых и длинных, и заторопился к Лелесе. Охранник, державший конец сети под обрывом, посторонился, а обратно не пустил. То же он проделал и с Васей, добывшим пару сазанов и окуня-горбуна. Зернов громоздился на яру, а те, что недавно стояли там, все были внизу, собирая в мешки и корзины отборную рыбу. Дно реки открывалось. В его тине и слизи потрескивали хвостами раки, мельтешили мальки.

Лелеса полез собирать раков. Он наполнял ими свои брюки, завя-

занные узлом в штанинах. Вася брел вдоль козырька водоската, намереваясь взобраться на него; рядом торпедировали сеть сазаны.

Я шел на берег — занемела распоротая нога. Брезжил рассвет. Крест из прожекторных лучей начинал терять свое тугое световое натяжение. С того бока плотины, куда упирался край пруда, потягивало притуманенным утренником.

Собрались у костра уже при солнце. Все были счастливы, чумазы, говорливы. Никто не остался без добычи. У Сани Кольванова была удача на налимов, Переваловы взяли в омуте сома, Тимур Шумихин схватил в калужине чуть ли не метрового шереспера, которого со вкусом называл жеребцом. Тимуру завидовали даже мы с Васей. Такой был притягательный шереспер: чеканная серебряная чешуя, желтые глаза, стальной с проголубью хвост. Мимо нас шли люди, тоже счастливые, чумазы, говорливые. Пронесли рыбу в плетенках, ведрах, фуражках, подолах, на тальниковых рогатулях.

Опять раскатывался пышный гул водобоя. Ветер взвихривал вершушки раки. Река ширилась, мутнела, замывая истоптанное дно и таща мертвую рыбу.

После купания мы кормились на пойме кисляткой и луком-слезуном. Плоские сочные перья лука и его цилиндрические ярко-белые луковицы не вызывали слез, но своей сладкой горечью подирали во рту.

Раньше, на лугу ли, на лесных ли полянах, я любовался лишь цветами, а траву пропускал, видел ее вскользь, сплошняком. Без солнечных лент, без росы, без колыханья для меня не было в ней красоты. И вдруг, когда я полз на четвереньках, меня ошеломила красота травинки с зеленым, многоглавым усатым колосом. Лелеса, мечтавший стать врачом, изучал растения и собирал гербарий. Он сказал, что это «костер мягкий». Я тут же обнаружил вокруг тьму разных злаков: крапчатых, узорных, пушистых, вееровидных, мохнатых, фиолетовых, синеньких, зеленых с оранжевым... Сказочно звучали для меня их имена: гребенник, вострец, мятлик, бескильница, свиной, келерия, метлица. От удивления перед травами и от радости, что открыл их для себя, я испытал разочарование: как же я был равнодушен, слеп и пуст, коль не замечал их!

От того, что внезапно мне открылось, я увидел себя не крошечным, бестолковым, несуразным, ничего не значащим среди взрослых, каким представлялся себе еще вчера, а человеком заметным, способным понять что-то очень важное и, должно быть, поступать серьезно, прекрасно, независимо.

Ребята разбрелись по лугу.

Я ощутил приток душевного освежения, глядя на однокашников: наверняка и в них есть то, что я постоянно пропускаю. Почему-то зачастую каждого из них я воспринимал либо бездумно, либо по отдельным свойствам: Вася добряк, Колдунов горлопан, Саня слабохарактерный, как покойный Александр Иванович, Лелеса мамси, Тимур ловчила, Переваловы молодцы. Вот и все. С горьким разочарованием подумалось мне об этом. Но вскоре я почувствовал, как из этого разочарования возникла надежда, покамест смутная, но отрадная, — что мне долго будут внезапно открываться в людях новые черты и что я сумею понимать их, теперешних моих товарищей, иначе — сложнее и правильной.

Чтобы рыба не протухла, мы натолкали ей в жабры крапивных листьев и завернули ее в лопухи. Лелеса хотел донести раков живыми, он сложил их в котомку, с тошной тщательностью заворачивая каждого в сырой мох.

В поселке на поляне возле каменного коттеджа расположилась мужская компания. Босолапый Зернов стоял на коленях перед чугунной



сковородой. На сковороде розовым холмом громоздилась жареная сазанья икра. Зернов держал в кулаке стакан с водкой и, как раз когда мы остановились, мерно и звучно выпил. Он откусил от луковицы, съел лодочку рыбы, тыча им в крупную соль, а потом уж принялся за икру, поддевая ее деревянной ложкой. Мы глазели, глотая слюнки.

Седая женщина выставила на подоконник коттеджа полированный ящик, передняя стенка стеклянная. Тимур шепнул:

— Радиоприемник. У горного инженера в комнате такой же.

В приемнике засвиристело, едва женщина начала крутить черную вертушку. Она натыкалась на чужие языки, после ворвалась музыка, она струилась и петляла, как огненная проволока на прокате, затем приемник булькнул, теряя музыку, и кто-то громко, уже по-русски, стал говорить о кораблях, потопленных немецкими подводными лодками... Я не разобрал, чьи корабли потопили фашисты, и обратился к Тимуру. Тимур тоже не разобрал и спросил Гриньку-воробишатника, а тот ткнул локтем под бок Лелесю:

— Чьи корабли?

Лелеся огрызнулся:

— Дайте послушать.

В компании Зернова кто-то промолвил пересохшим голосом:

— Война.

Зернов перешагнул через сковородку и побежал к своему черному автомобилю.

Мы шли домой полубегом. Шли сбитно, почти впритык друг к другу, будто беззвездной ночью да еще через кладбище, о котором наслышались всяких ужасов. Вася угрюмо помалкивал: его старший брат Дементий был командиром пограничной заставы на западе. Старший брат Колдунова танкист, служил в Белоруссии. Отец Переваловых на финской получил тяжелое ранение в грудь, долго лечился и никак не мог поправиться, но они твердо верили, что и такого его возьмут в армию: храбрец, сержант, орденоседец. (Правда, их больше всего беспокоило, как бы его не направили в нестроевые и не стали дразнить интендантской крысой.) Тимура отец беспощадно бил за малейшую провинность, и Тимур всегда мечтал, чтобы отца — он был монтером — послали куда-нибудь надолго в колхоз проводить электричество. Теперь же Тимур кручинился, что отцу не миновать гибели: злых, слышал он, всегда убивают на войне.

В эти часы, когда волнение гнало нас в Железнодорожск, я боялся остаться без матери: ее обязательно мобилизуют — она окончила прошлой осенью курсы медицинских сестер. Остаться мне с Лукерьей Петровной?.. Замордовала она меня совсем, а Саню Колыванова жалела: «Внучонок ты мой несчастненький, сиротка» — и чем ласковей обращалась с ним, тем сильнее лютовала надо мной. У меня не было зависти — я сам жалел Саню. Но я досадовал, зачем она и он закрываются и не пускают меня, когда сдят, а потом бессовестно лгут, что не закрывались на крючок: ведь мне на дух не падо ни молока, ни мяса, ни сливочного масла, ни риса, обожаемых ими.

### *Глава тринадцатая*

Тревожась за собственную судьбу, я успокаивался, вспоминая Костю Кукурузина. До последнего времени он находился в военном училище под Москвой. Он не собирался быть кадровиком, но согласился попутить в училище. Владимир Фаддеевич спросил Костю по междугородному телефону: «Трудно тебе, сынок? Не по призванию ведь». — «У меня, папа, рессорная натура, — отшутился Костя. — Сколько ни нава-

ливай — выдержу. Призвание подождет. Скоро оно не понадобится. А вот то, чему учусь, пригодится, поэтому о себе я не больно-то думаю».

Я успокаивался от мысли о внутренней прочности Кости, и еще я думал: кто-то был дальновидным, коль затягивал серьезных парней, как он, в военные училища!

Об отце я не беспокоился: было безразлично, призовут его в армию или нет. Лишь позже, когда он попал на фронт и стал воевать, мое сердце нет-нет да и сжималось в тревоге: что с ним, не угодил ли он в плен, а то и лежит где-нибудь мертвый, непохороненный...

Бабка со Второй Сосновой горы проворчала нам вслед:

— Довоевались. Накликали войну. Теперича страдай из-за вас.

Пруд лежал смиренный, плоский. В нем кружило отражение планера, гривастился паровозный дым, тонули кольца пара, поднимавшегося над прокатом. Иссиа-красное перекошенное отражение газгольдера дотягивалось до землечерпалки.

Во всем этом был такой мир, такая была тишина и солнечность, что никак не верилось, что действительно началась война. Неужели в такой день кто-то посмел послать войска для убийств, разрушений, захватов?

В те несколько первоначальных дней войны, за которые наш барак почти остался без мужчин — взяли в армию, — все ребята из моих сверстников часто вспоминали Костю Кукурузина. Неужели он знал, что на нас пойдут немцы? Если он даже угадал это, теперь он наверняка объяснил бы, когда мы разгромим фашистов. И хотя мы уже привыкли без Кости, нам недоставало его не только потому, что мы нуждались в просветлении, но больше, может, потому, что мы скрывали свою растерянность, вызываемую нерадостными фронтовыми сводками, а ему бы в том признавались, и он бы нас ободрял, и потому, что нас смущали слухи, будто бы в город приехали откуда-то какие-то хулиганы, и мы прекратили дневные купания на пруду около Сиреневых скал. То один из нас, то другой с отрадой вспоминал случай, когда мы доставали со дна возле Сиреневых скал карманные часы. Это воспоминание грело, как надежда, что скоро вернется прежняя жизнь, в которой опять будет много радости и приключений, и, конечно, с нами будет Костя, и никого не станем опасаться, и будем плавать в пруду даже ночами.

Сиреневые скалы находились в стороне от жилья и переправы. Скалы гладки и плоски у самой воды — нежься голяком на солнышке. Сразу возле скал глубина.

Мы бросали в пруд осколки тарелок, фонарных стекол, бутылей изпод кислоты. Немного выждав, ныряли, ловили их, хотя и не над дном, но где-то близ дна: вода в глубине, которой мы достигали, резко холодала, а никелевые столбы лучей меркли, мутно зеленели.

Взрослые редко появлялись на Сиреневых скалах: долго идти по крутому склону, глухота, безлюдье. Они находили удовольствие в купании у переправы. Их почему-то не смущало, что на поверхности пруда возле пристани качались сально-радужные пленки, липнувшие к телу и вонявшие бензином и автолом. И в самом деле переправа была удивительна, сутолочна, пестра: трактор, стучащий лопатчатыми железными колесами по оседающему парому; деревенские пересмешницы-бабы; хряки, привязанные к телегам; башкирки в пуховых платках, толкающие тележки с клубникой; косматые галифе верблюдов; щеголеватый, атласнобородый, высокогрудый начальник переправы; крестьяне, приехавшие откуда-то из бедных колхозов на заработки, — они занимаются перекраской старых вещей, наводят цыгански яркие трафареты на одеяла, скор-

няжничают в особицу, и их легко узнать по черным узлам, наброшенным на плечо.

Как-то в конце лета пришел на Сиреневые скалы конвоир местной исправительно-трудовой колонии Харисов. Он был в штатской одежде, трезв, лоб занавешен смолевой челкой. Я и Саня Кольванов подобрались к своим брюкам, намереваясь удрать, но Харисов не узнал нас, и мы не убежали.

Как-то Саня и я ловили «бомбовозов» — крупных стрекоз — на акациях, росших на узкой земле между рудопромывочной канавой и заводской стеной.

Эту землю по обе стороны акаций занимали картофельные делянки. Мы подбирались к «бомбовозам» по тропкам, тянувшимся вдоль акаций. На делянки мы не заходили, если даже видели на картофельном кусте синего «бомбовоза»; картошка тут топырилась тщедушная, ломкая, только зацветала, потому что май стоял холодный, да и почва здесь была сплошная глина. Вдруг мы увидели по военной фуражке, подскакивающей над верхушками акаций на фоне заводской стены, что кто-то мчится к нам по огороду. Мы выскочили на глиняный вал. Мчался Харисов. Мелькал обломок кирпича, зажатый в его руке. Бросились наутек: Саня — в одну сторону, я — в другую.

Я уловил свист кирпича, но не успел оглянуться и упал от удара ниже лопатки. Когда я вскочил, то Харисов бежал по гребню вала, настигая орущего Саню. Но поймать Саню он не смог. Харисов остановился, кричал хрипло и прерывисто, что скрутит нам головы, если мы будем топтать его картошку. Вот сволочуга! Его делянка подле проходной. Мы даже не глянули на нее, идя за стрекозами: знали, что он караулит свою картошку и может придраться и ударить.

Моя спина горела, будто облепленная горчичниками. Рубашка липла к пояснице. Потрогал поясницу пальцами. Кровь.

Не заревел. С четвертого класса я перестал плакать от побоев, от подлости, от обиды. Мать с темна до темна в молочном магазине: и торгует и заведует им. Вот и заступиться за меня некому. Бабушка защищать не будет. Скорее еще добавит. Сколько ни хлещет меня веревкой из конского волоса, а все этой веревке нет износу. Лишь иногда я плакал от ласковых увещаний матери, стыдившей меня то за хождение по жестяной громыхливой барачной крыше, с которой я спугивал голубей, то за то, что подрался с кем-нибудь, то за самовольный уход на рыбалку с ночевкой, то за то, что курил в классном шкафу на уроке пения; пению учил нас добрый, смиренный человек, бывший поп Иван Сергеевич.

Я обрадовался, что Саня удрал от Харисова. Обычно Саня, когда его преследовали, поддавался: падал на спину и, плача, дрыгал ногами, как кутенок лапами. По праву родства и по старшинству я учил Саню непокорности: пинал его, если он проявлял слабодушие.

Я нащупал в кармане рогатку. Рогатуля у меня была медная, резинки отрезаны от красной автомобильной камеры, кожанка из замши. Круглой галькой я попал Харисову в голенище сапога. Харисов зашагал ко мне и тут же почему-то свирепо повернулся. Ага! Саня влепил ему из своей рогатки. Молодчина! Саня знаменитый стрелок. Редко когда промахнется. Каждое лето мы выливаем из нор сусликов, чтобы сдавать шкурки в ларек «Утильсырья», а взамен получить деньги, цветные карандаши фабрики имени Сакко и Ванцетти, звериные маски из папье-маше, и Саня промышляет один больше сусликов, чем мы целой оравой, — бьет их из рогатки в нос.

Я врзал Харисову в плечо. Он было бросился за мной, но Саня сшиб с него фуражку, и она скатилась в ручей и поплыла, угодив на воду тульей.

Харисов забежал вперед фуражки, сполз в канаву по крутому берегу и разразился мстительной бранью, оказавшись по пояс в глинистом потоке. Покамест он ловил фуражку, мы удрали.

Придя теперь на Сиреневые скалы, Харисов разделся. Он был весь в наколках: на груди — красotka, лежащая в мечтательной позе, перед красоткой — бутылка с надписью «кагор» и колода карт с тузом пик сверху, на левом плече — звезда и пулемет, на правом — распятый Иисус Христос.

Харисов плавал по-матросски, как бы разводя воду перед собой руками. Прежде чем вылезти, он нырял и поднимался на поверхность пруда.

Татуировка (сколько терпения надо было: колют тремя вместе связанными иглами и трижды проходят по одному и тому же месту) и длительный нырок располагали ребят к Харисову. Я и Саня, ненавидевшие Харисова, и то поддались общему настроению. Но когда он вылез и грязно, устрашающе выругался из-за того, что начал разминать мокрыми пальцами папиросу, а она распозлзлась, все невольно нахохлились.

Закурив, он оглядел нас черными ежиными глазками.

— Шкеты, кто достанет дно?

Мы молчали. Никто, кроме Кости Кукурузина, не доныривал до дна у Сиреневых скал; Кости с нами не было.

— Шкеты, сейчас я брошу часы.— Он достал из брючного кармана за цепочку серебряные часы, надавил ногтем кнопку возле головки завода. Открылись друг за дружкой, звонко прыгнув, наружная и внутренняя крышки. Он показал ближним мальчишкам циферблат. Белая эмаль, римские цифры, золотые стрелки, одна из них, секундная, скакала по блошиному.— Я брошу...— Он защелкнул крышки и кинул часы в воду близ скал.— Вы доставайте. Кто достанет, получит финку.

Он выкатил из платка финку — рукоятка наборная, янтарно-синекрасно-черная.

— Обманешь,— сказал басом Вася Перерушев, жестковолосый пацан, нос которого был розов и шелушился круглый год.

Вася славился среди подростков тринадцатого участка тем, что безбоязненно лазил в склады, киоски, голубятни. Как-то он и Хасан забрались в колбасный магазин, наелись от п у з а и захотели покататься. Когда сторож, обходивший торгсин (магазин, принимавший золото, серебро, иностранную валюту), вернулся к колбасному магазину, он увидел, что замка на двери нет и сорвана пломба. Он тихонько вошел внутрь. На тарелках весов сидели мальчуганы и весело качались.

У Васи было прозвище Деньги Сцу. Когда Вася еще не учился в школе, рядом с их комнатой жили летчики. Из своего подпола Вася пролез в подпол холостяков. Среди детей нашего барака хлеб, посыпанный сахарным песком, считался сказочным лакомством, а в тумбочке летчиков никогда не истощались шоколад и хрустящие галеты, облепленные дробленными ядрами грецких орехов и клеенные из долек-полушарий. Летчики угощали Васю, его сестренку и братьев этими сладостями и щедро платили их вдовой матери Полине Сидоровне за стирку белья. Вася относился к летчикам с благодарностью и робостью, но однажды так размечтался о шоколаде и галетах, что сам того не заметил, как очутился в соседнем подполе, приподнял головой западню, а через мгновение распахнул дверцу тумбочки. Вдосталь полакомившись, он вспомнил, что в кинотеатре «Звуковое» показывают картину «Красные дьяволята». Стал искать деньги. Искал в подушках: Полина Сидоровна прятала свои деньги прямо в перо подушек. В двери шелкнуло, и вошли летчики. Вася порол наволочку ножницами и отдувал от лица пух.

— Что делаешь, Василек?

— Деньги сцу,— сердито ответил Вася.

Летчики хохотали на весь барак.

Васю я знал по Ершовке. Бежать маме оттуда помог его отец Савелий Никодимович. Именно он перевез маму и меня в Железнодорожск. Первое время я скучал о Васе. Прежде всего из-за Васи я радовался, что моя мать перетянула Перерушевых в город, предварительно отхлопотав для них комнату через ловкую кастеляншу Кланю; из золотого червонца, который ей и на этот раз сунула мама, Кланя сделала себе роскошные фиксы — коронки на зубы.

Хотя я любил Васю, а Вася выделял меня среди барачных ребят, мы с ним все-таки не были почему-то друзьями не разлей водой.

Харисов подал финку Лелесе Машкевичу. Велел ему подняться к маяку, чтобы мы поверили, что не зря будем нырять: Лелеса, если Харисов раздумает выполнить свое обещание, успеет удрать с ножом и отдаст его тому, кто достал часы. Лелеса, опираясь ладонями о колени, полез в гору. Вообще-то его правильное имя Лева, но Фаня Айзиковна, его мать, называла его Лелесей, и постепенно нам полюбились это имя за соответствие его росту: он был недоростком.

— Так другое дело. Так мы согласны,— сказал Вася.

Он клином сложил перед собой руки и вонзился в пруд. Исчезнувшие Васины лапы взбили напоследок клубок струй.

Все затихли. Сразу стало слышно тетеревиное чуфыканье катера где-то за горой. То, что мы часто ныряли друг при друге, выработало в нас чувство безотчетного и вместе с тем на удивление точного отсчета времени, какое предельно долго мог пробыть любой из ребят под водой.

Мы пристальней уставились в омутной сумрак, ожидая, что Вася сейчас всплывет. Но Вася не показывался, и мы, тревожась, начали переглядываться, а Ваня Перерушев занял по-комариному тоненько. Немного погодя он так закатился плачем, что у меня вздыбились на голове волосы, а Саня Колыванов съежился, словно замерз. Я покопился на лицо Харисова. Оно светилось удовольствием; по выпяченным, вздрагивающим губам Харисова угадывалось, что он тужится изо всех сил, чтобы не разулыбаться.

Наконец-то зеркало воды прорвала иззолота-русая голова Васи. Из рта и носа у него хлестала вода.

Я и Саня посадили Васю из воды, и он сел на прибрежный выступ. Он крикнул ревушему брату, поперхав и высморкавшись:

— Чего базлаешь? Я мало воздуха заглотнул. Еще б разок огребнулся — схватил бы. Серега,— обратился он ко мне,— чего ты сидишь? Ты только полные легкие набери.

Вместе со мной ходил к кромке скал толстолицый, толстогубый, толстокрый, худой в туловище Толька Колдунов. Он храбро ныряет и подолгу держится на воде с восьми лет. Лет до шести он сосал резиновую соску. Играешь с ним в чику или в швай, вдруг он забеспокоится и, ничего не сказав, убежит. Ты, конечно, догадаешься, почему он внезапно исчез. Если ни матери, ни сестры не оказывалось дома, то он, хныча, слонялся по коридору.

— Мамка, где ты? Дай мою черную титьку.

Через черную резиновую соску, надетую на горлышко чекушки, он, когда приходилось, тянул козье молоко; кисель, компот и кулагу. Но чаще он чмокал всласть просто пустую соску.

Матрена Колдунова, находившаяся в какой-то из тридцати шести барачных комнат, обычно не появлялась на зов сына: бесила ее Толькина нелепая охота. Случалось, что он ревел навзрыд, ее сердце не выдерживало, она выбегала в коридор, звеня связкой ключей и ругаясь:

— У, цорт губастый, далась тебе цорная титька.

Мы любили пересмешничать. Заскочишь, бывало, в комнату Колдуновых, уставишься невинно на Матрену, выпалишь, передразнивая ее цокающий выговор:

— Теть, у вас есть цугунок церемуховый цай на цердаке скипятить?

Она была добра, умела подшутить, потому ее не сердило наше озорство. Нет-нет чем-нибудь угостит: то даст горсть тыквенных семечек, то мятного горошка.

Колдунов и я булькнули в пруд вместе и погружались рядом. Он спешил вниз. Рьяно отмахивал воду к бокам. Его руки окутывало гроздьями пузырей.

Казалось, что он раздирает воду.

Чтобы не отвлекаться, я начал смотреть в глубину и так сильно бил ногами, что у самого создалось впечатление, будто отлягиваюсь от кого-то, кто гонится за мной.

Все это время слышался мотор паромного катера, его звук, бурчащий на воздухе, напоминал в воде перезвон телеграфных проводов.

Я почувствовал толчок в колено: задел ступней Колдунов. Он улыбался, выпятив бугром толстые губы.

Колдунов был мстительным. Проиграет жестяные пробки — ими закрывают бутылки с морсом и пивом — мстит. Забьешь гол в ворота — он бесстрашно и цепко брал мячи, его обычно ставили вратарем, — выберет момент и подкует. Не дашь ему свой панок пробить по бабкам, выплает у матери несколько горстей урюка, будет есть перед тобой, раздражит, ты смиришь гордость, уверишь себя, что на этот раз Толька постыдится пойти на подвох, попросишь его страдальчески-униженно: «Тольк, сорокни», — и тут он вывернется, припомнит тебе панок и, чтобы показать, что он не жадный (на самом деле он жадный), вывернет на землю карман с урюком, а когда за этой поживой бросятся пацаны и куры, начнет пинаться и бешено орать.

Дно не появлялось. В груди стеснило. Лишь из-за того, что впереди, за роящимися пузырями, мелькали ноги Колдунова, я не повернул вспять.

Боль в груди, усиливаясь, как бы стянулась в узел. Надо возвращаться наверх. Может, придется доставать Тольку, лихо летящего вниз.

Всплыв на поверхность, я увидел Костю Кукурузина и Лелесю, спускающихся с горы. От радости я хотел свиснуть, но только засипел.

Около меня вынырнул Колдунов. Глаза выпучены. Он нахлебался воды и выбирался на берег с моей помощью.

На скалах Колдунова стошнило.

Ксстя Кукурузин видел со склона горы, как выворачивало Колдунова. И хотя он считал Колдунова вздорным малым, подойдя к скалам, он сочувственно ковырнул пальцем его затылок и неожиданно взволнованным голосом проговорил:

— Держи, Толя, хвост морковкой.

Конвоира Харисова Костя не замечал, словно не знал о его присутствии, и лишь раздевшись и застегнув перламутровые пуговички плавок, искоса и зло посмотрел на Харисова. Харисов, наверно, догадался, что неспроста Лелеса пришел с Костей и что неспроста Костя не замечает его, поэтому на Костин взгляд дунул через ноздри и ухмыльнулся.

За зиму, всегда морозную, буранную, редкосолнечную (для больших она долгая, для нас короткая: не досыта погоняли самодельными клюшками конские котяхи, заменявшие нам хоккейные мячи, не успели вдоволь наиграться в снежных городках и напрыгаться на лыжах с трамплинов), — за зиму тело Кости теряло сургучный оттенок и становилось белым. Но уже в мае оно начинало золотеть, а в июне, когда

наши спины только что начинала трогать смуглота, оно принимало прежний яркий цвет. Все мы завидовали на редкость скорому, красивому его загару.

Мы загляделись на Костю, сходящего к воде. Сколько ни смотри, все равно заглядываемся. Кроме того, что он сургучный, в его фигуре есть бодрая легкость и поджарость, каждая мышца заметна, но не выпирает и отзывается чуточным грепетом на движения.

Костя был в глубине дольше Васьки и слишком громко отфыркивался: часы явно побывали у него в руках. Харисов горопливо закурил и сломал спичку: хитер псина!

Загладив на затылок черные волосы, Костя поплыл наперерез весельной лодке.

— Вьюнош,— крикнул Харисов,— сдрейфил, что ль?

— Потонешь еще. Ну их.

Харисов нырял усердно и стремительно, но часов не достал. Он сел к нам спиной. На его лопатках дрались копытами татуировочные черти. Ожидая Костю, он крошил ударами железнодорожного костыля плитчатые камни. Костя плыл к правобережным рогозникам, видневшимся отсюда смутно, синевато в углу залива. Черным шаром удалялась к той стороне Костина голова. Взмахи рук угадывались по мерному сверканью.

Мы ходили на пруд купаться, играть в догонялки, мыть собак, а Костя — плавать. Он редко возвращался на Сиреневые скалы, не бывав в Азии: пруд — граница между Европой и Азией.

Благодаря Косте мы пристрастились купаться после заката. Это было несказанно: вбежать в парную воду, на битумной глади которой рдеет отражение небосклона, хлопать по поверхности ладошками и слушать, как шлепки, точно удары сазаньего хвоста, хлестко отдаются над рекой, и перекликаться с товарищами в темноте, боясь кого-то, кто может затянуть тебя на дно, и приходиться в восторг, что ты не то что не поворачиваешь к берегу, а ложишься на спину в беззащитное положение и задорно поешь песню «Ты, моряк, красивый сам собою»...

Ожидая, когда приплывет из Азии Костя, мы жгли костер. Невольно жались друг к другу, страхась тьмы, утопленников, беспризорников, но голосом и жестами старались показать, что мы удалцы и никакая боязнь сроду нас не навещает. Настороженность обнаруживалась в нашем совместном мгновенном остолбенении при шорохе скатывающегося камушка, всплеске под скалами, при неразборчивом женском вскрике где-то на Сосновых горах, у подножия которых светились баракки тринадцатого участка.

На Сосновых горах не было сосен и в помине, даже неприхотливого бересклета и чилижника не было. Горы служили местом свиданий, хотя, случалось, по ним в темноте шныряли бандиты. И какой бы звук ни раздавался на их склонах: выстрел ли, вопль отчаяния, мирное ауканье ребятни или стариковский фальцет, зовущий запропавшую куда-то животину,— нас все равно мороз подирал по шкуре: много ужасных историй связывала молва с этой голой крутобокой горной грядой.

Возвращаясь к скалам при луне, Костя вплывал в полосу света. Мы видели его приближение и чувствовали себя спокойней. Если бы не он, нам не довелось бы в детстве любоваться лунной зыбью. Она была иссиня-алюминиевой, оранжевой, красной, эмалево-зеленой.

Мы обожали сердечки рогозовых корневищ. Они напоминали вкусом что-то среднее между капустной кочерыжкой и свежим сахарным горохом. Мы не решались просить Костю о том, чтобы он приволок наше

любимое лакомство. Опасно тащить за собой почти два с лишним километра: изнурится, чего доброго, и потонет. Но Костя и без наших просьб приволакивал розговые сердечки: начистит их, обмотает шпагатом, кончик в зубы — и ведет на буксире.

Едва Костя выйдет на скалы, мы перестаем прислушиваться к звукам ночной глуши, нараздер лопаем рогозу, возвращаемся в барак шумливой бесстрашной ватагой.

Костя идет молча. Мы болтаем наперебой, острым, потешаемся, замечая, как весело блестят белые крепкие зубы Кости, понимающего наше поведение больше нас самих.

И в этот раз Костя привел на буксире пучок чищенных корневищ рогозы. Мы обрадованно сгрудились на плоском камне, на котором он обычно растирался полотенцем, выбравшись из пруда.

Не успел Костя размотать шпагат, как к нему, растолкав нас, чуть ли не вплотную приблизился Харисов.

— Где часы, вьюнош?

— На дне.

— Добудь.

— Не я кидал, не мне и добывать.

— Ты давай еще попробуй. Финка будет твоя.

— Финка? Ни к чему. За ношение холодного оружия судят.

— Шибко грамотный, смотрю. А ну в воду! Притырил куда-то часы и строит невинное рыло. Марш!

— Потешиться явился? Чтоб из-за твоих часов кто-нибудь утонул, а ты бы радовался? Не на тех нарвался.

— Последний раз требую...— Харисов подкинул железнодорожный костыль и ловко поймал на лету.

Угроза конвоира не понравилась Косте: он выхватил у Харисова костыль. Вода возле скал чмокнула, принимая костыль. На лице Харисова возникла дурацкая растерянная улыбка. Костя засмеялся, как всегда, застенчиво, вдобавок с той сдержанностью, что возникает в человеке, когда он начеку перед опасностью.

— Достань! Не то задущу! — Харисов потянулся раскоряченными пальцами к Костиной шее.

Костя схватил Харисова за широченное запястье, хотел нажимом левой руки на его локоть пригнуть конвоира к земле, но это ему не удалось. Харисов выкрутил запястье из Костиной ладони.

Наверно, Харисов не забыл, как мы стреляли по нему из рогаток, а может быть, понял всю свою незащищенность — был голым-гол, — отпрыгнул от Кости и схватил в охапку одежду.

Пятясь в гору, Харисов наступил на мою «испанку» — клиновидную синюю шерстяную шапочку с красной шелковой кисточкой: такие шапочки носили республиканцы, сражавшиеся против франкистов. Он наступил на нее огромным незашнурованным ботинком.

Я обозлился и швырнул осколок фаянсового блюдца. Осколок пролетел над Харисовым.

— Отставить! — рявкнул Костя, потому что все заулюлюкали и замахнулись.

Ни один камень не засвистел вдогонку Харисову. Только я так остервенел, что выдернул из кармана лупу, хотел запустить ею по Харисову и опять промазал.

Костя сцапал меня. Я брыкался, вырываясь. Повторял, негодуя и хрипя:

— Что он топчет «испанку»?



К своим вещам, как и многие мальчишки, я относился, по словам бабушки Лукерьи Петровны, с п р о х в а л а: не берег их, не боялся замарагать, тем более помять. Но «испанку» чистил щеткой, обирал пушинки, наглаживал утюгом, хоть его чугунную подошву надо было долго накалять древесными углями. На зиму я сам посыпал «испанку» нюхательным табаком, чтобы не поточила моль, заклеил в газетный конверт, положил на дно сундука.

Купили «испанку» прошлым летом. Пришлось умолять маму. Если бы мы с мамой были одни, она быстро раскошелилась бы (на меня ей денег не жалко), но с нами была бабушка. Она гневалась.

— Тюбетейка есть. Пусть донашивает. На эти деньги полтора кила халвы возьмешь али восемь кирпичиков хлеба. И еще на шило-мыло останется.

Но мне позарез нужна была «испанка», и не какая-нибудь сатиновая с кисточкой из ниток мулине, а шерстяная, темно-синяя, краснокантовая, с шелковой кисточкой на переднем уголке. И я умолил маму.

Костя Кукурузин и я готовились собирать деньги в помощь детям республиканской Испании. Костя был уверен — и убедил меня, — что если мы оденемся чисто, торжественно, будем в красивых «испанках» да, входя в комнаты, будем вскидывать над плечом кулак и с воинской четкостью произносить приветствие «рот фронт», то нас будут встречать сердечно, и всех будет трогать наше обращение, и мы соберем рублей пятьсот.

И действительно, встречали нас лучше некуда. Я входил первым. Белая до мерцанья рубашка и пламень галстука возникали в зрачках человека, встречавшего меня. Подойдя близко, я начинал видеть в еще сторожких, как дула, зрачках «испанку» и красную каплю (кровь, да и только) ее кисточки. Но в следующий миг передо мной полностью были глаза, затеплившиеся вниманием, и тут же мой взгляд охватывал все лицо, и это лицо уже светилось расположением, доверительностью и желанием не принести тебе огорчение. Зачастую это были женские зрачки — глаза — лица. И искал я именно их.

Мужчины работали или спали после работы, спрятав голову меж подушек от немилосердного, разнозвучного, постоянного днем шума, а если и встречали нас, то сначала в какой-то сумрачности, насупленные, и в зрачки им не гляделось, да и ускользали они, затенялись, а после, никого за нами не увидев, кто им нежеланно ожидался, радовались нам, давали по три, по пять рублей, а то и по червонцу, а если дома не было денег, оправдывались (купили то, извели на это), кидались к соседям занимать и ни разу не возвращались с пустыми руками.

Женщины, когда мы уходили, занеся их фамилию и адрес в тетрадь и дав им расписаться, любопытствовали, где куплена моя «испанка» (у Кости была строгая, касторовая, без кисточки), мечтали завести такую своим чадушкам, хоть одну на всю ораву, иногда спрашивали, обращаясь к Косте, не из самой ли Испании мальчонка, и на его шуточный ответ, что я обыкновенный советский «русич», говорили, что не поверили бы ему, если бы я не шпарил так бойко на нашем языке. Наверно, они лукавили тогда, а мы не понимали этого, а может, только я не понимал, однако они усилили мое трепетно-бережливое отношение к «испанке» как к чему-то священному.

Да разве я мог простить, что кто-то, пусть и нечаянно, наступил на «испанку»?! А тут этот наступивший на нее — Харисов, который пробил мне спину кирпичом: под лопаткой осталась на всю жизнь ямка.

Костя, когда унял мое неистовство, усмехаясь, с удивлением и досадой пощелкал пальцами: дескать, ну и Серега! Я бурчал: «Чего тут

такого?» Потом начал посмеиваться сам над собой. В конце концов мне стало стыдно, что я бесился. Окажись на его месте любой из барачных ребят, я бы, наверно, саданул его под подбородок головой, чтобы вырваться, бросился бы за Харисовым вслед, а за мной вся ватага, мы бы закидали Харисова камнями, а может, того хуже, и убили бы ненароком. И полетели бы наши судьбы под откос.

До самого ухода на службу в армию Костя время от времени шутиливо напоминал мне об этом случае, как я рассвирепел. Я страдал, как бывает при воспоминаниях о том, за что совестно и что будет тебе навсегда укором.

Костя продал часы Харисова на толкучке, купил ящик подсолнечной халвы в нашем магазине, единственном на весь участок и построенном по соседству с самой вместительной, сложенной из бетонных блоков общественной уборной. Сходил на водоколонку с двумя ведрами и лишь тогда позвал нас в будку.

На деревянном кругу, прибитом к вкопанным в землю кольям, вышался пудовый куб халвы. Когда мы расселись на кровати, на лавке, на полу, Костя медленно и аккуратно ободрал с граней куба маслянистую шелестящую кальку.

Финка Харисова, оставшаяся у Лелеси, пригодилась: Костя ловко отворачивал ею куски халвы...

Студеной, будто из проруби, водой мы запивали халву, нахваливая Костю за догадливость: без воды много ее не слопаешь, больно сытная. Ели до тех пор, покамест на столе не осталось ничего, кроме покрытой лужицами кальки. От радостного ли возбуждения или оттого, что перелели, испытывали опьянение. На улице Лелеса Машкевич запел свою любимую озорную песенку:

— Дер фатер унд ди мутер поехали на хутор. У них беда случилась — ди киндер получилось.

Гринька-воробишатник — ростом он был ровней Лелесе — заявил, поглаживая округлившийся живот, что халва вкуснее жмыха. Хотя мы, поглощая халву, восторженно восклицали, всхлипывали, клацали языком, почти всех нас Гринька возмутил. Дескать, что бы ты, шибздик, принимал. Вкусней горячего жмыха, поджаренного на чугунной плите, нет ничего на свете.

Повзрослев, я понял, почему жмых, который мы добывали на конном дворе, был для нас милее халвы. Перед очарованием привычного лакомства, хоть оно и примитивно, не устоять такому лакомству, которое от случая к случаю попадает к нам на стол. На редкость ароматны ананасы, изумляет гранатовая сладость, сногшибательная сочность персиков, но никогда они не придутся мне по сердцу так, как дикая вишня анненских лесов, клубника, растущая среди пойменных трав у горных башкирских речек, как исчерна-зеленые белополосые арбузы, вызревающие на песчаных троицких землях.

Покупка халвы не истощила денег, полученных Костей за часы: он покупал нам билеты в кинотеатр «Звуковое», угостил набивным сливочным мороженым, прикрытым сверху и снизу вафлями.

Гордыми, веселыми богачами шествовали мы через фойе, потолок которого подпирала колоннообразная касса. Без боязни проходили мимо мясистых, комодной ширины билетерш. Мы упивались своим положением богачей. В обычные дни желание попасть «на картину» заставляло нас брать билеты на хапок: ты стоишь у амбразуры кассы, выхватываешь билет у девчонки-разини или у мальчишки-мамсика — и удираешь. Тотчас тебя окружает барачная братва, и ты становишься среди них неузнаваем, подобно зернышкам пшеницы с одного колоса.

Напоследок Костя повел нас в драматический театр на постановку «Овод».

Костя, чуть ли не с пятого класса участвовавший в городских выставках ремесел как слесарь-умелец и резчик по дереву, был примечен главным художником театра и частенько получал от него заказы на изготовление бутафорских пистолетов, кинжалов, шпаг, кубков, блюд, поэтому мы спрашивали, как только на сцене появлялся предмет, подходящий под Костино мастерство:

— Кость, твоя работа?

Он шикал на нас, и в полумраке зала блестели открытые улыбкой его белые крепкие зубы.

Спектакль нам поглянётся — так мы тогда говорили, — но он надоумил нас, что Костя Кукурузин не уступит ни храбростью, ни красотой самому Оводу.

### *Глава четырнадцатая*

Валя Соболевская — белокурая веселая девчонка. Не просто веселая — на редкость. Только среди девчонок могут быть такие отрадные натуры. Мальчишки? Мальчишки любят озорную потеху, смех до упаду, но не способны радоваться так безотчетно, как девчонки.

Белокурая Валя тоже на удивление. Почти у всех, кто родился с льняными волосами, головы русеют в школе, а у нее несколько не потемнели, только перестали виться. Прямые волосы ей больше к лицу, чем кудри.

Наверно, потому, что Валя Соболевская была на редкость белокурой и веселой, в нее влюблялись школьники повально. Врожденная жизнерадостность помогала ей невозмутимо выдерживать эту повальную влюбленность и «ни с кем не ходить».

Валя жила с матерью и двумя сестренками, и они тоже были красивыми, белокурами, неунывающими.

Мне внезапно захотелось увидеть Валу.

Она училась в восьмом классе, а я остался в седьмом. Было воскресенье. Густо падали огромные, как шапки одуванчиков, хлопья снега. Валин барак стоял у подошвы Первой Сосновой, выше магазина.

Сквозь приоткрытую дверь комнаты Соболевских просачивался детский говор. Вокруг стола сидели мальчики и девочки, что-то ели из железных тарелок, покрытых эмалью, и чем-то запивали еду из шершавых глиняных кружек. На лавке вдоль стены спинами к окну тоже сидели подростки — мордашки опечалены ожиданием. Я подумал, что у Соболевских поминки по отцу. Одни едят, другие ожидают своей очереди.

Бабушка часто таскала меня на поминки, и я так возненавидел их, что скрывался где-нибудь на заводе, чтобы она не повела меня силком. Я бы вернулся домой, если бы не желание увидеть Валу.

Я стал объяснять, зачем пришел, но она зажала уши и, сняя глазами, велела сесть на койку.

Оказалось — у нее именины. Ждать пришлось долго. Я проголодался. Лицо, наверно, стало таким же вытянуто-скорбным, как у тех девчонок и мальчишек, которых я увидел из коридора.

Валя помогала матери печь оладьи, разливать морс, накладывать кулагу, пахнущую калиной. Валя, казалось, не обращала внимания на меня, но я чувствовал, что она ни на минуту не забывает обо мне.

Когда ее мать, промывальщица паровозов, ушла вечером на смену, Валя быстренько выпроводила гостей, кроме двух близких подружек, и отправилась к соседям за патефоном. Патефон ей не дали, но она сказала, что все равно мы будем праздновать, и закрыла дверь на ключ.

Валя вытащила из-под кровати бутылку, заткнутую деревянной пробкой. В бутылки прыгала, кружась, бражка цвета чайной заварки.

— Она бродит, Сереж. Почти готова, Сереж.

Валя предупредила сестренку, чтобы они не проболтались матери, и принялась вытаскивать затычку.

Мы опьянели, выпив по стакану браги. Принялись играть в жмурки. У Соболевских четыре кровати, и Валя, спасаясь от подружки или сестренки, которая водила, перелетывала с кровати на кровать.

Когда галил я, мне казалось, что кто-то время от времени прикасался губами к моей щеке. Я старался никого не ловить, кроме Вали, но поймать ее невозможно: услышал — скрипнула кровать слева, и тотчас слышишь шелест юбки в воздухе, и тут же свистнет кровать справа.

В углу за пестрой занавеской висел у Соболевских умывальник. Валя, боязливо-радостно попискивая, юркнула за занавеску. Я притронулся к острым косточкам на скате ее плеча и отвел руки, будто не почувствовал, что это она, затем тронул запотелый алюминий умывальника. Валя не поняла моего притворства и ткнула пальцем в мое запястье. Я схватил ее руку, сорвал с глаз повязку, ткнулся лбом в ее раскаленный лоб и отпрянул.

Ушли подружки Вали, легли спать ее сестренки. Она все не отпустила меня. Да я и не хотел уходить.

К девчонкам я относился дерзко, особенно к тем, которым нравился, но тому, что Валя не хочет расстаться со мной, был счастлив.

Я уговаривал ее все-таки, чтобы не ходила меня провожать. Признаться, я боялся больше не того, что на обратном пути ее обидят, а того, что нас увидят вместе и станут подтрунивать.

От барачного крыльца до магазина чернела ледяная дорожка. Валя взяла меня за руку и покатила к магазину. Я мчался рядом, глядя на ее притворно-испуганное веселое лицо.

Подле магазина толпились оркестранты-духовики. Они шли из железнодорожного клуба, где играли на танцах, и остановились поболтать, прежде чем разойтись по своим баракам. Духовики были со своими сияющими латунью инструментами: басами, баритонами, альтгорном, тромбонем, валторной, литаврами. Духовики глядели на нас. Они знали меня. Я частенько толколся в комнате-«духоперке». Драил трубы, таскал пюпитры и стулья на сцену. За это флейтист Корояни учил меня играть на сопилке.

Я застеснялся. Корояни, самый фасонистый и занудливый из всех, обрадовался:

— Робя, Сережка Анисимов с девчонкой!

— Бесстыжий ты, Корояни.

Чей это голос? Кланы! Я ее и не заметил. Она стояла позади духовиков. Гигантский раструб геликона сверкал над ее головой.

— Дети они, Корояни. Чистые.

— Всех ты, Кланы, по себе меришь.

— Замолкни.

Я улизнул за будку. Туда неторопливо пришла Валя. Расстроено крикнула: «Да ну!» — и протестующим движением отмахнулась рукой в сторону, как оторвала что-то, накинутое на нее. В тот же миг к Вале вернулось прежнее настроение, и мы пошли вниз по участку, разговаривая о Кланышке, о строгости ее и доброте и немножко огорчаясь ее странному желанию быть как парень. Мало того, что Кланышка одевалась «помужчински», — она курила, училась боксировать. Волосы она приказывала парикмахеру Моне снимать почти на нет — стриглась под бокс. Моня кручинился, грустно покачиваясь, но стриг ее так, как она велела, и даже выбривал ползатылка. Моя мать, уважавшая Кланышку и щедро

угощавшая ее, когда она заходила к нам в гости, сердилась при виде ее обкромсанной головы, а бабушка Лукерья Петровна отплевывалась и шепотом просила пресвятую мать-богородицу наставить Кланьку на путь.

— Не хочу быть женщиной,— говорила Кланька, облакачиваясь о стол и выпуская папиросный дым из ноздрей и рта.— Хочу полной свободы. Вот ты, Мария. У тебя сын. Зависимость. Я решила: не будет у меня такой зависимости. Зависимость по работе, зависимость товарищеская — это само собой. Мужчине легче сохранять свободу. В семье он вроде владыки. Я хочу по свету колесить. Набор какой-нибудь в Арктику — приду, и меня возьмут. Ничем я не хуже мужчины. Вот если ты, Мария, явишься — кудри плойкой наворачены, щеки напудрены, губы подкрашены — тебя выпроводят. О тебе заботиться надо, условия тебе создавать. Мне никаких условий. Наравне с мужчинами.

— Эх, Кланя! Природа у тебя женская, и не перешагнешь ты через нее.

— Запросто.

— Сама будет проявляться.

— Я не позволю.

— Ты не позволишь — зато мужчины позволяют.

— У меня не очень-то...

В разговорах мы с Валею добрались до моего барака. Все окна были провалью темно, но беспокойны — то метнутся по ним электросварочные сполохи, то потекут по стеклам кровавые огсветы близкого шлакового зарева.

Час такой, когда детвору, даже самую неугомонную, сморил сон, когда ночная смена уже вся прошла на завод, а вечерняя еще не возвращается. Домохозяйки, которым придется потчевать поздним ужином своих шагающих из цехов кормильцев, прикорнули прямо в одежде на неразобранных кроватях, чтобы мигом вскочить, слышав сквозь забытые поступь родного человека по коридору, — тогда дверь с крючка, фуфайку с кастрюли, солонку на стол!

Час промежуточной тишины. Но эта тишина сродни предутренней глуши: всякий звук чеканный, как монета в роднике.

Мы стоим и слушаем ночь. Где-то, будто в земном брюхе, что-то катается. Тяжелая это катка — в гулах, в дрожащих сжатиях, в стуках, от которых подергиваются комбинатская низина и горы. Сквозь катку — шелест и грохот железа, откусывание чем-то огромным чего-то твердого, крепкого. А едва гаркнет паровоз «Феликс Дзержинский», или взбурлит воздух сифонящая «овечка», или просигналит морозно-бодро «эмка» — сразу как бы оборвутся звуки завода, доходящие до нас снизу, и чудится, что они сглаживаются, растекаются, гложут в земной глубине. Мощный, ровный шум комбината исчезает и при гоготе пневматических молотков, клепавших раскатистый котел, и при пушечных выхлопах газа, регулирующего давление меж загрузочными конусами домны, и от ступенчатого грома порожних вагонов, когда толчок паровоза передается из конца в конец поезда.

Сладко слушать ночь. Вызвездило, снега пока светлы, ветры угомонились. И потому еще сладко слушать ночь, что со мной слушает ее Валя.

Не хочется расходиться по домам. В душе нежность! Но я так, наверно, и уйду, не зная, как ее выразить, и стесняясь ее обнаружить.

Валя сказала, что ей пора уходить. Я поднялся было на крыльцо, но увидел, что она не тронулась с места, и спустился к ней. Мы пошли обратно. Я вспомнил, что принял именины Вали за поминки по ее отцу. Спросил, где он, ее отец. Валя не знала. За ним приходил дядька в ко-

жаной фуражке. После этого месяцев через пять записка была, несколько слов: люблю вас всех, вернусь, тогда заживем. Валя верит: отец у себя на родине, переправился туда для подпольной борьбы с польскими фашистами, а теперь будет бороться и против германских. Валина мать сомневается в этом. Кое-кто в бараке судачил о другом... Глупости! Ее отец революционер и бежал из-под расстрела, когда власть в Польше захватил Пилсудский! Ее отец за народ, за советскую власть.

Я сказал Вале, что помню, как три года назад она пришла в школу с заплаканным лицом. Она спросила, почему же я не подошел к ней и не спросил, чем она опечалена. Я напомнил, что подходил, но она крикнула на меня и разревелась. Валя этого не помнила и, чтобы я не сердился, провела белой кроличьей варежкой по моей щеке. Она рассказала, что было тогда в их семье. Когда мать взялась разыскивать отца и не нашла (ей лишь советовали ждать), она от отчаяния решила покончить с собой и спросила, согласятся ли дети умереть вместе с ней, чтобы она умерла спокойно. Валя и средняя сестра Геля захотели умереть с матерью, а младшая, Ванда, — нет; потом все-таки раздумала отделяться от матери и сестер и только просила, чтобы не больно было умирать. Мать протопила комовым антрацитом печку и, когда на колоснике остался один кокс, чуть горевший голубыми огоньками, положила детей на кровать, поцеловала их и всех заставила поцеловаться между собой; потом закрыла вьюшку и легла у них в ногах. Но тут же матери пришлось встать. Кто-то вбежал в коридор барака, сразу подлетел к их двери, шибко застучал и предупредил, что сорвет дверь с крючка. Мать открыла. В комнату ворвался Владимир Фаддеевич Кукурузин, вскочил на табуретку и выдернул вьюшку.

Кукурузин знался с Валиным отцом. Они работали на Железном хребте. Валин отец — машинистом экскаватора, Владимир Фаддеевич — взрывником, и когда из взрывников перешел на дому, в горновые, знакомство их не прерывалось.

Кукурузин проходил мимо барака, заметил, что у них топится печка. И вдруг увидел поверх занавесок, что Галина Семеновна задвинула заслонку. Он обо всем догадался.

Он выговаривал матери: узнает, погоди-ка, Збигнев Сигизмундович, какую дурость ты едва не сотворила... Да кто тебе позволил жизнью дочек распоряжаться? И свою судьбу на распыл пускать? Покуда живется — живите, и точка.

Валя была по-прежнему убеждена, что Збигнев Сигизмундович в польском подполье. Она доказывала это внушительным доводом. Отец однажды кончил работу и спустился с горы к трамваю. Шел по шпалам. Услыхал — позади идет состав с железняком. Обратил внимание на стрелку: она была так переведена, что состав мог врезаться в думпкары. Он перевел стрелку — и бегом к стрелочнику в будку. Стрелочник с ремонтными рабочими балагурил. Как глянул на лицо Збигнева Сигизмундовича, так и обмер: «Батюшки, стрелка!..» А тут как раз поезд мимо будки. И никакого крушения. Стрелочник на колени упал перед ее отцом.

Про находчивость Соболевского писали газеты, на торжественном вечере в театре его наградили часами. А через недельку-другую тот человек в кожаной фуражке понаведалься. Обходительный. Спасением поезда поинтересовался. Про стрелочника пошутил: его, мол, дня два подряд пробирало цыганским потом. Отец по-дружески ушел с ним, с кожаной фуражкой. Ясно, что отцу дали секретное задание, раз он проявил себя героем. Другой бы побоялся тронуть, а не то что перекинуть стрелку: вдруг да оказался бы, что стрелка была в правильном положении. Я согласился с Валей, это ее взволновало, и она сильно-сильно

прижала руки в пуховых кроличьих варежках к моим щекам в каком-то радостном неистовстве.

Через секунду ее уже не было возле меня. Я долго стоял под ее окном, но свет за ним не вспыхнул.

### *Глава пятнадцатая*

Галина Семеновна устроила Валю ученицей в продуктовый магазин. — Трудно одной семью тащить. Все подмога. Долго промывальщицей я не продержусь. В сырости и в сырости. Пока промоешь паровоз — мокра, как мышь. Пусть торгует. Сытая специальность, — оправдываясь, говорила она.

Сходству судеб моей магери (она тоже начинала продавщицей и тоже в нелегкие годы) и Вали Соболевской я почему-то придавал почти суеверное значение. Мнилось, что Валя будет мне близким человеком. Я протягивал это сходство в будущее: мать потом ушла из торговой сети на завод, работала оператором блюминга и славилась как бесценная труженица. Так будет и у Вали.

Основным ощущением моей довоенной жизни было ощущение счастья. Но больше всего я чувствовал себя счастливым не тогда, когда мать работала в коммерческом хлебном магазине и угошала меня горбушками, сайками, маковыми халами, горячими бубликами, и не тогда, когда заведовала магазином «Союзмолоко» и я лакомился мороженым и цукатными сырками, и не тогда, когда она была буфетчицей в кинотеатре «Звукское» и мне перепали яблоки, печенье, лимонад, вобла, — а тогда, когда мать сидела в стеклянной, просторной, как салон-вагон, кабине главного поста и непрерывно двигала рукоятки контроллера. Она двигала их как-то магически музыкально, будто управляла электрическим оркестром, а в действительности гоня в валках под кабиной солнечные-алые слитки, и они издавали гулы, рокоты, трески, искрились, похлякали, ужимаясь, шипели. Я гордился и тем, что она катает сталь, и тем, что получает премии, и даже тем, что возвращается с блюминга с кроваво-красными глазами. Глаза маму и подвели: врачи запретили ей работать на главном посту. Душевная тусклота и разочарование постигли меня, едва мама оставила прокат и стала продавцом молочного магазина, которым заведовала прежде.

Еще работая оператором, она занималась на курсах медицинских сестер. При записи предупреждали: «Готовим на случай войны». Ее взяли в армию месяца через полтора после начала войны.

Предопределяя судьбу Вали по судьбе своей матери, я переводил продавщицу Валю на главный пост блюминга, и она превращалась в знаменитого оператора. Но дальше я не представлял себе ее судьбы. На войне Валю мне трудно было себе представить. Война закончится скоро, нам с Валей будет лет по шестнадцать. И больше войн не будет. Ведь все говорят — эта война последняя...

Еще предвоенной весной я рвался в ремесленное училище. Отказали — несколько месяцев не хватало до четырнадцати. Рвался туда, в общем-то, из-за формы: фуражка с лаковым козырьком и эмблемными молоточками, шинель черного сукна, оцинкованные пуговицы. Парадная гимнастерка репсовая, то синяя, то кремовая; праздничные брюки суконные и широкие, словно матросские!

Немного поучившись в школе после ухода матери в армию, я опять ринулся в училище. Меня определили в группу газовщиков коксовых печей.

Виделся я с Валею урывками. Уходил рано утром, возвращался после ужина. Кроме часов, отведенных на еду, все время было занято специальными теоретическими и практическими занятиями, сбором металлического лома для вагранок, шагистикой, знакомством с винтовкой образца 1891—1930 годов, обучением штыковому бою.

Военрук, тощий молоденький лейтенант, bravo ступавший негнушейся после ранения ног, вручал нам тяжелые бутафорские ружья. Мы изготавливались к бою, упругим шагом двигались на соломенные чучела и так свирепо всаживали в них штыки, что сами падали. Излишнее рвение лейтенант умерял похвалой, зато не терпел вялости и своим ядовитым шепотком спрашивал у очередного «мешка»:

— Чи ты скуропаженный, чи кум твоего дядьки?

Валино учение проходило иначе. Чтобы раньше поставили ее на самостоятельную работу, она пропадала в «гастрономе» с темна до темна. Зимой директор назначил ее продавщицей хлебного отдела.

Иногда, выбрав свободный час, я бежал в «гастроном». Валя была рада моим приходам. Во время раздачи хлеба к прилавку не подступись: справа очередь, слева наблюдающие за очередью, сами метящие поскорей получить хлеб. Приблизись к прилавку — сразу яростные реплики с обеих сторон:

— Эй, ремесло, не притыкайся к очереди, пока шишек не получил.

— Ишь, архаровец!

— Пропустить надо парня: чать, наверно, сутки сподряд с производства ни шагу, все для родины старался.

От печи, к которой прислонялся спиной, я смутно видел Валу. В тот момент, когда человек, выкупивший хлеб, выскакивал из очереди, — стстригая ножницами талоны от карточек, Валя успевала взглянуть на меня и улыбнуться. Если бы я совсем ее не видел из-за людей, все равно приходил бы сюда и был счастлив уже оттого, что слышу шелканье ножниц и удары приделанного к прилавку ножа с лезвием, натянутым, как полотно пилы.

Однажды, краснея и прикузывая губы, Валя попросила меня не приходить в магазин. Покупатели и директор недовольны, что она отвлекается, переглядываясь со мной.

Вскоре после этого наше училище откупило вечерний спектакль городского драматического театра. Вышли мы оттуда за полночь. Я надумал повидать Валу. Она работала по суткам — заступала на смену в одиннадцать часов. Как раз было ее дежурство.

Жгло морозом. Я побежал по аллее, вдоль трамвайной линии. Костлявые карагачи белели зачерствелым инеем.

С бугра открылись голые тротуары, мостовые, рельсовые пути. До чего ж неприятна пустыньность. Я разложил перочинный нож, спрятал в рукав шинели, побежал дальше.

Сторож, наверно, отсиживался в «гастрономе». Я постучал по сосновому лотку, томительно пахнущему черным хлебом.

— Кто там?

— Сергей.

Колотаясь в растертых пазах, поползла вверх деревянная задвижка. В том конце лотка показалось заспанное лицо Вали.

— В такую стужу прискакал! Это я виновата.

— Почему?

— В уме все вилось: «Соскучилась по Сережке. Хоть бы догадался заглянуть».

— Спасибо тебе.

— Обморозишься — другое скажешь.

— Ни за что! Ты прямо на складе спишь?



— На складе. Меня закрывают тут. Нельзя отлучаться: в любую минуту автофургон может приехать. Ну и воры могут пожаловать.

Она робко засмеялась, присела и показала топор; он белел широким лезвием.

— Позавчера в вашей столовой, в ремесленной, украли буханок пять у хлеборезки. Она задремала, воры лоток открыли и вилами буханку, вилами. Хлеборезка увидела, как наткнули буханку, растерялась. Был бы топор, раз — и перерубила черенок.

— Переменим пластинку.

— Хочешь кушать?

— Слегка.

Я соврал. Я бы тогда съел, наверно, за один присест дневную пайку хлеба, пять вермишелевых супов и столько же рагу из костей с толченой картошкой, заправленной горьковато-терпким хлопковым маслом.

Но Валю трудно обмануть. Велела растопырить ладони на краю лотка. И, прощурив корочкой, горбушка очутилась в моих пальцах.

— Ой, и прелестное платье мне принесли, Сережа.

— Кто принес?

— Люди.

Валя приложила к халату тяжелое шелковое платье.

— Нравится?

— Нравится. Красивое.

— Креп-сатэн. Не спутай: не сатин, а сатэн.

Я мало чего смыслю в тканях, но постарался сделать вид, что для меня ничто не в диковинку.

— Ты парнишка со вкусом,— лукаво похвалила она.

— А ты девушка с размахом. Второе в этом месяце платье. И дорогое.

— Недоволен?

Я не то что был недоволен, но какое-то раздражение поднималось в душе. В прошлый раз я обрадовался ее обновке, теперь вроде нет. Позавидовал, что ли? Я сказал, что рад за нее, но сказал невнятно.

Она смотрела на меня так, как, вероятно, глядит в телескоп астроном, озадаченный непривычным поведением давно знакомой звезды.

— Почему у тебя изменилось настроение?

— Откуда ты взяла платье, Валек?

— Хватит, походила обдергайкой. Думаешь, приятно, когда кто-нибудь споет вслед: «Хороша я, хороша, да плохо одета?»

— Я ничего не говорю.

— Не говоришь. Правильно. Думаешь.

— Придира ты, Валек.

— Как с папой случилось, я страшно чуткая стала. Ты меняешься ко мне.

— Мнительность. Вот ты вправду меняешься. Кто в прошлое воскресенье уныривал на танцах?

— Ты где-то там стоишь. Ко мне подходят, приглашают. Ты рядом стой. Но ты не теряйся... Вон с какими девушками танцевал! Постарше меня.

— Какие попадались.

— Знаем мы вас. Выберете глазами, нацелитесь и, как только духовики заиграют, летите.

Я не стал спорить. И так бывает, как она говорит. Но в прошлое воскресенье было не так. Я правду сказал, что на танцах в клубе железнодорожников Валя избегала меня: ее, должно быть, смущали мои кирзовые ботинки и хлопчатобумажная стираная спецовка. И танцевала Валя не со всеми, кто приглашал. Своих одногодков она шутливо-покрэ-

вительственно отсылала к девчонкам с бантиками, а сама танцевала с парнями лет двадцати.

— Сережа, ты что замолчал?

— Вкусная горбушка.

— Неужели ты думаешь, что я модница? Я просто соскучилась по красивым платьям. С Гелей наперемену буду носить, она догоняет меня. Теперь себе ничего не буду справлять, только маме и Ванде. Обновилась. Эх, Сережа, сколько всего нужно! Одно расстройство... А ты не сочувствуешь.

— Неправда. Я за вашу семью давно переживаю. Если хочешь знать — за тебя сильнее всего... А ты — «не сочувствуешь»...

— Не сердись. Я сболтнула... Сережа, ты бы женился?

— Что?!

— Ты уже думал, на ком жениться?

— Рано еще.

— У тебя усы растут. И ты гордо держишься. Ты бы хотел жениться на мне?

— Хватит смеяться.

— Я не понарошку.

— Где ты слыхала, чтоб ремесленники женились?

— Слыхала. На Фрунзенском поселке девчонка вышла замуж за ремесленника. Правда, у ее родителей свой дом и корова.

— Издеваться будут. Сосунки, мол...

— Пусть! Еще обращать внимание на всяких там зубоскалов. Сережа... Вдруг бы получилось, что меня кто-нибудь посватал?

— Кто-нибудь?

— Сваतуют уже. И мама согласна. Даже рада. Хороший человек, инженер. А я растерялась. У меня нет желания выходить за него. И отвертеться трудно. Только вот... если бы ты согласился жениться. Согласился бы?

— Ловко ты, Валек, фантазируешь.

— При чем тут «фантазируешь»?

— Тогда выходи замуж.

— И выйду.

— Ну чего ты дурачишься?

— Ладно, ладно, не сердись. Ты еще теленочек. Я нарочно. Замуж не выйду. Ладно. Только за тебя. После войны.

— Давно бы так.

— Значит, согласен?

— Слепой сказал «посмотрим», глухой сказал «услышим».

Валя обиделась. Закрыла лоток задвижкой. Я просил, чтобы она опять выглянула. Но Валя отвечала откуда-то из дальнего угла склада, что и так уже выстудила помещение, а оно и без того холодное. Я стал канючить, что не могу говорить, не видя ее лица. Она сжалилась, открыла логок и снова заговорила с прежней охотой и радостью.

Нам было весело, но я промерз до косточек. Собрался уходить. Она загрустила.

— Сережа, возьмешь кирпичик хлеба?

— У меня ведь нет карточек.

— Без карточек, без карточек. От меня.

— Ты же талончиками отчитываешься. Где ты их возьмешь? Недостача получится.

— Эх ты, сын продавщицы!

— На хлебе она бог знает когда работала.

— Все равно что на хлебе, что на бакалее. Условия общие. Особен-

ности, правда, и там и там свои. Взять хлеб. Лучше всего, если его под утро привозят. Разновес к открытию магазина терпимый.

— Что за разновес?

— Разновес? В эту смену первый завоз хлеба вечерний. Плохо. Понимаешь? Разница в весе хлеба утром и вечером будет килограммов на пять. На целых две круглых буханки. Хлеб горячий. Паром изойдет, усядет. Усушка. Понимаешь?

— Вполне.

— Если бы не естественная, обвешивать бы приходилось. Сейчас за обвес, сам знаешь, по головке не погладят — волчий билет или в тюрьму.

— Не пугай, Валец. Ты скажи, что за зверь «естественная»?

— Я уже объясняла. Естественная утрата — усушка. Кроме усушки, есть еще утруска: режешь — крошки. Покупатель крошки не берет. Спихивают и их на естественную. Бывает, хлеб сырой, прямо замазка, да если нож тупой, крошек навалом. Никак не уложишься в норму естественной. Выкручивайся на свой страх и риск.

— Объявлен дополнительный набор в ремесленные. Бросай ты эту...

— Не могу. Я ради мамы. Знаешь, как она радуется, что я на хлебе? Теперь, говорит, прокормимся. Витун, витун ты, Сережа. При папе я тоже все в небе вилась. Возьмешь кирпичик?

Буханка прошуршала по лотку и оказалась у меня под мышкой.

Я побежал неуклюже — околоченные ноги ломило. Бежать вдоль трамвайной линии безопасно, но долго: слишком большой крюк; напрямик, через горы, — жутко. Я поколебался и выбрал ближний путь. В кулаке, втянутом в рукав, сжимал ручку перочинного ножа.

По городу бежать было не так боязно: вздумают напасть грабители, есть где спастись, подъезды открыты, кто-нибудь выручит. Притом в городе еще довольно много мужчин: здесь живут люковые, деревянные, машинисты коксовиталквивателей и двересъемных машин, газовщики, горновые, мастера домен, сталевары, вальцовщики, операторы. Все они работники основных цехов металлургического комбината и имеют постоянную военную бронь.

Коммунальный участок, землянки которого казались черными кучами, разбросанными по снежным склонам, лежал без огней, без теней, без звуков. Я летел меж землянок по вилочим, крутым, тесным тропинкам.

Едва выскочил на бок Первой Сосновой горы, расхрабрился: пошел шагом, сшибал лошадиные котяхи, и они, деревянно стуча, скатывались по гремящим снегам в желоб пади. Должно быть, проехал конный милицейский патруль.

Внизу белел родной тринадцатый участок. Стены бараков казались выпиленными из сугробов, окна — из льда. По эту сторону Сосновых гор темнота была серая: сказывалась близость комбината.

Давно я не видел сверху ночной завод и, как всегда, залюбовался им. Но одновременно не переставал думать о Вале. И был настороже.

Два цвета с отгтенками властвовали на заводе — красный и черный. Черный паровоз, тянущий черные чаши, налитые красным чугуном, излучающим красное марево. В красном воздухе здания, краснеющего стеклянной крышей, мелькали черные руки мостовых кранов, слегка приподнимавшие красные стальные слитки в черных изложницах. В черные тушильные вагоны сыпался из черных печей красный кокс. Потом красными щелями сквозили освобожденные от кокса печи в черных крыльях батарей, как бы прижатых к земле черными четырехугольными турмами, а черные электровозы скользили к черным тушильным башням, толкая

вперед себя черные вагоны, в которых красно полыхал коксовый «пирог».

Я лег головой к березовому комоду, ногами к промерзшему углу. До утра продолжалась качка от яви к сну, от сна к яви. Вспомню в забытьи, как, страшась грабителей — отберут хлеб и разденут, — пробежал от соцгородского магазина до Сосновой горы, — и очнусь в стыде. Представлю ночной завод, невольно открою глаза. Начну перебирать в памяти нашу с Валею встречу — радуюсь и страдаю.

В училище бежал рысцой еще затемно. Ветер-башкирец шлифовал кварцево-твердый наст. Я бежал в ветре, воображая, что он, тысячеверстный, выстелил собой горную грядку, увалы, степь, изволок, по которому я бегу, и многое, что впереди меня: Железный хребет, аул, тростники над слепыми озерами, колки, овраги...

Была таинственно непонятной моя соединенность с ветром, с Первой Сосновой горой, со школой на ее склоне, с окнами барака. Но я чувствовал ее, догадывался о ней и сосредоточивался на этой догадке.

Рынок был как вымороженный. У коновязей, овощных и молочных рядов, возле мясных павильонов — нигде ни человека, ни птицы, ни собаки, ни лошади. Прошлой зимой здесь в этот час уж подъезжали сани, заваленные всякой живностью и прикрытые рядном, а обочь саней шастали тулупные мужики и бабы, уже подтаскивались к рядам мешки с картошкой, кадки с соленьями, выгружались из кулей на столешницы диски мороженого молока, топленого бараньего сала и шары сливочного масла в узорных, если днем приглядеться, отпечатках ладоней и пальцев, разрубались туши, а ошипанная дичь выкладывалась на прилавки и подвешивалась на крючья.

Я перевалил через бугор и пустился к толпе, роившейся около давно не торгующих пивных и киосков с мороженым. Толпа выплеснулась навстречу, вобрала меня, загомозила вокруг и тут же вытолкнула с пятью тридцатками и двумя червонцами, полученными за хлеб. Так повторилось трижды в неделю.

На воскресных танцах я был вознагражден веселостью и неотступностью Вали: все танцы она танцевала со мной. И только вальс-бостон (не очень-то я его умел) с Нюрой Брусникиной. Нюра любила «водить за кавалера». Девчонки говорили, что водит она хорошо, а на мой взгляд — с какой-то солдатской ухваткой. Когда она танцевала с парнем, обычно ее разбирала злость: ей казалось, он водит вяло, неловко, и все время хотелось повести партнера самой.

После танцев мы с Валею подолгу стояли в барачном тамбуре. А когда Галина Семеновна в ночь уходила промывать паровозы, Валя зазывала меня домой. Ее сестры спали. Мы тихо сидели за столом друг напротив дружки, пальцы наших рук перевивались. К этому времени тепло из комнаты выдувало, и Валя в пальто, платье и чулках, только сбросив с ног туфли, вытягивалась на кровати поверх суконного одеяла.

Я засматривался на Валею. Лежащая, она казалась еще красивей, чем на танцах, чем в полумраке тамбура и только что за столом. Вид ее пальцев, обозначавшихся под шелком чулок, подол изогнувшейся по коленям, тугой на груди ткани платья и какая-то тревожная надежда, что я могу быть таким счастливым, как никто и никогда, оборачивались неожиданным желанием заплакать, и убежать, и бродить по городу, изумляясь Валиной красотой и чему-то, чего я не понимаю, но что так прекрасно, что хочется умереть, не зная, что с этим чувством делать...

Валя лежала на самом краю кровати. Из смятения, которое я пере-

живал, выводило меня ее легкое движение в сторону стены. Сесть возле Вали было трудно, но я садился. Поначалу оцепенение владело нами, словно мы преодолевали робость и прислушивались друг к дружке, потом она еще чуть-чуть отодвигалась, запахивала мои бока полами своего пальто. Сильно стучало ее сердце. Ее дыхание обвеивало мое лицо. И была такая нежность во мне от этого повеивания, от нафталинового запаха шерстяной ткани и зноя, исходившего от ее груди, что я боялся шелохнуться, чтобы не спугнуть всего, чем полнилась душа, и чтобы Валя не прогнала. Ведь ей, наверно, неловко? Временами я забывался, а в забытии куда-то будто бы плыл, скользил, и все в какой-то солнечности и пуховости: мне грезилось что-то отрадное, лазурное — безграничное море ли, небо ли. Я приходил в себя счастливый, и счастье разрасталось, едва вспоминал, где я, и снова чувствовал ветерок ее дыхания и телесный зной. Мгновением позже я уже соображал, что Вале показалось, будто я засыпаю, и она будила меня. Ее ладони заботливо притрагивались к моей нахолодавшей сквозь гимнастерку спине. Я догадывался: сейчас начнет отсылать домой. Она тормозила меня, смеясь, называла соней, потом, как на маленького, надевала шинель и шапку и, говоря, что ей жалко и обидно расставаться со мной, все-таки выпроваживала за дверь.

### *Глава шестнадцатая*

Я был счастлив, настолько счастлив, что казалось — от стремительности, которую чувствую в себе и которая называется в каждом моем движении, вот-вот взвьюсь и полечу легко и быстро.

Тогда я еще не знал, как непредусмотрительно счастье, как оно заблуждается, полагаясь на свою всесильность и непрерывность.

Когда я появился на рынке с очередным кирпичиком хлеба, какой-то мужчина в черном полушубке втиснулся между мной и парнем в стеганке, который отсчитывал мне деньги. Я хотел обойти мужчину, но не смог сдвинуться с места: он меня держал, прижав мои руки к бокам. Я видел, как грабители отбирают буханки, — сейчас папарник этого чернополушубочника вывернет буханку из моей руки и убежит. Изо всей мочи я ударил его коленом. Он слегка присел, но уже через мгновение поволок меня из толпы. Я решил драться ногами. Я даже представлял себе, пока он тащил меня сквозь толпу, какое испытаю упоение, пиная его в живот.

Едва коловращение рынка осталось позади, мужчина оглянулся на меня.

— Сотрудник горотдела милиции Корионов, — сказал он. Потом, оглаживая под полушубком живот и морщась, укорил: — Госпитальные врачи еле отходили, а ты чуть насмарку не пустил их старания.

— Вы бы предупредили... Знал я, что ль, сотрудник вы или бандит. Чего вам?

— Ух, крутой! Высоко, наверно, живешь? В землянках? Да?

— Под горой. На тринадцатом.

— Барачный? Хорошо. Родня, выходит. Я тоже в бараке рос.

— Ближе к делу. На завтрак опаздываю.

— На кого учишься?

— На газовщика коксовых печей.

— Похвально.

— Ничего похвального.

— Как же! Самое грудное производство. Не зря спецмолоко дают, и хлебная пайка килограммовая. Ты что, уже самостоятельно работаешь?

- Практику прохожу.
- Хлеб, должно быть, не ешь? Приварком обходишься? Тощий, страшно смотреть.
- Почему не ем? Сколько дают, все подметаю.
- Все, говоришь? Тогда, выходит, чужим хлебом торгуешь.
- Как это чужим?
- Краденым, например.
- Откуда вы взяли?
- Своими глазами вижу. Через день торгуешь. Где добываешь кирпичики?
- В хлеборезке.
- Как?
- Обыкновенно.
- Не совсем обыкновенно. Хлеб ремесленникам дают к завтраку, обеду и ужину. По двести и триста граммов. А ты по кирпичику выносишь. Мне это известно.
- Вам мало известно. Вы в полушубке. Вам не холодно, а я в шинелке. И на завтрак опаздываю.
- Без завтрака придется сдюжить. Теплое помещение съедем. Рядышком теплое помещение. Кабы не пригорок, отсюда бы увидал.
- Корионов помял под полой живот, усмехнулся, и мы стали спускаться вниз. Я понял, что попался и что, наверно, не миновать мне суда и заключения. Наметил — поравняюсь с овощными рядами, так и мотану от сотрудника, но прежде осмотрюсь, куда бежать, а то встречные люди схватят.
- Орел! Знаешь, крепко ты саданул меня в живот. Не обессудь, придется тебе довести меня до горотдела.
- Легким движением Корионов ввел свою ладонь под мой локоть.
- Ловкач! От такого не удерешь. Считай, пропал. Но Валю ни за что не выдам.
- Орел, ты не думай, будто я притворяюсь, чтобы ты не убежал. И в самом деле ты ненароком потревожил мне рану.
- Корионов говорил искренно. Я поверил ему. Однако тут же с внезапной злостью настроил себя на неверие: «Знаем вас... Мастера придуриваться. Как только не прикидываетесь, чтобы засадить человека».
- Родители-то у тебя есть?
- В армии.
- Воюют?
- Отец Ленинград защищает, мать работает в госпитале.
- В нашем?
- Не, в тюменском.
- С кем тебя оставили?
- С бабкой.
- Отец-то что пишет?
- Шелкает фрицев. Снайпер.
- Про снабжение пишет?
- Патронов ему хватает.
- А продуктов?
- Одно время по сто пятьдесят граммов хлеба получал, теперь — по триста, потому что постоянно на передовой.
- Тяжко, тяжело в Ленинграде. Сына нашего сотрудника вывезли оттуда. Тоже в ремесленном учится. Парнишка рассказывает... Возле собора жил. Сколько людей с голоду умерло... Собор трупами заполнили. Я, как вспомню про это... так знаешь... Тысячи убитых видел... Чем пахнет голод — я сам испытал, суток до пяти маковой росинки во рту не было. Вот у тебя буханочка на кило, примерно, пятьсот. Для двена-

дцати ленинградских детишек — это суточный паек, и тот не всегда до них доходит. Находятся людишки, расхищающие хлеб. Хлебные воры. Бедствие!

Поднимаясь на холм, останавливались: Корионов то и дело задыхался.

Двухэтажный рубленый дом, стоявший на макушке холма, еще не светил окнами. Какой-то радужно-бензиновый, зловещий отлив был у стекла. В этом доме лет десять назад жили Колывановы.

Дядя Александр Иванович давно уже похоронен — замерз осенью 1934 года, возвращаясь из гастрономического магазинчика, которым заведовал.

Счастливо начиналась дядина судьба в Железнодорожье. Его взяли сыроварным мастером на городской молочный завод, дали комнату в этом прекрасном доме. Потом назначили начальником сыроваренного цеха; не прошло и трех месяцев, как поставили директором завода. Объясняя стремительное служебное возвышение своего брата Александра Ивановича, моя мать говорила, что «он был старательный и умел колесом закрутить производство». Хотя было известно на заводе и городскому начальству, что он любил «заложить за воротник», все одобряли его выдвижение, надеясь, что он остепенится. На короткое время он и впрямь остепенился, а затем стал пить пуше прежнего, скоро скатился обратно в мастера. Самолюбие у дяди было крохотное; все же на заводе он не захотел оставаться и перевелся заведующим в гастрономический магазинчик.

Та ночь, в какую он замерз, выдалась слякотная. Он свалился на землю близ Дворца культуры металлургов, стоявшего на пустыре. Когда люди возвращались с концерта, он звал на помощь. Они подходили, смотрели на него, ползающего в грязи, и шли дальше. Кто-то из знакомых моей матери, живших близ дворца, рассказывал, что в самую позднюю чей-то хмельной высокий голос пел казачьи песни. Это пел Александр Иванович, но знакомые про то не знали. На зорьке был мороз, первый той осенью, и дядю подняли утром уже окоченевшим. Так он и умер в беспамяත්стве.

Дядя никогда не вспоминал о прошлом — ни про станицу Ключевскую, ни про заимку на озере Лабзовитом. Если в воспоминание о родине пускались бабушка и мама, он, свесив голову, бормотал: «Запахнись все дымом».

Когда бабушка и мама горевали о брошенных у приюта Пете, Дуне, Пашеньке, он кричал на них: «Опять взялись, дуры!..» — сдергивал с гвоздика балалайку и так отчаянно бил по струнам, что, если случались гости, их как сдувало с табуреток и стульев, и они плясали до изнеможения. Мне всегда мучительно хотелось узнать, помнит ли Александр Иванович, что его бегство от детдома сыграло роковую роль в гибели Пети, Дуни и Пашеньки? Горько каюсь, что не осмелился спросить — еще слишком был мал.

От двухэтажного рубленого дома, от воспоминаний об Александре Ивановиче меня отнесло к солнечному вечеру, когда я и Саня Колыванов отпускали в небо синие, розовые, оранжевые шары, отпускали с нахольных зеленовато-серых камней, и ветер тащил шары в сторону Железного хребта, на трубы аглофабрик и на желтые дымы из этих труб. И так мне захотелось в то время к пугачам, купленным у хитрованакитайца, под купол карусели, где, пластаясь над опилками, ходил великанскими шагами Миша-дурачок, к роднику, забранному в железобетонное кольцо, в которое свешивались мы с Костей и видели там на поверхности воды свои слюдянистые отражения, — так захотелось, что я чуть не заплакал в отчаянии...

— Значит, свой хлеб ты съедаешь. Откуда же этот? — спросил опять Корионов. — Ты только правду выкладывай. Парнишка ты, чую, не испорченный. Я отпущу тебя, ежели ты кое в чем и провинился.

— Ничего я не провинился. Купил ремесленные талоны и беру хлеб.

— Хлеб на ремесленников берет мастер или староста. Подходит с подносом к хлеборезке, и ему выдают пайки.

— Правильно. Да бывает, подлижешься к хлеборезке, наврешь что-нибудь, она возьмет талоны и отвесит.

— И сколько ты талонов купил?

— На декаду.

— Что-то я не слышал, чтобы мастера выдавали вам талонов больше чем на два дня.

— Кого самостоятельно поставили на рабочее место, тем выдают на декаду.

— Как тебя звать?

— Сережа.

— Есть слабые люди, Сергей. Продадут талоны либо карточку за декаду. В день-два проедят деньги и пускаются кусочничать. Голодают. Даже в доменном цеху есть доходяги, и у вас в коксовом тоже. Работники квалифицированные, бронь им дана, а толку от них производству... Работники-то у нас теперь все на счету. Купил ты талоны и наверняка нового доходягу создал. Соображаешь?

Соображал я в основном про то, заведет ли он меня в горотдел или нет. Если заведет — выйду я на свободу не скоро. Может, и совсем не выйду: заключенные на самых тяжелых работах — на той же смолорегонке в коксохимическом цеху.

Но он отпустил меня у входа в горотдел.

— Чеси,— сказал,— на завтрак. Ноги в руки и чеси.— И строго погрозил пальцем.

Вечером я зашел к Соболевским, положил на стол кирпичик. Корка кирпичика заиндевила и, оттаивая, наполняла комнату хлебным ароматом.

На мой рассказ о том, как я был пойман Корионовым, и о том, о чем мы с ним говорили, Валя усмехнулась и почему-то провальсировала по комнате. Ее новая юбка раздувалась. На вершок выше коленей голубели широкие чулочные резинки. Какой-то сладкой мучительностью отзывался вид коленей, округло-твердых под фильдеперсом чулок. Все то, что произошло со мной на рассвете, внезапно показалось таким несущественным по сравнению с тем, что я могу потерять Валую.

— А ты бы,— посмеиваясь, сказала она,— тем же путем пробежал на базар и в миг продал. В крайнем случае съездил бы на вокзальный базар, на Щитовые, на Дзержинку и продал. Я обещала завтра расплатиться за юбку. Ты заметил, какая юбка?

— Карусель,— сказал я.

— Чудно! — воскликнула она.— Замечательно определил! Продай. Не хочется возвращать юбку.

Я готов был пообещать Вале, что продам этот кирпичик, да и всегда буду продавать хлеб, когда бы она ни попросила. Я даже решил выдать ей свою тайну, что люблю ее. Но вдруг стало совестно и что-то заупрямилось во мне, и я сказал, что умоляю ее покончить с хлебными шахермахерами, иначе не миновать гюрьмы.

— Не за меня ты боишься. Ты думаешь, если б тебя посадили, я бы не помогала тебе? Я бы носила передачи каждую субботу. А вообще-то... кто не признается, того не посадят. Меня пытай — я не признаюсь!

— Врать не буду — боюсь и за себя. Но главное не это. Люди в



голоде, и везде хлеба в обрез. В нашем бараке, например. Да что доказывать? Ленинград вымирает от голода.

— Это одни слова. Кто что может, то и берет.

— По-твоему, горновые тащат с завода чугуны?

— Тащат.

— Многотонными ковшами?

— На все находятся покупатели. Мы только не знаем, с кем доменщики торгуют налево.

— Если бы все таскали, всю бы страну давно растащили и распродали.

— Нашу страну не больно растащишь и распродашь. Самая богатая на свете. В тыщу лет не растаскать.

— Почти весь народ на своей работе ничего не ворует. В большинстве люди честные. И ты никогда не убедишь...

— Как наш директор говорит, ты «как тот хохол упёртый».

— Пусть упёртый. Против совести не желаю поступать.

— Поступают смелые, трусы берегут шкуру. Я глупышка... Навязывалась за тебя замуж. Маму подготавливала. Презираю себя. Кто любит, хоть что выполнит. В школе отбоя не было от влюбленных, и теперь не меньше. Инженер с проката, интересный, цыганские кудри, проходу не дает, офицеры из преподавателей танкового училища, курсанты... Ты худой, бледненький, но я ни с кем, кроме тебя, не встречаюсь.

Говоря, Валя ходила по комнате, изредка косилась. Встала перед пологом, за которым капала в таз вода из умывальника. Задумалась, полузапрокинув голову, и внезапно заплакала. Я подошел к Вале со спины, коснулся пальцами плеча. Робость была не оттого, что я боялся Вали, а оттого, что жалость к ней заполнила всю душу. Я коснулся пальцами и другого плеча Вали. Ожидал новых попреков. Нежданно она прикрыла мои пальцы своей ладошкой. Я оторопел: она принялась каяться, что позабывает о чужих горестях и заботах, что научилась «хапать барахло», что, хоть я и нравлюсь ей, она зачастую еле удерживается от свидания с кудрявым инженером или с кем-нибудь из офицеров и курсантов летного училища, что иной раз в отношениях со мной ей чудится что-то детское, несерьезное.

Я утешал Валу. Она обещала покончить всякие «коммерции с хлебом», обещала неистово, в слезах.

Когда вошли в комнату после катания на салазках Ванда и Геля и увидели плачущую Валу, они насупились и уставились на меня суровыми взглядами.

Я соврал, что простудилась бабушка Лукерья Петровна и что я должен раздобыть у знакомых гусяного сала, чтобы натереть ей лопатки. И Валя позволила мне уйти, а то прямо как женщина обвила мою шею. Так было стыдно перед Вандой и Гелей!

Небонадышало на землю столько морозу, да к тому же ветер так крепко уснул, что было видно в свете, падавшем из окон, кристаллы инея. Все замерло и притихло, даже металлургический завод не лучился, не слышен был во мгле. Представилось — на всем свете морозно и война умолкла, легла в забвенье.

Подумал об отце. Тотчас померещились заснеженные окопы, заметные только по впалым извилам — речки так обозначаются, когда взберешься зимой на гору. Где-то в таких снегах спит на корточках отец. Руками, всунутыми в рукава, прижата к груди снайперская винтовка. Тот ленинградский собор, в котором снизу доверху рядами трубы, заметен по маковки снегом. Снег затвердел, будто фаянс, и вечно не растает.

А через мгновение подумалось, что Валя Соболевская взрослей меня, гораздо взрослей, и что в ее душе есть тайная жизнь, и что скрытый мир будет у нее всегда и ничего с этим, наверно, не поделаешь.

Ничего как будто не случилось такого, чтобы мы охладели друг к дружке. Но странно — стремление встречаться потерялось. В клуб железнодорожников мы приходили отдельно, танцевали нередко порознь. Правда, на малое время что-то прежнее устанавливалось между нами. И так же быстро проходило.

Весной мы пошли с Валею за сон-травой по угольно-грязному пруду, рябшащему над льдом накрапами луж. Мы радостно провели день, ласково простились, но встречаться перестали совсем, если не считать случайных встреч. Неужели нам подспудно хотелось запомнить друг дружку в солнце, на просторе, веселыми, с тонко-синими цветами, серебристыми по стеблям и подбою лепестков?

### *Глава семнадцатая*

В восточной стороне горы-полуострова сделали полигон для испытания брони. Что делается на полигоне, не увидеть: перед въездом высокие ворота, по бокам крылья частокола.

Колючей изгородью словно выкроен из склона огромный прямоугольный лоскут. Этот каменистый лоскут, поросший кустиками чилижника, и толсто-глухие звуки орудийных выстрелов и снарядных разрывов, встряхивавших тринадцатый участок, заставляли предполагать, что тоннель полигона въелся в гору и далеко и глубоко. Пушки, должно быть, стояли в начале тоннеля, а броневые листы, по которым они били,— в самом его тупике.

Майским воскресным днем бабушка послала меня сажать картошку: неподалеку от полигонных ворот у нас был клочок земли на яру рудопромывочной канавы.

Забросил за спину засунутое в мешок ведро с картошкой, скорбно вздохнул: сварить бы крупных порезанных клубней, наесться до отвала.

Черенком штыковой лопаты распахнул дверь. На перекладинах столба гудел трансформатор, похожий на баян с полурастянутым черным мехом. Вокруг столба кувыркались малыши. Я позвал в помощники пятилетнего пацаненка Колю Таранина, иначе — Колю Нечистую Половину. Мать Коли Таранина, Дарья, рослая женщина с грустными даже в радости глазами, сокрушаясь по какому-нибудь поводу, шумела: «Ах ты, нечистая половина!» Когда барачные говорили о ней или о ком-нибудь из ее детей, то прибавляли к их именам слова «нечистая половина». У Коли были иззолота-русые кудри. Дарья Нечистая Половина при случае хвасталась: «Мой меньшей как барашек, хоть воротник выделывай».

Таранины переехали в наш барак до войны. Дети были мал мала меньше. Обличьем, кроме Коли, смахивали на мать: желтоватые волосы, скулы по кулаку, янтарные глаза. Коля был круглолицый, глаза синие, как у стрекоз-«бомбовозов», широкие плечи, выпуклая грудь. Не только внешностью он отличался от сестры и братьев, но и поведением: те вялы, тихи, уступчивы, печальны, он — говорлив, шустр, мордашка веселая, озорник. Лишь в часы дневного барачного безлюдья, сидя дома один, заскучает, проголодается, выйдет в коридор и тихо стоит, никогда не заплачет. Первой военной зимой он запомнился мне именно таким: стоящим посреди холодного длинного коридора без шапки, в грязной белой рубашонке, в материнских валенках, воткнувших голенищами в

пах. Посторонясь к двери, Коля молча глядел на тебя, шагающего к своей комнате. В ясной синеве глаз и жалоба, и тоска, и надежда. Ты зачастую идешь слишком усталым, слишком поглощенным думой о пище и тепле, слишком ожесточенным тем, что не видно конца несчастьям, вызванным войной, чтобы чье-то горе или чей-то страдающий вид всякий раз принимали тебя до глубины сердца. «Всех не пережалеешь». Но почему-то, поравнявшись с Колей, наклонишься, сграбастаешь его, принесешь домой, разделишь с ним еду и заиграешь на патефоне «Барыню». Коля зыркает то на меня, то на бабушку, ударяет пятчонками в звякающую западную подполу, шлепает ладошками по коленкам. Щеки алеют, на ягодицах прыгают ямочки.

Иногда выйдешь в коридор и видишь — Колины валенки лежат у порога барачной двери. Выскочишь на крыльцо. Бесштаный Коля носится по снегу, подпрыгивает, гикает, хлопает себя по голяшкам. Начнешь его ловить (простудится ведь, дьяволенок) — он чешет от тебя во все лопатки, смеясь и виляя. Наконец умается, подскочит и уцепится за верх пожарного чана, который вечно пуст, если не считать набросанных в него кирпичей, склянок и железок, тут и схватишь Колю и утащишь в тепло.

На окраине участка мы услышали, как бухнуло и разорвалось в горе. Тропинка дернулась под ступнями, взморщились лужи, струйки металлургической гари полились с полыни.

Колю все радовало: чирикание воробьев, утоптанность тропинки, петляющий блеск горных ручейков, лопата и ее суковатый черенок, который давил его плечо. Обрадовался он и артиллерийскому выстрелу, встал на руки и, подрыгав босыми ножонками, шлепнулся на спину.

На дороге, у поворота к полигону, зеркально чернел «ЗИС-101» — автомобиль Зернова. Такая машина была еще только у первого секретаря горкома партии. Правда, директор комбината считался у нас важнее всех и, как заключали знатоки рангов, даже секретарю горкома приличествовало бы ездить на машине посромнее — на той же «эмке». Горожане, кто шутливо, кто всерьез, а кто и с гордостью, говорили: «Перед въездом в Железнодорожск кончается власть Москвы и начинается власть Зернова».

Зернов был не единственным крупным руководителем в городе, но то, что он воспринимался многими железнодорожцами как фигура всевластная, зависело от огромного значения для могущества страны того предприятия, которое он возглавлял, и от исключительной роли этого предприятия в хозяйственной жизни всего города. Металлургическому комбинату принадлежала большая часть магазинов, столовых, бань, прачечных, швейных мастерских, кипятилок. Приют люди находили в его жилищах, овощи и скот выращивали его совхозы, питьевую воду качали из подземного озера его насосы, свет давала его электростанция, пассажиров возили его трамваи, ночи накаляли его зори, гордость населения вызвала его слава, часы ставились по гудку с его паровозной станции.

Шофер зерновского автомобиля дядя Сережа Чакин, живший в бараке напротив нашего, обтирал мотор. Я поздоровался с ним и спросил, почему он не отдыхает в воскресенье. Я знал, что у дяди Сережи, как у Зернова, не бывает выходных дней, и спросил ради того, чтобы хоть минуту постоять возле красавца легковика, а потом хвастать этим.

— Отдыхаете?

Дядя Сережа обидчиво скомкал ветошь:

— Какой отдых во время войны? Вкалывать надо до сшибачки. Хозяин нынешнюю ночь на мартене проторчал. Ответственная плавка.



Посадку картофеля я закончил вместе с Колей. Этот юла, хохотун в тот день, после отъезда директорского автомобиля, мало улыбался.

Разговор между Колей и Зерновым остро отозвался во мне. Я долго вспоминал о нем. Однажды, когда Коля уже «выдурил в высоту», так говорили у нас в бараке о детях, перегнавших ростом своих родителей, я обратил внимание, что он и его сверстники часто играют с карапузами-дошколятами, при этом не очень отличаясь от них соображением, повадками, капризами. Вот тогда-то я и понял поведение Коли на огороде, а главное, то, как он постреленком нашел этот разящий ответ, до которого додумался бы не всякий взрослый.

Я вспомнил цепь случаев, обнаруживающих взрослость природы в детях военной поры. Прежде всего я вспомнил, как, возвращаясь из ночной смены зимним утром войны, брел по коридору барака, пахнущего нежилым духом, хотя и обитало в нем не меньше ста человек, и, приближаясь к своей двери, услышал, как в комнате наискосок от нашей давала взбучку матери семилетняя девочка Галя Шенна. Ее мать, Клавдия Семеновна, работавшая землекопом, водила к себе мужчин из трудармейцев и тех, кто потерял семью. За это и отчитывала ее девочка. Клавдия Семеновна бормотала в оправдание, что идет на грех из-за нее же, своей дочки, и из-за сына, чтобы прокормить их. Печальным голосом, пронизанным суровой укоризной, Галя говорила Клавдии Семеновне, что лучше им с братом подохнуть, чем терпеть, как ребятишки дразнят ее потаскушкиным семенем.

Кончается война. Наступает мир, и начинает казаться, что не только замыло половодьями и задуло бурями окопы, но и развеялись в детских душах бесследно, будто зола костров, потрясения войны. И вдруг замечаешь в этих взрослеющих подростках столько детскости, что она так же тревожно удивляет, как некогда удивляли ранние проявления зрелости.

### *Глава восемнадцатая*

Прошло лето, и я опять на нашем огороде. Осенняя теплынь. Безоблачно. Серебристый блеск паутины. Я люблю копку картофеля. Жмурясь от света, простоволосый, закатав рукава гимнастерки, ты выворачиваешь из сухой земли продолговатую густо-розовую скороспелку, жадно вдыхаешь вкусную, пахнущую солнцем, коноплей и полынью поднятую лопатой пыль; то мурлычешь, сам того не замечая, радостную песню, то свищешь счастливо, как жаворонок. На горах люди, темные на коричнево-ржавом лоскутном поле огородов. Лишь кое-где, веселя взор, белеют мужские рубахи, сшитые из бумажной рогожки, краснеют косынки женщин, голубеют дымы костров. Воздух так чуток к звукам, что погромыхивание ведер, шорох каменистой почвы, ширканье напильника, затачивающего лопаты там, на горах, громко отдается здесь, внизу.

Полднем уже повезут на двухколесных ручных тележках мешки, набитые картофелем. Тележки будут рваться вниз по откосу, а люди их тормозить, азартно смеясь, с притворным испугом охая, беззлобно перебариваясь.

Чуть за вечерет — по дороге с переправы потянутся газогенераторные грузовики, либо работающие на чурке, которая глеет в клепаных цилиндрах печей, громоздящихся позади кабины, либо на смеси коксового и доменного газа, накачанного в стальные баллоны, которые, что бомбы под крылья самолета, подвешены к днищам кузовов. Машины,

астматически захлебываясь на подъемах, плывут, торжественно, тяжело переваливаясь. На мешках и кулях, сшитых из холстины, домотканых половиков, брезента, старых юбок, покачиваются пирамиды самих огородников. Они лузгают семечки, хрумкают брюкву, запустят в прохожего морковкой и хохочут после того, как он, погрозив им кулаком, примется уплетать эту же морковку. На обочинах дороги околачиваются ватаги ребятни. Они бегут за проплывающими мимо грузовиками, прося и клянча овощи. Им бросают стручки гороха, турнепс, редьку, капустные вилки и даже тыквы. Шершавая медная шкура тыкв лопается. В трещины высовываются сливочно-желтые гроздья семечек. Девочка в матроске кинула подсолнух величиной с поднос. Ватага ребятни мгновенно разломила подсолнух и покамест отплевывалась лузгой, их зубы приняли винно-фиолетовый цвет.

Я люблю копку картофеля не только за то, что эту работу Железнодорожск делает всласть, что этой лучистой осенней порой люди становятся веселее, крепче, добрей, но и за то, что с этих долгожданных страдных дней реже слышен плач, чаще звучит балалайка, меньше мрет детей и стариков и тверже надежда, что враг будет сметен с нашей родной советской земли.

Огородик возле бронепробитого полигона я убирал в 1942 году вместе с Костей Кукурузиным. В июне его после ранения доставили в Железнодорожск.

Госпиталь у нас находился в здании школы на взъеме Первой Сосновой горы. Здание было каменное. К парадным дверям поднималась крытая зеленоватым цементом лестница. За год войны перила почти не потеряли глянца. Еще бы! Сколько протерто на них штанишек, ободрано портфелей, залоснено пальто! Тот же Костя во время учения был заядлым катальщиком.

Костя был принят госпиталем в тяжелом состоянии. У него была сквозная рана в живот, пуля вышла через бедро.

Дарья Таранина, прирабатывавшая в госпитале стиркой, рассказывала, будто московские врачи отчаялись излечить Костю и решили отправить его домой: на родине, как говорят, даже стены помогают. И действительно, Костя выздоровел, окреп, только рана на бедре никак не закрывалась.

Решив, что организм, взятый в работу, проявит больше усилий, чтобы заживить рану, Костя взбирался без клюшки на гору, колол солдаткам нашего барака дрова — даже чурбаки, не расклиненные железнодорожным костылем и кувалдой, и те доконал.

И вот теперь, увязавшись со мной на огород, Костя рыл картофель именно раненой ногой, хотя лоб его густо покрывался от боли каплями пота.

Я пробовал уговорить Костю, чтобы прекратил копку, но он отказался.

Другим он стал. Где его словоохотливость, беспечальная улыбка, вечная тяга что-нибудь мастерить — вырезать из дерева головы стариков, шлифовать линзы для телескопа, подключать реле к сложной электрической схеме?

Это бы еще ничего. Когда в офицерскую палату, где он лежал, приходили шефы-школьники, Костя не хотел говорить о боях. Он с неохотой слушал рассказы товарищей по палате о бомбежках, рукопашных схватках, охоте за «языком», о заторах из трупов на речках, о пылающих в ночной тьме танках и, чуть смог передвигаться, уходил от таких разговоров в коридор, резко стуча костылями. Зато был он словоохотлив после, провожая уходящих пионеров, — подробно расспрашивал их о школе

и с удовольствием вспоминал, как учился сам. На прощанье он угощал их сбереженными на этот случай конфетами, печеньем, пиленным сахаром. Его гостинцы казались маленьким шефам в то голодное время сказочно щедрыми, но еще сильнее восхищало их увлечение, с которым Костя слушал их концерты. Выступая в палате, школьники чаще всего взглядывали на Костю, зная, что на его лице они не наткнутся на ухмылку или снисходительность.

Некурящие раненые, случалось, продавали свою порцию табака. То был трубочный, ароматный, пышный, нарезанный тонкими длинными волокнами табак, любовно называемый мошком. Раненые ложились в байковых застиранных халатах на поляне подле дорожки, ведущей на базар, и торговали этим мошком. Меркой служил пустой спичечный коробок. Туда умещалась скупая трехперстная щепоть табаку, и стоило это пять рублей.

Костя тоже ложился на траву, но поодаль. Остановит какого-нибудь старика, скажет: «Закури, дедушка». У того физиономия раздастся от радости при виде бумажного листочка, на котором громоздится холмиком табак на толстую закрутку.

— Сладок мошок! — восхищается старик и пускает дым в бороду (наверно, чтобы нюхать ее, когда нет курева).

— Как жизнь, дедушка?

— В одном кулаке со всеми.

— Я про твою лично жизнь спрашиваю.

— Моя-то что? Одуванчик. Фу — и пусто. Россия! Понял?

— Работаешь, стало быть?

— При вагранке. Мины лью.

— Ты не говорил, я не слышал.

— Голубчик, от своего народа у меня военной тайны нет.

— Шучу, дедушка. Скажи: победим мы немца?

— Великой кровью, а победим. Сам-то как думаешь?

— Ты прав: победим, но великой кровью.

— Что ж ты тогда пытал меня, коли сам знаешь?

— Я должен знать настроение тыла, — смеялся Костя.

— Настроение твердое. Не сумлевайся.

— Дедушка, на-ка мошок.

— А тебе?

— Не курю.

— И правильно. И не втравливайся. Плохое дело. Как зовут-то?

— Костя.

— В чинах?

— Старший лейтенант.

— Спасибо, Костя. Моя старуха верующая. Скажу, пусть помолится за здоровье старшего лейтенанта Кости.

— На случай?

— На случай. Есть бог — смотришь, и дойдет до него молитва, а нет его — вреда не будет.

Был Костя по-прежнему прост, задушевен, добр. И я не мог понять, почему он уклоняется от разговоров о фронте. Попытался выведать, чего он скрывает. Ответил:

— Не прилипай. Суешься в душу, как соглядатай.

Иногда я так обижался — старый друг, а ни разу не открылся! — что начинал думать, не точит ли его какая-то тайная вина? Не зря, наверно, он недовольно хмурится, когда спрашиваешь, за что он получил два ордена Красного Знамени.

Палящим июльским полуднем я смотрел «Киносборник фронтовой хроники». Воздух в зале был будто в санпропускнике, где прожаривают одежду, и от этого хотелось спать. И вдруг я увидел на экране командира, похожего на Костю Кукурузина. Командир выскочил из-за угла деревянного дома, в который полузавалилась крыша. Он стрелял из автомата. Ушанку на макушке, наверно, распорол осколком, оттуда выпучился клочок ваты. Полы шинели излоскучены и продырявлены. За командиром пробежали солдаты. Боец, бежавший последним, упал со всего маху. Его винтовка легла рядом со своим хозяином в усыпанный сажой сугроб. Мимо этого, должно быть убитого, солдата прошла старуха. Она остановилась возле какой-то жуткой груды, в которой долевали головни, всплеснула руками и, как-то странно встряхиваясь, все ниже и ниже сгибалась. Стало понятно, что она причитает. И тут мое сердце как в тисках зажалось. Я разглядел среди обугливающихся бревен груды человеческих тел. Возле старухи появилась женщина, она сорвала с себя черный платок, в отчаянии закрыла им лицо, на виду оставались только блуждающие по трупам глаза. Пришли девочка в рваном пальтишке и старик с мальчиком. Мальчику было лет пять, он жался к ноге деда, переступая закутанными в тряпье голыми выше лодыжек ногами. Потом снова показали командир, похожий на Костю Кукурузина, и те солдаты, что бежали за ним. Он поднял с ними бойца, шагнул к пепелищу и зарыдал. Я вгляделся в разросшееся на экране лицо, и мне показалось, что я окончательно узнал Костю.

Я не спросил Костю, не его ли я видел в киножурнале, посвященном освобождению Солнечногорска.

Выбирая за Костей картошку, я ждал, что он заговорит, а он молчал. И тогда я пустился на хитрость.

— Эх, слопать бы сейчас кавун весом этак на полпуда.

— Есть на базаре?

— Бывают. Привезут — нарасхват. Редко привозят. Наверно, некому бахчами заниматься.

— Ремень до последней дырки затягиваем, а ты арбуз захотел. Скорей всего вместо арбузов морковь сеют, лук... Впрочем, я бы тоже от арбуза не отказался. Вкусные, дьяволы! Тебе какие нравятся? Пятнистые или полосатые?

— Полосатые.

— И мне полосатые. Я больше люблю с черными семечками. Ты?

— С коричневыми.

— С черными сахарнее. Мякоть крупинками, алая.

— Ты забыл. Рассыпчатая и алая как раз когда коричневые семечки.

— Толкуй! Я тебя баловал арбузами, и я же забыл! Ты спишь себе, я встану на рассвете и на овощной склад. Арбузов навалом. Подползу, выберу парочку дындек со свинными хвостиками — и драпать. Бужу тебя, ты брык ногами. Я арбуз под одеяло. И тут у тебя в мозгу реле сработает и замкнет цепь на язык. Чмокнешь языком, вскочишь и руки протянешь: «Дай ломоток с тележный ободок».

— Правильно.

— Ага! А еще споришь.

В душе Кости, очевидно, назрела потребность в откровенном разговоре. Он объяснил мне, почему у него нет желания рассказывать о войне.

— Человек, Сережа, появляется на свет в крови. Вспоминают про эту кровь? Нет. Почему? Чтобы не омрачать любви. Ну и, конечно, из чувства такта. Для нас с тобой нет прекрасней страны, чем наша. Из любви к ней я убивал врагов. Но я — человек. И моя человеческая при-



рода противится убийству. Я исполнял свой долг, но не хочу говорить о том, как убивал. Особенно детям. Если потребуется, они, придет время, исполнят свой воинский долг не хуже меня. Ты заметил, что и мои госпитальные товарищи, рассказывая о войне, опускают кровавые сцены? Само по себе убийство и им ненавистно.

Он умолк и запрокинул голову. Солнце упало на его исхудалое, с желтоватыми веками лицо. Я подумал, что Косте на мгновение, наверно, вдруг особенно отрадным показалось то, что он остался жив, и ему захотелось обратить лицо к этому свету, который видишь даже при плотно закрытых глазах.

Костя опять принялся рыть картофель, нажимая на лопату раненой ногой, и потел от боли. И я старался не смотреть на него. Влажные пятна, что разрастались на гимнастерке, и капли, набухавшие на лбу, вызывали во мне шемящую и, как я думал тогда, девчоночью, следовательно унижительную для меня, жалость к Косте. Порой я косил на него глаза и, должно быть, краснел, встречая его пытливый, стерегущий взгляд.

Почему он так пристально смотрел на меня? Хотел понять, как я принял его рассуждения? Или прикидывал, можно ли мне открывать тайны?

Я ждал, но больше Костя не захотел говорить о войне.

### *Глава девятнадцатая*

Бабушка обрадовалась, что мы накопили целых три мешка. После того как ссыпали картофель в подпол, она оторвала от продуктовой карточки талон номер шесть. На этот талон перед праздниками в магазине выдавали водку.

Цветом водка напоминала сукровицу, разила кормовой свеклой и керосином. Пили мы жестяными крошечными стопками, еще не опорожнив и половины бутылки, опьянели. Бабушка плясала под патефон «Во саду ли, в огороде». Она топала на западню, чтобы было больше грому. Какая же выпивка без грому? Лицо у бабушки, когда она молотила пятками, было яростно веселое.

Костя, ковыляя вокруг бабушки, задорно покрикивал:

— Сыпь, бабуся, подсыпай, шибче вжаривай, чтоб косой ефрейтор сдох.

Когда опустела поллитровка, Костя пошел по бараку искать талон номер шесть.

За водкой мы отправились вместе. Шагали быстро. Боялись опоздать в дежурный магазин: он закрывался в полночь. Сквозь тучи не проблескивало ни звездочки. То ли потому, что была густая сухая темнота, то ли так подействовал хмель, — фары грузовиков виделись, как сияние сквозь хрусталь. До этого я не представлял себе, что ночь может быть такой прекрасной от автомобильного света: лучи вперехлест, лучи встык, лучи, протягивающиеся над дорогой радужными трубами, лучи, растекающиеся на стенах будок, лучи, мерцающие сквозь клубы коричневой пыли, лучи, встающие из черноты междугорий. Будто в озарении магнитных вспышек, прокатил через перекресток тяжелый танк, таща вереницу прицепов, груженных капустными вилками; на последнем прицепе сидели солдаты. Луч чиркнул по морде лошади и зажег в зрачках ее огромных глаз рубиновые пятна.

— Здорово-то как!

— Чем, Серега, восхищаешься?

— Вон у той лошади... Не туда смотришь. Вон у той, которая с испугу только что в кювет брыкнулась. Какие у нее были рубиновые зрачки!

— Восхищаешься? — переспросил Костя и шагнул к лошади, чтобы помочь ей.

Тротуар был каменный. Шип Костиной клюшки выбивал из скальника искры.

На шоссе раздавались храп тракторов, надрывное нытье газогенераторных машин, стрекот тележных колес о брусчатку.

У трамвайной остановки тринадцатого участка к нам подбежала Нюра Брусникина. Взвизгивая, она повисла на шее Кости. Он уперся клюшкой в щебенку и держал на слегка склоненной шее ликующую Нюрку. За последний год она стала выше ростом и, как говорили бабы, разбедрилась.

Костя хмуро ждал, когда она прекратит эти нежности. Он воевал, валялся по госпиталям — она в это время развлекалась с парнями.

Акушерка Губариха, матерщинница, курильщица, презирала мужчин за то, что по их вине хорошие женщины делают аборт. Развратниц она презирала еще злее, чем мужчин. Однажды она зашла в будку Кости и с ходу ожесточенно сказала: «Твоя-то невестушка, герой, бывала у меня. А туда же, в педагоги...» Бухнула дверью — была такова.

Поведение Нюры было в глазах Кости предательством.

Будто не замечая его пренебрежения, ласково тыкая пальцем в пуговицы гимнастерки, она спросила:

— Куда вы?

— Не туда, куда ты.

— Косинька, милый, неужели ты поверил сплетням?

Она протянула руки, намереваясь обнять Костю, но он, загоразживаясь, поднял клюшку.

Мы свернули к заводской стене. Вдоль нее круглели на обдуве кусты волчьих ягод. Из низины черные, как из угля выдолбленные, дыбились в небо тополя.

Нюра увязалась за нами. Она сквозь слезы лепетала Косте какие-то укоры. Ее голос становился все громче и обидчивей. Когда мы скрылись меж волчьих ягод, она так начала рыдать, что плач ее отдавался над рудопромывочной канавой.

Я не верил, что Нюра искренно рыдает. Просто она распалила себя, как делают бабы на чужих похоронах. Правда, в эти минуты не было во мне всегдашней неприязни к ней. Я не мог не жалеть тех, кто плачет, если даже подозревал, что их слезы лживы. Но наступило мгновение, когда я уже был не в силах переносить ее рев: желание сочувствовать и утешить столкнулось с негодованием. Чаще всего скоротечная остановка на такой душевной развилке кончалась у меня тем, что я взъярлся. Так было и в этот раз. Я сгреб под кустом горсть гальки и швырнул в ту сторону, откуда неслись причитания. Нюра замолкла — может, зашла от обиды или испугалась.

Мы с Костей повернулись друг к другу. Он успел сказать взглядом, что я поступил хуже последнего негодяя, а я успел, тоже безмолвно, ответить ему, что Нюрку мало кирпичом огреть.

Опять раздалось рыдания и стали быстро удаляться. Голос Нюры дрожал, будто она не убегала, а ревела, сидя в телеге, трясушейся по булыжникам.

— Нюра, подожди!

Отчаяние, прощение, надежда, прозвучавшие в Костином крике, отозвались во мне злым жаром. Я стал ломиться сквозь кусты к заводской стене.

Сторожевая овчарка за стеной слышала мои шаги и гулко брехала, двигаясь вровень со мной.

Я лег на землю. Отсюда, из-под тополей, примыкающих к огородам, я видел битумный скат бугра, трамвайные дуги, брызжущие искрами. Свет искр озарял гребень холма; возникали фигурки людей, мертвенно-зеленые, призрачные, и мгновенно пропадали — казалось, что их расплющивало падающей тьмой.

В свете одной из электрических вспышек отчеканились идущие по огородам на тополя Костя и Ньюра.

Костя забыл обо мне. Он целовал Ньюру — наверно, говорил ей, что дня не прожил без мысли о ней,— и в ответ на непрерывные просьбы Ньюры простить ее лихорадочно шептал: «И ты прости, и ты!»

Поднявшись с травы, я побрел по роще.

С этой ночи Костя снова стал встречаться с Ньюрой. Вечерами они уходили на горы и спускались оттуда в предутренних оловянных сумерках.

О Ньюре он ни с кем не говорил. Видел, что знакомые глядят на него укоризненно, а то и жалостливо. Я чувствовал — он горд тем, что любит Ньюру вопреки враждебности к ней во всем бараке.

В следующее воскресенье, возвращаясь с завтрака, я встретил Костю на крыльце. Я хотел юркнуть в коридор, но он задержал меня и предложил сходить на пруд. Куда девалась его недавняя угрюмость? Он улыбался. Смягчился и я. В сущности, не имею я права негодовать на то, что он любит Ньюру Брусникину.

День был на редкость славный, какие выпадают только осенью. Солнце неяркое — даже от встречного света не жмурятся глаза. Еще не холодно, но уже нет и жары: какое-то нежное равновесие лета и осени. Теплы пространства, воздух, камни, дорожная пыль и звуки завода. Ночи без росы, мягко пахнут полынью, сушеным табаком, созревающей капустой. Один лишь пруд в осеннем склонении — ошуда в нем и на вид и на ощупь.

Мы пошли с Костей на Сиреневые скалы. Шли молча. Потом сидели на скалах у самой воды. Пруд отстоялся, исчезла глинистая краснина. Стоки завода истребили жизнь в пруду, и ничто не тревожило ни его поверхности, ни глубин. Разве что там, возле азиатского берега, бурого от рогозников и тростника, был непокой — кружили, садились и взлетали утки.

Долго мы тут сидели. И то время, когда мы вместе приходили сюда купаться, хоть оно и оборвалось четыре года назад, казалось нам далеким, почти таким далеким, как пугачевское. Ничему, что было тогда: беззаботной свободе, забавам, проказам,— теперь уж не быть. Впереди тяжелые заботы, горе, нужда! И все-таки мы были счастливы! День покая, тепла, мира, слитого с нашими надеждами и дружбой.

*(Окончание следует)*



---

---

ЮЛИЯ ДРУНИНА

★

## В ПРАЗДНИК

В самый грустный и радостный праздник в году,  
В День Победы, я к старому другу иду.  
Дряхлый лифт на четвертый вползает с трудом.  
Тишиною всегда привечал этот дом,  
Но сегодня на всех четырех этажах  
Здесь от яростной пляски паркеты дрожат.  
Смех похож здесь на слезы, а слезы на смех,  
Здесь сегодня не выпить с соседями — грех...  
Открывает мне женщина — под пятьдесят.  
Две медальки на праздничной кофте висят,  
Те трагичные, горькие — «За оборону».  
Улыбаясь, косы поправляет корону.  
Я смотрю на нее — до сих пор хороша!  
Знать, стареть не дает молодая душа.

Те медальки — не слишком большие награды,  
Не прикованы к ним восхищенные взгляды.  
В делегациях нету ее за границей,  
Лишь, как прежде, ее величают «сестрицей»  
Те, которых она волокла на горбу,  
Проклиная судьбу, сквозь пожар и пальбу.

— Сколько было спасенных тобою в бою?  
— Кто считал их тогда, на переднем краю?

Молча пьем за друзей, не пришедших назад,  
Две натертые мелом медали горят —  
Две медали на память о черных годах,  
О прикрытых сердцами родных городах...

\* \* \*

Полжизни мы теряем из-за спешки,  
Спеша, не замечаем мы подчас  
Ни лужицы на шляпке сыроежки,  
Ни боли в глубине любимых глаз.  
И лишь, как говорится, на закате,  
Средь суеты, в плену успеха, вдруг

Тебя безжалостно за горло схватит  
Холодными ручищами испуг:  
Жил на бегу, за призраком в погоне,  
В сетях забот и неотложных дел,  
А может, главное и проворонил,  
А может, главное и проглядел...



---

В. ШУКШИН

★

## ИЗ ДЕТСТВА ИВАНА ПОПОВА

Рассказы

### 1. Первое знакомство с городом

**П**еред самой войной повез нас отчим в город. Город этот — весь деревянный, бывший купеческий, ровный и грязный.

Горько мне было уезжать. Я невзлюбил отчима и, хоть не помнил родного отца, думал: будь он с нами, тятя-то, никуда бы мы не засобирались ехать. Назло отчиму... (Теперь знаю: это был человек редкого сердца — добрый, любящий... Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми, да еще — «враженьятами», так как тятя наш ушел «по линии ГПУ» и его, слышно было, ликвидировали.)

Так вот назло отчиму — папке, — чтобы он разозлился и пришел в отчаяние, я свернул огромную папиросу, зашел в уборную и стал «смолить» — курить. Из уборной, из всех щелей, повалил дым. Папка увидел... Он никогда не бил меня, но всегда грозился, что «вольет». Он распахнул дверь уборной и, подбоченившись, стал молча смотреть на меня. Он был очень красивый человек — смуглый, крепкий, с карими умными глазами... Я бросил папироску и тоже стал смотреть на него.

— Ну? — сказал он.

— Курил...

Хоть бы он ударил меня, хоть бы шелкнул разок по лбу, я бы тут же разорался, схватился бы за голову, испугал бы маму... Может, они бы поругались, и, может, мама заявила бы ему, что никуда она не поедет, раз он такой — бьет детей.

— Я вижу, что курил. Дурак ты, дурак, Ванька... Кому хуже-то делаешь? Мне, что ли? Пойду сейчас и скажу матери...

Это не входило в мои планы: это могло мне выйти боком — мама-то как раз и отстегала бы меня. Я догнал его.

— Папка, не надо, не ходи!

— Зачем ты куришь, дурачок, с таких лет? Ведь это ж сколько никотину скопится за целую жизнь! Ты только подумай, голова садовая. Скажи, что больше не будешь, — не пойду к матери.

— Не буду. Истинный мой бог, не буду.

— Ну, смотри.

...И вот едем в город — переезжаем. На телеге наше добро, мы с Талей сидим на верхотуре, мама с папкой идут пешком. За телегой, приязанная, идет наша корова Райка.

Тая, маленькая сестра моя, радуется, что мы едем, что нам еще далеко-далеко ехать. Невдомек ей, что мы уезжаем из дома. Вообще-то

мне тоже нравится ехать. Вольно кругом, просторно... Степь. В травах стоит несмолкаемая стрекотня: тысячи маленьких неутомимых кузнечков бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковальни; а сверху, из жаркой синевы, льются витые серебряные ниточки...

Мы останавливаемся поесть.

Папка выпрягает коня, пускает его по бережку. Мы раскладываем костерок — варить пшеничную кашу. Хорошо! Я даже забываю, что мы уезжаем из дома. Папка напоминает:

— Вот здесь наша река последний раз к дороге подходит. Дальше она на запад поворачивает.

Мы все некоторое время молча смотрим на родимую реку. Я вырос на ней, привык слышать днем и ночью ее глуховатый, мощный шум... Теперь не сидеть мне на ее берегах с удочкой, не бывать на островах, где покойно и прохладно, где кусты ломаются от всякой ягоды: смородины, малины, ежевики, черемухи, облепихи, боярки, калины... Не заводиться с превеликим трудом — так, что ноги в кровь и штаны на кустах оставишь — бечевою далеко вверх и никогда, может быть, не испытать теперь величайшее блаженство — обратный путь домой. Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удрученным заботами о семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх «с ночевкой». Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор... В носу лодки свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружье и тугой, тяжелый патронташ.

— Ну, всё?

— Всё вроде...

— Давайте, а то поздно уже. Надо еще с ночевкой устроиться. Берись!

Самый хитрый из нас или владелец лодки отправляется на корму, остальные, человека два-три, — в бечеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бечеве: правда, там горсть смородины на ходу слупишь, там второпях к воде припадешь губами, там надо вброд через протоку — по пояс... Да еще сорвешься с осклизлого валуна да с головой ухнешь... Хорошо то, что все это на ходу, не нарочно, не для удовольствия. А главное, ты, а не тот, на корме, основное-то дело делаешь...

Эх, папка, папка!.. А вдруг да у него так все хорошо пойдет в городе? Ведь едем-то мы — попробовать. Еще неизвестно, где он там работу найдет, какую работу? У него ни грамоты большой, ни специальности. И вот надо же — поперся в город и еще с собой трех человек потащил. А сам ничего не знает, как там будет. Съездил только, договорился о квартире, и все. И мама тоже... Куда согласилась? Последнее время, я слышал, всё шептались по ночам: она вроде не соглашалась. Но ей хотелось выучиться на портниху, а в городе есть курсы... Вот этими курсами-то он ее и донял. Согласилась. Попробуем, говорит. Ничего, говорит, продавать не будем, лишнее, что не надо, расскажем по родным и поедем попробуем. А папке страсть как охота куда-нибудь на фабрику или в мастерскую какую — хочется ему стать рабочим, и все тут.

...Приехали в город затемно. Я не видел его. Папка чудом находил дорогу: сворачивали в темные переулки, громыхали колесами по булыжнику улиц... Раза два он только спрашивал у встречных, встречные объясняли что-то на тарабарском языке: надо еще до конца Осавиахимовской, потом свернуть к Казармам, потом будет Дегтярный... Папка возвращался к нам и говорил, что все правильно — верно едем. Мы с Талей и мама притихли. Только папка один храбрился, громко говорил... Наверно, чтоб подбодрить нас. Бодрость наша не доехала до города.

По бокам темных улиц и переулков стояли за заборами большие дома. В окнах яркий свет.

— Господи, да когда же приедем-то? — не выдерживает мама.

Это же удивляло и меня: казалось, что мы, пока едем по городу, проехали пять таких деревень, как наша. Вот он, город-то!

— Скоро, скоро! — бодрится папка. — Еще свернем на одну улицу, потом в переулок — и дома.

Дома!.. Смелый он человек, папка. Я его уважаю. Но затея его с городом все-таки странная. Страшно здесь, все чужое, можно легко заблудиться.

Не заблудились. Подъехали к большому дому, папка остановил коня.

— Здесь. Сейчас скажу, что приехали...

— Скорей там, — велит мама.

— Да скоро! Скажу только...

В переулке темно. Я чувствую, мама боится, и сам тоже начинаю бояться. Одной Тале хоть бы хны.

— Мам, мы тут жить станем?

— Тут, доченька... Заехали!

— Уговори ты его назад, домой, — советую я.

— Да теперь уж... Вот дура-то я, дура!..

Папки, как на грех, долго нету. В доме горит свет, но забор высокий, ничего в окнах не видать.

Наконец появился папка... С ним еще какой-то мужик.

— Здравствуйте, — не очень приветливо сказал мужик. — Заезжай, я покажу, куда ставить. Барахла-то много?

— Откуда!.. Одежка кой-какая да постелишка.

— Ну, заезжайте.

Пока перетаскиваются наши манатки, мы сидим с Талей в большой, ярко освещенной комнате на сундуке, в углу.

В комнату вошел долговязый парнишка... с самолетом. Я прирос к сундуку.

— Хочешь подержать? — спрашивает парнишка.

Самолет был легкий, как пушинка, с тонкими размашистыми крыльями, с винтиком впереди... Тая тоже потянулась к самолету, но долговязый не дал.

— Ты изломаешь.

Тая захныкала и все тянулась к самолету — тоже подержать. Долговязый был неумолим. А во мне вдруг пробудилось чудовищное подхалимство, и я сказал строго:

— Ну, чего ты? Изломаешь — тогда что?!

Мне хотелось еще разок подержать самолет, а чтоб долговязый дал, надо, чтоб Тая не тянулась и нечаянно не выхватила бы его у меня.

Тут вошли взрослые. Отец долговязого сказал сыну:

— Иди спать, Славка, не путайся под ногами.

Когда остались мы одни, я вдруг обнаружил, что свет-то... с потолка!.. Под потолок висела на шнурке стеклянная лампочка, похожая на огурец, а внутри лампочки — светлая паутина. Я даже вскрикнул:

— Гляньте-ка!..

— Ну, что? Электричество. Ты, Ванька, поменьше теперь ори — не дома.

Тут вступилась мама:

— Парнишке теперь и слова нельзя сказать?

— Да говори он, сколько влезет, — потихоньку. Чего заполошничать-то?

Они еще поговорили в таком духе — частенько так разговаривали.



— Завез, да еще недовольный...

— Ну, и давай теперь на каждом шагу: «Гляди-ка! Смотри-ка!» Смеяться ведь начнут.

— Ну, и не одергивай каждый раз парнишку!

— Погоди, сядет он тебе на шею, если так будешь...

А как, интересно? Самого отец чуть не до смерти зашиб на покосе за то, что он, мальчик, побоялся распутать и обратять шкодливую кобылу — лягалась... Сам же нет-нет да вспомнит про это и обижается на отца. Его тогда, маленького-то, насилу откачала мать, бабушка наша неродная. А на шею я никому не сяду, не бойся.

Мы легли спать.

Долго мне не спалось. Худо было на душе. За стеной громко, с при-свнстом храпел хозяин, гудели под окнами провода, проходили по улице молодые парни и девки, громко разговаривали, смеялись. Почему-то вспомнилось, как родной наш дедушка, когда выпьет медовухи, всякий раз спрашивает меня:

— Ваньк, какое самое длинное слово на свете?

Я давно знаю какое, а чтоб еще раз услышать, как он выговаривает это слово, хитрю:

— Не знаю, деда.

— А-а!..— И начинает: — Интре... интренацал...— И потом только одолевает: — Ин-тер-на-ци-а-нал!

Мы покатываемся со смеху — мама, я и Таля.

— Эх вы!.. Смешно? — обижается дедушка.— Ну, валяйте смейтесь.

Можно бы сейчас написать, что в ту ночь мне снились большие дома, самолет, лампочка... Можно бы написать, но не помню, снились ли. Может, снились.

Утром я проснулся оттого, что прямо под окном громко сморкался хозяин и приговаривал:

— Ты гляди что!.. Прямо круги в глазах.

Мама и папки не было. Таля спала. Я стал думать, как теперь пойдет жизнь? Дружков не будет — они, говорят, все тут хулиганистые, еще надают одному-то. Речки тоже нету. Она есть, сказывал папка, но будет далеко от нас. Лес, говорит, рядом, там, говорит, корову будем пасти. Но лес не нашенский, не острова,— бор, это страшновато. Да и что там, в бору-то,— грузди только?

Тут вдруг в хозяйской половине забежали, закричали... Я понял из криков, что Славка засадил в ухо горошину. Всем семейством они побежали в больницу. Я встал и пошел в их комнату — посмотреть, какие в городе печки. Говорили, какие-то чудные. Открыл дверь... и не печку увидел, а аккуратную белую булочку на столе. Потом я узнал, что их зовут сайки. Никого в комнате не было. Я подошел к столу, взял сайку и пошел к Тале. Она как раз проснулась.

— Ой! — сказала она.— Дай-ка мне.

— Всю, что ли?

— Да зачем?.. Смеряй ниточкой да отлomi половинку. Это мама купила?

— Далн. Славка дал.

Разломилн саечку и стали есть, сидя на кровати. Никогда не ел такого вкусного хлеба. До чего же душистый, мягкий, чуть солоноватый, даже есть жалко; я все поглядывал, сколько еще осталось. Мы не услышали, как открылась дверь... Услышали:

— Уже пакостить начали? — С порога на нас глядела хозяйка. У меня все оборвалось внутри.— Зачем ты взял сайку?

И — вот истинный бог, не вру,— я сказал:

— Я думал, она чужая.

— Чужая... Нехорошо так делать. Это воровство называется. Я вот скажу отцу с матерью...

Что-то я вконец растерялся... Вдруг спросил:

— Горошину-то вытащили?

— О какой! — удивилась хозяйка. — Хитрит еще. — И ушла.

Мне стало совсем невмоготу.

— Пойдем домой? — предложил я Тале.

— Сейчас, давай только доедим, — легко согласилась она. Она твердо помнила наказ мамы: не есть на ходу, а — сядь, съешь, чего у тебя там есть, тогда уж ходи или бегай.

Я увидел в окно, что хозяйка пошла в сарай, и заторопил Талю. Она было заупрямилась, но все же пошла.

Я помнил, что мы к воротам подъехали слева, если стоять к ним лицом, значит, теперь надо — вправо. Пошли вправо. Дошли до перекрестка... Я не знал, как дальше. Спросил какого-то дяденьку:

— Как бы нам до Ч-ского тракта пройти?

— А зачем? — спросил дяденька.

— Нам мама сказала туда идти. Она нас там поджидает.

Раньше всего другого, что значительно облегчает эту жизнь, я научился врать. И когда врал и мне не верили, я чуть не плакал от обиды. Дяденька внимательно посмотрел на меня, на Талю... И показал:

— Вот так прямо — до перекрестка, потом улица налево пойдет — по ней, а там как дойдешь до водонапорной башни, большая такая, там спроси снова.

От водонапорной башни дорогу дальше показала тетенька и даже прошла с нами немного.

Долго ли, коротко ли мы шли, к Ч-скому тракту вышли. Там мы сели на взгорок и стали ждать, кто бы нас подвез до нашей деревни. Там, на взгорке, к вечеру уже, нашли нас мама с папкой. Таля плакала — хотела есть, — мной потихоньку овладевало отчаяние...

— Таленька!.. Доченька ты моя-а!..

Я думал, мне крепко влетит. Нет, ничего.

.. Скоро началась война. Мы вернулись в деревню. Папку взяли на фронт.

В 1942 году его убили.

## 2. Гоголь и Райка

В войну, с самого ее начала, больше всего стали терзать нас, ребяташек, две беды — голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами. Летом — другое дело. Летом пошел, поставил на ночь перемета три-четыре, глядишь — утром пара налимов есть. (До сего времени сладостно вздрагивает сердце, как вспомнишь живой, трепетный дерг бечева в руках, чирканье ее по воде, когда он начинает там «водить».) Или пошел назорил в околках сорочьих яиц, испек в золе — сыт. Да мало ли! Будь попроворней да имей башку на плечах — можно и самому прокормиться, и домой принести.

Но зима!.. Будь она трижды проклята, эта зимушка-зима! И воеет и воеет над крышей, хлопает плахами... Все тепло, какое было с утра в избе, все к вечеру высвистит, сколько ни наваливай на порог, под дверь, тряпья, как ни старайся утеплить окна. Или налаდება такие морозы, что в сенцах трескотня стоит, и кажется, вот-вот, еще маленько поддаст — и полопаются стекла в окнах. Выскочишь на минуту на улицу,

тебя — точно в сугроб голенького и рот ледяной ладошкой запечатают. А на дворе — корова... Вот горе-то: сена в обрез, ей жевать и жевать в такую стужу, а где возьмешь? Зиме еще конца не видно. Сделаешь свое малое дело и пулей опять в избу — от холода жгучего и нестерпимой боли за корову: чтоб уж хоть не видеть ее — понурую, всю в инее, с печальными глазами. И в избе нет покоя: тут — худо-бедно — согреешься, а она там стоит... Только на ночь дадим ей охапку сена, и все. И так и видишь все время печальные коровьи глаза — прямо в душу глядят. Она ведь кормилица. Она по весне принесет молоко и теленка — это такая суматошная радость в эти дни, когда наша Райка (корова) вот-вот отелится. Тут весна, теплеет уже, а тут скоро заскользят по полу нежными копытцами — может, бог даст, телочка. (Мы в прошлом году сдали телочку в колхоз. Нам дали муки, много жмыха и чайник меда. Долго, конечно, такого праздника ждать — лето, зиму и еще лето, — но тем он и дороже, праздник-то.) В такие дни, весной, у нас в избе идет такой тарарам, что душа заходится от ликующего, теплого чувства. Я то и дело высакиваю смотреть Райку, щупаю ее теплое брюхо, хоть ни шиша не смыслу в этом. Таля тоже бегает со мной, тоже щупает Райкино брюхо... Райка, повернув голову, смотрит на нас дымчато-влажными глазами: она тоже ждет теленка, она, наверно, понимает наше беспокойство.

— Вань, скоро?

— Ночью, наверно, опростается.

Всю ночь у нас горит свет; мама ходит к Райке, тоже щупает ее брюхо... Приходит и говорит:

— Прям близко уже... Слышно: толкается ногами-то, толкается, а никак. Уж не беда ли с ней? Матушка-царица небесная, не допусти до смерти голодной. Куда мы тогда денемся?

Тревожная ночь.

А рано поутру наш дедушка смотрит Райку и говорит нам всем:

— Чего заполошничаете-то? Сегодня к ночи только... Детей пужаешь, дуреха! — Это он на маму, потому что к утру мы с Талей бываем зареванными.

А теперь — еще зима. Я на стенке начертил в ряд столько палочек, сколько осталось дней до марта. Вычеркиваю вечерами по одной, но их еще так много!

Но бывала у меня радость и зимой: в долгие вечера я читал на печке маме и Тале книги.

С книгами у меня целая история. Я каким-то образом научился читать до школы (дядя Павел, тот сам читать страсть как любил и даже пытался сочинять стихи, и, говорит, когда он был на войне, то некоторые его стихи печатали во фронтовой газете. Наверно, неправду говорит, он прихвастнуть любит: когда мне теперь попалась тетрадка его стихов, они поразили меня своей бестолковщиной...). Словом, как только я еще и в школе поднаторел и стал читать достаточно хорошо, я впился в книги. Я их читал без разбора, подряд, какие давала библиотечарша. Она удивлялась, не верила:

— Уже прочитал?

— Прочитал.

— Неправда. Надо, мальчик, до конца читать, если берешь книги. Вот возьми и дочитай.

Что с ней было делать? Брал книжку обратно, терпел дня два и шел опять. Потом я наловчился воровать книги из школьного книжного шкафа. Он стоял в коридоре, шкаф, и когда легом школу ремонтировали, в коридор — вечерком, попозже — можно было легко проникнуть. Дальше еще легче: шкаф двустворчатый, два колечка на краях створок,

замок с дужкой... Приоткроешь створки — щель достаточная, чтоб пролезла рука: выбирай любую! Грех говорить, я это делал с восторгом. Я потом приворовывал еще кое-что по мелочи, в чужие огороды лазал, но никогда такого упоения, такой зудящей страсти не испытывал, как с этими книгами.

Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо. Это пришла и рассказала учительница. Они с мамой тут же установили причину такого странного отставания — книги. (Парень-то я был не такой уж совсем дремучий.) А тут еще какая-то дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много читал, что бывает — зачитываются. Мама начала немилосердно бороться с книгами. Из библиотеки меня выписали, друзьям моим запретили давать мне книги, которые они брали на свое имя. Они, конечно, давали. Мама выследила меня дома, книжки изорвала, меня выпорола... Я стал потихоньку снимать с чердака книги, украденные раньше в школьном шкафу. (Эта лавочка со школьными книгами к тому времени для меня кончилась: обнаружили пропажу, переделали замок.) Я снимал книги с чердака и перечитывал уже читанное. Я делал это так: вкладывал книгу в обложку задачника и спокойно читал. Мама видела, что у меня в руках задачник, и оставляла меня в покое и еще радовалась, наверно, что я сел наконец за уроки. Подумай она нечаянно, что нельзя же так подолгу, с таким упоением читать задачник, — подумай она так, мне опять была бы выволочка.

На мое счастье, об этой возне с книгами узнала одна молодая учительница из эвакуированных ленинградцев (к стыду своему, забыл теперь ее имя). Она пришла к нам домой. (Наши женщины, все жители села очень уважали ленинградцев.) Ленинградская учительница узнала, как я читаю, и разъяснила, что это действительно вредно. А главное, совершенно без всякой пользы: я почти ничего не помнил из прочитанной уймы книг, а значит, зря угробил время и отстал в школе. Но она убедила и маму, что читать надо, но с толком. Сказала, что она нам поможет: составит список, я по этому списку буду брать книги в библиотеке. (Читал я действительно черт знает что, вплоть до трудов академика Лысенко — это из ворованных. Обожал всякие брошюры: нравились, что они такие тоненькие, опрятные; отчесал за один присест — и в сторону.)

С тех пор стал я читать хорошие книжки. Реже, правда, но всегда это был истинный праздник. А тут еще мама, а вслед за ней Таля тоже проявили интерес к книгам. Мы залезали вечером на обширную печь и брали туда с собой лампу. И я начинал... Господи, какое это наслаждение! Точно я прожил большую-большую жизнь, как старик, и сел рассказывать разные истории моим родным. Точно не книгу я держу поближе к лампе, а сам все это знаю. Когда мама удивлялась: «Ах ты господи! Гляди-ка!.. Вот ведь что на свете бывает!» — я чуть не стонал от счастья и торопливо и несколько раздраженно говорил:

— Да ты погоди, ты послушай, что дальше будет!

— А что дальше, Вань? — спрашивала курносая Таля.

Я шипел на нее, обзывал «дурой», мама строго говорила, что так не надо.

— А чего она!..

— Ну, раз мы не понимаем, мы и спрашиваем. А ты не сердись, а рассказывай — ты же знаешь. Тебя разве учительница обзывает дураком?

— Да как можно же сообразить, что я еще сам пока не знаю, как будет дальше!

— Она маленькая. Читай дальше.

Я тут частенько восклицаю: счастье, радость!.. Но это правда — так было. Может, оттого, что детство. А еще, я теперь догадываюсь, что в трудную пору нашей жизни радость — пусть малая, редкая — переживается острее, чище. Это были праздники, которые я берегу — они сами берегаются — всю жизнь. Лучшего пока не было.

Только вот что омрачало праздники: мама, а вслед за ней Таля скоро засыпали. Только разохотишься читать всю ночь, глядь — уж мама украдкой зеваает. А вслед за ней и ее копия тоже ладошкой рот прикрывает — подражает маме. Я чуть не со слезами смотрю на них.

— Читай, читай! Что, уж зевнуть нельзя?

— Да ведь поспете сейчас!

— Не поспем. Читай знай.

Но я знаю — поспут. Читаю дальше... Мама борется со сном, глаза ее закрываются, она слабеет. Эх!.. Еще минута-две — и мои слушательницы крепко спят. Сижу, горько обиженный... Невдомек было дураку: мама наработалась за целый день, намерзлась. А этой, маленькой, ей эти мои книжки — до фонаря: она хочет быть похожей на маму, и все. Пробую читать один — не то. Да и в сон тоже начинает клонить... И еще одно, что тревожило, — мысль о Райке. Вот она скоро доест свою охалку сена и будет стоять и мерзнуть до утра. От этой мысли самому холодно и совестно на теплых кирпичках. И маму тоже, видно, тревожила эта же мысль... Но что делать? Где его возьмешь, сена?

В один такой вечер мы читали «Вия». Я, сам замирая от страха, читал:

— «Он дико взглянул и протер глаза. Но она, точно, уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил их на гроб. Она встала... идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему...»

Первой не выдержала мама.

— Хватит, сынок, не надо больше. Завтра дочитаем.

— Ну, мам...

— Не надо, ну их... Вот завтра дедушку позовем ночевать, и ты нам опять ее всю прочитаешь. Как заглавие-то?

— Гоголь. Но тут разные, а эта — «Вий».

— Господи, господа... Не надо больше.

Мы долго лежали со светом. Таля уже спала, а мы с мамой не могли заснуть. По правде говоря, я бы и сам не смог читать дальше. Вот так книга! Учительница отметила на листочке, какие читать в сборнике, а эту не отметила. А я почему-то (запретный плод, что ли?) начал именно с «Вия». И вот пожалуїста: сразу непостижимый, душу сосущий, захватывающий ужас. И сил нет оторваться, и жутко. Хоть бы завтра дедушка не хворал, хоть бы он пришел, курил бы, лежал на лавке, накрывшись тулупом (он не мог спать в кровати под одеялом), хоть бы он... Мы бы... Я бы снова стал читать этого «Вия» и дочитал бы до конца.

— Ты не бойся, сынок, спи. Книжка, она и есть книжка: выдумано все. Кто он такой, Вий?

— Главный черт. Я давечь в школе маленько с конца урвал.

— Да нету никаких Виев! Выдумают, окаянные, ребятишек пугать. Я никогда не слыхала ни про какого Вия. А то у нас старики не знали бы!..

— Так эт же давно было! Может, он помер давно.

— Все равно старики все знают. Они от своих отцов слыхали, от дедушек... Тебе же дедушка рассказывает разные истории? Рассказывает. Так и ты будешь своим детишкам, а потом, может, внукам...

Мне смешно от такой необычной мысли. Мама тоже смеется.

— Вот чего,— говорит она,— побудьте маленько одни, я схожу сено подберу. Давечь везла да в переулке у старухи Сосниной сбросила навильник. Она подымается рано, увидит — подберет. А жалко: добрый навильник-то. Посидишь, ничего?

— Посижу, конечно.

— Посиди, я скоренько. Огонь не гаси. С печки не слазь.

Мама торопливо собралась, еще сказала, чтоб я никого не боялся, и ушла. Я стал думать о том, что я опять не отдал должок (семнадцать бабок) Кольке Быстрову,— чтоб не думать про Вию. Тоже невестелая дума (неделю уже не могу отдать), но уж лучше про это, чем... Но мысли мои упрямо возвращаются к Вию; возникает неодолимое желание посмотреть вниз, в темный угол. Я начинаю отчаянно бороться с этим желанием, отвернулся к Тале, внушаю себе знакомое: на печке никакая нечистая сила не страшна, на печку они не могут залезть, им не дано, они могут, сколько им влезет, звать, беситься, страшать внизу, но на печку не ползут — это проверено. Покрутятся до первых петухов и исчезнут. Лежу и стараюсь повеселей думать об этом. Но точно кто за волосы тянет — затылок сводит от желанья посмотреть вниз, в угол. Сил моих нет бороться. И уж думаю: ну, загляну! Пусть они попробуют на печку залезть. Пусть они только попробуют... И тут слышу в сенях торопливые шаги. Я цепенею от ужаса... Кто там? Мама еще до старухи Сосниной не дошла... Вот уж за скобку взялись... Я дернул одеяло на себя — с головой, чтоб только не видеть... Господи, господи!.. Учиться хорошо буду, маму слушаться... Дверь открылась, и я слышу мамин голос, потревоженный скорой ходьбой:

— Спишь, сынок?

С сердца схлынул мгlistый, цепкий холодок жути.

— Ты, мам? Ты чего скоро-то?

— Да я подумала: чего же я одна-то пошла, мне же одной-то не донести — навильник-то добрый... Пойдем-ка возьмем веревки, навяжем две вязанки да принесем. Жалко бросать-то. Талья-то спит?

Я мигом слетаю с печки.

— Спит. Я сейчас... Она сроду не проснется!

И вот мы идем темной улицей близко друг к другу... Молчим. Я считаю, сколько еще домов осталось до старухи Сосниной. Пять. Вот переулочек. Тут четыре избы и длинный огород этой самой старухи.

— Сено-то доброе! Прямо пух... Жалко оставлять-то. Давечь никого в переулке-то не было, я и сбросила с воза...

— Если хороший навильник — раза на три хватит дать.

— Там на четыре хватит. Я ишо там, когда накладывались, подумала: может, запоздаем в деревню-то, стемнеет, поедем переулком, я и сброшу. Да и положила поверх бастрька здоро-о-вый навильник.

— А если б в переулке кто-нибудь бы оказался?

— Ну, тогда что ж... отвезла бы в бригаду. Тут уж ничего не сделаешь.

— Ух, она же и поест у нас сейчас! Свеженького-то... Сразу согреется. Сразу ей дадим?

— Знамо. сразу! Дармовое...

Ну, вот она, старухина изба. У нее там — между избой и баней — есть такой закоулок... Летом там крапива растет, в рост человеческий, а зимой сохлые стеблины торчат из снега, чернеют — вечером и то никакого сена не разглядишь, не то что ночью.

Мы скоро навязываем две большие вязанки... Сено пахучее, шуршит в руках. колется.

Идем назад. И тут — черт ее вынес, проклятую,— собака Чуевых:

подбежала, невидная, неслышная, да как гавкнет. Я подскочил, но вязанки не выронил... А мама выронила свою и села на нее. Едва оправились от страха, пошли. Мама ругается:

— Вот гадина!.. У меня чуть разрыв сердца не случился. Ты-то как, сынок?

— Да ничего. Ноги маленько ослабли сперва, а сейчас ничего.

Некоторое время еще идем.

— Может, подбежим, сынок? Оно скорей, дело-то, будет. А то Таля бы там не проснулась...

— Давай.

И вот мы трусим по улице. Вязанка — точно большой, темный гроб — подскакивает на маминой спине.

Райка мыкнула, услышав нас... Я распустил свою вязанку и бухнул ей в ноги большую охапку. Райка мотнула головой и захрумтела сенцом.

— Ешь, милая, ешь, — говорит мама. — Ешь, родимая. — И чего-то всплакнула и тут же вытерла слезы и сказала: — Ну, пошли, Вань, а то Талюха там... Дело сделали!

Талья спит! Даже не пошевелинулась, пока мы шумно и весело раздевались и залезали на печку.

«Здорово, Вий!» — сказал я про себя и посмотрел вниз, в дальний темный угол.

Весны-то мы кое-как дождались, а вот Райки у нас не стало... У меня и теперь не хватает духу рассказать все подробно. У нас уж в избе раскорячился теленочек — телочка! — цедил на соломенную подстилку тоненькую бесконечную струйку. Мы ели картошку и запивали молочком.

Сена, конечно, не хватило. А уж вот-вот две недели — и выгонять пастись. Только бы эти две недели как-нибудь... Мама выпрашивала у кого-нибудь по малой вязанке, но чего там! Райке теперь много надо: у ней теперь молоко. И мы ее выпускали за ворота, чтобы она подбирала по улице: может, где клочок старого вытает или повезут возы на колхозную ферму и оставят на плетнях... Иногда оставляют на кольях по доброй горсти. Так она у нас и ходила. А где-то, видно, забрела в чужой двор, пристроилась к стожку... Стожки еще у многих стояли: у кого мужики в доме, или кто по благу достал воз, или кто купил, или... бог их там знает. Поздно вечером Райка пришла к воротам, а у ней кишки из брюха висят, тащатся за ней: прокололи вилами...

Вот... Значит, надо ждать телочку, пока она вырастет. Назвали ее тоже Рая.

### 3. Жатва

Год, наверно, 1942. (Мне, стало быть, тринадцать лет.) Лето, страда. Жара несусветная. И нет никакой возможности спрятаться куда-нибудь от этой жары.

Мы жнем с Сашкой Кречетовым. Сашка старше, ему лет пятнадцать—шестнадцать, он сидит «на машине» — на жнейке (у нас говорили — «жатка»). Я — гусевым. Гусевым — это вот что: в жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или водилыны), а один, на длинной постромке, впереди, и на нем-то, в седле, сидел обычно парнишка моих лет, направлял пару тягловых — и, стало быть, машину — точно по срезу жнивья.

Отглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина, машет добела отполированными крыльями (когда смотришь на жнейку издали, кажет-

ся, кто-то заблудился в высокой ржи и зовет руками к себе); сзади стоячей полосой остается висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя все время наплывает сухой, горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой травы и пыли — прошлый след, хоть давешняя золотистая полоса и осела и сзади поднимается и остается недвижно висеть новая.

Жара жарой, но еще смертельно хочется спать: встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда не приученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб — сбивать стеблями ржи паутов с ног. Сашка орет:

— Ванька, огрею!

Бичина у него длинный — может достать. Я потихоньку матерюсь, выравниваю коня... Но сон, чудовишный, желанный сон опять гнет меня к конской гриве, и сил моих не хватает бороться с ним.

— Ванька!.. — Сашка тоже матерится. — Я сам с сиденья валюсь! Потерпи!

— Давай хоть пять минут поспим? — предлагаю я.

— Еще три круга — и выпрягаем.

Три огромных круга!.. А машина стрекочет и стрекочет, и размеренно шагает конь, и дергает повод, и фыркает, и на голову точно масляный блин положили, и горячее масло струйками стекает под рубаху, в штаны... Там, где сидишь в седле, мокро, все остальное раскалилось, тлеет.

— А, Сань?! А то упаду под жатку, вот увидишь!

Сашку допекло тоже; он еще немного хорохорится, поет песни, потом натягивает вожжи:

— Тр-р!.. Пять минут, Ванька! А то застучают.

Господи, да больше и не надо! Это и так вечность. Падаю с коня, на карачках отползаю подальше в рожь — на тот случай, если кони сами тронут, то чтоб не переехало машиной, — успеваю еще подумать про это... Потом горячая, пахучая земля приникла к лицу, прижалась; в ушах еще звон жнейки, но он скоро слабеет, над головой тихо прошуршали литые, медные колоски, и все. Мир звуков сомкнулся. Еще некоторое время все тело вроде слегка покачивается (как в седле), приятно гудит кровь, потом я бестелесно куда-то плыву и испытываю блаженство. Странно, я чувствую, как я сплю — сознательно, сладко сплю. Никогда больше в своей жизни я так не спал, так вот — целиком, вволю, через край.

Сколько мы спали, не знаю, только проснулся я вдруг, с ощущением близкой опасности — сразу как-то, как от толчка, всплыл из глубин небытия на поверхность... Кто-то кричал... Я вскочил. Нас все же «застучали». сам председатель колхоза Иван Алексеевич бегал по стерне за Сашкой, но так как одна нога у председателя деревянная, то догнать Сашку, конечно, он не мог и только издали грозил плетью и ругался. Увидев меня, председатель кинулся было за мной, но я так дернул с места, что он сразу остановился.

— Контры! Вы мне ответите!.. Садитесь жать сейчас же!

— Отойти от жатки — тогда сядем. — Сашке, видно, попало разок председательской плетью: он почесывал спину.

— Сейчас же у меня садитесь! Вы что, под статью меня подвести хотите?! Вас, подлецов, по малолетству не тронут, а меня за... это... за подрывную!

— Отойти от жатки...

Председатель, ругаясь, пошел к своему легкому коробку, который стоял в стороне.

Опять заскрипела, заскрежетала жнейка, опять наладилось жечь солнце, но теперь на душе куда легче, даже весело: малость урвали.



Председатель еще постоял немного, посмотрел на нас и уехал.

Странный он был человек, Иван Алексеевич, председатель. Нога его — это ему давно еще, молотилкой: хотел потуже вогнать сноп под барабан, и вместе со снопом туда задернуло ногу. Пока успели скинуть со шкива приводной ремень, ногу всю изодрало зубьями барабана, потом ее отняли выше колена. Мы его нисколько не боялись, нашего председателя, хоть он страшно ругался и иногда успевал хлестнуть плетью. Мы не догадывались тогда, что народ мы еще довольно зеленый, всю ругались по-мужичьи, и с председателем тоже. С нами было нелегко. Как я теперь понимаю, это был человек добродушный, большого терпения и совестливости. Он жил с нами на пашне, сам чинил веревочную сбрую и при этом длинно матерился... Иногда с силой бросал чиненую-перечиненую шлею, топтал ее здоровой ногой и плакал от злости.

...В тот день председатель здорово насмешил нас.

Съехались мы поздно вечером к бригадному дому, расселись кто где хлебать затируху. Потом должно было быть собрание — у председателя много накопилось примеров нашего безобразного поведения: кто-то еще, кроме нас с Сашкой, спал на полосе, кто-то накануне вечером самовольно бегал домой в баню, кто-то, дожав клин, гонялся с бичом за перепелками...

Председатель, пока мы ужинали, застелил красным сукном длинный стол под навесом, сидел один за столом, строго поглядывал в нашу сторону — ждал. Предстояла «накачка».

Мы ополоснули чашки, закурили и приготовились слушать.

— Сегодня четыре оглоода, — начал председатель, — спали на полосе. Это: Санька Кречетов, Илюха Чумазый, Ванька Попов и Васька Безотцовщина. Вы что, соображаете?! А этот верзила... — Колька, я про тебя! — в баньку ему, вишь, захотелось! Дубина такая... ты всю ночь-то пробегашь туда-сюда, а днем — спать на полосе!

— Я не спал.

— Я посплю вам! Я вам посплю, дьяволы! Вы у меня ишо скирдовать в ночь будете!

Далеко, за лесом, медленно опускается в синие дымы большое красное солнце; хорошо на земле, задумчиво, покойно. Под председательским столом, свернувшись калачиком, мирно спит Борзя, наш бесконечно добрый шалавый кобель.

Председатель никак не может разозлиться, вяло у него получается — никакого интереса. Мы клюем носами.

— Дальше: что это за моду взяли — перепелок стегать?! Живодеры... Первое, они всяких личинок уничтожают... Да время же теряете, черти! Пока ты ее догонишь да угодишь бичом — время-то сколько уходит! Дальше: Ленька Японец наехал, сукин сын, на пенек, порвал пилу. Оглазел?! Скину вот трудодней пятнадцать — будешь вперед смотреть! Ехай сейчас прямо в кузню — чтоб завтра, как только дед Макар проснется, пилу мне склепали.

Ленька Японец радешенек: дома побудет. Везет недомерку! Не нарочно ли на пень-то наехал? Но он хитрый: радости не показывает, а виновато хмурится.

— Дальше: если ишо кого увижу...

Тут-то принесло неурочного: на дороге, из-за взгорка, показались дрожки уполномоченного — мы хорошо знали его жеребца. К нам едет. Эх, как вскочил тут наш председатель (он ужасно боялся уполномоченного) да как застучал кулаком по столу:

— Я давно уж замечаю среди вас контр... контр...

Деревяшкой своей председатель наступил Борзе на хвост, Борзя

взвыл блажным голосом; председателю надо перекричать собаку, он кричит:

— Давно уж я замечаю среди вас контрреволюционные элементы!

Собака воет, крутится под столом; председатель почему-то не может сойти с нее — то ли от волнения, то ли... бог его знает.

Коробок уполномоченного все ближе. Председатель громче:

— И мы эти контрреволюционные элементы вырвем! С корнем!

Добрый Борзя начал кусать деревяшку; мы корчимся от смеха — до того уморительная картина.

Уполномоченный подъехал. Глядит на нас, ничего не может понять. Председатель быстро пошел ему навстречу. Ошалевший Борзя с визгом вылетел из-под стола, кинулся бежать... Да прямо в ноги райкомовскому жеребцу. Красавец жеребец дико всхрапнул, дал в дыбы — чуть из хомута не вылез. Уполномоченный выскочил из коробка; председатель поскакал было на деревяшке за Борзей, потом вернулся, стал успокаивать жеребца.

Мы тоже побавались уполномоченного, но тут ничего не могли с собой сделать — умирали от смеха.

— В чем дело?! — строго спросил уполномоченный.

— Это... собрание у нас — насчет итогов, — пояснил Иван Алексеевич. — С собакой маленько комедия вышла... — И закричал на нас: — Завтра же убрать этого блохастого!..

— Я вижу, что комедия, а не собрание. Может, рано веселиться-то? — спросил нас уполномоченный. — Может, наоборот, плакать надо?

Мы постепенно затихли. Вот теперь, кажется, будет «накачка» настоящая. Но уполномоченный почему-то отменил собрание. Неожиданно добрым голосом сказал:

— Ладно: поработали, посмеялись — идите спать.

Спали мы в доме на нарах. Долго еще не могли успокоиться в тот вечер: вспоминали Борзю, Ивана Алексеевича, хохотали в подушки. Иван Алексеевич беседовал у огонька с уполномоченным... Раза два он входил к нам и сердито шипел:

— Вы будете спать? Опять завтра не добудисься!.. Оглоеды. Хоть бы человека постеснялись!

Потом уполномоченный уехал.

Мы один за другим проваливаемся в сон...

...Когда я — позже других, последним, наверно, — вышел на улицу, уже светила луна и где-то близко вскрикивала ночная птица.

Председатель сидел у костра, тихонько звякал ложкой об алюминиевую чашку — хлебал затируху. Протез он отстегнул, лежал рядом... Худая култышка как-то неестественно белела на траве. Иван Алексеевич часто склонялся и дул на нее — видно, до боли натрудил за день, теперь она, горячая, отдыхала.

А вокруг тепло и ясно. И все вскрикивает какая-то ночная птица — зовет, что ли, кого?

## МИЛЬ ПАРДОН, МАДАМ!

### Рассказ

Когда городские приезжали в эти края поохотиться и спрашивали в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорили:

— А вон, Бронька Пупков.. он у нас мастак по этим делам. С ним не соскучитесь. — И как-то странно улыбались.

Бронька, Бронислав Пупков, еще крепкий мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за пятьдесят, он был на фронте, но покалеченная правая рука — отстрелено два пальца — не с фронта: парнем еще был на охоте в зимнее время, захотел пить, начал долбить прикладом лед у берега. Ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на предохранителе, сорвался и — один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька сам оторвал его. Оба пальца — указательный и средний — принес домой и схоронил в огороде. Хотел крест поставить, отец не дал.

Бронька много скандалил на своем веку, часто дрался, его нешуточно бивали, он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде («педике») — зла ни на кого не таил. Легко жил.

Бронька ждал городских охотников, как праздника. И когда они приходили, он был готов быть с ними хоть неделю, хоть месяц. Места здешние он знал, как свои восемь пальцев, охотник был умный и удачливый.

Городские не скупились на водку, иногда давали денег, а если не давали, то и так ничего.

— На сколь? — деловито спрашивал Бронька.

— Дня на три.

— Все будет, как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы.

Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. Городские люди — уважительные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории.

В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к главному своему рассказу. Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех сил крепился... И когда он наступал, с утра сладко ныло под сердцем, и Бронька торжественно молчал.

— Что это с вами? — спрашивали.

— Так, — отвечал он. — Где будем отвальную соображать? На бережку?

— Можно на бережку.

...Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки, раскладывали костерок. Пока варилась шерба из чебачков, пропускали по первой, беседовали.

Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закурился...

— На фронте приходилось бывать? — интересовался он как бы между прочим. Люди старше сорока почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых: ему надо было начинать рассказ.

— Это с фронта у вас? — в свою очередь спрашивали его, имея в виду раненую руку.

— Нет. Я на фронте санитаром был. Да... Дела-делишки... — Бронька долго молчал. — Насчет покушения на Гитлера не слышали?

— Слышали.

— Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?

— Да.

— Нет. Про другое.

— А какое еще? Разве еще было?

— Было. — Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. — Прошу плеснуть. — Выпивал. — Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот настолько пуля от головы прошла. — Бронька показывал кончик мизинца.

— Когда это было?

— Двадцать пятого июля тысяча девятьсот сорок третьего года — Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.

— А кто стрелял?

Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.

— Где покушение-то было?

Бронька молчал.

Люди удивленно переглядывались.

— Я стрелял,— вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза. И смотрел, точно хотел сказать: «Удивительно? Мне самому удивительно». И как-то грустно усмехался.

Обычно собеседники долго молчали и глядели на Броньку. Он курил, подкидывал палочкой отскочившие угольки в костер... Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.

— Вы серьезно?

— А как вы думаете? Что, я не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю.

— Да ну, ерунда какая-то...

— Где стреляли-то? Как?

— Из браунинга. Вот так — нажал пальчиком и — пук! — Бронька смотрел серьезно и грустно — что люди такие недоверчивые.

Недоверчивые люди терялись.

— А почему об этом никто не знает?

— Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не знаете... В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.

— Погоди. Как это было?

Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели.

— Разболтаете ведь?

Опять замешательство.

— Не разболтаем...

— Честное партийное?

— Да не разболтаем! Рассказывайте.

— Нет, честное партийное? А то у нас в деревне народ знаете какой...

— Да все будет в порядке! — Людям уже не терпелось послушать. — Рассказывайте.

— Прошу плеснуть.— Бронька опять подставлял стаканчик. Он выглядел совершенно трезвым.— Было это, как я уже сказал, двадцать пятого июля сорок третьего года. Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать... Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату... А в палате был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была небольшая — в ногу задело, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня тот генерал и говорит: «Погоди-ка, санитар, не уходи». Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хочет, чтоб я его поддерживал. Жду. С генералами жизнь намного интересней — сразу вся обстановка как на ладони.

Люди внимательно слушают. Постреливает, попыхивает веселый огонек; сумерки крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверкает, точно огромная длинная рыбина несется серединой реки.

— Ну, перевязали генерала... Доктор ему: «Вам надо полежать!» — «Да пошел ты!» — отвечает генерал. Это мы докторов-то тогда боялись, а генералы-то их — не очень. Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал меня спрашивает: откуда я родом, где работал, сколько классов образования? Я подробно все объясняю: родом оттуда-то

(я здесь родился), работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. «Это хорошо,— говорит генерал.— Стреляешь метко?» Да, говорю, чтоб зря не трепаться: на пятьдесят шагов свечку из винта погашу. А вот насчет классов, мол, негусто: отец сызмальства начал по тайге с собой таскать. «Ну, ничего, говорит, там высшего образования не потребуется. А вот если, говорит, ты нам погасишь одну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то родина тебя не забудет». Тонкий намек. Поняли?.. Но я пока не догадываюсь. Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспрашивает. «За границей, спрашивает, никого родных нету?» Откуда, мол! Вековечные сибирские... Мы от казаков приходим, которые тут недалеко Бий-Катунск рубили, крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, почесть вся деревня...

— Откуда у вас такое имя — Бронислав?

— Поп с похмелья придумал. Я его, мерина гривастого, разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем году...

— Где это? Куда сопровождали?

— А в городе было. Мы его тут коллективно взяли, а в город вести некому. «Давай, говорят, Бронька, у тебя на него зуб — веди».

— А почему, хорошее ведь имя?

— К такому имени надо фамилию подходящую. А я — Бронислав Пупков. Как в армии переключка — так смех. А вон у нас Ванька Пупков — хоть бы что.

— Да, так что же дальше?

— Дальше, значит, так... Где я остановился?

— Генерал расспрашивает...

— Да. Ну, расспросил все, потом говорит: «Партия и правительство поручают вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал инкогнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы, говорит, взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантрапа знают того человека в лицо».

— А при чем тут вы?

— Кто с перебивом — тому с перебивом. Прошу плеснуть. Кха! Поясняю: я похож на того гада, как две капли воды. Ну, и — начинается житуха, братцы мои!

Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно улыбаются.

— Поместили меня в отдельной комнате тут же, при госпитале, приставили двух ординарцев... Один — в звании старшины, а я рядовой. Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоги. Подает. Приказ — ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку...

— Какую?

— Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться — подписку давал. По истечении пятьдесят лет — можно. Прошло только... — Бронька шевелил губами — считал. — Прошло двадцать пять. Но это само собой. Житуха продолжается! Утром поднимаюсь — завтрак: на первое, на второе, третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного, я его экз шугану!.. Он несет спирт: его в госпитале навалом. Сам беру, разбавляю, как хочу, а портвейный — ему. Так проходит неделя. Думаю, сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает наконец генерал. «Как, товарищ Пупков?» Готов, говорю, к выполнению задания! «Давай, говорит. С богом, говорит. Ждем тебя оттуда Героем

Советского Союза. Только не промахнись!» Я говорю: если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы вручите Героя Советского Союза Пупкову Брониславу Ивановичу. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так, с флангов, шла пехота, а спереди — мощный лобовой удар танками. — Глаза у Броньки сухо горят, как угольки, поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет — забыл. — Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал! — Бронька встает. — Я попал!.. Делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов... Я быстро ориентируюсь: где Гитлер?

Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну...

— Сердце вот тут... горлом лезет. Где Гитлер?! Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил, куда стрелять — в усики. Я делаю рукой «хайль Гитлер!». В руке у меня большой пакет, в пакете — браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо — ручкой — миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю: фьюрэр! — Бронька сглотнул. — И тут... вышел он. Меня как током дернуло... Я вспомнил свою далекую родину... Мать с отцом... Жены у меня тогда еще не было...

Бронька некоторое время молчит, готов заплакать, завывать, рвануть на груди рубаху...

— Знаете, бывает: вся жизнь промелькнет в памяти... С медведем нос к носу — тоже так. Кха!..

— Ну? — тихо просит кто-нибудь.

— Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке «смирно»... Он улыбался. И тут я рванул пакет... Смеешься, гад! Дак получай за наши страдания!..

Бронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе.

— Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!!! — Это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина... И шепот, торопливый, почти невнятный: — Я стрелил... — Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, мотает безутешно головой. Поднимает голову — лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит: — Я промахнулся.

Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, что говорить что-нибудь не хочется.

— Прошу плеснуть, — тихо, требовательно говорит Бронька. Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный перерывом волнением. Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть.

...Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про «покушение».

Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушивать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая толстогубая баба, сразу набрасывается:

— Чего, как пес побитый, плетешься? Опять?..

— Пошла ты!.. — вяло огрызается Бронька. — Дай пожрать.

— Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить безменом! — орет жена. — Ведь от людей уж прохода нет!..

— Значит, сиди дома, не шляйся.

— Нет, я пойду!.. Я пойду — в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут! Ведь тебя, дурака беспалого, засудят когда-нибудь! За искажение истории...

— Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать.

— Смеются, в глаза смеются, а ему... все божья роса. Харя ты неумытая, скот лесной!.. Совесть-то у тебя есть? Или ее всю уж отшибли? Тыфу в твои глазыньки бесстыжие! Пупок!..

Бронька наводит на жену строгий, злой взгляд. Говорит негромко, с силой:

— Миль пардон, мадам... сейчас ведь врежу!..

Жена хлопала дверью, уходила прочь -- жаловаться на своего «лесного скота».

Зря она говорила, что Броньке все равно. Нет. Он тяжело переживал, страдал, злился... И дня два пил дома. За водкой в лавочку посылал сынишку-подростка.

— Никого там не слушай, — виновато и зло говорил сыну. — Возьми бутылку — и сразу домой.

Его действительно несколько раз вызывали в сельсовет, совестили, грозили принять меры... Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, невнятно:

— Да ладно!.. Да брось ты! Ну? Подумаешь!.. Ну, не буду!..

Потом выпивал в лавочке «банку», маленько сидел на крыльце — чтоб «взяло», — вставал, засучивал рукава и объявлял громко:

— Ну, прошу!.. Кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..

А стрелок он был, правда, — редкий.



---

Ф. ИСКАНДЕР

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### ВЫСОТА

В необоримой красоте  
Кавказ ребристый.  
Стою один на высоте  
Три тыщи триста...

В лицо ударил ветерок,  
Так на перроне  
Морозные  
    коснулись щек  
Твои ладони.

Почти из мирозданья вдаль  
Хочу сигналить:  
— Ты соскреби с души печаль,  
Как с окон наледь.

Карабкается из лошин  
На хвойных лапах  
Настоянный на льдах вершин  
Долины запах.

Толпятся горы в облаках,  
Друг друга грея,  
Так дремлют кони на лугах,  
На шее — шея.

Так дремлют кони на лугах,  
На гриве — грива.  
А время движется в горах  
Неторопливо.

Прости несвязные слова,  
Сердечный приступ.  
Слегка кружится голова —  
Три тыщи триста...



Вершину трогаю стопой,  
А рядом в яме  
Клубится воздух голубой,  
Как спирта пламя.

Нагромождение времен,  
Пласты в разрезе,  
Окаменение и сон  
Всемирной песни.

Провал в беспмятные дни,  
Разрывы, сдвиги,  
Не все предвидели они —  
Лобастых книги.

Но так неотвратим наш путь  
В любовь и в люди,  
Всеобщую я должен суть  
С любовной сутью

Связать, соединить в горсти,  
А там мы сами...  
Связать! Но это не свести  
Концы с концами.

Связать! Иначе прах и дым  
Без слез, без кляуз,  
Так мавром сказано одним:  
— Наступит хаос.

Связать! Иначе жизни нет,  
Иначе разом  
Толчок! И надвое хребет  
Хребтом Кавказа.

### ДРЕВНЯЯ ЛЕГЕНДА

Христос предвидел, что предаст Иуда,  
Но почему ж не сотворил он Чудо?  
Добру уча, он допустил злодейство.  
Чем объяснить печальное бездействие?

Но вот, допустим, сотворил он Чудо:  
Донос порвал рыдающий Иуда.  
А что же дальше? То-то, что же дальше?  
Вот где начало либеральной фальши.

Ведь Чудо — это все-таки мгновенье,  
Когда ж божественное схлынет опьяненье,  
Он мир пройдет от края и до края,  
За предательство проценты собирая.

Христос предвидел все это заране  
И палачам отдался на закланье.  
Он понимал, как затаен и смутен  
Двойник, не совершивший грех Иудин.  
И он решил: «Не сотворится Чудо.  
Добро — добром, Иудюю — Иуда».

Вот почему он допустил злодейство,  
Он так хотел спасти от фарисейства  
Наш мир, еще доверчивый и юный...

Но Рим уже сколачивал трибуны.



---

---

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

★

## ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ\*

*Роман*

### ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

**П**осле тяжелого удара или кризиса, после первого потрясения, когда нервы перестают дергаться и гудеть, вы привыкаете к новому порядку вещей, и вам кажется, будто никаких перемен больше быть не может. Вы приспосабливаетесь и уверены, что новое равновесие установилось навечно. Так я чувствовал себя после смерти судьи Ирвина, после возвращения в столицу. Мне казалось, что история окончена, что игра, начавшаяся много лет назад, доиграна, что лимон выжат досуха. Но если в чем и можно быть уверенным, то только в том, что ни одна история не имеет конца, ибо история, которая нам кажется оконченной, — лишь глава истории, не имеющей конца. И доигрывается не игра, а только партия, партий же в игре много. Если игра остановится — значит, ее просто прервали из-за темноты. Но день долг.

Маленькая игра, которую вел Хозяин, еще не кончилась. Но я о ней почти забыл. Я забыл, что история судьи Ирвина, которая казалась такой законченной в себе, была лишь главой в более долгой истории Хозяина, которая еще не кончилась и сама была лишь главой в другой, более пространной истории.

Когда я вошел к нему в кабинет, Хозяин посмотрел на меня из-за стола и сказал:

— Черт подери, так он улизнул от меня, прохвост!

Я ничего не ответил.

— Я же не просил тебя напугать его до смерти, я просил только припугнуть

— Он не испугался, — сказал я.

— Какого же черта он это сделал?

— Я тебе с самого начала сказал, что он не испугается.

— Так почему же он это сделал?

— Я не хочу это обсуждать.

— Так почему же он это сделал?

— Сказано тебе, я не хочу это обсуждать.

Он посмотрел на меня с некоторым удивлением, встал и обошел стол.

— Извини, — сказал он и положил тяжелую руку мне на плечо.

Я отодвинул плечо.

— Извини, — повторил он. — Вы ведь с ним одно время были приятели?

— Да, — сказал я.

Он вернулся за стол, поднял свое широкое колено и сцепил на нем пальцы.

— А Мак Мерфи еще цел, — задумчиво сказал он.

— Да, Мак Мерфи цел, но ты поищи себе другого помощника, если хочешь собирать на него материальчик.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 7, 8, 9. Ю с. г.

— Даже на Мак Мерфи? — спросил он шутливым тоном, который я оставил без внимания.

— Даже на Мак Мерфи, — подтвердил я.

— Джек, — сказал он, — ты ведь не бросаешь меня?

— Нет, я бросаю определенные занятия.

— Но ведь это правда?

— Что?

— Ну, черт его знает, что там было у судьи!

Я не мог отрицать. Я вынужден был сказать «да». И я кивнул, сказал:

— Да, правда.

— Ну так?

— Я все сказал.

Он сонно рассматривал меня из-под чуба.

— Мальчик, — сказал он рассудительно, — мы не первый год вместе. Надеюсь, что мы будем вместе до конца. Мы с тобой по уши в этом деле, мальчик, оба, ты и я.

Я не ответил.

Он продолжал разглядывать меня. Потом сказал:

— Ты не беспокойся. Все образуется.

— Ну да, — угрюмо отозвался я. — Ты будешь сенатором.

— Я не про это. Я хоть сейчас мог бы стать сенатором, если бы это было все.

— А что еще?

Он не отвечал и даже смотрел не на меня, а на руки, сцепленные на колене.

— А, черт, — сказал он вдруг, — неважно. — Он внезапно отпустил колено. нога с тяжелым стуком упала на пол, и он вскочил из-за стола. — Но пусть они хорошенько помнят — Мак Мерфи и все остальные, — я сделаю то, что мне надо сделать. Клянусь богом, сделаю, даже если мне придется переломать им кости своими руками. — И он вытянул перед собой руки с растопыренными скрюченными пальцами.

Он оперся задом о стол и сказал скорее себе, чем мне:

— Теперь этот Фрей. Фрей. — Затем он погрузился в хмурое молчание, и увидь его в эту минуту Фрей, он был бы очень рад очутиться подальше отсюда, на арканзасской ферме с неизвестным адресом.

Итак, история Хозяина и Мак Мерфи, в которой история судьи Ирвина была лишь эпизодом, продолжалась, но я в ней не участвовал. Я вернулся к своей невинной поденной работе и сидел в кабинете, дожидаясь, когда незаметно приблизится осень и земля на перекошенной своей оси потихоньку выведет место, на котором я обосновался, из-под хрустальной лавины отвесных лучей огромного солнца. Листья дубов сухо шелестели по вечерам, когда поднимался ветер, а за городом, там, где кончались бетонные тротуары и троллейбусные линии, спутанная чаща сахарного тростника ложилась под тяжелым ножом, и вечером на разбитых дорогах скрипели большими колесами возы, заваленные этим приторно-вонючим грузом. А еще дальше, среди черных жирных полей, раздетых секачом, под шафранным небом, заунывно пел негр о каком-то своем уговоре с Иисусом. На университетском тренировочном поле бутса какого-то долгоногого крупоплечего парня снова и снова хлопала по кожаному мячу и под крики и повелительные свистки вздымалась, опадала и перекатывалась «схватка». В субботние вечера под ослепительными батареями прожекторов по стадиону металось надсадное: «Том! Том, Том! Давай, Том!» Потому что Том Старк нес мяч, Том Старк проходил по краю, Том Старк прошивал защиту, и был только Том, Том, Том.

Спортивные корреспонденты писали, что он играет как никогда. А он тем временем вгонял своего старика в пот. Хозяин был суров, как непьющий шотландец, все учреждение ходило на цыпочках, стенографистки после очередной диктовки вдруг заливались слезами над своей машинкой, а должностные лица, выйдя из кабинета, одной рукой прикладывали платок к мертвенно-бледному лбу, а другой

нашаривали дорогу в длинной приемной под нарисованными глазами мертвых губернаторов в золотых рамах. Только для Сэди Бёрк ничего не изменилось. Она по-прежнему откусывала слог, как швея нитку, и смотрела на Хозяина черными горячими глазами, словно богиня судьбы, знающая цену всем вашим надеждам.

Только в дни игр удавалось Хозяину стряхнуть тоску. Раза два я ходил с ним, и когда Том показывал класс, Хозяин преображался. Его глаза выкатывались и блестели, он хлопал меня по спине и тискал, как медведь. Следы этой встряски видны были порой и на другое утро, когда он открывал спортивную страницу воскресной газеты, но на всю неделю ее, конечно, не хватало. А Том ничуть не пытался заглядеть свою вину перед стариком. Раз или два у них был крупный разговор по поводу того, что Том отлынивал от тренировок и поссорился с тренером Билли Мартином.

— А тебе-то какое дело? — спрашивал Том, стоя посреди прокуренной комнаты в гостинице и расставив ноги, словно на палубе в качку. — Какое тебе дело, да и Мартину тоже, если я могу им насовать? А я могу, понял? Я пока могу им насовать, и какого черта еще тебе надо? Я могу им насовать, а ты можешь ходить и распускать хвост по этому случаю. Чего еще тебе нужно?

И с этими словами Том выходил, хлопал дверью, а Хозяин застывал в столбняке — по-видимому, от излишнего прилива крови к голове.

— Ты слыхал, — говорил мне Хозяин, — нет, ты слыхал, что он говорит? За это лупить надо.

Но он дрогнул. Это было видно невооруженным глазом.

Хозяин по-прежнему занимался делом Сибиллы Фрей. Я, как известно, не принимал в нем участия. Дальнейшее было нетрудно предвидеть. Добраться до Мак Мерфи можно было двумя путями: через судью Ирвина и через Гумми Ларсона. Хозяин хотел припугнуть судью, но ничего не вышло. Теперь ему пришлось покупать Ларсона. Он мог купить Ларсона, потому что Ларсон был дельцом. Дело, и только дело. За подходящую сумму Гумми продал бы что угодно: свою бессмертную душу и священные кости матери, а его старый друг Мак Мерфи не был ни тем, ни другим. Если бы Гумми сказал Мак Мерфи «отставить, ты не будешь сенатором», Мак Мерфи послушался бы, потому что без Гумми Мак Мерфи был никто.

У Хозяина не было выбора. Ему пришлось покупать. Он мог бы вступить в сделку с самим Мак Мерфи, пустить Мак Мерфи в сенат, с тем чтобы занять его место после следующих выборов. Но против этого имелось два возражения. Во-первых, потеря времени. Сейчас было самое время Хозяину наступать. Позже он будет лишь одним из сенаторов, которым под пятьдесят. Сейчас он был бы вундеркиндом, папахивающим серой. Мальчик с будущим. Во-вторых, если он подпустит Мак Мерфи к казенному пирогу, то множество людей, которых даже в уединении спальни прошибает пот от одной мысли стать Хозяину поперек дороги, решат, что можно лягнуть Хозяина и убраться целым и невредимым. Они начнут дружить и меняться сигарами с друзьями Мак Мерфи. У них даже появятся собственные мысли. Но было и третье возражение против сделки с Мак Мерфи. И не возражение даже, а просто факт. Тот факт, что Хозяин таков, каков он есть. Если Мак Мерфи принудит его к компромиссу, то пусть на этом нагреет руки кто угодно, только не сам Мак Мерфи. И Хозяин заключил сделку с Гумми Ларсоном.

Дело шло не о мелочи. Не о семечках. О подряде на постройку медицинского центра. О передаче контракта Ларсону.

Меня эти переговоры не касались. Ими занимался Дафи, потому что он давно проталкивал это соглашение и, по-видимому, должен был получить лакомый кусочек в благодарность от Ларсона. Что ж, я не осуждал его за это. Он честно зарабатывал свои деньги. Он ежился и обливался потом под зловещим взглядом Хозяина, пытаясь склонить его в пользу Ларсона. Не он, не его усилия, а случай был виной тому, что сделка стала возможной. Поэтому я его не осуждаю.

Все это творилось у меня за спиной, а вернее, под самым носом, потому что в ту пору, с приближением осени, я чувствовал, что постепенно отдаляюсь от окружающего мира. Он мог идти своей дорогой, а я — своей. Вернее, я шел бы своей

дорогой, если бы знал, где она. Я забавлялся мыслью об увольнении, о том, чтобы сказать Хозяину: «Хозяин, я уматываю отсюда и больше не вернусь». Я считал, что могу себе это позволить. Теперь мне и пальцем не надо было пошевелить ради утренней пышки и чашки кофе. Может, я и не буду богачом, но богатым по-южному, достойно и благородно, я буду. У нас никто и не хочет быть богачом, потому что это вульгарно и низкопробно. Так что мне предстояло стать богатым по-благородному. Как только там закрулятся с делами судьи (если вообще закрулятся, потому что дела его были в запутанном состоянии и на это требовалось время).

Я буду по-благородному богатым, потому что я пожал плоды преступления судьи, точно так же, как после смерти матери я пожну плоды слабости Ученого Прокурора — деньги, которые он оставил ей, когда узнал правду и ушел. Я тоже смогу уйти и на доходы от преступления судьи вести красивую, чистую, безупречную жизнь в краях, где вы сидите за мраморным столиком под полосатым тентом, пьете вермут с сельтерской и черносмородиновой настойкой, а перед вами плещет и блещет прославленная морская синь. Но я не ушел. А ведь в самом деле, потеряв обоих своих отцов, я чувствовал, что могу уплыть свободно, как воздушный шар с последним обрезанным канатом. Но плыть пришлось бы на деньги судьи Ирвина. А деньги эти, давая возможность уплыть, как ни парадоксально, в то же самое время приковывали меня к месту. Или, пользуясь другим сравнением, они были длинной якорной цепью, а лапы якоря глубоко засели в иле и водорослях далекого прошлого. Пожалуй, глупо было относиться так к моему маленькому наследству. Пожалуй, оно ничем не отличалось от любого другого наследства, полученного любым другим человеком. Пожалуй, прав был император Веспасиан, когда, брэнча в кармане джинсов деньгами, добытыми налогом на писсуары, он остроумно заметил: «*Pecunia non olet*»<sup>1</sup>.

Я не ушел, но выпал из потока событий и сидел в своем кабинете или в университетской библиотеке, читая книги и монографии о налогах, ибо теперь я работал над приятным, чистым заданием: законопроектом о налогах. Я так мало интересовался происходящим, что узнал о сделке только тогда, когда она состоялась.

Однажды вечером я явился в резиденцию с портфелем, набитым заметками и табличками, чтобы посоветоваться с Хозяином. Хозяин был не один. С ним в библиотеке были Крошка Дафи, Рафинад и, к удивлению моему, Гумми Ларсон. Рафинад притулился в уголке на стуле и держал обеими руками стакан, как держат дети. Время от времени он отпивал виски мелкими глоточками и после каждого глоточка поднимал голову, как поднимает голову цыпленок, когда пьет. Рафинад не был пьяницей. По его словам, он боялся, что «р-р-а-а зервничается» от виски. Это было бы ужасно, если бы Рафинад разнервничался настолько, что не смог бы с первого выстрела расшибить банку из-под варенья, подброшенную в воздух, или утереть мулу нос задним крылом кадиллака. Дафи же, напротив, был пьяницей, но в тот вечер он не пил. У него явно не было настроения пить; в его глазках то и дело вспыхивал тусклый огонек торжества, хотя ему было неудобно стоять на открытом месте перед кожаной кушеткой. Беспокойство его усугублялось тем, что Хозяин пил — и самым решительным образом. А когда Хозяин пил, его сдерживающие центры, и в обычное-то время слабые, полностью выключались. Теперь он пил вовсю. Это напоминало первую голубую зарницу после трехдневного падения барометра. Он сидел, развалясь на кушетке, а на полу рядом с его мятым пиджаком и туфлями стояли: кувшин воды, бутылка и ваза со льдом. Когда у Хозяина были неприятности, он снимал туфли. Сейчас он был пьян в стельку. В бутылке оставалось меньше половины.

М-р Ларсон стоял сбоку от кушетки — плотный человек среднего роста, средних лет, в сером костюме, с серым лицом, не отмеченным печатью воображения. Он не пил. Когда-то он был содержателем игорного дома и обнаружил, что пьянство не окупается. Гумми был сугубо деловым человеком и не занимался тем, что не окупается.

<sup>1</sup> Деньги не пахнут (лат.).

Когда я вошел и окинул взглядом собрание, воспаленные глаза Хозяина устремились на меня, но он не произнес ни слова до тех пор, пока я не приблизился к открытому месту перед кушеткой. Затем он вскинул руку и указал на Крошку, который стоял посередине этого незащищенного пространства с изнуренной улыбкой на масляном своем блине.

— Смотри, — сказал мне Хозяин. — Это он хотел устроить дело с Ларсоном. А что я ему сказал? Я сказал ему — ни хрена. Ни хрена. Я сказал ему — через мой труп. И что вышло?

Я счел вопрос риторическим и не ответил. Я понял, что законопроект о налогах на сегодняшний вечер отпадает, и бочком стал продвигаться к двери.

— Ну, что вышло? — проревел Хозяин.

— Почему я знаю? — спросил я, но состав действующих лиц уже дал мне приблизительное представление о сюжете драмы.

Хозяин повернул голову к Крошке.

— А ну, скажи, — скомандовал он, — скажи ему, скажи, вонючка, какой продувной бестией ты себя чувствуешь!

Крошка не смог сказать. Егохватило только на улыбку, тусклую, как зимняя заря над необъятным простором черного костюма и жилетки с белым кантом.

— Скажи!

Крошка облизнул губы и стыдливо, как невеста, посмотрел на бесстрастного сероликого Гумми, но сказать не смог.

— Ладно, я тебе скажу. Гумми Ларсон будет строить мою больницу, Крошка добился своего, не зря старался — и все довольны.

— Прекрасно, — сказала я.

— Да, все довольны, — сказал Хозяин. — Кроме меня. Кроме меня, — повторил он и ударил себя в грудь. — Потому что это я сказал Крошке ни хрена. Не желаю иметь дела с Ларсоном. Потому что это я не пустил Ларсона на порог, когда Крошка его привел. Потому что это я должен был давным-давно выгнать его из штата. А где он теперь? Где он теперь?

Серое лицо Гумми Ларсона было непроницаемо. В давние дни, в начале нашего с Ларсоном знакомства, когда он был содержателем игорного дома, его однажды избил полицейские. Видимо, он зажимал причитавшуюся им долю. Они трудились над его лицом, пока оно не стало похоже на сырой шницель. Но оно зажило. Он знал, что оно заживет, и принял побои молча, ибо если ты держишь язык за зубами, это всегда окупается. И в конце концов это окупилось. Теперь он был не содержателем игорного дома, а богатым подрядчиком. Он был богатым подрядчиком потому, что нашел хорошие связи в муниципалитете, и потому, что умел держать язык за зубами. Сейчас он терпеливо сносил выходки Хозяина. Потому что это окупалось. У Гумми были верные инстинкты дельца.

— Я тебе скажу, где он, — продолжал Хозяин. — Смотри. вот он. В этой самой комнате. Вот он стоит, полюбуйся. Хорош собой, а? Знаешь, что он сделал? Он голько что продал лучшего друга. Он продал Мак Мерфи.

Можно было подумать, что Ларсон стоит в церкви и ждет благословения, — такой покой выражало его лицо.

— Но это чепуха. Все равно что раз плюнуть Для Гумми.

Тот и бровью не повел.

— Гумми. Вся разница между ним и Иудой Искариотом в том, что он получает прибыль от своих гридцати сребреников. Но продаст он что угодно, Гумми продал лучшего друга, а я... а я... — он с размаху ударил себя в грудь, и там отдалось глухо, как в бочке, — а я... я должен покурагь, они заставили меня, сукины дети!

Хозяин умолк, свирепо посмотрел на Гумми и потянулся за бутылкой. Он щедро налил себе, добавил воды. Льдом он себя уже не утруждал. Он ограничил себя самым необходимым. Еще немного, и он откажется от воды.

Гумми из своего трезвого и победного далека, с высоты своей нравственной неуязвимости, которая происходит из точного, до цента, знания того, что почему

в этом мире, обозрел фигуру на кушетке и, когда кувшин опустился на пол, сказал:

— Если мы договорились, губернатор, то мне, наверно, пора двигаться.

— Да, — сказал Хозяин, — да. — И скинул ноги в носках на пол. — Да, договорились, будь ты неладен. Но... — Он встал, сжимая в руке стакан, встряхнулся, словно большая собака, так, что из стакана пролилось. — Запомни! — Вытянув вперед голову, он мягко затопал к Ларсону по ковру.

Крошка Дафи не то чтобы стоял у него на дороге, но либо не успел посторониться, либо сделал это недостаточно живо. Как бы там ни было, Хозяин чуть не задел его, а может, и задел. В тот же миг, даже не взглянув на мишень, Хозяин выплеснул жидкость из стакана прямо в лицо Дафи. И, не опуская руки, уронил стакан на пол. Стакан подпрыгнул на ковре, но не разбился.

Я видел лицо Дафи в момент соприкосновения — большую удивленную ватушку, которая напомнила мне тот день, когда Хозяин спугнул Дафи с помоста в Аптоне и Дафи упал через край. Сейчас удивление сменилось вспышкой ярости, а затем покорным обиженным выражением и жалобным: «За что вы так, Хозяин, за что?»

А Хозяин, который уже прошел мимо, обернулся при этих словах и сказал:

— Надо было давно это сделать. Тебе давно причиталось.

Затем он остановился перед Ларсоном, который уже взял пальто и шляпу и невозмутимо ждал, когда уляжется пыль. Хозяин стоял почти вплотную к нему. Он схватил Ларсона за лацканы и придвинул свое багровое лицо к его серому.

— Договорились, — сказал он, — да, договорились, но ты... ты не поставь хоть одного шпингалета, ты пропусти хоть сантиметр в арматуре, ты насыпь хотя бы ложку лишнюю песку, хоть крошку положи фальшивого мрамора, и, клянусь богом... клянусь богом, я тебя выверну наизнанку. Я тебя... — И, не выпуская лацканов, рывком развел руки. Пуговица, на которую был застегнут пиджак Ларсона, покатилась по комнате и тихо щелкнула о камин. — Потому что она — моя, — сказал Хозяин. — Слышишь — это моя больница. Моя!

В комнате слышалось только дыхание Хозяина.

Дафи, стискивая в руке влажный платок, которым он промокал лицо, взирал на эту сцену с благоговейным ужасом. Рафинад не обращал на них ни малейшего внимания.

Ларсон, чьи лацканы все еще были в руках у Хозяина, даже глазом не моргнул. Надо отдать Гумми должное. Он не дрогнул. В жилах у него текла ледяная вода. Его ничем нельзя было пронять — ни оскорблениями, ни гневом, ни рукоприкладством, ни превращением его лица в отбивную. Он был истинным дельцом. Он всему знал цену.

Он стоял перед тяжелым, багровым лицом, которое жарко дышало на него перегаром, и ждал. Наконец Хозяин его отпустил. Он просто разжал руки и, растопырив в воздухе пальцы, сделал шаг назад. Потом повернулся к Ларсону спиной и пошел прочь, словно забыв о нем. Ноги в носках ступали беззвучно, голова чуть покачивалась.

Хозяин сел на кушетку, наклонился, упер локти в расставленные колени, свесив кисти вперед и глядя на гаснущие угли в камине так, будто в комнате никого не было. Ларсон молча распахнул дверь и вышел, не закрыв за собой. Крошка Дафи тоже двинулся к двери, но походка его производила странное впечатление легкости — легкости раздутого тела угопленника, всплывшего на девятый день, — такое впечатление может создать толстый человек, когда идет на цыпочках. На пороге, держась за ручку, он обернулся. Когда его глаза остановились на согнутой фигуре Хозяина, в них снова мелькнула ярость, и я подумал: «Ей-богу, в нем все же есть что-то человеческое». Он почувствовал мой взгляд и посмотрел на меня с выражением страдальческого немого призыва-просьбы простить его за все, понять и пожалеть и не думать плохо о бедном, старом Крошке Дафи, который хотел, как лучше, а за это ему выплеснули опивки в лицо. Разве у него нет никаких прав? Разве бедный, старый Крошка не человек?



Затем Дафи вышел вслед за Марсоном. Он ухитрился прикрыть дверь без звука.

Я посмотрел на Хозяина; тот не шевелился.

— Я рад, что попал на последнее действие, — сказал я, — но мне пора идти. О моем законопроекте не могло быть и речи.

— Погоди, — сказал Хозяин.

Он взял бутылку и глотнул из нее. Он ограничился самым необходимым.

— Я говорю ему... говорю, ты не поставь хоть одного шпингалета, хоть одной железки в бетон, говорю, ты только...

— Угу, — сказал я, — слышал.

— ...насыпь мне ложку песка, только попробуй сжульничать — и я тебя выверну наизнанку, я тебя выпотрошу! — Хозяин встал и подошел ко мне вплотную. — Я его выпотрошу, — сказал он, тяжело дыша.

— Верно, это ты говорил, — согласился я.

— Я сказал выпотрошу — и выпотрошу. Пусть только попробует.

— Правильно.

— Все равно выпотрошу. У-у... — Он раскинул руки. — Я его все равно выпотрошу. Всех выпотрошу. Всех, которые лезут своими грязными лапами. Пусть только кончат, и я их выпотрошу. Всех. Выпотрошу и раздавлю. Честное слово! Лезут своими грязными лапами. Это они меня заставили отдать подряд, они!

— Тут не обошлось и без Тома Старка, — сказал я.

Он остановился, хотя разгон был большой. Он уставился на меня так, что я приготовился к драке. Потом он отвернулся и подошел к кушетке. Но не сел. Он нагнулся за бутылкой, нанес ей большой урон, снова уставился на меня и пролепетал:

— Том еще мальчик.

Я промолчал. Хозяин опять приложился к бутылке.

— Том еще мальчик, — тупо повторил он.

— Ну да, — сказал я.

— Но эти, — закричал он снова, раскинув руки, — эти... Заставили меня...

Выпотрошу... Уничтожу!

Он мог бы долго продолжать в том же духе, если бы не упал на диван. Попав туда, он глухо повторил свои основные замечания насчет «этих» и насчет того, что Том Старк — еще мальчик. Затем эта односторонняя беседа оборвалась; в комнате слышался только его храп и сопение.

Я смотрел на него и вспоминал тот вечер, бог знает сколько лет назад, когда он впервые напился в моем номере аптонской гостиницы и уснул. С тех пор он далеко ушел. Теперь я видел перед собой не круглое лицо дяди Вилли. Все переменялось. И еще как переменялось.

Рафинад, который все это время сидел тихо в углу, едва доставая ножками до полу, встал со стула и подошел к кушетке. Он посмотрел на Хозяина.

— Спекся, — сказал я ему.

Рафинад кивнул, по-прежнему глядя на грузное тело. Хозяин лежал на спине. Одна его нога свесилась на пол. Рафинад подобрал ее и уложил на кушетку. Потом заметил на полу смятый пиджак, поднял его и накинул на разутые ноги Хозяина. Он обернулся ко мне и, как бы извиняясь, объяснил:

— Н-н-не п-п-простудился б-б-бы.

Взяв портфель и пальто, я двинулся к выходу. В дверях я окинул последним взглядом поле битвы. Рафинад снова занял свой стул в уголке. На моем лице, наверно, изобразилось удивление, потому что он сказал:

— Я п-п-посижу, ч-ч-чтобы ему не ме-м-мешали.

И я оставил их вдвоем.

Возвращаясь на машине по ночным улицам домой, я думал о том, что сказал бы Адам, если бы узнал, как будут строить больницу. Я догадывался, одна-

ко, что скажет Хозяин, если ему задать этот вопрос об Адаме. Он скажет: «Черт, я обещал, что построю ее, — и строю. Это главное, я ее строю. А его дело — сидеть там и держать свои лапки в стерильной чистоте». Эти слова я и услышал, когда заговорил с ним об Адаме.

Возвращаясь на машине по темным улицам домой, я думал и о том, что сказала бы Анна Стентон, если бы побывала в библиотеке Хозяина и увидела его на кушетке мертвецки пьяного. Я размышлял об этом не без злорадства. Если она сошлась с ним из-за того, что он такой большой и сильный, и знает, чего хочет, и готов добиться своего любой ценой, ей стоило бы посмотреть, как он мычал и стоял на коленях, словно бык, запутавшийся в привязи, и не то что пошевелиться не мог, а даже головы поднять — из-за кольца в носу. Ей стоило бы на это посмотреть.

Но потом я подумал, что, может быть, этого она и дожидалась. Женщины никого так не любят, как пропойц, озорников, скандалистов, подонков. Они любят их потому, что они — я имею в виду женщин — подобны пчелам из загадки Самсона: им приятно строить свои соты в трупле льва.

Из сильного выйдет сладкое.

Том Старк, может, и был еще мальчиком, как сказал Хозяин, однако он имел прямое касательство к тому, как повернулось дело. Но полагаю, что и Хозяин имел к этому касательство, поскольку именно он сделал из Тома то, чем Том стал. Получался порочный круг: сын был лишь продолжением отца, и когда они свирепо смотрели друг на друга, казалось, что зеркало смотрится в зеркало. Они и в самом деле были похожи — та же манера держать голову набок или вдруг выбрасывать ее вперед, те же неожиданно резкие жесты. Том был натренированным, самоуверенным, лощеным, подстриженным вариантом того, чем был Хозяин в начале нашего с ним знакомства. Но большая разница была вот в чем: в те давние дни Хозяин ощупью, вслепую шел к открытию себя, своего великого дара — он шел, повинуясь темному, неосознанному импульсу, властному, как рок или смертельный недуг, шел в комбинезоне, который пузырился на заду, или в тесном залосненном костюме из синей диагонали. Том же ничего не искал ощупью, и уж во всяком случае не себя. Он знал, что Том Старк — самое потрясающее и сногшибательное явление на свете. Том Старк из сборной Америки — и никаких червячков сомнения. Никаких комбинезонов, пузырящихся на железных ягодицах и таранных коленях. Он стоял посреди комнаты, похожий на боксера, в туфлях с цветными союзками, в спортивном пиджаке, брошенном на плечи, в грубой белой рубашке, расстегнутой на бронзовом горле, в красном шерстяном галстуке со спущенным и сбитым на сторону узлом величиной в кулак, и его глаза уверенно скользили по присутствующим, а мощная гладкая коричневая челюсть атлета лениво разминала жвачку. Вы знаете, как жуют резинку спортсмены. Да, Том Старк был герой что надо и не ходил ощупью. Том Старк знал, кто он есть.

Том Старк знал, что он в порядке. Поэтому он не затруднял себя соблюдением правил. Даже правил тренировки. Он все равно забудет сколько нужно, сказал он отцу, так какого же черта? Но мальчик хватил через край. В субботу ночью, после игры, он с Тадом Меллоном, запасным нападающим, и с Гапом Лоусоном, из основного состава, чувствовал себя в придорожном кабаке. Все прошло бы гладко, если бы они не ввязались в драку с какими-то грубиянами, которые слыхом не слышали о футболе, но терпеть не могли, когда пристают к их девочкам. Гапа Лоусона грубияны отделали на совесть, он попал в больницу и вышел из строя на несколько недель. Тому и Таду досталось всего по несколько оплеух, а потом драчунов разняли. Но факт нарушения режима был преподнесен тренеру Билли Мартину в довольно-таки драматической форме. Он попал в газету. Тренер отстранил от игр Тома Старка и Тада Мелона. Это сильно уменьшило шансы команды в матче с Джорджией, который должен был состояться в следующую субботу. Джорджия в тот сезон играла сильно, и вся надежда была на Тома Старка.

Хозяин принял удар, как подобает мужчине. Без слез и криков — даже когда первая половина закончилась со счетом 7 : 0 в пользу Джорджии. Как только раздался свисток, он вскочил.

— Пошли, — сказал он мне, и я понял, что он отправляется в раздевалку.

Я припелся за ним туда, прислонился к косяку и стал смотреть. На стадионе заиграл оркестр. Сейчас он, наверно, маршировал вокруг поля, и солнце (это была первая встреча, перенесенная из-за приближения холодов на дневное время) сверкало на меди и мелькающей золотой палочке дирижера. Вскоре оркестр, где-то вдали, начал объяснять родному штату, как мы любим его, как мы будем, будем биться за него, как умрем за него и что он — родина героев. Между тем герои, чумазные и выдохшиеся, получали накачку.

Вначале Хозяин не произнес ни слова. Он вошел в раздевалку и медленно оглядел расслабленные тела. Настроение было похоронное. Можно было услышать, как муха пролетит. Ни звука. Только раз проскревели по цементу шипы, когда кто-то незаметно двинул ногой, да раз или два скрипнули доспехи, когда кто-то переменял позу. Тренер Билли Мартин, в шляпе, надвинутой на глаза, стоял в другом конце комнаты и мрачно жевал незажженную сигару. Хозяин медленно обводил их взглядом, одного за другим, а оркестр объяснялся штату в любви. болельщики стояли на трибунах под теплым осенним солнцем и в чистом восторге прижимали шляпы к сердцам.

Глаза Хозяина остановились на Джимми Хардвике, который сидел на скамейке. Джимми был краем в дублирующем составе. Во втором периоде его выпустили на поле, потому что левый крайний играл, как сановница, страдающая запором. Джимми мог отличиться. Случай представился. Он получил пас. И потерял мяч. И теперь, когда глаза Хозяина остановились на Джимми, он ответил Хозяину угрюмым взглядом. Тот не отводил глаз, и Джимми не выдержал:

— Ну, чего молчите... чего... говорите уж!

Но Хозяин ничего не сказал. Он медленно подошел и стал перед Джимми. Потом так же медленно поднял правую руку и опустил ее Джимми на плечо. Он не потрепал его по плечу. Он просто положил на плечо руку, как человек, успокаивающий горячую лошадь.

Он больше не взглянул на Джимми и медленно обвел взглядом остальных.

— Ребята, — сказал он. — Я пришел сказать вам... я знаю, вы сделали все, что могли.

Он стоял, держа руку на плече Джимми, и ждал. Джимми заплакал.

Тогда Хозяин сказал:

— Я знаю, вы сделаете все, что в ваших силах. Потому что я знаю, какая в вас закуска.

Он снова подождал. Потом убрал руку с плеча Джимми, медленно повернулся и пошел к двери. Там он остановился и снова окинул взглядом комнату.

— Я хочу вам сказать, что не забуду вас, — сказал он и вышел.

Теперь Джимми плакал по-настоящему.

Вслед за Хозяином я вышел наружу; оркестр играл залихватский марш.

Когда началась вторая половина, ребята вышли, чтобы драться не на жизнь, а на смерть. В начале третьего периода они приземлили у Джорджии за линией и взяли очко со свободного. Хозяин воспринял гол с мрачным удовлетворением. В четвертом периоде Джорджия оттеснила наших почти к самым воротам, но ребята выстояли, а потом забили гол с поля. Так игра и кончилась, 10 : 7.

Теперь мы могли выиграть первенство Ассоциации. Для этого надо было победить во всех остальных матчах. В следующую субботу Том Старк снова вышел на поле. Он вышел на поле, потому что Хозяин нажал на Билли Мартина. Только поэтому — Хозяин мне сам признался.

— И Мартин это проглотил? — спросил я.

— Да, — ответил Хозяин, — вместе со своими зубами.

На это я ничего не сказал и, кажется, даже виду не подал, что могу сказать. Но Хозяин придвинул ко мне лицо и объявил:

— Понимаешь ты или нет, я не позволю ему все погубить. Мы можем выиграть первенство Ассоциации, а эта дубина хочет все погубить.

Я по-прежнему не отвечал.

— Не в Томе дело. в первенстве, ей-богу,— сказал он. — Не в Томе. Если бы дело было только в нем, я бы слова не сказал. А если он еще раз пропустит тренировку, я ему голову об пол расшибу. Своими руками изобью. Ей-богу.

— Он довольно крупный мальчик.— заметил я.

Хозяин опять побожился, что изобьет его. И в следующую субботу Том снова вышел на поле — он делал игру, он был помесью балерины с паровозом. и трибуны вопили: «А-а, Том, Том, Том!» — потому что он был их родименький, и счет был 20 : 0, и у наших опять были виды на первое место. Оставались две игры. Легкая, с Технологическим, и в День благодарения — финальный матч.

С Технологическим было легко. В третьем периоде, когда университет уже вел, тренер выпустил Тома, просто поразмяться. Том устроил для трибун небольшое представление. Оно было небрежным, блестящим и дерзким. Казалось, для него это пустяки — с такой легкостью он все проделывал. Но однажды, когда он прорвался, сделал с мячом семь ярдов и его снесла вторая линия, он не встал сразу.

— Наверно, в сплетение попали,— заметил Хозяин.

А Крошка, который сидел с нами в губернаторской ложе, сказал:

— Наверно, но Том и не такое выдержит.

— Еще бы, черт возьми.— согласился Хозяин.

Но Том вообще не встал. Его понесли в раздевалку.

— Ясно, в поддых ударили,— сказал Хозяин так, словно речь шла о погоде.— Смотри, выпустили Акстона. Акстон ничего играет. Дай ему еще годик.

— Он ничего, но он не Том Старк. Том Старк — вот на кого я ставлю,— объявил Дафи.

— Сейчас будет пас, могу спорить,— авторитетно заметил Хозяин, но он все время украдкой поглядывал на процессию, двигавшуюся к раздевалке.

«Замена: Акстон вместо Старка»,— проревел громкоговоритель над трибуной, и дирижер болельщиков организовал салют Старку. Они прокричали в честь Тома все, что полагается, а дирижер и помощники дирижера скакали, ходили колесом и бросали в воздух свои мегафоны.

Игра возобновилась. Как и предрекал Хозяин, наши начали хорошим пасом. И с первой попытки прошли девять ярдов. «Первая — на двадцатичетырехъярдовой отметке Технологического,— объявил диктор. И добавил: — Том Старк, потеврявший сознание в предыдущей партии, начал приходить в себя».

— А? Потерявший сознание? — эхом откликнулся Дафи. Затем он хлопнул Хозяина по плечу (он обожал хлопать на людях Хозяина по плечу, показывая, какие они приятели) и возмущился: — Да разве они могут оглушить нашего Тома?

Хозяин на секунду помрачнел, но ничего не сказал.

— Если только слегка,— разглагольствовал Крошка.— Этот мальчик им не по зубам.

— Он крепкий парень,— согласился Хозяин. Затем он полностью сосредоточил свое внимание на игре.

Матч был скучным, но чем скучнее он становился, тем благоговейнее Хозяин наблюдал за матчем и тем старательнее подбадривал игроков. Наши забивали голы с бесперебойностью сосисочной машины, выбрасывающей сосиски. В игре было столько же спортивного азарта, сколько в пари о том, потечет вода с горы или в гору. Но Хозяин шумно торжествовал каждый раз, когда нашим удавалось пройти три ярда. Он только что успокоился после прорыва, который вывел наших на шестиярдовую отметку противника, как перед ложей появился человек и, сняв шляпу, окликнул его:

— Губернатор Старк... губернатор Старк!

— Да? — сказал Хозяин.

— Врач — в раздевалке... он спрашивает, вы не зайдете на минутку?

— Спасибо, — сказал Хозяин, — вы ему передайте, что сейчас приду. Вот только ребята загонят этот, и приду. — И он сосредоточил внимание на игре.

— Ерунда, — вмешался Крошка, — ничего там не может быть. Наш Том, он не...

— Замолчи, — приказал Хозяин, — не мешай игру смотреть.

Когда наши приземлили мяч за лицевой линией и забили свободный, Хозяин повернулся ко мне и сказал:

— Похоже, что можно уходить. Пусть Рафинад отвезет тебя в Капитолий, подожди меня там. Ты мне будешь нужен — и Суинтон, если сможешь его найти. Я возьму такси. Может, догоню тебя. — И, перепрыгнув через барьер, пошел по полю к раздевалке. Но у скамьи задержался, чтобы перекинуться шуткой с ребятами. Потом зашагал дальше, выдвинув тяжелую голову в нахлобученной шляпе.

Мы, в ложе, не стали дожидаться последнего свистка. Пока не началась свалка, мы выбрались наружу и поехали к центру. Дафи вылез у спортивного клуба, где он лечился от одышки, сдувая пену с пива и наклоняясь над бильярдными столами, а я доехал до Капитолия.

Еще не вставив ключ в дверь, я мог сказать, что в большой приемной темно. Девушки закрыли лавочку на субботний вечер и разошлись — по своим свиданиям, кинотеатрам, партиям в бридж, танцам в «Парижской мечте», где саксофоны под голубым светом рыгают тягуче и сладко, словно наевшись сорговой патоки, к шипящим на сковородках бифштексам в придорожном кабаке «Старое тележное колесо», болтовне, трескотне, хихиканью, пыхтению, шепоту — ко всему тому, что называется развлечениями.

Я вошел в непривычно тихую приемную, и где-то в душе у меня мелькнула злорадная усмешка при мысли о том, какими способами они будут развлекаться, в каких местах («Старое тележное колесо», «Парижская мечта», «Столичный Дворец кино», машина на обочине, темный вестибюль) и с какими людьми (самоуверенный петушок-студент, едва скрывающий, что для него это — экскурсия на дно; продавец из аптеки с девятью сотнями на книжке и надеждой на будущий год вступить в дело, подыскать подходящую бабенку и остепениться; средних лет ходок с редкими волосами, приклеенными к большому, жилковатому, как агат, черепу, с запахом желудочных капель и мятной жвачки и с большими, влажными, зверски намякнутыми руками цвета свиного сала).

Пока я стоял у двери, мысль приняла другое направление. Но насмешка по-прежнему цеплялась за уголок сознания, словно огонь — за угол мокрой бумажки. Только теперь она относилась ко мне самому. Какое я имею право издеваться над ними? — спросил я. Ведь и я развлекался такими же способами. И если не развлекаюсь сегодня, то не потому, что стал выше этого и достиг святости. Может быть, наоборот, я что-то потерял. Добродетель от немощи. Воздержание из-за тошноты. Когда вас лечат от пьянства, вам что-то подмешивают в вино, чтобы вас вывернуло, и после того, как вас вывернет несколько раз, вино становится вам противно. Вы — как собака Павлова, у которой слюна течет всякий раз, когда она услышит звонок. Только в вашем случае рефлекс работает так, что стоит вам понюхать вино или хотя бы подумать о нем, как желудок у вас переворачивается вверх тормашками. Кто-то, наверно, подмешал этой дряни в мои развлечения, потому что мне не хотелось больше никаких развлечений. По крайней мере сейчас. И не следовало мне смотреть на этих людей свысока. Чем тут гордиться, если желудок у тебя не принимает развлечений?

Вот я войду к себе в кабинет, посижу минутку-другую за столом, потом включу лампу и займусь своей налоговой арифметикой. В цифрах было что-то успокаивающее, чистое.

Но когда, раздумывая о цифрах, я продолжил свой путь по большой приемной к моему кабинету, в одной из комнат на противоположной стороне послышался звук. Света не было ни под одной дверью, но звук послышался опять. Вполне реальный звук. Никому там быть не полагалось, тем более в темноте. Бесшумно ступая по толстому ковру, я пересек комнату и распахнул дверь.

Это была Сэди Бёрк. Она сидела в кресле, положив на стол согнутые руки, и я понял, что она только сию секунду подняла с них голову. Не то чтобы она плакала. Но она сидела, положив голову на руки, в пустом учреждении, без света, когда другие люди веселились.

— Привет, Сэди,— сказала я.

Она молча посмотрела на меня. Свет едва брезжил сквозь жалюзи, а Сэди сидела к окну спиной, поэтому я не мог разглядеть выражение ее лица — только блестящие глаза. Потом она спросила:

— Что вам нужно?

— Ничего,— ответил я.

— Тогда можете не задерживаться.

Я подошел поближе, сел на стул и посмотрел на нее.

— Вы слышали, что я сказала? — осведомилась она.

— Слышал.

— Ну так услышите еще раз: можете не задерживаться.

— Мне здесь очень уютно,— ответил я.— Ведь у нас много общего, Сэди.

У нас с вами.

— Надеюсь, вы не считаете это комплиментом,— сказала она.

— Нет, это просто научное наблюдение.

— Оно не сделает вас Эйнштейном.

— В том смысле, что неверно, будто у нас много общего, или в том смысле, что это слишком очевидно и не надо быть Эйнштейном, чтобы это понять?

— В том смысле, что мне плевать,— кисло сказала она. И добавила:— И в том смысле, что нечего вам тут делать.

Я не двинулся с места и продолжал ее разглядывать.

— Субботний вечер,— сказал я.— Почему вы не пойдете куда-нибудь в город повеселиться?

— Провалиться ему, вашему городу.— Она выудила из стола сигарету и закурила.

Вспыхнувшая спичка вырвала из темноты ее лицо. Сэди потушила ее, трянув рукой, и через выпяченную нижнюю губу выпустила первую затяжку. Проведав это, она посмотрела на меня и сказала:

— И вам тоже.— Затем обвела убийственным взглядом кабинет, словно он был полон каких-то харь, и, выдохнув серый дым, закончила:— Провалиться им всем. Всему этому заведению.— Ее взгляд снова остановился на мне, и она сказала:— Я уйду отсюда.

— Отсюда? — удивился я.

— Отсюда,— подтвердила она, обведя комнату широким жестом, отчего сигарета в ее пальцах разгорелась ярче.— Из этого места, из этого города.

— Погодите немного — разбогатеете,— сказал я.

— Я давно могла разбогатеть,— ответила она,— копясь в этом добре. Если бы захотела.

Это верно, она могла. Но не разбогатела. Насколько я мог судить.

— Да,— она раздавила окуроч в пепельнице,— я уйду.— Она с вызовом смотрела мне в глаза, словно ожидая возражений.

Я ничего не сказал, только помотал головой.

— Думаете, не уйду? — допытывалась она.

— Думаю, что нет.

— Ничего, увидите, черт бы вас взял.

— Нет,— сказал я и снова помотал головой,— не уйдете. У вас талант по этой части, как у рыбы по части плавания. А разве рыба откажется плавать?

Она хотела что-то сказать, но передумала. Минуты две мы молча сидели в темноте.

— Перестаньте на меня глазеть,— потребовала она.— Сказано вам, уходите. Почему вы не идете домой?

— Жду Хозяина, — лаконично объяснил я, — он... — Тут я вспомнил: — А вы не слышали, что случилось?

— Что?

— С Томом Старком.

— Эх, дал бы ему кто-нибудь наконец по мозгам.

— Вот и дали, — сказал я.

— Давно пора.

— Но сегодня вечером они потрудились на совесть. Последнее, что я слышал, — он был без сознания. Хозяина вызвали в раздевалку.

— Что с ним? — спросила она, подавшись вперед. — Что-нибудь серьезное?

— Он был без сознания. Это все, что мне известно. Скорее всего его отвезут в больницу.

— Они не сказали, что с ним? И Хозяину не сказали? — допрашивала она, наклонившись ко мне.

— Да вам-то чего волноваться? Говорите, что давно пора дать ему по мозгам, а теперь, когда ему дали, у вас такой вид, будто вы в него влюблены.

— Ха, — сказала она. — Шутка.

Я посмотрел на часы.

— Хозяин задерживается. Надо полагать, что повез грозу защитников в больницу.

Она молча глядела на стол и кусала губу. Потом вдруг встала, подошла к вешалке, надела пальто, насадила на голову шляпу и двинулась к двери. Я повернул ей вслед голову. У двери она остановилась и сказала, крутя ручку:

— Я ухожу и хочу запретить. Не пересечь ли вам в свой собственный кабинет?

Я поднялся и вышел в приемную. Сэди, не говоря ни слова, захлопнула дверь, быстрым шагом пересекла приемную и скрылась в коридоре. Я стоял и слушал удаляющийся стук каблучков по мраморному полу.

Когда он затих, я вошел в кабинет, уселся у окна и стал смотреть, как шаралят по крышам пальцы речного тумана.

Однако, когда зазвонил телефон, я уже не любозвался романтическим туманным пейзажем вечернего города, а сидел над опрятными успокоительными налоговыми выкладками под лампой с зеленым абажуром. Звонила Сэди. Она сказала, что звонит из университетской больницы и что Том Старк все еще без сознания. Хозяин тоже тут, но она его не видела. Насколько она понимает, я ему за чем-то нужен.

Итак, Сэди отправилась туда. Чтобы ждать, притаившись в антисептическом полумраке.

Я отложил опрятные успокоительные налоговые выкладки и вышел на улицу. Съев у ларька бутерброд с чашкой кофе, я поехал в больницу. Хозяина я нашел в приемной, одного. Вид у него был мрачный. Я спросил, как Том; оказалось, что он в рентгеновском кабинете, но пока ничего не ясно. Им занимается доктор Стентон, а еще один специалист вылетает специальным самолетом из Балтимора для консультации.

Потом он сказал:

— Я хочу, чтобы ты съездил за Люси. Надо ее привезти сюда. Там, на ферме, наверно, еще не было газеты.

Я сказал, что еду, и двинулся к двери. Он окликнул меня, я обернулся.

— Джек, ты как-нибудь это... помягче ей скажи. Ну, подготовь ее, что ли.

Я сказал, что постараюсь, и ушел. Видно, дела были неважные, если требовалась такая подготовка. И пока я ехал по шоссе навстречу огням машин, устремившихся на субботний вечер в город, я думал, какое это будет веселое занятие — подготавливать Люси. И когда я шел по доисторической цементной дорожке к тускло светящимся окнам белого дома, я думал о том же самом. А потом я стоял в гостиной в окружении резного ореха, красного плюша, карточек для сте-

реоскопа, мольберта с портретом малярика и подготавливал Люси — и в занятии этом не было решительно ничего веселого.

Но она держала себя в руках.

— Боже мой, — сказала она негромко, — боже мой. — И потом, с белым, окаменевшим лицом: — Одну минуту. Я возьму пальто.

Мы сели в машину и поехали в город. Мы не разговаривали. Только раз я услышал «боже мой», но обращалась она не ко мне. Я решил, что она молится, — когда-то она ходила в захолустный баптистский колледж, где на это не жалели времени, и привычка могла сохраниться.

Затем я проводил ее в приемную, где сидел Хозяин, и опять не увидел ничего веселого. Его большая голова медленно перекаталась на высокой спинке кресла в ситцевом чехле, и глаза уставились на нее с цветастого узора, как на чужую. Она не подошла к нему, а остановилась посреди комнаты и спросила:

— Как он?

Глаза у Хозяина зажглись, и он вскочил с кресла.

— Все нормально, слышишь? — сказал он. — Все будет нормально. Поняла?

— Как он? — повторила Люси.

— Слышишь, что я тебе говорю, — все будет нормально, — проскрежетал он.

— Ты говоришь. А что говорят врачи?

Лицо его потемнело от прихлынувшей крови, и он шумно задышал.

— Ты сама этого хотела. Сама сказала. Сама сказала, пусть лучше умрет у тебя на глазах. Ты хотела этого. — Он шагнул к ней. — Но он тебя надует. Ничего с ним не будет. Слышишь? Он выздоровеет.

— Дай бог, — тихо сказала она.

— Дай! Дай! — крикнул Хозяин. — Ничего у него нет, уже сейчас. Он крепкий парень, он выдержит.

Она ничего не отвечала, только стояла и смотрела на него; кровь отлила от его лица, и он как будто осел под тяжестью собственного мяса. Немного погодя Люси спросила:

— Я могу его увидеть?

Прежде чем ответить, Хозяин отступил к своему креслу и сел. Потом посмотрел на меня.

— Отведи ее в триста пятую палату, — распорядился он. Голос был вялый, скучный, как будто он отвечал в зале ожидания на дурацкие вопросы проезжего о расписании поездов.

Я отвел ее в палату 305, где под белой простыней лежало неподвижное тело и из приоткрытого рта вырывалось тяжелое дыхание. Люси не сразу подошла к кровати. Остановившись в дверях, она смотрела на Тома. Я подумал, что она сейчас упадет, и протянул руку, но Люси твердо держалась на ногах. Потом она подошла к кровати и робко дотронулась до тела. Она опустила ладонь на правую ногу, над щиколоткой, и так замерла, словно надеясь вызвать или сообщить какую-то силу этим прикосновением. Тем временем медсестра, которая стояла по ту сторону кровати, нагнулась и стерла со лба пациента капельки пота. Люси сделала шаг или два к изголовью кровати и, глядя на сестру, протянула руку. Сестра вложила в нее салфетку, и Люси насухо вытерла ему лоб и виски. Затем вернула салфетку сестре.

— Спасибо, — шепнула она.

На простом, заурядном, добром лице немолодой сестры появилась профессиональная сочувственная улыбка — словно на секунду внесли свет в запущенную обжитую комнату.

Однако Люси смотрела не на ее лицо, а вниз, где шумно дышало лицо с отвисшей челюстью. Там никакого просвета не было. Немного погодя — сестра объяснила, что доктор Стентон ненадолго отлучился и, когда он придет, она даст нам знать, — мы вернулись к Хозяину, который сидел по-прежнему, прислонившись затылком к цветочному узору.



Люси сидела, потупясь, в другом кресле (ситцевые чехлы, горшки с цветами на подоконнике, акварели в простых деревянных рамках, камин с муляжами чурок придавали приемной уютный, веселый вид) и время от времени поглядывала на Хозяина, а я сидел на кушетке у стены и листал иллюстрированные журналы, из которых выяснилось, что мир за пределами нашего уютного уголка еще не перестал быть миром.

Примерно в половине двенадцатого пришел Адам и сказал, что самолет с балтиморским доктором, вызванным для консультации, вынужден был сесть из-за низкой облачности и прилетит, как только туман поднимется.

— Туман! — воскликнул Хозяин и встал. — Туман! Позвони ему... позвони и скажи... туман не туман — пусть вылетает.

— Самолет не может лететь в тумане, — объяснил Адам.

— Ты скажи ему... мальчик, который там... этот мальчик... мой сын... — Голос его не затих. Он просто оборвался на таком звуке, как будто с трудом затормаживала тяжелая машина. Хозяин смотрел на Адама с возмущением и глубокой укоризной.

— Доктор Бернхам вылетит при первой же возможности, — холодно ответил Адам. И, выдержав возмущенный, укоризненный взгляд Хозяина, после короткой паузы добавил: — Губернатор, я думаю, вам лучше было бы прилечь, отдохнуть немного.

— Нет, — ответил Хозяин хрипло, — нет.

— Оттого, что вы не отдыхаете, пользы нет никакой. Вы только напрасно тратите силы. Вы ничем не можете помочь.

— Помочь, — повторил Хозяин. — Помочь... — И сжал перед собой кулаки, словно пытаясь выловить из воздуха какую-то материю, которая растворилась, стала неосязаемой при его прикосновении.

— Я бы очень вам советовал прилечь, — мягко сказал Адам. Потом он повернулся и вопросительно посмотрел на Люси.

Она помотала головой и тихо ответила:

— Нет, доктор. Я тоже подожду.

Адам наклонил голову в знак согласия и вышел. Я последовал за ним.

— Что там у него? — спросил я, догнав Адама в холле.

— Плохо, — сказал он.

— Очень плохо?

— Он парализован и без сознания, — сказал Адам. — Конечности совершенно вялые. Рефлексы полностью исчезли. Ты берешь его за руку, а она как ступень. Рентген — мы сделали снимок черепа — показывает перелом и смещение пятого и шестого шейных позвонков.

— Где эта чертовщина?

Адам положил два пальца мне на шею пониже затылка.

— Тут, — сказал он.

— Иначе говоря, у него сломана шея?

— Да.

— Я думал, от этого умирают.

— Обычно умирают, — сказал он. — А если перелом чуть выше — неизбежно.

— У него есть шансы?

— Да.

— Просто выжить или выздороветь?

— Выздороветь. Почти выздороветь. Но только шансы.

— Что ты предпримешь?

Он посмотрел мне в глаза — вид у него был такой, словно это ему свернули шею. Лицо было белое и осунувшееся.

— Это трудное решение, — сказал он. — Мне надо подумать. Сейчас я не хочу об этом говорить.

Он отвернулся, расправил плечи и зашагал по натертому паркету холла, блестящему под мягким светом, как коричневый лед.

Я возвратился в комнату, где среди ситца, акварелей и цветочных горшков сидели друг против друга Люси Старк и Хозяин. Время от времени она отводила взгляд от своих колен, где лежали ее сцепленные руки с налившимися голубыми жилами, и смотрела на мужа. Хозяин ни разу не встретился с ней взглядом, его глаза были устремлены на камин, где холодно тлели искусственные чурки.

В начале второго пришла нянька с известием, что туман рассеялся и доктор Бернхам вылетел. Когда он будет здесь, нам сообщат. Затем она ушла.

Минуты две Хозяин сидел молча, потом сказал мне:

— Спустись вниз и позвони на аэродром. Спроси, какая у них погода. Пусть передадут Рафинаду, что я велел ехать сюда быстро. И Мерфи передай, что быстро — это значит быстро. Клянусь богом! Кля... — И божба, обращенная неизвестно к кому, оборвалась на полуслове.

Я прошел по коридору и спустился на второй этаж к телефонным будкам, чтобы передать бессмысленные распоряжения Рафинаду и Мерфи. Рафинад и так будет гнать, как полоумный, а Мерфи — лейтенант, командовавший мотоциклетным эскортом, — понимал, что вызван не забавы ради. Я позвонил на аэродром, выяснил, что туман рассеивается — поднялся ветер, — и передал распоряжение для Мерфи.

Когда я вышел из будки, передо мной выросла Сэди. Она, наверно, сидела где-нибудь на скамейке в темном углу, потому что при входе я ее не заметил.

— Что ж вы не гаркнули, не устроили мне настоящего сердечного припад-ка, не доконали меня окончательно? — сказал я.

— Как там? — спросила она, схватив меня за рукав.

— Плохо. Он сломал шею.

— Он выживет?

— Доктор Стентон сказал, что может быть, но улыбки на лице у него я не заметил.

— Что они будут делать? Оперировать?

— Сюда на консультацию вылетела еще одна знаменитость, из университета Джонса Хопкинса. Когда она явится, они подкинут монетку и узнают, что делать.

— А по тону его похоже, что Том действительно может выжить? — Сэди все еще цеплялась за мой рукав.

— Да откуда я знаю? — Я разозлился и выдернул у нее свой рукав.

— Если вы что-нибудь узнаете... ну... когда доктор придет... вы мне скажете? — смиренно попросила она, уронив руку.

— Какого дьявола вы не идете домой, а слоняетесь тут, как привидение? Отправляйтесь домой.

Она помотала головой по-прежнему смиренно.

— Вы же хотели, чтобы он получил по мозгам. А теперь торчите тут и мучаетесь бессонницей. Отправляйтесь домой.

Она помотала головой.

— Я подожду.

— Вы размазня, — заявил я.

— Скажите мне, когда что-нибудь выяснится.

На это я вообще не ответил и, поднявшись вверх, присоединился к семейству Старков. Настроение там мало изменилось.

Вскоре пришла сестра и сообщила, что самолет ждут на аэродроме через тридцать — сорок минут. Позже она пришла еще раз и сказала, что меня просят к телефону.

— Кто? — удивился я.

— Дама, — ответила сестра, — она не хотела назваться.

Я сообразил, кто это может быть, и когда я взял у дежурной трубку, оказалось, что сообразил правильно. Это была Анна Стентон. Она больше не могла терпеть. Она не хватала меня за рукав, потому что находилась в нескольких ки-

лометрах от меня, в своей квартире, но голос ее делал примерно то же самое. Я рассказал ей все, что знал, и по нескольку раз ответил на одни и те же вопросы. Она поблагодарила меня и извинилась за беспокойство. Ей необходимо было знать, сказала она. Она весь вечер звонила мне в гостиницу, а потом позвонила сюда, в больницу. Ей больше не у кого спросить. Когда она позвонила в больницу и спросила о состоянии Тома, ей ответили уклончиво.

— Так что, понимаешь, — сказала она, — понимаешь, пришлось вызвать тебя.

Я сказал, что прекрасно понимаю, повесил трубку и пошел обратно. В приемной все было по-прежнему. И оставалось по-прежнему почти до четырех часов утра, когда Хозяин, который сидел в кресле, уставая на искусственные чурки, вдруг поднял голову, как задремавшая на коврик собака при звуке, слышном ей одной. Только Хозяин не дремал. Он ждал этого звука. Секунду он напряженно прислушивался, потом вскопчил.

— Едут! — закричал он каким-то скрипучим голосом. — Едут!

Тут и я наконец услышал далекий вопль сирены мотоциклетного эскорта.

Вскоре вошла сестра и объявила, что доктор Бернхам встретился с доктором Стентоном. Скоро ли они дадут заключение, она не могла сказать.

После первого звука сирены Хозяин больше не садился. Стоя посреди комнаты, он настроенно прислушивался, как воет и затихает, снова воет и умолкает сирена, ждал, не раздадутся ли в коридоре шаги. Он начал расхаживать по комнате взад и вперед. К окну, где он отдергивал ситцевую занавеску, чтобы посмотреть на черную лужайку и туман за лужайкой, в котором, должно быть, тускло светился одинокий уличный фонарь. И назад, к камину, где он поворачивался на пятках, сбивая ковер. Руки он сцепил за спиной, а голова со свесившимся чубом была угрюмо опущена и покачивалась из стороны в сторону.

Я опять листал иллюстрированный журнал, но тяжелые шаги, нервные и все же размеренные, тревожили какой-то уголок моей памяти. Я почувствовал раздражение, как бывает, когда воспоминание упорно ускользает от вас и не желает всплыть на поверхность. Но скоро я понял, что я стараюсь вспомнить: тяжелое топанье — взад и вперед, взад и вперед — за дощатой перегородкой в захудалой гостинице. Я вспомнил.

Он все еще расхаживал, когда чья-то рука нажала снаружи на ручку двери. При этом звуке, при первом щелчке замка, он повернул голову и замер, как поинтер в стойке. Вошел Адам — прямо в тиски его взгляда.

Хозяин облизнул нижнюю губу, но удержался от вопроса.

Адам закрыл за собой дверь и сделал несколько шагов.

— Доктор Бернхам осмотрел пациента, — сказал он, — и изучил рентгеновские снимки. Его диагноз и мой полностью совпадают. Каков диагноз — вы знаете. — Он замолчал, словно ожидая ответа.

Но ответа не было — даже признаков ответа, — и взгляд Хозяина не отпустил его ни на миг.

— Действовать можно двояко, — продолжал он. — Есть консервативный путь и есть радикальный. Консервативное лечение означает, что мы положим пациента на вытяжение, в гипсовый корсет, и будем ждать того или иного разрешения ситуации. Радикальный путь — немедленно прибегнуть к оперативному вмешательству. Я хочу подчеркнуть, что это весьма сложный выбор, требующий специальных знаний. Поэтому я хочу, чтобы вы уяснили положение настолько полно, насколько это возможно.

Он снова замолчал, но никакого ответа не было, и взгляд Хозяина не выпустил его.

— Как вы знаете, — снова начал Адам голосом, в котором слышались лекторские нотки, — боковой снимок показал перелом и смещение пятого и шестого шейных позвонков. Но рентген не показывает нам состояние мягкой ткани. Поэтому в настоящий момент нам неизвестно состояние самого спинного мозга. Мы можем выяснить это только в процессе операции. Если при операции обнаружится, что спинной мозг поврежден, пациент останется парализованным на всю

жизнь, так как мозговые клетки не восстанавливаются. Но возможно, что сместившийся позвонок просто давит на спинной мозг. В этом случае мы можем путем ламинэктомии ликвидировать сдавление. Мы не в состоянии предсказать, насколько эффективной окажется операция. Возможно, мы восстановим часть функций, а возможно, почти все функции. Конечно, не следует ожидать слишком многого. Некоторые мышечные группы, вероятно, останутся парализованными. Вы понимаете?

На этот раз Адам, кажется, и не ожидал ответа — он сделал лишь секундную паузу.

— Одно соображение я хочу отметить особенно. Операция проводится в непосредственной близости к мозгу. Не исключен смертельный исход. Кроме того, мы рискуем внести инфекцию. Доктор Бернхам и я подробно обсудили вопрос и пришли к согласию. Я лично беру на себя ответственность рекомендовать операцию. Но вы должны понять, что это радикальная мера. Это крайняя мера. Это отчаянный риск.

Адам умолк; в тишине раза два или три шумно вдохнул и выдохнул Хозяин. Наконец он хрипло произнес:

— Делайте.

Он выбрал крайнюю, отчаянную меру, но это меня не удивляло.

Адам вопросительно смотрел на Люси Старк, как бы желая получить и ее согласие. Она отвела взгляд от Адама и повернулась к мужу, который опять стоял у окна и глядел на черную лужайку. Посмотрев на его сутуленную спину, она обернулась к Адаму. Потом, потирая на коленях руки, медленно кивнула и прошептала:

— Да... да.

— Мы приступим немедленно, — сказал Адам. — Я распорядился все подготовить. Необходимости оперировать немедленно нет, но, на мой взгляд, так будет лучше.

— Делайте, — послышался скрипучий голос у окна. Но Хозяин не обернулся даже тогда, когда за Адамом закрылась дверь.

Я снова взялся за журнал, но переворачивал страницы с величайшей осторожностью, как будто не имел права нарушить всепоглощающую тишину, которая установилась в комнате. Тишина длилась долго, а я все перелистывал картинки с женщинами в купальниках, рысаками, красотами природы, шеренгами стройных здоровых юношей, приветственно поднимающих руки в разного рода рубашках, и детективные истории в шести фотографиях с разгадкой на следующей странице. Но картинки не занимали моего внимания, все они были одинаковы.

Потом Люси Старк поднялась с кресла. Она подошла к окну, в которое смотрел Хозяин. Она дотронулась до его руки. Он отодвинулся, не оглянувшись. Но она взяла его за руку, потянула, и после короткого сопротивления он пошел за ней. Она подвела его к креслу в ситцевом чехле.

— Сядь, Вилли, — сказала она очень тихо, — сядь, отдохни.

Он опустился в кресло. Она вернулась на свое место.

Теперь он смотрел на нее, а не на искусственные чурки. Наконец он произнес:

— Он выздоровеет.

— Дай бог, — отозвалась она.

Минуты две или три он молчал и смотрел на нее. Потом с силой повторил:

— Выздоровеет. Обязательно.

— Дай бог, — сказала она. Она смотрела ему в глаза, пока он не отвел взгляд.

Мне надоело сидеть в приемной. Я встал и пошел по коридору к дежурной по этажу.

— Нельзя ли тут раздобыть кофе с бутербродами для губернатора и его жены? — спросил я.

Дежурная обещала прислать еду, но я попросил, чтобы ее оставили здесь на столе, — я захвачу ее на обратном пути. Затем я спустился в вестибюль. Сэди была еще там, пряталась в темном углу. Я рассказал ей об операции и ушел. Я слонялся у стола дежурной, пока не появились бутерброды, после чего вернулся с подносом в приемную.

Кофе и закуска, однако, мало повлияли на настроение в приемной. Я поставил перед Люси столик с чашкой кофе и бутербродом. Она поблагодарила меня, отломив от бутерброда кусочек и дважды или трижды поднесла его ко рту, ни разу не откусив. Но немного кофе выпила. Я пододвинул кофе и еду Хозяину. Он рассеянно посмотрел на меня и сказал «спасибо». Но он даже вида не сделал, что ест. Несколько минут он держал чашку в руке, но не отпил ни глотка. Просто держал.

Я съел бутерброд и выпил кофе. Я наливал вторую чашку, когда Хозяин опустил свою на столик, расплескав кофе.

— Люси, — сказал он. — Люси!

— Да, — откликнулась она.

— Знаешь... знаешь, что я сделаю? — Он подался вперед и продолжал, не дожидаясь ответа: — Я назову новую больницу его именем. Тома. Больница и медицинский центр имени Тома Старка. Она будет носить его имя и...

Она медленно покачала головой, и Хозяин умолк.

— Все это не имеет значения, — сказала она. — Вилли, неужели ты не понимаешь? Вырезать чье-то имя на камне. Напечатать в газете. Вилли, он был моим маленьким, нашим мальчиком, а это все ничего не значит, совсем ничего, неужели ты не понимаешь?

Он откинулся на спинку, и снова в комнате воцарилась тишина. Тишина была в полном разгаре, когда я вернулся, отдав поднос с несъеденными бутербродами дежурной. Это было предлогом выйти. Вернулся я в двадцать минут шестого.

В шесть пришел Адам. Лицо у него было серое и застывшее. Хозяин поднялся и стоял, глядя на Адама, но ни он, ни Люси не проронили ни звука.

Адам сказал:

— Он будет жить.

— Слава богу, — сказала Люси, но Хозяин по-прежнему смотрел на Адама. Адам выдержал его взгляд. Потом он сказал:

— Спинальный мозг поврежден.

Я услышал шумный вздох Люси и, обернувшись, увидел, что голова ее упала на грудь.

Хозяин не шевелился. Потом он поднял руки с растопыренными пальцами, словно собираясь что-то поймать.

— Нет! — объявил он. — Нет!

— Поврежден, — сказал Адам. — Мне жаль, губернатор.

Он вышел из комнаты.

Хозяин смотрел на закрытую дверь, потом медленно опустился в кресло. Он продолжал смотреть на дверь; глаза его были расширены, на лбу собирались капли пота. Он резко распрямился, и я услышал стон. Нечленораздельный, полный боли звук, вырвавшийся прямо из темных животных глубин большого тела.

— О-о! — простонал он. И еще раз: — О-о!

Люси Старк смотрела на него. Он не сводил глаз с двери.

И опять раздался стон:

— О-о!

Она поднялась с кресла и подошла к нему. Она ничего не сказала. Она просто стала рядом и положила руку ему на плечо.

Стон раздался снова, но уже в последний раз. Хозяин откинулся на спинку, глядя на дверь и тяжело дыша. Так прошло, наверно, три или четыре минуты. Затем Люси сказала:

— Вилли.

Он впервые поднял на нее глаза.

— Вилли, — сказала она, — пора идти.

Он встал, я взял с кушетки его и ее пальто. Я подал пальто Люси, а она могла одеться ему. Я не вмешивался.

Они двинулись к двери. Хозяин держался прямо и смотрел перед собой, Люси поддерживала его под локоть, и, увидев их, вы бы подумали, что она умело и тактично ведет слепца. Я открыл им дверь, а потом пошел вперед, чтобы предупредить Рафинада.

Хозяин сел в машину, а за ним — Люси. Это слегка меня удивило; но я не огорчился, что повезет ее домой Рафинад. Несмотря на кофе, я валился с ног.

Я пошел обратно и поднялся в кабинет Адама. Он уже собрался уходить.

— Так что с ним? — спросил я.

— То, что я сказал. Спинной мозг поврежден. Это означает паралич. Прогноз такой: первое время конечности будут совершенно вялыми. Позже мышечный тонус восстановится. Но руки и ноги останутся парализованными. Физиологические отправления будут совершаться бесконтрольно, как у младенца. На коже будут появляться язвы. Сопrotивляемость инфекциям упадет. Дыхательные функции тоже будут нарушены. Вероятна пневмония. Как правило, именно она раньше или позже приканчивает такого больного.

— Судя по твоим словам, чем раньше, тем лучше, — сказал я и подумал о Люси Старк.

— Не знаю, — устало отозвался Адам. Он едва стоял на ногах. Он надел пальто и взял свой саквояж. — Подбросить тебя?

— Спасибо, я на своей, — сказал я. Тут мой взгляд упал на телефон. — Но если можно, я позвоню. Дверь я захлопну.

— Хорошо, — сказал Адам, направляясь к двери. Потом добавил: — Спокойной ночи. — И вышел.

Я набрал город, соединился с Анной и сообщил ей новости. Она сказала, что это ужасно. «Это ужасно», — три или четыре раза повторил ее слабый, убитый голос. Она поблагодарила меня и повесила трубку.

Я вышел из кабинета. Оставалось еще одно дело. Я спустился в вестибюль и сообщил новости Эди. Она сказала, что дело плохо. Я согласился.

— Несладко придется Хозяину, — сказала она.

— Люси придется несладко, — сказал я, — маленького-то ей нянчить. Не забывайте об этом, когда будете выражать свое даровое сочувствие.

То ли она слишком устала, то ли еще что, но она даже не разозлилась. Я предложил подвезти ее в город. Она приехала на своей машине, сказала она.

— Ну, сейчас лягу в постель и усну навсегда, — сказал я и оставил ее одну в вестибюле.

Когда я вышел к машине, в небе отстаивался синий рассвет.

Несчастье с Томом случилось под вечер в субботу. Операцию сделали в воскресенье перед рассветом. В понедельник наступила развязка. Понедельник был канун Дня благодарения.

В этот день постепенное нагромождение событий разрешилось стремительным финалом, подобно тому, как груз в трюме елозит, расшатывает крепления и, вдруг сорвавшись, проламывает борт. Сначала я улавливал в событиях того дня какую-то логику, правда, лишь мельком, но, по мере того как они накапливались перед развязкой, я все меньше и меньше понимал смысл происходящего.

Утеря логики, чувство, что событиями и людьми движут импульсы, мне непонятные, придавали всему происходящему призрачность сна. И только после развязки, после того, как все было кончено, возвратилось ко мне ощущение реальности — а по сути дела много позже, когда мне удалось собрать части головоломки, составить из них связную картину. И это естественно, ибо, как мы знаем, реальность не есть функция события самого по себе, но отношение этого события к прошлым событиям и будущим. Мы приходим к парадоксу: реальность события,

которое само по себе нереально, определяется другими событиями, которые тоже сами по себе нереальны. Но он только подтверждает то, что должно подтверждаться: что направление — все. И живем мы только тогда, когда понимаем этот принцип, ибо от него зависит наше личное тождество.

В понедельник я пришел на работу рано. Все воскресенье я проспал, встал, только чтобы успеть к обеду, посмотрел в кино глупую картину и в половине одиннадцатого снова был в постели. Я пришел на работу с чувством душевной свежести, какая появляется после долгого сна.

Я зашел в кабинет Хозяина. Его еще не было. Пока я стоял там, появилась одна из машинисток с подносом, заваленным телеграммами.

— Все с соболезнаваниями, насчет сына, — сказала она. — Несут и несут.

— Весь день будут нести, — сказал я.

Иначе и быть не могло. Каждый неоперившийся политик, каждый швейцар из провинциального муниципалитета, каждый честолюбивый лизоблюд, который не прочел об этом в воскресной газете, читал в сегодняшней и посылал телеграмму. Послать такую телеграмму — все равно что помолиться. Неизвестно, будет ли от молитвы польза, но вреда не будет наверняка. Эти телеграммы были частью системы. Как свадебный подарок дочке политика или цветы на похороны полицейского. Частью системы было и то, что цветы — раз уж мы заговорили об этом предмете — поставлял магазин Антонио Джиусто. Девушка в магазине вела в специальной подшивке запись всех заказов по случаю похорон полицейского, а после похорон Тони брал подшивку и сверял фамилии навеки осиротевших друзей со своим генеральным списком, и если ваша фамилия есть в генеральном списке, пусть только ее не окажется в подшивке «Похороны Мерфи» — причем речь идет не о каком-нибудь букетике душистого горошка. Тони был хорошим приятелем Крошки Дафи.

Каковой и появился в кабинете, едва только выскочила, вильнув юбкой, машинистка. Когда он вплыл, на лице его было профессиональное участие и уныние похоронного агента, но, уяснив, что Хозяина нет, он оживился, блеснул зубами и спросил:

— Как делишки?

Я ответил, что делишки — ничего.

— Вы видели Хозяина? — спросил он.

Я помотал головой.

— Ц-ц-ц, — сказал он, и на лице его волшебным образом появилось участие и уныние. — Просто беда. То самое, что я всегда называю трагедией. Такой парень. Хороший парень, прямой, честный, без всяких. Трагедия, другого слова не подберешь.

— Нечего на мне практиковаться, — сказал я.

— Представляю, каково сейчас Хозяину.

— Поберегите свой пыл до его прихода.

— А где он?

— Не знаю.

— Я пытался вчера его поймать. Но в резиденции его не было. Они сказали, что не знают, где он, дома он не был. Он заезжал в больницу, но я его там не застал. В отеле его тоже не было.

— Вижу, вы искали добросовестно, — сказал я.

— Да, — согласился Крошка, — я хотел ему сказать, как ему сочувствуют наши ребята.

Тут вошел Калвин Сперлинг, председатель сельскохозяйственной комиссии, и еще несколько мальчиков. У них на лицах тоже был креп, пока они не увидели, что Хозяина нет. Тогда они почувствовали себя свободнее, и языки у них развязались.

— Может, он не придет? — предположил Сперлинг.

— Придет, — возразил Дафи. — Хозяина это не сломит. Он человек с характером.

Явилась еще парочка ребят, а за ними — Моррисей, генеральный прокурор, преемник Хью Милера. Сигарный дым крепчал.

Один раз в дверях показалась Сэди и, положив руку на косяк, окинула взглядом собрание.

— Сэди, привет, — сказал один из мальчиков.

Она не ответила. Еще несколько мгновений она оглядывала комнату, потом сказала: «Господи боже мой» — и скрылась. Я услышал, как хлопнула дверь ее кабинета.

Обогнув стол Хозяина, я подошел к окну и выглянул в парк. Ночью шел дождь, и теперь трава, листья вечнозеленых дубов и даже мох на деревьях чуть-чуть блестели под бледным солнцем, а в мокром бетоне въездов и дорожек стлыли неясные, почти неразличимые отражения. Весь мир — голые сучья других деревьев, уже уронивших листву, крыши домов и самое небо — выглядел бледным, отмытым, просветленным, как лицо человека, который долго болел, а теперь почувствовал себя лучше и надеется выздороветь.

Нельзя сказать, что именно такой вид был у Хозяина, когда он вошел, но это дает приблизительное представление. Он был не бледным, но бледнее обычного, и кожа на челюсти как будто слегка обвисла. На лице виднелись бритвенные порезы. Под глазами залегли серые тени, похожие на заживающие кровоподтеки. Но глаза были ясные.

Он прошел по толстому ковру бесшумно и какое-то время стоял в дверях никем не замеченный. Болтовня не стихла — ее будто выключили на полуслове. Потом была короткая беззвучная возня — напяливались похоронные личины, отложенные в сторонку. Когда они были нацеплены — немного криво из-за спешки, — ребята окружили Хозяина и стали жать ему руку. Они сказали ему, что они хотели ему сказать, как они переживают. «Вы знаете, как переживают все наши ребята», — сказали они. Он сказал да, он знает — очень тихо. Он сказал да, да, спасибо.

Затем Хозяин прошел за стол, и ребята расступались перед ним, как вода перед форштевнем корабля, когда он отваливает от причала и винт делает первые обороты. Он стоял у стола и перебирал телеграммы, просматривая их и роняя на поднос.

— Хозяин, — сказал кто-то, — Хозяин... эти телеграммы... они показывают... они показывают, как к вам относится народ.

Он не ответил.

Тут вошла девушка с новой кипой телеграмм. Она поставила поднос на стол перед Хозяином. Он посмотрел на нее долгим взглядом. Потом положил руку на грудку желтых бумажек, подтолкнул ее и произнес спокойно и деловито:

— Забери это дерьмо.

Девушка забрала дерьмо.

Оживление в комнате потухло. Ребята побрели из кабинета к своим вращающимся креслам, которые не полировались с самого утра. Когда Дафи двинулся к двери, Хозяин сказал:

— Постой, Крошка, есть разговор.

Крошка вернулся. Я тоже собрался уходить, но Хозяин меня окликнул.

— И ты послушай, — сказал он.

Я сел в одно из кресел у стены. Крошка разместился в зеленом кожаном кресле сбоку от стола, закинул ногу на ногу — с большой угрозой для ткани, обтягивавшей его ягодицы, — вставил в свой длинный мундштук сигарету, зажег ее и выразил внимание.

Хозяин не торопился. Он раздумывал не меньше минуты, прежде чем поднял глаза на Крошку Дафи. Но дальше все пошло быстро.

— Контракта с Ларсоном не будет, — сказал он.

Когда дыхание вернулось, Крошка выдавил:

— Хозяин... Хозяин... вы не можете, Хозяин.

— Нет, могу, — ответил Хозяин, не повышая голоса.



— Как же это, Хозяин? Все же устроено.

— Еще не поздно все расстроить, — сказал Хозяин. — Еще не поздно.

— Хозяин... Хозяин... — причитал Крошка, и пепел сигары сыпался на его белую крахмальную грудь. — вы не можете отказаться от своего слова. Ларсон — порядочный человек, как же вы откажетесь? Вы же дали слово, Хозяин.

— Я могу отказаться от своего слова, — сказал Хозяин.

— Вы не можете... вы не можете от всего отказаться. Теперь поздно. Теперь нельзя отказываться.

Хозяин резко поднялся с кресла. Он пристально посмотрел на Крошку и сказал:

— Я могу отказаться от чертовой уймы вещей.

В наступившей тишине Хозяин обошел вокруг стола.

— Разговор окончен, — произнес он тихо и хрипло. — Можешь передать Ларсону — пусть хоть на голове ходит.

Крошка встал. Несколько раз он открыл рот и облизнул губы, так что казалось, он заговорит, но каждый раз посеревшее лицо опять наползало на золотые протезы.

Хозяин подошел к нему.

— Скажи это Ларсону. Ларсон — твой приятель, ты и скажи ему. — Твердым указательным пальцем он ткнул Крошку в грудь и повторил: — Ларсон — твой приятель, и когда будешь говорить с ним, можешь положить руку ему на плечо.

Хозяин улыбнулся. Я не ожидал этой улыбки. Но улыбка была холодная, недобрая. Она печатью скрепляла все, что было сказано.

Крошка покинул кабинет. Он не потрудился закрыть за собой дверь и продолжал идти без остановки по длинному зеленому ковру, постепенно уменьшаясь вдаль. Наконец он скрылся.

Хозяин не наблюдал за его уходом. Он хмуро смотрел на голую крышку стола. Через минуту он сказал мне:

— Закрой дверь.

Я встал и закрыл ее.

Я не сел, а остался стоять между столом и дверью, дожидаясь, когда он скажет то, что собирался сказать. Но он не сказал. Он только посмотрел на меня, посмотрел открыто и вопросительно, и произнес:

— Ну?

Не знаю, что он хотел — или ожидал — от меня услышать. Позже я не раз об этом задумывался. Тут-то и было самое время сказать то, что я должен был бы сказать Вилли Старку, который был дядей Вилли из деревни и стал Хозяином. Но я не сказал этого. Я пожал плечами и сказал:

— Что ж, от лишнего пинка Крошка не умрет. Он для этого создан. Но Ларсон — не тот мальчик.

Хозяин продолжал смотреть на меня, и опять казалось, что он хочет заговорить, но вопросительное выражение постепенно стерлось с его лица. Наконец он произнес:

— Надо же когда-то начать.

— Что начать?

Он еще раз внимательно на меня посмотрел и ответил:

— Неважно.

Я пошел к себе. Так начался этот день. Я занялся итоговым обзором для законопроекта о налогах. Суинтон, который проводил его через сенат, хотел получить материалы в субботу, но я не сделал урока. Мы должны были встретиться с Хозяином и Суинтоном в субботу вечером, но у нас не получилось. Позже утром я наткнулся на какую-то путаницу в цифрах. Я вышел в приемную и направился к кабинету Хозяина. Машинистка сказала мне, что он в кабинете Сэди Бёрк. Ее дверь была закрыта. Я постоял в приемной несколько минут, дожидаясь Хозяина, но он все не выходил. Один раз за дверью послышался громкий голос, но быстро затих.

Звонок телефона в моем кабинете заставил меня вернуться. Это был Суинтон, он спрашивал, какого черта я не несу материалы. Тогда я собрал бумаги и понес Суинтону. Я провел с ним минут сорок. Когда я вернулся к себе, Хозяина уже не было.

— Он поехал в больницу, — сказала машинистка. — Будет во второй половине дня.

Я оглянулся на дверь Сэди, подумав, что, может быть, она разрешит наши с Суинтоном затруднения. Машинистка перехватила мой взгляд.

— Мисс Бёрк тоже ушла, — сказала она.

— Куда ушла?

— Не знаю, — ответила она, — но могу сказать одно, мистер Бёрден: куда бы она ни ушла, она уже на месте, судя по тому, как она отсюда выскочила.

Она улыбнулась многозначительной нахальной улыбочкой, которой прислуга намекает вам, что знает куда больше, чем говорит. Она подняла круглую белую ручку с малиновыми ногтями, чтобы поправить на затылке прядь действительно прекрасных золотистых волос. Поправив прическу жестом, приподнявшим ее грудь на обозрение м-ру Бёрдену, она добавила:

— Не знаю, куда она пошла, но если судить по выражению ее лица, вряд ли ей там обрадуются. — При этих словах она нежно улыбнулась, показывая, как счастливы были бы там, если бы вместо Сэди пришла она.

Я вернулся в кабинет и до второго завтрака написал несколько писем. Я съел бутерброд в полуподвальной закуской Капитолия, где завтракать было все равно что в веселой, чистенькой, отделанной мрамором мертвецкой. Я столкнулся с Суинтоном и, поболтав с ним, отправился по его предложению в сенат, который снова собрался после завтрака. Часа в четыре ко мне подошел служитель и вручил листок бумаги. Это была записка сверху: «Звонила мисс Стентон и просила вас немедленно приехать к ней на квартиру. Срочное дело».

Я скомкал записку, бросил на пол и поднялся к себе за пальто и шляпой. В приемной я попросил позвонить мисс Стентон, что я выехал. Выйдя на улицу, я обнаружил, что начался дождь. Солнце, такое чистое и бледное утром, спряталось.

Анна открыла на мой стук так быстро, как будто дожидалась за дверью. Но когда дверь распахнулась, я, наверно, не узнал бы ее лица, если бы не был уверен, что это Анна Стентон. Лицо было белое, измученное, полное отчаяния, но глаза сухие, хотя она явно плакала. И можно было догадаться, как она плакала — редкими, трудными слезами и очень недолго.

Она схватилась за мою руку обеими руками, словно боясь упасть.

— Джек! — воскликнула она. — Джек!

— Да что такое? — спросил я и толчком захлопнул за собой дверь.

— Ты должен найти его... найти его... найти и объяснить...

Она дрожала, точно в ознобе.

— Кого найти?

— Объяснить ему, как это было... ведь это было не так... не так, как они сказали...

— Бога ради, кто сказал, что сказал?

— ...сказали, что это из-за меня... из-за того, что я сделала... из-за...

— Кто сказал?

— ...найди его, Джек... найди и объясни... приведи его ко мне и...

Я крепко схватил ее за плечи и встряхнул.

— Стой! — сказал я. — Возьми себя в руки. Перестань бормотать, возьми себя в руки на минуту.

Она молчала, вздрагивая у меня в руках, подняв ко мне бледное лицо. Дышала она часто, отрывисто, сухо.

Через минуту я сказал:

— А теперь говори, кого я должен искать?

— Адама, — ответила она. — Адама.

— Зачем его искать? Что случилось?

— Он пришел сюда и сказал, что все это было из-за меня. Из-за того, что я сделала.

— Что из-за того, что ты сделала?

— Из-за меня его назначили директором. Он поверил. Из-за того, что я сделала. Он поверил. И он сказал... ой, Джек, он сказал...

— Что сказал?

— Он сказал, что не будет сутенером у своей сестры-проститутки... Так и сказал... так и сказал, Джек... Джек, это мне... Я хотела объяснить ему... объяснить, как это было... а он меня оттолкнул, и я упала на пол, и он убежал... он убежал, Джек, ты должен его найти... найти его и...

Она опять забормотала. Я сильно встряхнул ее.

— Прекрати! — прикрикнул я. — Прекрати, слышишь?

Когда она замолчала и совсем обмякла у меня в руках, я сказал:

— Теперь начни сначала — медленно — и рассказывай, что случилось. — Я подвел ее к креслу и силой усадил. — Ну, рассказывай, только спокойнее.

Она смотрела на меня так, словно боялась заговорить.

— Рассказывай.

— Он пришел сюда, — начала она. — Около трех. Как только он вошел, я поняла, что случилось что-то ужасное... со мной уже случилась сегодня беда... но я поняла, что это другое... он схватил меня за руку, посмотрел в глаза, но ничего не сказал. Я, кажется, все время спрашивала его, что случилось, а он все крепче и крепче сжимал мою руку. — Она подняла рукав и показала синие отметины на левой руке, под локтем. — Я все спрашивала, что случилось, и вдруг он говорит: «Случилось, случилось, сама знаешь, что случилось». Потом он сказал, что ему позвонили по телефону, и кто-то... мужчина... да, какой-то мужчина... позвонил и рассказал про меня... про меня и...

Она не могла закончить фразу.

— Про тебя и губернатора Старка, — договорил я за нее.

Она кивнула.

— Это было ужасно, — прошептала она, но не мне, а как бы в забытьи. — Это было ужасно.

— Прекрати, давай дальше, — приказал я и встряхнул ее.

Она очнулась и посмотрела за меня.

— Он рассказал ему про меня... и будто только из-за меня его назначили директором, и будто губернатор хочет теперь его снять... потому что он сделал его сына калекой, и хочет от меня отделаться... прогнать меня... этот человек так и сказал по телефону... отделаться... потому что Адам искалечил его сына... и Адам, когда это услышал, сразу побежал сюда... поверил ему... поверил, что я...

— Ну, — свирепо перебил я, — насчет тебя ему, кажется, не соврали?

— Он должен был у меня спросить, — сказала она и поднесла пальцы к вискам, — он должен был спросить, а не верить на слово неизвестному человеку.

— Он ведь не идиот, — сказал я, — и не так уж трудно было в это поверить. Скажи спасибо, что он раньше не догадался, если все...

Ее пальцы больно ждали мою руку.

— Тсс, тсс, — сказала она, — не говори так... все было не так... и не так, как говорит Адам... ох, он говорил ужасные вещи... как он меня обзывал... он сказал: если кругом одна грязь, все равно человеку не обязательно быть... я пыталась ему объяснить, как было на самом деле... совсем не так, как он думает... а он толкнул меня... так сильно, что я упала, и сказал, что не будет сутенером у своей сестры-проститутки, и никто не посмеет его так назвать... и выбежал... ты должен его найти. Найди его и объясни. Джек, объясни ему.

— Что объяснить?

— Что все было не так. Объясни ему. Ты ведь знаешь, почему я это сделала, ты знаешь, что было. Джек... — Она вцепилась в мой рукав. — Все было

не так. Не так противно. Я старалась не быть дрянью. Я ведь не была, правда? Правда, Джек? Ну скажи!

Я посмотрел на нее.

— Да, — ответил я, — ты не была дрянью.

— Так случилось. Я не виновата. А он ушел.

— Я его найду, — пообещал я и высвободил рукав, собираясь уйти.

— Это бесполезно.

— Он прислушается к трезвому голосу.

— Он... я не об Адаме. Я о...

— Старке?

Она кивнула:

— Да. Я поехала в то место... за городом, где мы встречались. Он вызвал меня сегодня. Я поехала. Он сказал, что возвращается к жене.

— Так, — сказал я.

Наконец я стряхнул оцепенение и пошел к двери.

— Я привезу Адама.

— Привези. Пожалуйста, Джек. Больше никого у меня не осталось.

Выйдя на улицу, под дождь, я подумал, что еще у нее остался Джек Бёрден. Хотя бы как мальчик на побегушках. Но подумал я об этом без горечи, как о чем-то постороннем.

Искать кого-нибудь в городе, если нельзя обратиться в полицию, — целое предприятие. Я часто этим занимался в бытность мою репортером — тут требуется время и удача. Но первое правило — это начинать с самого очевидного. И я отправился к Адаму домой. Увидев перед домом его автомобиль, я решил, что попал в яблочко. Я подъехал к тротуару и, заметив, что дверца водителя в его машине открыта — ее мог сорвать проходящий грузовик, а сиденье мокло под дождем, — захлопнул ее и вошел в дом.

Я заколотил в дверь. Ответа не было. Но это ничего не значило. Адам мог быть дома, но не хотел никого видеть. Я нажал ручку. Дверь была заперта. Я спустился вниз, вытащил негра-швейцара и рассказал ему какую-то басню про вещи, которые я будто бы забыл у Адама. Он часто видел нас вместе и поэтому пустил меня. Я прошел по квартире. Адама не было. В глаза мне бросился телефон. Я позвонил ему в приемную, потом в больницу, потом на медицинский факультет, потом на коммутатор, где врачи оставляли свои телефоны, когда отлучались. Все напрасно. Об Адаме никто ничего не знал. Вернее, у каждого было более или менее толковое предположение, где он по толку от этих предположений не было. Теперь не оставалось ничего другого, как прочесывать весь город.

Я вышел на улицу. Странно, что его машина стояла у дома. Он бросил ее. Куда же его понесло — в дождь, пешком, в это время дня? Вернее, ночи, потому что уже смеркалось.

Я подумал о барах. Так уж принято, что после сильного потрясения мужчина идет в бар, ставит ногу на перекладину, заказывает пять виски чистых, опрокидывает бокал за бокалом, устремив бессмысленный взор на белое искаженное лицо в зеркале напротив, после чего заводит с барменом сардоническую беседу о Жизни. Но я не представлял себе Адама за таким развлечением. Тем не менее бары я обошел.

Точнее, я обошел многие из них. Жизни не хватит обойти все бары в нашем городе. Я начал со Слейда, Адама не нашел, попросил Слейда как-нибудь задержать доктора Стентона, если он появится, и пустился по другим заведениям из хрома, стеклянной плитки, цветных лампочек, старинного, источенного жучком дуба, гравюр со сценами охоты, комических фресок и джазовых трио. Около половины восьмого я снова позвонил в приемную Адама, а затем в больницу. Ни там, ни тут его не было. Когда мне ответила больница, я сказал, что звоню по поручению губернатора Старка, сын которого лежит у них и лечится у доктора Стентона, и если им нетрудно, нельзя ли выяснить, где он находится. Дежурная вер-

нулась с ответом, что доктора Стентона ждали в начале седьмого — он назначил встречу другому врачу, собираясь просмотреть с ним рентгеновские снимки, но не пришел. Нужно ли что-нибудь ему передать, когда он появится? Я сказал — да, пожалуйста, пусть немедленно свяжется со мной, это очень важно. В моей гостинице будут знать, где я.

Я вернулся в гостиницу и, попросив портье прислать за мной, если мне позвонят, пошел в буфет. Никто не позвонил. Тогда я уселся в холле с вечерними газетами. «Кроникл» в длинной передовице восхваляла мужество и здравый смысл горстки людей, восставших против правительственного законопроекта о налогах, который задушит в штате предпринимательство и частную инициативу. Рядом с передовой была карикатура. Она изображала Хозяина, вернее, фигуру с головой Хозяина, но с огромным брюхом, в детском костюмчике с короткими штанишками, обтянувшими толстые волосатые ляжки. Монстр держал на колене большой пирог с черной дыркой, из которой он только что выковырял скорчившегося человечка. На пироге была надпись: Ш т а т, а на человечке — Т р у д я щ и е с я. Из рта Хозяина выходил большой пузырь, при помощи которого художники комиксов изображают речь своих персонажей. В пузыре были слова: «Вот какой я молодец». И под карикатурой подпись: «М а л ы ш Д ж е к Х о р н е р».

Я дочитал передовицу. Там говорилось, что штат наш — бедный штат и не вынесет бремени, столь деспотически на него наложенного. Старая песня. Каждый раз, когда Хозяин переходил в нападение — подоходный налог, налог на разработку недр, налог на вино, — каждый раз повторялось одно и то же. Кошелек — вот где больное место. Человек может забыть смерть отца, но никогда — потерю вотчины, сказал суровый флорентинец, отец — основатель нашего нового мира, и он сказал золотые слова.

«Штат беден!» — всегда кричала оппозиция. А Хозяин говорил: «Бедных людей в штате полно, это правда, но штат не беден. Весь вопрос в том, кто прорвется к корыту, когда принесут хлебобово. Так что придется мне поработать локтями, расквашить рыло-другое. И, наклонившись к толпе, с выпученными глазами и растрепанным чубом он вопрошал у нее и у жаркого неба: «А вы — со мной? Вы — со мной?» И поднимался рев.

«Налоги застревают в карманах взяточников!» — всегда кричала оппозиция. «Верно, — говорил Хозяин, принимая ленивую позу, — случаются и взятки, но ровно столько, сколько нужно, чтобы колесики вертелись без скрипа. И помните. Еще не изобрел человек такой машины, в которой не было бы потерь энергии. Сколько энергии вы получаете из куска угля в паровозе или на электростанции по сравнению с тем, что было в куске угля на самом деле? Кот заплакал. А мы работаем куда лучше всякого паровоза или электростанции. Да, тут у нас есть шайка воря, но она чересчур трусливая, чтобы воровать всерьез. Я за ней присматриваю. А дал я что-нибудь штату? Дал, черт возьми!»

Теория исторических издержек — можете назвать это так. И выписать издержки против прибылей. Не исключено, что перемены в нашем штате могли прийти только таким путем, каким пришли, — а перемены были большие. Теория моральной нейтральности истории — можете назвать ее и так. Процесс, как таковой, не бывает ни нравственным, ни безнравственным. Мы можем оценивать результаты, но не процесс. Безнравственный фактор может привести к нравственному результату. Нравственный фактор может привести к безнравственному результату. Может быть, только в обмен на душу человек получает власть творить добро.

Теория исторических издержек. Теория моральной нейтральности истории. Все это — высокий исторический взгляд на мир с вершины холодного утеса. Может быть, только гений способен его так увидеть. Действительно увидеть. Может быть, нужно, чтобы тебя приковали к утесу и орлы клевали твою печень и легкие, — тогда ты его так увидишь. Может быть, только гений способен его так увидеть. Может быть, только герой способен поступать соответственно.

Но я сидел в холле, ждал звонка, которого все не было, и не хотел углубляться в такие размышления. Я вернулся к передовице. Передовица эта была настоящим боем с тенью. Боем с тенью она была потому, что в эту минуту в Капитолии, наверно, началось голосование, и теперь, когда люди Мак Мерфи использовали все оттяжки, только нечистая сила могла изменить его исход.

Меня вызвали около девяти. Но это был не Адам. Звонили из Капитолия: пришел Хозяин и хочет меня видеть. Я сказал портье, что, если позвонит Адам, я в Капитолии, на коммутаторе будут знать мой номер. Затем я позвонил Анне, чтобы сообщить ей о результатах, вернее безрезультатности, своих поисков. Голос у нее был спокойный и усталый. Я сел в машину. Опять шел дождь, и вдоль тротуара бежал черный ручеек, блестящий под фонарями, как масло.

Когда я въехал в парк Капитолия, я увидел, что, несмотря на поздний час, весь дом освещен. В этом не было ничего удивительного — шла сессия Законодательного собрания. Я попал в самую толчею. Солоны закрыли лавочку и циркулировали по коридору, скопясь в тех стратегических пунктах, где стояли латунные плевагельницы. Много было и другого народа. Стаи репортеров и гурты болельщиков — людей, которым приятно сознавать, что великие события происходят у них на глазах.

Я пробился к кабинету Хозяина. Мне сказали, что он отправился с кем-то в сенат.

— Gladко прошел закон о налогах? — спросил я у девушки в приемной.

— Не задавайте наивных вопросов, — ответила она.

Я хотел было ей сказать, что появился здесь, когда она под стол пешком ходила, но передумал. Вместо этого я попросил ее договориться с телефонисткой на тот случай, если будет звонить Адам, и пошел в сенат.

Хозяина я заметил не сразу. Он стоял в стороне с несколькими сенаторами и Калвином Сперлингом, а на почтительном отдалении толклись зеваки, нежившиеся в лучах славы. Сбоку я увидел Рафинада — он прислонился к стене и втянул щеки, обсасывая кусок сахара, растекавшийся нектаром по его пищеводу. Хозяин стоял, сцепив руки за спиной и опустив голову. Он слушал одного из сенаторов.

Я приблизился к ним и стал неподалеку. Вскоре взгляд Хозяина скользнул по мне. Убедившись, что он меня заметил, я отошел к Рафинаду и сказал:

— Здравствуй.

После нескольких попыток он мне ответил. И возобновил свои занятия с сахаром. Я прислонился к стенке и стал ждать.

Прошло четыре или пять минут, а Хозяин все стоял потупившись и слушал. Он мог долго слушать, не произнося ни слова и не мешая собеседнику высказаться. Слова лились и лились, а Хозяин ждал, когда покажется то, что на доньшке. Наконец я увидел, что с него хватит. Он понял, что было на доньшке — или что на доньшке ничего не было. Разговор заканчивался — Хозяин вскинул голову и глянул сенатору в лицо. Это был верный признак. Я отодвинулся от стенки. Я видел, что Хозяин собирается уходить.

Он посмотрел на сенатора и покачал головой.

— Этот номер не пройдет, — сказал он вполне дружелюбным тоном.

Я расслышал эти слова — он произнес их достаточно громко. Сенатор говорил тихо и торопливо.

Хозяин оглянулся на меня и позвал:

— Джек.

Я подошел.

— Поднимемся наверх. Я хочу тебе кое-что сказать.

— Пошли, — сказал я и двинулся к выходу.

Он оставил сенаторов и нагнал меня в дверях. Рафинад шел за ним по другую руку и немного сзади.

Я хотел спросить у Хозяина о здоровье мальчика, но подумал, что лучше не надо. Речь могла идти лишь о том, насколько он плох, — и спрашивать не

стоило. Мы шли по коридору к большому вестибюлю, чтобы подняться оттуда на лифте. Люди, слонявшиеся по коридору, расступались и говорили: «Здравствуйте, губернатор» или «Привет, Хозяин», но Хозяин лишь кивал в ответ. Другие ничего не говорили и только провожали его взглядом. В этом не было ничего необычного. Наверно, тысячу раз проходил он по этому коридору и так же, как сегодня, одни здоровались с ним, а другие молчали и поворачивали головы, следя, как он шагает по блестящему мрамору.

Мы вышли в большой вестибюль с куполом, где над людьми, залитые ярким светом, возвышались статуи государственных мужей, важностью своей напоминая о характере этого места. Мы шли вдоль восточной стены туда, где были встроены лифты. Когда мы приближались к статуе генерала Мофата (великого истребителя индейцев, удачливого земельного спекулянта, первого губернатора штата), я заметил прислонившегося к пьедесталу человека.

Это был Адам Стентон. Я увидел, что он мокрый насквозь и брюки его до половины икр заляпаны грязью. Я понял, почему так стояла его машина. Он бросил ее и пошел пешком, в дождь. Как только я его заметил, он повернул к нам голову. Но глаза его смотрели не на меня, а на Хозяина.

— Адам, Адам! — сказал я.

Он шагнул к нам, но на меня не взглянул.

Хозяин свернул к нему и протянул руку, собираясь поздороваться.

— Добрый вечер, доктор, — сказал он.

Какой-то миг Адам стоял неподвижно, словно решил не подавать руки подходившему человеку. Потом он протянул руку, и, когда он сделал это, я с облегчением перевел дух и подумал: он подал ему руку, слава богу, он успокоился, он успокоился.

Тут я увидел, что у него в руке, и в тот миг, когда мои глаза узнали предмет, но раньше, чем мозг и нервы успели проникнуться его значением, я увидел, как дуло дважды плюнуло бледно-оранжевым пламенем.

Я не услышал звука, потому что он утонул в более громком стаккато выстрелов, раздавшихся слева от меня. Так и не опустив руки, Адам качнулся, отступил на шаг, остановил на мне укоризненный, затуманенный мукой взгляд, и тут же вторая очередь швырнула его на пол.

В гробовой тишине я бросился к Адаму. Потом я услышал женский крик в вестибюле, шарканье многих ног, гул голосов. Адам обливался кровью. Пули прострочили его грудь от бока до бока. Вся грудь была вдавлена. Он уже умер.

Я поднял голову и увидел Рафинада и дымящийся ствол его автоматического, а подальше, справа у лифта, — патрульного дорожной полиции с пистолетом в руке.

Хозяина я не увидел. Не попал, подумал я.

Но я ошибся. Едва я подумал о Хозяине и оглянулся, как Рафинад выронил пистолет, лягнувший о мрамор, и с придушенным животным криком бросился за статую генерала Мофата.

Я опустил голову Адама на пол и обошел статую. Люди сгрудились так, что мне пришлось их расталкивать. Кто-то кричал:

— Отойдите, отойдите, дайте ему вздохнуть!

Но люди теснились по-прежнему, сбегались со всех концов вестибюля и из коридора.

Когда я пробился к Хозяину, он сидел на полу, тяжело дыша и глядя прямо перед собой. Обе его ладони были прижаты к нижней части груди, посередине. Никаких признаков ранения я не заметил. Потом я увидел маленькую струйку крови, просочившуюся между двумя пальцами, совсем маленькую.

Наклонившись над ним, стоял Рафинад, он плакал и хватал ртом воздух, пытаюсь заговорить. Наконец он вытолкнул из себя:

— Очень б-б-болит, Х-хозяин... б-б-болит?

Хозяин не умер в вестибюле под куполом. Нет, он прожил еще несколько дней и умер в стерильно-чистой постели, на печении науки. В первые дни обещали, что он вовсе не умрет. Он был тяжело ранен — в нем сидели две маленькие пули калибра 6,35 мм., пули из игрушечного спортивного пистолетика, который Адаму подарили в детстве, — но его собирались оперировать, и он был очень сильным человеком.

Снова началось сидение в приемной с акварелями, цветочными горшками и искусственными чурками в камине. В день операции с Люси Старк приехала ее сестра. Дед Старк, отец Хозяина, совсем одряхлел и не выезжал из Мейзон-Сити. Видно было, что сестра Люси, женщина много старше ее, одетая в черное деревенское платье, в мягких черных башмаках с высокой шнуровкой, — женщина здравомыслящая, энергичная, что она и сама хлебнула горя на своем веку и твердо знает, как помочь чужому горю. Если бы вы увидели ее широкие, красноватые, загрубелые руки с квадратно остриженными ногтями, вы поняли бы, что у них хорошая хватка. Когда она вошла в приемную и кинула не то чтобы презрительный, но критический, оценивающий взгляд на горшки с цветами, было в ней что-то от пилота, который влезает в свою кабину и берется за штурвал.

Суровая и чопорная, она села в кресло, но не в одно из тех мягких, на которых были ситцевые чехлы. Она не собиралась давать волю чувствам — в этой чужой комнате и в это время дня, время, когда в обычный день надо было готовить завтрак, собирать детей, выдворять из дома мужчин. Найдется более подходящее место и время. Когда все кончится, она привезет Люси домой, разберет ей постель в комнате с опущенными шторами, положит ей на лоб салфетку, смоченную в уксусе, сядет рядом, возьмет Люси за руку и скажет: «А теперь поплачь, детка, если хочешь, тебе будет легче, и полежи спокойно, а я посижу тут, я никуда не уйду, детка». Но это будет позже. А сейчас Люси то и дело поглядывала украдкой на иссеченное морщинами лицо сестры. Лицо не казалось особенно симпатичным, но, видно, в нем было то, чего искала Люси.

Я сидел на кушетке и просматривал все те же старые журналы. Я определенно чувствовал себя лишним. Но Люси просила меня прийти.

— Он захочет вас видеть, — сказала она.

— Я подожду в вестибюле, — сказал я.

Она покачала головой:

— Поднимитесь наверх.

— Я не хочу путаться под ногами. Вы сказали, там будет ваша сестра.

— Я прошу вас, — сказала она, и я покорился. Лучше быть лишним там, решил я, чем сидеть в вестибюле с газетчиками, политиками и любопытными.

Нам не пришлось очень долго ждать. Сообщили, что операция прошла успешно. Услышав от медсестры это известие, Люси осела в кресле и всхлипнула. Ее сестра, которая тоже как будто слегка обмякла, строго посмотрела на Люси.

— Люси, — произнесла она негромко, но с некоторой суровостью, — Люси!

Люси подняла голову и, встретив осуждающий взгляд сестры, покорно ответила:

— Извини, Элли, извини. Я просто... просто...

— Мы должны благодарить господу, — объявила Элли. Она быстро встала, словно собиралась тут же осуществить свое намерение, пока не забыла. Но вместо этого она повернулась к медсестре. — Когда она может увидеть мужа?

— Немного позже, — ответила та. — Не могу сказать вам точно, но сейчас еще рано. Если вы подождете здесь, я узнаю. — Подойдя к двери, она обернулась. — Я могу вам что-нибудь принести? Лимонаду? Кофе?

— Это очень любезно и внимательно, — ответила Элли, — но мы поблагодарим и откажемся, сейчас не время.

Медсестра вышла, я извинился и последовал за ней. Я спустился в кабинет доктора Симонса, который делал операцию. Я встретился с ним в городе. Его можно было назвать приятелем Адама — в той мере, в какой это вообще было возможно, потому что Адам ни с кем не дружил, вернее, ни с кем, кроме меня,



а я в счет не шел, я был его Другом детства. Я знал доктора Симонса. Нас познакомил Адам.

Доктор Симонс, худой седоватый человек, сидел за столом и что-то писал в большой карте. Я сказал ему, чтобы он занимался своим делом и не обращал на меня внимания. Он ответил, что уже кончает, секретарша забрала карту, поставила в картотеку, и он повернулся ко мне. Я спросил, как здоровье губернатора.

— Операция прошла удачно, — ответил он.

— Вы хотите сказать, что вынули пули? — спросил я.

Он улыбнулся немного сухо и ответил, что едва ли может сказать больше.

— Но надежда есть. Он очень крепкий человек.

— Очень, — согласился я.

Доктор Симонс взял со стола конвертик и вытряхнул на руку его содержимое.

— Каким бы ты ни был крепким, такую диету трудно переварить, — сказал он и протянул мне ладонь, на которой лежали две пульки. 6.35-миллиметровые пули действительно маленькие, но эти показались мне еще меньше и безобиднее, чем я ожидал.

Я взял одну пулю и рассмотрел ее. Это был маленький сплюснутый кусочек свинца. Вертя его в пальцах, я вспомнил, как много лет назад, еще ребятами, мы с Адамом стреляли в основую доску и иногда выковыривали пулю из дерева перочинным ножом. Дерево было такое мягкое, что некоторые пули сплющивались ничуть не больше, чем эта.

— Мерзавец, — сказал доктор Симонс без всякой связи с предыдущим.

Я вернул ему пулю и спустился в вестибюль. Публика рассосалась. Политиканы ушли. Остались два или три репортера, ожидавшие новостей.

Новостей в тот день не было. И на другой день тоже. Дело как будто шло на поправку. Но на третий день Хозяину стало хуже. Началось воспаление. Оно быстро распространялось. Доктор Симонс ничего особенного не говорил, но по лицу его я понял, что дело мертвое.

В тот вечер, вскоре после того, как я приехал в больницу и поднялся в приемную повидать Люси, мне передали, что Хозяин просит меня прийти. Ему полегало, сказали мне.

Когда я вошел, вид у него был совсем нехороший. Лицо заострилось, кожа одрябла и висела, как у старика. Он стал похож на деда Старка, каким я его видел в Мейзон-Сити. Он был белый, как мел.

Глаза на белом лице казались мутными, невидящими. Когда я шел к кровати, они повернулись в мою сторону и чуть-чуть прояснились. Его губы слегка искривились — я понял это как бледный стенографический знак улыбки.

Я подошел к кровати.

— Привет, Хозяин, — сказал я, изобразив на лице то, что рассчитывал выдать за улыбку.

Он поднял два пальца правой руки, лежавшей поверх простыни, — бессильное приветствие; потом пальцы опустились. Мускулы, искривившие его рот, тоже расслабились, улыбка сползла, лицо обмякло.

Я стоял над кроватью, смотрел на него и мучительно придумывал, что сказать. Но мой мозг пересох, словно губка, долгое время пролежавшая на солнце. Наконец он проговорил еле слышно:

— Джек, я хотел тебя видеть.

— Я тоже хотел тебя видеть. Хозяин.

С минуту он молчал, но глаза смотрели на меня ясно. Он опять заговорил:

— Почему он это сделал?

— А-а, будь я проклят! — Я не выдержал и заговорил очень громко. —

Не знаю.

Сиделка посмотрела на меня предостерегающе.

— Я ничего ему не сделал, — сказал он.

— Ничего, да.

Он снова умолк, глаза его помутнели. Потом он сказал:

— Он был ничего. Док.

Я кивнул.

Я ждал, но казалось, что он больше не заговорит. Его глаза были обращены к потолку, я едва мог слышать его дыхание. Наконец глаза опять повернулись ко мне, очень медленно, и мне почудилось, что я слышу тихий болезненный скрип яблок в глазницах. Но глаза снова просветлели. Он сказал:

— Все могло пойти по-другому, Джек.

Я опять кивнул.

Он напрягся. Казалось, что он пытается приподнять голову с подушки.

— Ты должен в это верить, — сказал он шепло.

Сиделка шагнула к кровати и посмотрела на меня со значением.

— Да, — сказал я человеку в постели.

— Ты должен, — настаивал он. — Ты должен в это верить.

— Хорошо.

Он смотрел на меня, и это опять был его прежний испытующий, требовательный взгляд. Но когда он заговорил, голос был очень слабый.

— Даже теперь все могло бы пойти по-другому, — прошептал он. — Если бы не это, все могло бы пойти по-другому... даже теперь.

Он едва выговорил последние слова — так он был слаб.

Сиделка делала мне знаки.

Я нагнулся и взял с простыни его руку. Она была как будто без костей.

— До свиданья, Хозяин, — сказал я. — Я приду еще.

Он не ответил — я даже не был уверен, что он узнает меня. Я повернулся и вышел.

Он умер на другое утро. Похороны получились грандиозные. Город был битком набит народом, самым разным народом: пронырами из окружных советов, провинциалами, деревенскими людьми, ниюгда прежде не видевшими тротуаров. И с ними были женщины. Они заполнили все пространство вокруг Капитолия, затопили прилегающие улицы, а с неба сыпалась изморось, и громкоговорители орали со столбов и деревьев слова, от которых хотелось блевать.

Потом, когда гроб снесли по большой лестнице Капитолия и погрузили на катафалк, когда пешие и конные полицейские пробили ему дорогу, процессия медленно потекла к кладбищу. Толпа хлынула следом. На кладбище ее мотало взад и вперед по траве, она затаптывала могилы и выворачивала кустарник. Некоторые надгробья были опрокинуты и разбиты. Только через два часа после погребения полиции удалось расчистить место.

У меня это были вторые похороны за неделю. Первые прошли совсем иначе. Я имею в виду похороны Адама Стентона в Бёрденс-Лендинге.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

После того, как Хозяина зарыли в землю и потные пузатые городские полисмены вместе с поджарыми молодцеватыми патрульными и конными на горячих холеных лошадях, чьи ноги по щетку увязали в клумбах, молча вытеснили с кладбища толпу, но гораздо раньше, чем начала подниматься притоптанная трава и зрители занялись ремонтом опрокинутых памятников, я уехал в Бёрденс-Лендинг. Для этого были две причины. Во-первых, оставаться в городе было выше моих сил. Во-вторых, в Лендинге жила Анна Стентон.

Она осталась там после похорон Адама. Она приехала в Лендинг следом за дорогим лакированным катафалком, на машине похоронного бюро, в сопровождении медицинской сестры, которая оказалась лишней, и старой подруги Кэти Мейнард, которая, без сомнения, тоже оказалась лишней. Я не видел ее в этом наем-

ном лимузине, который полз все сто без малого миль пути, медленно наматывая на колеса милю за милей, медленно и аккуратно, словно стаскивал бесконечный лоскут кожи с живого мяса. Я не видел ее, но знаю, как она выглядела: прямая, лицо с прекрасным, резко обозначенным костяком бледно, руки сжаты на коленях. Потому что такой я видел ее под замшелыми дубами; она выглядела одинокой, хотя рядом, у могилы, стояли Кэти Мейнард, сестра милосердия и другие люди — друзья семьи, зеваки, пришедшие, чтобы позлорадствовать и потолкать друг дружку локтями, репортеры, знаменитые врачи из столицы, Балтимора и Филадельфии.

Такой она была, когда уходила с кладбища, сама, без посторонней помощи, а Кэти Мейнард и сестра милосердия брели сзади со смущенными и постыдными лицами, какие бывают у людей, оставшихся наедине с близким родственником покойного.

И даже в воротах кладбища, когда к ней подскочил репортер и щелкнул фотоаппаратом, выражение ее лица не изменилось.

Когда я подошел к воротам, он еще стоял там — нахал в шляпе набекрень, с фотоаппаратом на груди, с ухмылкой на нахальном лице. Я подумал, что, может быть, встретал его в городе — а может, и нет — они все на одно лицо, нахалы, которых пекут на факультете журналистики.

— Здравствуйте, — сказал я.

Он сказал: здравствуйте.

— Я вижу, вы сделали снимок? — сказал я.

Он сказал: ага.

— Сынок, — сказал я, — если ты проживешь достаточно долго, ты поймешь, что даже репортеру не обязательно быть подонком.

Он сказал «угу» и посмотрел на меня нахальными глазами. Потом спросил:

— Вы Бёрден?

Я кивнул.

— Господи! — изумился он. — Работает у Старка и еще называет кого-то подонком.

Я только посмотрел на него.

У меня уже бывали такие стычки. Сотни стычек с сотнями людей. В вестибюлях гостиниц, в спальнях, в машинах, за столом, на уличных перекрестках и заправочных станциях. Иногда это говорилось другими словами, а иногда совсем не говорилось, но висело в воздухе. И я знал, как заткнуть им рот. Я умел развернуться и захватить им прямо под ложечку. Да и как не уметь? У меня была большая практика.

Но от этого устаешь. С одной стороны, это чересчур легко и пропадает всякий интерес. А со временем ты так привыкаешь, что даже не злишься. И все же настоящая причина в другом. В том, что люди, которые тебе это говорят — или не говорят, — и правы и не правы. Если бы правда была однозначна — вся там или вся тут, — тебе не пришлось бы задумываться, можно было бы зажмуриться и рубить сплеча.

Но беда в том, что они правы наполовину и не правы наполовину, и в конце концов именно это вяжет тебя по рукам. Желание отсечь одно от другого. Ты не можешь им объяснить — на это никогда не хватает времени, да еще и на лицах у них такая ухмылка. И вот наступает день, когда тебе уже не хочется бить под ложечку. Ты только смотришь на них, и они — как сон или как дурное воспоминание, а то кажется, что и вообще их нет.

И я только посмотрел на нахальную физиономию.

Вокруг стояли люди. Они наблюдали за мной. Они ждали, что я скажу. Или сделаю. А меня почему-то не смущали их взгляды. Они даже не были мне противны. Я ничего не ощущал, кроме досады и отупения, — и отупение было сильнее.

Я стоял, смотрел на него и ждал, как ждешь боли после удара. Если бы боль появилась, я бы врезал ему. Но боли не было — было только отупение. Тогда я

повернулся и пошел прочь. Меня не смущали глаза, смотревшие мне в спину, и даже чей-то смехок, правда очень короткий — как-никак мы были на похоронах.

Я шел по улице, ощущая отупение и досаду. Но вызвала их не стычка в воротах. Они появились раньше.

Я шел по набережной к дому Стентонов. Я не рассчитывал, что Анна сейчас меня примет; я просто хотел ей сказать, что пробуду в здешней гостинице до вечера. В том случае, конечно, если ничего не случится с Хозяином.

Но придя к Стентонам, я узнал, что Анна при всем желании не могла бы меня принять. Кэти Мейнард и сестра милосердия уже не были лишними. Потому что, вернувшись домой, Анна прошла в гостиную, остановилась в дверях, медленно обвела взглядом комнату — рояль, картину над камином, всю обстановку, — как оглядывает комнату женщина, решив заново ее отделать и переставить мебель (я воспроизвожу рассказ Кэти Мейнард), а потом просто упала. Она даже не схватилась за косяк, не пошатнулась, не издала ни звука, рассказывала Кэти Мейнард. Теперь, когда все кончилось, она просто упала без чувств и лежала на полу.

Поэтому, когда я туда пришел, сестра ухаживала наверху за Анной, а Кэти Мейнард вызывала врача и выполняла обязанности хозяйки. Остаться в городе не имело смысла. Я сел в машину и уехал в столицу.

Но вот и Хозяин умер, и я вернулся в Лендинг. Мать со своим Теодором отправилась путешествовать, и дом был в моем распоряжении. В доме было пусто и тихо, как в морге. Но даже так он был веселее кладбищ и больниц, из которых я последнее время не вылезал. То, что умерло в доме, умерло давно, и я с этим свыкся. Я даже начал свыкаться с другими смертями. В земле уже лежали и судья Ирвин, и Адам Стентон, и Хозяин.

Но кое-кто из нас еще был жив. И в том числе Анна Стентон. И я.

И вот, вернувшись в Лендинг, мы сидели рядом на веранде, когда светило солнце — бледно-лимонное солнце поздней осени, катившееся по укороченной дуге над рябой, как оникс, водой залива, который блёк на юге у дымчатого осеннего горизонта. А когда солнца не было, и ветер наваливал волны на берег почти к дороге, и в небе не оставалось ничего, кроме косого дождя, мы сидели рядом в гостиной. Разговаривали мы мало — не потому, что не было темы для разговора, а потому, наверно, что она была слишком огромна и всякое слово могло нарушить опасное и неустойчивое равновесие, которого нам удалось достигнуть. Мы как будто сидели на концах ненадежно уравновешенной доски, но под нами была не чистенькая детская площадка, а бог знает какая бездна, над которой бог соорудил для нас, малышей, качели. И если один из нас поддастся к другому, пусть хоть на долю дюйма, — равновесие нарушится, и мы соскользнем в эту бездну. Но мы обманули бога, мы не обменялись ни словом.

Мы не разговаривали, но иногда я читал Анне вслух. Я читал книгу — первую попавшуюся на глаза в тот день, когда я почувствовал, что больше не могу выносить эту тишину, которая пучилась и трещала от всех невысказанных слов. А попался мне первый том сочинений Антони Троллопа. Чтение вполне безопасное. Антони не нарушает никаких равновесий.

Эти осенние дни странным образом напоминали мне то время, почти двадцать лет назад, когда я влюбился в Анну. В то лето мы были совсем одни, даже среди людей, — единственные обитатели летучего острова или ковра-самолета, который представляет собой любовь. И теперь мы были совсем одни, но на летучем острове или ковре-самолете другого рода. В то лето нас будто захватил могучий поток, и хотя он верно нес нас к счастью, мы не в силах были ускорить его, потому что он сам знал свои сроки. И теперь нас будто захватил поток, и мы были бесильны перед ним, потому что он сам знал свои сроки. Но куда он нас нес, мы не знали. Я даже не задавался таким вопросом.

Однако время от времени я задавал себе другой вопрос. То — сидя рядом с Анной, когда мы молчали или я читал ей книгу, то в одиночестве — за завтраком, гуляя по набережной, в постели. Это был вопрос без ответа. Когда Анна описы-

вала мне свою последнюю страшную встречу с Адамом — как он ворвался к ней в квартиру и кричал, что не будет сутенером, — она обмолвилась, что Адаму позвонил какой-то человек и рассказал про нее и губернатора Старка.

Кто?

В первые дни после катастрофы я совсем об этом забыл, но позднее вспомнил. И все же этот вопрос сначала не казался мне важным. Ибо тогда за общей досадой и отупением ничто не казалось мне важным. Вернее, то, что казалось мне важным, не имело никакого отношения к этому вопросу. Важным было то, что произошло, а не причина происшедшего — в той мере, в какой я мог не считать причиной себя самого.

Но вопрос не выходил из головы. Даже когда я над ним не думал, я чувствовал порой, как он подглядывает, словно мышь, перегородки моего сознания.

Первое время я не представлял себе, как я могу спросить об этом Анну. Я не смел ей сказать ни слова о том, что произошло. Наш заговор молчания должен быть вечным, ибо мы навеки связаны сознанием того, что уже участвовали непреднамеренно в другом заговоре — мы свели и этим погубили Адама Стентона и Вилли Старка. (Если мы нарушим заговор молчания, нам, возможно, придется вспомнить и о том заговоре, придется взглянуть на свои руки и увидеть, что они в крови.) И я ничего не говорил.

Пока не почувствовал, что должен заговорить. Я сказал:

— Анна, я хочу задать тебе один вопрос. О... об... этом... Я никогда больше об этом не заговорю.

Она посмотрела на меня и не ответила. Я увидел в ее глазах страх и боль, но она быстро справилась с собой.

Я опрометью кинулся дальше:

— Ты говорила мне... когда я приехал к тебе домой... что кто-то позвонил Адаму... рассказал ему... рассказал про...

— Про меня, — закончила она фразу, которую я не решался переступить. Она не ждала, пока эта фраза на нее обрушится. Она сама бросилась ей навстречу.

Я кивнул.

— Да? — спросила она.

— Он сказал, кто ему звонил?

Анна задумалась. Казалось, в этот миг она приподнимает покров с того дня, когда к ней ворвался Адам, — как приподнимают край простыни в морге, чтобы опознать труп.

Потом она покачала головой.

— Нет, — ответила она, — не сказал... — Она помедлила. — Только что это был мужчина. Я хорошо помню, он сказал — мужчина.

И мы снова надолго замолчали, цепляясь за доску, которая дрожала и колебалась под нами над черной бездной.

На другой день я уехал из Лендинга.

Я приехал в столицу в конце дня и позвонил на квартиру Сэди Бёрк. Никто не подошел. Потом уже просто так, на всякий случай, я позвонил в Капитолий, но ее номер не отвечал. За вечер я несколько раз пробовал дозвониться к ней домой, но безуспешно. Наутро я не поехал искать ее в Капитолий. Я не хотел видеть тамошнюю шайку. Я вообще не хотел ее больше видеть.

Поэтому я снова стал звонить. Номер Сэди не отвечал. Я попросил телефонистку узнать, если нетрудно, где она находится. Через две или три минуты мне сказали:

— Ее здесь нет. Она больна. Можно разъединить?

И не успел я опомниться, как в трубке щелкнуло и меня разъединили.

Я позвонил еще раз.

— Это Джек Бёрден, — сказал я. — Я хотел бы...

— А-а-а, мистер Бёрден... — уклончиво и даже как-то вопросительно протянула телефонистка.

Было время — и совсем недавно, — когда имя Джек Бёрден действовало в этом заведении вдохновляюще. Но голос телефонистки, ее тон, показал мне, что имя Джек Бёрден теперь ничего здесь не значит, кроме сотрясения воздуха.

В первую секунду я страшно разозлился. Потом вспомнил, что изменилась ситуация.

А она там изменилась. Когда она меняется в таком месте, она меняется быстро и по всем статьям, и телефонистка произносит ваше имя совсем другим тоном. И я больше не злился, мне было наплевать.

Я провоцировал:

— Простите, вы не могли бы сказать, как мне разыскать мисс Бёрк? Я был бы вам очень признателен.

Я подождал минуты две, пока она наводила справки.

— Мисс Бёрк в санатории Миллет, — произнес ее голос.

Кладбища и больницы: жизнь по-прежнему бьет ключом, подумал я.

Но санаторий Миллет не был похож на больницу. Он ничем не напоминал больницы — я обнаружил это, когда свернул с шоссе в двадцати пяти милях от города и медленно покотился под сводом вековых вечнозеленых дубов, чьи ветви, увешанные сталактитами мха, смыкались над аллеей, создавая водянистый зеленый полумрак, превращавший ее в подобие пещеры. Между правильно рассажеными дубами стояли на пьедесталах античные статуи — мужчин и женщин, в одеждах и без одежд, замаранные непогодами, кислотами листвы и цепкими лишайниками, поднявшиеся, словно побег, из липкого зеленовато-черного перегоя — и смотрели на прохожего слегка обиженным, тяжелым, нелюбопытным взглядом жвачных животных. Взгляд этих мраморных глаз был, наверно, первым этапом в лечении невротика, прибывающего в санаторий. Словно вязкая мазь времени, ложился он на жаркие прыщи и расчески души.

В конце аллеи перед невротиком вставал санаторий, суливший блаженный покой за белыми колоннами. Санаторий Миллет был скорее домом отдыха, чем больницей. Его построил сто с лишним лет назад из тщеславия и любви к искусству хлопковый нувориш, который деньги ни во что не ставил и закупил в Париже целый корабль ампирной мебели для дома, а в Риме целый корабль белых мраморных статуй для аллеи; который, должно быть, напоминал лицом грубую резьбу по дереву и не знал, что такое нервы, — и теперь люди, которые были потомками таких людей или имели достаточно денег (нажитых в годы правления Гранта или Кулиджа), чтобы считать себя их потомками, свозили сюда свои спазмы, судороги, тики и экземы, отдыхали в комнатах с высокими потолками. ели суп из омаров и слушали баюкающий голос психиатра, в чьих широких бесстрастных влажно-карих глазах человек медленно тонет.

Я сам чуть не утонул в этих глазах за ту минуту, когда спрашивал разрешение повидать Сэди.

— Очень трудная пациентка, — сказал он.

Сэди лежала в шезлонге у окна, которое выходило на лужайку, спускавшуюся к топкому берегу речки. Ее обкромсанные волосы были растрепаны, а белое лицо в косом послеполуденном свете больше чем когда-либо напоминало алябастровую маску Медузы, расстрелянную из духового ружья. И глаза были частью этой маски, будто брошенной на подушку. Они не были глазами Сэди Бёрк. В них ничего не горело.

— Привет, Сэди, — сказал я, — надеюсь, я не потревожил вас своим посещением?

Она разглядывала меня потухшими глазами.

— Нет, не потревожили, — сказала она.

Тогда я сел, подтащил свое кресло поближе и зажег сигарету.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я.

Она повернулась ко мне и снова посмотрела на меня долгим взглядом. На миг что-то вспыхнуло в ее глазах, будто сквозняк пронесся над гаснущими углями.

— Перестаньте.— сказала она,— я хорошо себя чувствую. С чего бы мне плохо себя чувствовать?

— Ну, слава богу,— сказал я.

— Я приехала сюда не потому, что больна. Я приехала, потому что устала. Я хочу отдохнуть. Я так и сказала этому врачу: «Я буду здесь отдыхать, потому что устала. Я не хочу, чтобы вы ко мне приставали, разговаривали со мной по душам и допытывались, не вижу ли я во сне красную пожарную машину». Я ему сказала: «Если я поговорю с вами по душам, вы такого наслушаетесь, что у вас уши завянут. Я хочу здесь отдыхать, и вы меня не злите». Говорю: «Я от многого устала, а больше всего от людей, и к вам, доктор, это тоже относится».— Она приподнялась на локте и посмотрела на меня.— И к вам это тоже относится, Джек Бёрден,— сказала она.

Я ничего не ответил и не пошевелился. Сэди легла и, видимо, забыла обо мне.

Сигарета успела догореть у меня в пальцах, и я прикурил от нее другую, прежде чем сказал:

— Сэди, я понимаю, как вам тяжело. и не хотел бы ворошить старое, но...

— Ничего вы не понимаете,— сказала она.

— Ну так... приблизительно,— сказал я.— Но приехал я потому, что хочу задать вам один вопрос.

— А я думала, вы приехали, потому что так страшно меня любите.

— Не буду отрицать,— сказал я.— Люблю. Мы долго работали вместе и отлично ладили. Но не в этом...

— Да уж,— перебила она, снова приподнявшись на локте,— все мы отлично ладили. Просто отлично, куда к черту...

Я подождал, пока она ляжет и отвернется от меня к окну, за которым виднелись река и лужайка. В чистом небе над лохматыми макушками кипарисов за речкой летел ворон. Потом ворон скрылся, и я сказал:

— Адам Стентон убил Хозяина, но сам он до этого никогда бы не додумался. Кто-то его натравил. Кто-то, кто знал, что за человек Адам, знал, как он получил пост в больнице, знал...

Она как будто не слушала меня. Она смотрела в ясное небо над лохматыми кипарисами, где скрылся ворон. Я помедлил, потом, наблюдая за ее лицом, продолжал:

— ...знал про Хозяина и Анну Стентон.

Я снова помолчал, наблюдая, какое впечатление произведут на нее эти имена, но лицо ее ничего не выражало. Оно выглядело просто усталым, усталым и совершенно безразличным.

— И вот что я выяснил,— продолжал я.— В тот день Адаму кто-то позвонил и рассказал про Хозяина и его сестру. И все остальное. Словом, понимаете. Он взбесился. Пошел к сестре, набросился на нее, а она ничего не отрицала. Не такой она человек, чтобы отпираться. Я думаю, ей самой была противна эта скрытность, она почти обрадовалась, что может больше не прятаться...

— Ну, ну,— сказала Сэди, не оборачиваясь ко мне,— расскажите мне, какая она честная и благородная, ваша Анна Стентон.

— Извините,— сказал я, чувствуя, что краснею.— Кажется, я отклонился от темы.

— Да, кажется, отклонились.

Я помолчал.

— Этот человек, который звонил Адаму,—вы не представляете, кто бы это мог быть?

Казалось, она раздумывает над моим вопросом. Если она его слышала, в чем я не был уверен.

— Не представляете? — спросил я.

— Нет, не представляю,— сказала она.

— Нет?

— Нет, — сказала она, по-прежнему не глядя на меня, — а мне и незачем представлять. Потому что, видите ли, я знаю.

— Кто? Кто? — Я вскочил с кресла.

— Дафи, — сказала она.

— Так я и знал! — вскрикнул я. — Как же я не догадался! Больше некому.

— А если знали, — сказала она, — какого черта вы сюда приперлись?

— Я хотел убедиться. Хотел знать. Точно знать. Я... — Я оборвал себя и, стоя в ногах шезлонга, взглянул сверху на ее лицо, повернутое к окну и освещенное косыми лучами солнца. — Значит, вам известно, что это Дафи. Откуда вам известно?

— Черт бы вас взял, черт бы вас взял, Джек Бёрден, — устало проговорила она и повернула голову ко мне. Потом, глядя на меня, она села и уже не устало, а горячо и со злобой произнесла: — Черт бы вас взял, Джек Бёрден, что вас сюда принесло? Почему вы повсюду лезете? Почему не даете мне покоя? Почему? Почему?

Я смотрел ей в глаза; глаза горели на искаженном лице.

— Откуда вам известно? — мягко настаивал я.

— Черт бы вас взял, черт бы вас взял, Джек Бёрден.

Это звучало как заклинание.

— Откуда вам известно? — повторил я мягче прежнего, почти шепотом, и наклонился к ней.

— Черт бы вас взял, Джек Бёрден, — сказала она.

— Откуда вам известно?

— Потому что... — начала она, но осеклась и устало, с отчаянием повела головой, как ребенок в жару на подушке.

— Потому что? — повторил я.

— Потому что, — сказала она и откинулась назад, — я сама ему сказала. Я велела ему позвонить.

Так. Так, значит. А я не догадался. Мои колени медленно подогнулись, я осел, как машина на спущенном пневматическом домкрате, и очутился в кресле. Сэди, Сэди. Я смотрел на нее так, будто никогда ее прежде не видел.

Через минуту она сказала:

— Перестаньте на меня смотреть.

Но в голосе ее не было гнева.

Я, наверно, продолжал смотреть на нее, потому что она опять попросила:

— Перестаньте на меня смотреть.

Потом я услышал свой голос, словно разговаривал с собой:

— Вы убили его.

— Ладно, — сказала она. — Ладно. Убила. Он бросил меня. Окончательно. Я знала, что теперь это окончательно. Ради своей Люси. После всего, что я сделала. Сделала его человеком. Я сказала, что он об этом пожалеет, а он улыбнулся этой новой своей постной улыбкой, как будто разучивал роль Христа, взял меня за руки и попросил понять... Понять, видали!.. И тут меня как обожгло: я убую его.

— Вы убили Адама Стентона, — сказал я.

— Боже, — вздохнула она, — боже.

— Вы убили Адама, — повторил я.

— И Вилли, — прошептала она. — Убила.

— Да, — кивнул я.

— Боже, — проговорила она, глядя в потолок.

Я выяснил то, ради чего приехал. Но я продолжал сидеть. Я даже не закурил. Немного погодя она сказала:

— Подите сюда. Пододвиньте кресло.

Я подтащил свое кресло поближе к шезлонгу. Она не посмотрела на меня, но неуверенно протянула руку в моем направлении. Я держал ее руку, а Сэди смотрела в потолок, и косые лучи безжалостно освещали ее лицо.



— Джек,— сказала наконец она, не глядя на меня.

— Да?

— Я рада, что сказала вам. Я знала, что придется кому-нибудь сказать. Когда-нибудь. Знала, но мне некому было сказать. Пока вы не приехали. Вот почему я так вас ненавидела в ту минуту. Как только вы вошли, я поняла, что должна буду вам сказать. Но я рада, что сказала. Мне все равно, кто об этом узнает. Может, я не такая благородная и воспитанная, как ваша Стентон, но я рада, что сказала.

Я не нашелся, что ответить. Поэтому какое-то время я продолжал сидеть — молча, что, видимо, устраивало Сэди,— держал ее за руку и глядел поверх нее на речку, которая висла под мхом, свисавшим с лохматых кипарисов, на воду, рябую от водорослей, тяжелую, с запахом и отливом болот, дебрей и темноты, начинавшихся за стриженной лужайкой.

Я выяснил, что Крошка Дафи, который был теперь губернатором штата, убил Вилли Старка так же верно, как если бы его собственная рука держала пистолет. Я выяснил также, что Сэди Бёрк вложила оружие в руки Дафи и нацелила его, что и она убила Вилли Старка. И Адама Стентона. Но то, что сделала она, было сделано сгоряча. То, что сделал Дафи, было сделано хладнокровно. И в конце концов поступок Сэди Бёрк как-то отошел на задний план. Меня он как-то мало интересовал.

Значит, оставался Дафи. Дафи во всем виноват. И, как ни странно, при этой мысли я испытывал большую радость и облегчение. Дафи его убил. И от этого все становилось чистым и ясным, как в солнечный морозный день. Там где-то был Крошка Дафи со своим бриллиантовым перстнем, а тут был Джек Бёрден. Я ощущал свободу и ясность — как бывает после долгого паралича, вызванного неведением и нерешительностью, когда ты вдруг понимаешь, что можно действовать. Я чувствовал, что готов действовать.

Но я не знал как.

Когда я во второй раз приехал к Сэди — по ее собственной просьбе,— она, не дожидаясь каких-либо намеков с моей стороны, сказала, что, если нужно, она составит заявление. Я ответил, что это будет прекрасно, и мне казалось, что это будет прекрасно, ибо я по-прежнему ощущал свободу, ясность и готовность к действию, а Сэди вооружила меня. Я поблагодарил ее.

— Не надо меня благодарить,— сказала она,— я не ради вас это делаю. Дафи... Дафи...— Она села на шезлонге, и глаза ее загорелись, как прежде.— Вы знаете, что он выкинул? — Не дожидаясь ответа, она продолжала:— После... После этого я ничего не чувствовала. Ничего. Я уже вечером узнала, что произошло; мне было все равно. А на другое утро ко мне приходит Дафи — пыхтит, улыбается... «Ну, девочка, ты молодец, я тебя поздравляю». А я все равно ничего не чувствовала, даже когда взглянула на его лицо. Но потом он обнял меня за плечи и похлопывать начал, поглаживать по спине. И говорит: «Ты убрала его, девочка, и я тебя не забуду. Теперь мы с тобой не должны расставаться». И тут у меня началось. В эту самую секунду. Как будто его не в Капитолии убивали, а здесь, сейчас, у меня на глазах. Я вцепилась в него ногтями и выскочила. Убежала на улицу. А через три дня, когда он умер, поехала сюда. Мне больше некуда было деться.

— Ну что ж, спасибо,— сказал я.— Я думаю, мы рассчитаемся с Дафи.

— На суде ничего не докажешь,— сказала она.

— Я на это и не рассчитываю. Все, что он вам говорил или вы ему говорили,— не доказательство. Но есть другие способы.

Она задумалась.

— При любом способе, через суд или нет, вы же понимаете, что вам придется втянуть эту...— Она запнулась и не выговорила того, что вертелось у нее на языке.— Впутать Анну Стентон.

— Она согласится,— заверил я.— Непременно согласится.

Сэди пожала плечами.

— Вам лучше знать, что вам нужно, — сказала она. — И вам и ей.

— Мне нужен Дафи.

— Я не возражаю, — сказала она и снова пожала плечами. Вид у нее опять сделался усталый. — Я не возражаю, — повторила она, — но мир полон таких Дафи. Мне кажется, я всю жизнь среди них прожила.

— Сейчас я думаю только об одном из них, — объявил я.

Прошла неделя; я все еще думал об этом одном (к тому времени я решил, что не остается ничего другого, как дать материал в оппозиционную газету), когда получил записку, написанную его собственной рукой. Не могу ли я к нему зайти, спрашивалось в ней. Когда мне будет удобно.

Мне было удобно немедленно, и я нашел его ветчинное величество на большой кожаной кушетке в библиотеке резиденции, где прежде сживал Хозяин. Его ботинки заскрипели, когда он поднялся мне навстречу, но тело его колыхалось с легкостью раздутого тела утопленника, вырвавшегося наконец из цепких объятий донного ила и торжественно всплывающего на поверхность. Мы обменялись рукопожатиями, он улыбнулся. Кушетка снова застонала под его тяжестью, и он жестом предложил мне присесть.

Черный слуга в белом пиджаке принес виски. Я сделал глоток, но от сигары отказался.

Он сказал, что удручен смертью Хозяина. Я кивнул.

Он сказал, что ребятам очень не хватает Хозяина. Я кивнул.

Он сказал, что дело все же должно делаться. Так, как хотел бы Хозяин. Я кивнул.

Он сказал, что все же ему очень не хватает Хозяина. Я кивнул.

Он сказал:

— Джек, ребята здесь ужасно по вас скучают.

Я скромно кивнул и сказал, что ужасно скучаю по ребятам.

Он продолжал:

— Да, я еще на днях сказал себе: дай мне только впрячься, и я обязательно разыщу Джека. Джек — это как раз такой человек, какой мне нужен. Хозяин его очень высоко ставил, а что хорошо для Хозяина, то хорошо и для старины Дафи. Да, сказал я себе, надо разыскать старину Джека. Такой человек мне очень нужен. Прямой, честный. Такому можно довериться... Этот не подведет, не обманет. Его слово крепче печати.

— Это обо мне речь? — спросил я.

— Конечно, — ответил он. — Я хочу сделать вам предложение. Я не знаю точно, на каких условиях вы работали с Хозяином, но вы мне только скажите, и я вам прибавлю десять процентов.

— Меня устраивало мое жалованье.

— Вот это разговор белого человека, — сказал он и серьезно добавил: — Не поймите меня превратно, я знаю, что вы с Хозяином были вот так. — Он поднял два белых лоснящихся епископальных пальца, как для благословения. — Вот так, — повторил он. — Не поймите меня превратно, я не критикую Хозяина. Я просто хочу вам показать, как я вас ценю.

— Благодарю, — произнес я без особой теплоты.

Теплоты, по-видимому, было так мало, что он слегка наклонился вперед и сказал:

— Джек, я прибавлю двадцать процентов.

— Этого недостаточно, — отозвался я.

— Вы правы, Джек, — сказал он. — Этого недостаточно. Двадцать пять процентов.

Я замотал головой.

Ему стало немного не по себе, кушетка скрипнула, но он поборол себя и улыбнулся.

— Джек, — произнес он задушевно, — вы скажите, сколько вы считаете нужным, уж как-нибудь мы поладим. Скажите, сколько вас устроит.

— Нисколько, — сказал я.

— А?

— Слушайте, — начал я, — вы только что сказали, что мое слово крепче печати. Правильно?

— Да, Джек.

— Значит, вы мне поверите, если я скажу вам одну вещь?

— Ну конечно, Джек.

— Ну так я вам скажу. Еще не рождалось на свет скотины гнуснее вас — Несколько секунд я наслаждался мертвой тишиной, потом продолжал: — И вы думаете, что можете меня купить. Я понимаю, зачем вам это нужно. Вы не знаете, много ли я знаю и о чем. Я был близок с Хозяином и слишком много знаю. Я джокер в вашей колоде. И вы хотите сдать его себе из-под низу. Но этот номер не пройдет, Крошка, не пройдет. Плохо ваше дело, Крошка. Знаете почему?

— Слушайте, — произнес он властно. — Слушайте, не смейте...

— Плохо, потому что я много знаю. Я знаю, что вы убили Хозяина.

— Это ложь! — закричал он и приподнялся на кушетке — кушетка за-скрипела.

— Не ложь. И не догадка. Хотя мне следовало бы догадаться. Мне сказала Сэди Бёрк. Она...

— Она сама в этом замешана! Сама!

— Была замешана, — поправил я, — а теперь нет. Она об этом расскажет. Ей все равно, кто об этом узнает. Она не боится.

— Она еще пожалеет... Я...

— Она не боится, потому что устала. Она устала от всего, от вас устала.

— Я убью ее, — сказал он, и на висках его выступили капли пота.

— Никого вы не убьете, — сказал я. — И теперь никто за вас этого не сделает. Потому что вы боитесь. Вы бьетесь убить Хозяина и боялись не убить, но вам помог случай. Вы не упустя случая, и, ей-богу, я вас за это уважаю. Вы мне открыли глаза. Понимаете, Крошка, все эти годы я не держал вас за живого человека. Вы были карикатурой из газеты. С вашим бриллиантовым перстнем. Вы были у Хозяина вместо груши и улыбались своей кривой улыбкой, когда он вас бил. Вы были, как тот пудель. Вы когда-нибудь слышали про пуделя?

Я не дал ему ответить. Он успел только рот открыть, а я уже продолжал:

— У одного алкоголика был пудель, и он таскал его за собой повсюду, из бара в бар. А почему? Потому что любил? Нет, не поэтому. Он таскал за собой пуделя для того, чтобы можно было плевать на него и не пачкать пола. Вот вы и были пуделем у Хозяина. И вам это нравилось. Вам нравилось, когда на вас плевали. Вы не были человеком. Вы не существовали. Так я думал. Но я ошибался, Крошка. Что-то у вас было внутри, что делало вас человеком. Вам не нравилось, когда на вас плевали, даже за деньги. — Я встал, держа в руке полупустой стакан. — И теперь, Крошка, — сказал я, — когда я знаю, что вы существуете, мне вас, пожалуй, жалко. Вы смешной, толстый старик, Крошка, с плохим сердцем, с усохшей печенью, по лицу вашему бежит пот, на душе у вас гнусная тревога, и большая чернота поднимается в вас, как вода в погребе. И мне вас даже жалко. Но если вы скажете хоть слово, я перестану вас жалеть. Поэтому сейчас я допью ваше виски, плюну в стакан и уйду.

И я допил виски, бросил стакан на пол (он не разбился на толстом ковре) и двинулся к двери. Я почти дошел до нее, когда услышал за спиной скрип. Я оглянулся.

— В суде, — проскрипел он, — не докажете.

Я кивнул.

— Да, — сказал я. — Не докажем. Но забот у вас и без этого хватит.

Я открыл дверь, вышел, оставив ее открытой, и прошел под большой

сверкающей люстрой через длинную переднюю к двери, за которой стояла свежая ночь.

Я глубоко вдохнул холодный воздух и увидел сквозь ветви ясные звезды. Я чувствовал себя великолепно. Я лихо провел эту сцену. Я показал ему, где раки зимуют. Я лопался от гордости. Из ноздрей моих валил дым. Я был герой. Я был Святой Георгий с драконом у ног. Я был Эдвин Бут и кланялся под газовыми огнями. Я был Иисус Христос с бичом в храме.

Ай да я.

И вдруг под звездами я превратился в человека, который попотчевал себя всем от супа до орешков и гаванской сигары и чувствует себя на верху блаженства, и вдруг — нет ничего, кроме желтого кислого привкуса, который пробрался в рот из старого большого желудка.

Три дня спустя я получил заказное письмо от Сэди Бёрк. В нем говорилось:

Дорогой Джек,

чтобы вы не подумали, будто я хочу увильнуть от того дела, о котором мы говорили, посылаю вам обещанное заявление. Оно удостоверено свидетелями, заверено нотариусом, заштемпелевано по всей форме, и вы можете делать с ним все, что заблагорассудится, потому что оно — ваше. Это мое решение. Еще раз говорю, распоряжайтесь им, как вам угодно.

Что касается меня, то я уезжаю. Не только из этой комбинации желтого дома с богадельней, а вообще из города и из штата. Жить здесь я больше не могу и поэтому отчаливаю. Я уеду далеко, уеду надолго, и, может быть, где-нибудь климат окажется лучше. Но моя двоюродная сестра (миссис Стил Ларкин, авеню Руссо, 2331), которую можно считать моей ближайшей родственницей, будет иметь мой адрес, и, если вы захотите со мной связаться, пишите через нее. Где бы я ни была, я сделаю все, что вы скажете. Если вы скажете: приезжай — я приеду. Я не хочу, чтобы вы думали, будто я увильваю. Никакая огласка меня не пугает. Все, что вам будет нужно по этому делу, я сделаю.

Но если хотите послушаться моего совета — бросьте это дело. Не потому, что я люблю Дафи. Я надеюсь, что вы скажете ему пару ласковых слов и нагоните на него холоду. Но мой вам совет — откажитесь. Во-первых, юридическим путем вы ничего не добьетесь. Во-вторых, если вы используете материал политически, самое большее, чего вы добьетесь, это помешаете переизбранию Дафи. А вы знаете не хуже меня, что его и так не выдвинут кандидатом. Ребята никогда его не выдвинут, потому что он болван даже по их понятиям. Он был просто принадлежностью Хозяина. А шайке эта история никак не повредит. Она просто даст ей повод избавиться от Дафи. Если вы хотите добраться до шайки, дайте им самим вырыть себе могилу. Теперь, когда Хозяина нет, она недолго протянет. А в-третьих, если вы это напечатаете, вашей даме Стентон придется туго. Может быть, она такая благородная и возвышенная, что пойдет на это, как вы говорили, но вы будете дураком. Ей, наверно, и без того пришлось несладко, и вы будете дураком, если станете мучить ее, изображая из себя бойскаута, а из нее Жанну д'Арк. И даже если вы только расскажете ей, вы будете дураком. Если уже не проболтались. С вас станется. Я не собираюсь утверждать, что она моя лучшая подруга, но еще раз говорю, что у нее были свои неприятности, и вы могли бы дать ей передышку.

Помните, я не увиливаю. Я просто даю вам совет.  
Не падайте духом.

Искренне ваша

Сэди Бёрк.

Я прочел заявление Сэди. Там было сказано все, что требовалось, и каждая страница была подписана и заверена. Затем я сложил его. Оно мне было не нужно. Но не из-за совета, который дала мне Сэди. Конечно, письмо ее было разумным. По крайней мере в том, что касалось Дафи и шайки. Но что-то произошло. Ну их всех к черту, думал я. Я был сыт по горло.

Я еще раз посмотрел на письмо. Итак, Сэди обозвала меня бойскаутом. Но для меня это не было новостью. В ту ночь, когда я посетил Дафи и шел по улице под звездами, я называл себя худшими именами. Но ее слова попали в больное место и разбередили его. Разбередили потому, что, оказывается, не я один знал, где оно. Это знала Сэди. Она видела меня насквозь. Она читала в моей душе, как в книге.

У меня оставалось одно, довольно кислое, утешение. По крайней мере я не дождался, пока она меня раскусит. Я сам себя раскусил в ту ночь, когда шел от Дафи героем и бойскаутом и желтая кислая слюна вдруг высушила мне рот.

Что же я понял? Я понял вот что: когда я выяснил, что Дафи убил Хозяина и Адама, я почувствовал себя чистым и свободным, и когда я измывался над Дафи, я был на вершине блаженства, — я думал: значит, я не причастен. Дафи был злодей, а я — герой-мститель. Я задал Дафи трепку и раздувался, как мыльный пузырь. И вдруг что-то произошло и рот мой наполнился желтой кислотой слюною.

Вот что произошло: я спросил себя — а почему Дафи так уверен, что я буду на него работать? И вдруг я вспомнил глаза нахального репортерши в воротах кладбища и все другие глаза, смотревшие на меня с тем же выражением, и вдруг я понял, что пытаюсь сделать Дафи козлом отпущения, взвалить на него свои грехи, отмежеваться от Дафи, — и пиршество героизма отпрыгнуло кислотой и желчью, я почувствовал, что влип, увяз, запутался, застрял, как вол в болоте, как муха в липучке. Я не просто увидел себя и Анну участниками заговора, который сделал Адама Стентона жертвой Вилли Старка и Вилли Старка жертвой Адама Стентона. Гораздо хуже. Получилось так, что я был участником еще более зловещего заговора, значение которого я не мог объять. Получалось так, что сцена, которую я сейчас пережил, была зловещим фарсом, поставленным неизвестно для чего и неизвестно перед какой публикой, хотя я знал, что она скалится где-то в темноте. Получалось так, что в разгаре сцены Крошка Дафи лениво, по-родственному подмигнул мне своим глазом-устрицей, и я понял, что он знает кошмарную правду: мы — близнецы, связанные неразсторжмее и гибельнее тех несчастных уродцев, которые соединены лишь стежком мяса и хряща и разветвлением крови. Мы связаны с ним навеки, и я никогда не смогу возненавидеть его, не возненавидев себя, или полюбить себя, не полюбив его. Мы едины пред немигающим оком Вечности, милостью бога нашего — Великого Тика.

И я ворочался, трепыхался, словно бык или муха, и кислота жгла мне глотку, и все было яснее ясного, и я ненавидел все и вся — и себя, и Крошку Дафи, и Вилли Старка, и Адама Стентона. Пропали они пропадом — равнодушно повторял я под звездным небом. Все они казались мне одинаковыми. И я был такой же, как они.

Так продолжалось некоторое время.

Я не вернулся в Лендинг. Я не хотел видеть Анну Стентон. Я даже не распечатал полученное от нее письмо. Оно лежало на моем бюро, и я видел его каждое утро. Я не хотел встречать никого из знакомых. Я шлялся по городу, сидел в своей комнате, сидел в барах, где прежде редко бывал, или в первом ряду кинотеатров, откуда я мог любоваться огромными перекошенными тенями, кото-

рые жестикулировали, махали кулаками, обнимались, раздражались речами, напоминающими обо всем, о чем только можно вспомнить. Я часами сидел в зале периодики публичной библиотеки, где собираются, как на вокзале, или в общественной уборной, или филантропическом обществе, бродяги и катаральные старики и мусолят газеты, рассказывающие о мире, в котором они прожили уже некоторое количество лет, или просто сидят, посвистывая горлом и глядя на серую пленку дождя, сбегаящую по оконным стеклам под потолком.

В этой публичной библиотеке я и встретил Рафинада. Место было такое для него неподходящее, что я едва поверил своим глазам. Но сомнений не было. Большая голова была опущена, словно тонкий черенок шеи не выдерживал ее тяжести, и я видел тонкую, младенчески-розовую кожу черепа на тех местах, где раньше времени вылезли волосы. Его короткие ручки в мятых рукавах из синей диагонали симметрично лежали на столе, как пара домашних колбас на мясном прилавке. Короткие белые пальцы по-детски шевелились на лакированном дубовом столе. Он просматривал иллюстрированный журнал.

Потом одна рука, правая рука, неуловимым движением, которое я так хорошо помнил, нырнула под стол — видимо, в боковой карман пиджака — и, вернувшись с куском сахара, кинула его в рот. Неуловимое движение руки напомнило мне о пистолете, и я подумал — носит ли он его теперь. Я посмотрел на левый бок, под мышку, но не разглядел. Синий пиджак Рафинада всегда был ему велик.

Да, это был Рафинад, и я не хотел с ним встречаться. Если бы он поднял голову, его взгляд упал бы прямо на меня. Но он был поглощен журналом, и я потихоньку двинулся к двери. Я огибал его стол и почти вышел из поля его зрения, когда он поднял голову и наши взгляды встретились. Он поднялся со стула и подошел ко мне.

Я ограничился неопределенным кивком, который можно было принять и за приветствие — довольно прохладное и нерасполагающее приветствие, — и за знак выйти со мной в коридор для разговора. Он выбрал именно это истолкование и последовал за мной. Я не дождал его за дверью, а прошел по коридору к лестнице, которая вела в вестибюль (залы периодики в публичных библиотеках всегда расположены в полуподвале, рядом с мужским туалетом). Может, он это поймет как намек. Но он не понял. Он мягко подтопал ко мне в своих синих диагональных брючках, которые висели на заду и собирались гармошкой над черными мягкими тупоносими туфлями.

— К-к-как... — начал он, брызнув слюной, и по лицу его поползла виноватая страдальческая гримаса.

— Я живу, — сказал я. — А ты как живешь?

— Ни-ни-ничего.

Мы стояли в закопченном, скудно освещенном полуподвальном коридоре публичной библиотеки, вокруг нас на цементном полу валялись окурки, за спиной у нас была дверь мужской уборной, и в воздухе пахло пылью и дезинфекцией. Было утро, половина двенадцатого, серое небо на улице протекало, как ветхий промокший тент. Мы посмотрели друг на друга. Оба знали, что прячемся здесь от дождя, потому что больше некуда деться.

Он повозил ногой по полу, посмотрел на пол, потом снова на меня.

— Я м-м-могу н-найти работу, — серьезно сообщил он.

— Конечно, — равнодушно сказал я.

— Я п-п-просто не х-х-хочу. П-п-пока, — сказал он. — Мне п-п-пока что н-н-неохота.

— Конечно, — повторил я.

— Я н-н-накопил н-н-немного денег, — сказал он, как бы оправдываясь.

— Конечно.

Он посмотрел на меня вопросительно.

— Вы н-н-нашли р-р-работу?

Я помотал головой и чуть было не повторил в свое оправдание его слов — что я мог бы получить работу, если бы захотел. Я мог бы сидеть, положив ноги на

стол красного дерева в светленьком кабинете рядом с кабинетом Крошки Дафи. Если бы захотел. И когда я подумал об этом со скучной насмешкой, передо мной, словно молнией вырванное из темноты, открылось то, что положил мне прямо в руки господь. Дафи, подумал я, Дафи.

И передо мной стоял Рафинад.

— Послушай,— сказал я и наклонился над ним в пустом коридоре.— Послушай, ты знаешь, кто убил Хозяина?

Он посмотрел на меня, нагнув набок большую голову на тонкой шее, и лицо его начало болезненно подергиваться.

— Да,— сказал он.— Да... Я з-з-застрелил гада.

— Да,— сказал я,— ты застрелил Стентона...— И меня пронзила мысль об Адаме Стентоне, который был живым когда-то, а теперь — мертвым, и ненависть к этому уродливому, жалкому существу.— Да, ты застрелил его.

Голова слабо качнулась на тонкой шее, и он повторил:

— З-застрелил.

— А если ты не все знаешь? — сказал я, наклоняясь над ним.— А если за Стентоном кто-то стоял, если кто-то подговорил его?

Я ждал, пока до него дойдет, и наблюдал, как беззвучно искажается его лицо.

— А если бы я сказал тебе, кто это,— продолжал я,— если бы я мог доказать — что бы ты сделал?

Вдруг лицо его перестало дергаться. Оно стало ясным, как у младенца, и спокойным тем покоем, какой появляется иногда от напряжения.

— Ну, что бы ты сделал?

— Я убил бы гада.— Он произнес это без запинки.

— Тебя бы повесили,— сказал я.

— Я убил б-б-бы его. П-п-пока н-н-не убил, н-н-не могут повесить.

— Пойми,— прошептал я, наклоняясь еще ближе,— тебя бы повесили.

Он всматривался в мое лицо.

— К-к-кто, кто он?

— Тебя бы повесили. Ты уверен, что убил бы его?

— К-к-кто, кто...— начал он. Он схватил меня за пиджак.— В-в-вы з-з-знаете...— сказал он,— в-в-вы з-з-знаете что-то и н-н-не говорите.

Я мог сказать ему. Я мог сказать — приходи сюда в три часа, я тебе кое-что покажу. Я мог принести заявление Сэди, заявление, которое лежало у меня на столе, и ему надо было бы только взглянуть. Только взглянуть. Это было бы все равно что нажать спусковой крючок.

Его руки цеплялись за мой пиджак.

— С-с-скажите мне,— повторял он.

Только взглянуть. И все. Я мог встретиться с ним здесь сегодня. Мы могли зайти в уборную. и он бы только взглянул, а я пошел бы домой и сжег бумаги. Черт, да зачем их жечь? Я ведь даже предупредил замухрышку, что его повесят, — я чист.

Он дергал меня, назойливо и слабо повторяя:

— Скажите мне, л-л-лучше с-с-скажите.

Это было так просто. Это было точно. И точная математическая ирония замысла — точное повторение хода Дафи — поразила меня так, что я едва не расхохотался.

— Слушай,— сказал я Рафинаду,— перестань меня дергать и слушай. Сейчас я тебе...

Он перестал меня дергать и смиренно стоял передо мной.

Он делает это. Я знал, что он это сделает. И так подшутить над Дафи! — я чуть не расхохотался. Но когда я произнес про себя имя Дафи, передо мной возникло его лицо — большое, круглое, жирное, оно по-родственному кивало мне, словно оценив шутку, — и едва я открыл рот, чтобы произнести его имя, как он подмигнул. Он подмигнул мне по-братски, откровенно.

Я стоял, как столб.

Лицо Рафинада снова искривилось. Он хотел спросить еще раз. Я посмотрел на него.

— Я пошутил, — сказал я.

Лицо его сделалось воплощением пустоты, а затем воплощением смерти. Там не было даже вспышки ярости. Была холодная простодушная смертельная определенность. Лицо словно застыло в мгновение ока в этой определенности и походило на лицо человека, погребенного в снегах — давным-давно, много веков назад, может быть, в ледниковый период, — и ледник ползет с ним вниз, век за веком, сантиметр за сантиметром, и вот, во всей его первобытной чистоте и смертном простодушии, лицо глядит на вас из-под последнего слоя ледяной глазури.

Я стоял перед ним целую вечность. Я не мог пошевелиться. Я был уверен, что погиб.

Но вот ледяное лицо исчезло. Передо мной было просто лицо Рафинада, его голова, чересчур большая для тонкой шеи, — и она говорила:

— Еще бы чуть-чуть, и я... это.

Я облизал пересохшие губы.

— Я знаю, — сказал я.

— З-з-зачем вы так с-с-со м-м-мною поступили? — жалобно проговорил он.

— Извини.

— В-в-вы знаете, к-к-как я п-п-переживаю, з-з-зачем вы так г-г-говорили?

— Я знаю, как ты переживаешь, — сказал я. — Извини. Я не хотел, честное слово.

— Н-н-ничего, — сказал он.

Он стоял передо мной поникший и несчастный и казался еще меньше, чем всегда, словно кукла, из которой высыпалась половина опилок.

Я разглядывал его. Потом я сказал — наверно, не столько ему, сколько себе:

— Ты бы и в самом деле его убил.

— Это же б-б-был Х-х-хозяин, — сказал он.

— Даже если бы тебя повесили.

— Н-н-не было д-другого т-т-такого человека, как Х-х-хозяин. И они его убили. В-в-взяли и убили.

Он пошаркал ногами по цементному полу и посмотрел на них.

— Он т-так х-х-хорошо умел г-г-говорить, — заикаясь, выдавил он. — Х-х-хозяин умел. Н-н-никто н-н-не умел так, к-к-как он. Когда он г-г-говорил речь и все к-к-кричали, прямо к-к-как будто ч-ч-что-то у т-т-тебя т-т-тут л-ло-о-палось -- Он поднес руку к груди, чтобы показать, где у тебя как будто что-то лопалось. Потом вопросительно посмотрел на меня.

— Да, — согласился я. — Это он умел.

Мы стояли там еще с полминуты, не зная, о чем говорить. Он посмотрел на меня, потом вниз, на ноги. Потом снова на меня и сказал:

— Н-н-ну, я т-т-тогда п-пойду?

Он протянул мне свою ручку, и я пожал ее.

— Ну, счастливо, — сказал я.

И он стал подниматься по лестнице, сильно сгибая в коленях культяпистые ножки, чтобы достать до следующей ступеньки. Когда он водил большой черный кадиллак, он всегда подкладывал за спину плоские подушки (такие обычно берут с собой на пикник или в байдарку), чтобы нормально работать педалями тормоза и сцепления.

Такой была моя последняя встреча с Рафинадом. Он родился в ирландской части города. Он был коротышкой, которого большие ребята принимали в игру, если не хватало народу. Они играли в бейсбол, но он для игры не годился. «Эй, Обрубок, — говорили они, — сбегай за битой». Или: «Эй, Обрубок, сбегай за кока-олой». И он бегал за битой и за кока-олой. Они говорили: «Ладно, заткнись, Спотыка, напишешь мне письмо». И он затыкался. Но когда-то, где-то он понял,



на что он годится. В этих коротких ручках машина закладывала виражи так же чисто, как ласточка вокруг амбара. Эти бледно-голубые глаза, казавшиеся плоскими, могли глянуть вдоль ствола 9,65-миллиметрового пистолета и увидеть, действительно увидеть на одно застывшее апокалиптическое мгновение, что там впереди. И вот в один прекрасный день он очутился в большом черном кадиллаке, и две тонны дорогих механизмов ожили под его пальцами, а вороненый пистолет притаился в темноте под мышкой, словно опухоль. И рядом сидел Хозяин, который так хорошо умел говорить.

«Ну, счастливо», — сказал я ему, но я знал, какое его ожидает счастье. Однажды утром я возьму газету и прочту, что некий Роберт (или Роджер?) О'Шинн погиб в автомобильной катастрофе. Или был застрелен неизвестными, когда сидел в машине возле игорного притона «Где нет любви, там нет веселья», принадлежащего его нанимателю. Или нынче утром без посторонней помощи подошел к эшафоту в результате того, что сумел нажать на собачку раньше, чем полицейский — по фамилии, разумеется, Мерфи. А может быть, все это чересчур романтично. Может, он будет жить вечно, переживет всех, только нервы его откажут (спиртное, наркотики или просто время возьмет свое), и пока серые зимние дожди заливают оконные стекла, он будет утро за утром просиживать в полуподвальном зале публичной библиотеки, склонившись над иллюстрированным журналом, — тщедушный, лысый старичок в грязном, обтрепанном костюме.

Так что, может быть, я не оказал Рафинаду услуги, промолчав о Крошке Дафи и не позволив ему ударить прямо в цель и закончить свое существование подобно пуле. Может быть, я украл у Рафинада единственное, что он заслужил прожитыми годами, что было его подлинной сущностью, и теперь его жизнь, как бы она ни сложилась, будет пустой и случайной, отходами, кислой вонючей сывороткой подлинности — вроде той, какую находишь в полупустой бутылке молака, забытой в холодильнике перед отъездом в отпуск.

А может, у Рафинада было что-то такое, что вообще нельзя украсть.

Я стоял в коридоре после его ухода и раздумывал над этим, вдыхая запах старой бумаги и дезинфекции. Потом я вернулся в зал периодики, сел и раскрыл иллюстрированный журнал.

Когда я встретился с Рафинадом в библиотеке, шел февраль. Жизнь я продолжал вести прежнюю, кутаясь в бесцельность и неприметность, как в одеяло. Но что-то уже переменялось — если не в обстоятельствах моей жизни, то в моем сознании. И в конце концов через несколько месяцев — в мае, если быть точным, — перемена, которую произвела в моем сознании встреча с Рафинадом, заставила меня поехать к Люси Старк. Во всяком случае теперь я понимаю; что дело обстояло именно так.

Я позвонил на ферму, где она жила до сих пор. По телефону она разговаривала спокойно. И пригласила меня к себе.

И вот я снова сидел в гостиной белого домика среди ореховой мебели, обитой красным плюшем, и разглядывал цветочный узор ковра. Давно уже ничто не менялось в этом доме и еще долго не будет меняться. Но Люси немного изменилась. Она располнела, седина в ее волосах сделалась заметнее. Она стала больше похожа на ту женщину, которую напомнил мне дом при первом посещении: на почтенную пожилую женщину в клетчатом ситцевом платье, в белых чулках и мягких черных туфлях, которая сидит в качалке, сложив на животе руки, и отдыхает, потому что вся дневная работа переделана, мужчины в поле, а доить и думать об ужине еще рано. Она еще не превратилась в эту женщину, но лет через шесть-семь превратится.

Я сидел, рассматривая цветок на ковре, время от времени поднимал глаза на нее и снова опускал на цветок, а ее взгляд блуждал по комнате с тем рассеянным выражением, с каким оглядывает комнату хорошая хозяйка, чтобы поймать на месте преступления пылинку. Мы все время о чем-то говорили, но разговор был натянутый и трудный, совершенно пустой.

Вы знакомитесь с кем-то на пляже во время отпуска и чудесно проводите вместе время. Или в углу на вечеринке, когда звенят бокалы и кто-то наигрывает на рояле, вы беседуете с незнакомцем, и кажется, что ваш ум затачивается, правится на его уме, и новые просторы идей открываются перед вами. Или, разделяя с кем-то сильные или мучительные переживания, вы обнаруживаете глубокое внутреннее родство. И после вы уверены, что, когда встретитесь снова, веселый товарищ подарит вам прежнее веселье, блестящий незнакомец взбудоражит ваш оцепенелый ум, отзывчивый друг утешит прежней близостью. Но что-то происходит, или почти всегда происходит, с весельем, с блеском, с родством. Вы вспоминаете отдельные слова языка, на котором говорили, но вы забыли грамматику. Вы вспоминаете движения танца, но музыка больше не играет. Вот вам и все.

Так мы и сидели довольно долго, и минуты проплывали, колыхаясь, одна за одной, как опавшие листья в неподвижном осеннем воздухе. Затем после длительного молчания она оставила меня наблюдать за полетом листьев в одиночестве.

Но она вернулась — с подносом, на котором стоял кувшин студеного чая, два стакана с воткнутыми в них веточками мяты и большой шоколадный торт. Обычное угощение в таком белом деревенском домике. Студеный чай и шоколадный торт. Она, должно быть, испекла торт утром по случаю моего визита.

Ну что ж, есть торт — тоже занятие. Никто не потребует, чтобы вы разговаривали, набив рот тортом.

Однако в конце концов она заговорила сама. Может быть, оттого, что перед ней на столе стоял торт, кто-то ел ее торт и она знала, что это хороший торт, а в комнате этой уже многие годы по воскресеньям сидели люди и ели торт, — она решилась заговорить.

Она сказала:

— Вы знаете, Том умер.

Тон ее был вполне прозаичен, и это меня успокоило.

— Да, — ответил я, — знаю.

Я прочел об этом в газете еще в феврале. Я не поехал на похороны. Я решил, что хватит с меня похорон. И не написал ей письма. Я не мог написать ей хорошее письмо с соболезнованиями и не мог написать ей письмо с поздравлениями.

— От воспаления легких, — сказала она.

Я вспомнил слова Адама, что именно так чаще всего умирают эти больные.

— Он умер очень быстро, — продолжала она. — В три дня.

— Да, — сказал я.

Помолчав, она сказала:

— Я примирилась. Я со всем теперь примирилась, Джек. Бывает минута, когда кажется, что еще одного несчастья ты не вынесешь, но оно приходит, а ты продолжаешь жить. Но теперь я примирилась, с божьей помощью.

Я промолчал.

— И когда я примирилась, бог послал мне то, ради чего я могу жить.

Я пробормотал что-то невнятное.

Она вдруг встала; решив, что меня отпускают, я неловко поднялся и начал говорить какие-то полагающиеся при прощании слова. Мне не терпелось уйти. Я ругал себя за то, что приехал. Но она дотронулась до моего рукава и сказала:

— Я хочу вам показать. — Она направилась к двери. — Пойдемте со мной, — сказала она.

Я вышел за Люси в маленькую переднюю, а из нее — в заднюю комнату. Она проворно пересекла комнату. Там у окна стояла детская кроватка, которой я сначала не заметил, и в кроватке лежал ребенок.

Она стояла по другую сторону кроватки и видела мое лицо в ту секунду, когда я понял, что мне хотят показать. Думаю, что лицо мое представляло собой любопытное зрелище. Затем она сказала:

— Это ребенок Тома. Мой внучек. Сын Тома.

Наклонившись над кроватью, она потрогала ребенка там и сям, как обычно делают женщины. Потом подняла его, просунув под затылок руку, чтобы подержать головку. Ребенок зевнул, глазки его съехались к носу и разъехались, а потом от бабушкиного вхохтанья и покачивания появилась мокрая розовая беззубая улыбка, как на рекламе. На лице Люси Старк было в точности такое выражение, какое должно быть в подобных случаях, и это выражение говорило все, что можно сказать о данном предмете.

Она обошла кровать и поднесла ребенка мне.

— Очень красивый мальчик,— сказал я и, как полагается, протянул ребенку палец, чтобы он за него ухватился.

— Он похож на Тома,— сказала она.— Вам не кажется? — И прежде чем я успел придумать ответ, который не был бы чересчур отталкивающей ложью, она продолжала: — Но, конечно, глупо вас об этом спрашивать. Как вы можете знать? Я хотела сказать, что он похож на Тома, когда он был маленьким.— Она замолчала, чтобы еще раз полюбоваться на ребенка.— Он похож на Тома,— сказала она скорее себе, чем мне. Потом она посмотрела мне в глаза.— Я знаю, это его ребенок,— с жаром объявила она.— Это ребенок Тома, он похож на него.

Я критически осмотрел ребенка и кивнул.

— Да, сходство есть,— согласился я.

— И подумать только,— сказала она,— было время, когда я молилась богу, чтобы он оказался чужим ребенком. Чтобы на Томе не было вины.

Ребенок у нее в руках дрыгнул ножкой. Мальчик и вправду был крепенький, симпатичный. Она одобрительно качнула его раз-другой и обернулась ко мне.

— А потом,— продолжала она,— молилась, чтобы он оказался ребенком Тома. Теперь я в этом уверена.

Я кивнул.

— Я сердцем это чувствую,— сказала она.— И потом, как вы думаете, неужели эта бедная девочка... его мать... отдала бы мне его, если бы не была уверена, что это ребенок Тома? Неважно, как эта девочка поступала... Даже если правда то, что о ней говорят... Но разве мать может не знать? Она должна знать.

— Да,— сказал я.

— Но я сама это чувствовала. Сердцем. Я написала ей письмо. Я поехала к ней, увидела маленького. О, я поняла не только это. Когда его увидела и взяла на руки. Я убедила ее, что должна его усыновить.

— Но вы оформили это юридически? — спросил я.— Чтобы она не... не тянула из вас... — произнес я после некоторой заминки.

— А-а, да,— ответила она, видимо, не уловив моей мысли.— Я наняла адвоката, чтобы он съездил к ней и все оформил. И денег ей немного дала. Бедная девочка хотела уехать отсюда, перебраться в Калифорнию. Денег после Вилли осталось немного — он истратил почти все, что заработал,— но я дала ей, сколько могла. Шесть тысяч долларов.

Итак, Сибилла все же не осталась в убытке, подумал я.

— Хотите его поддержать? — предложила Люси в порыве великодушия, протягивая мне дорогостоящее дитя.

— Конечно,— сказал я и взял его. Я прикинул его на вес — с большой осторожностью, чтобы он не рассыпался у меня в руках.— Сколько он весит? — спросил я и вдруг понял, что говорю как человек, собирающийся что-то купить.

— Шесть девятьсот,— живо ответила она и добавила: — Это очень хорошо для трехмесячного.

— Да,— сказал я,— это много.

Она освободила меня от ребенка, легонько тиснула его, прижав к груди и склонив к нему лицо, а потом положила его в кровать.

— Как его зовут? — спросил я.

Она выпрямилась и, обойдя кровать, стала рядом со мной.

— Сначала, — сказала она, — я хотела назвать его Томом. Я было почти решила. Но потом поняла. Я назову его, как деда. Его зовут Вилли, Вилли Старк.

Я вышел за ней в маленькую переднюю. Мы остановились у стола, где лежала моя шляпа. Она повернулась и пристально заглянула мне в лицо, как будто в передней был плохой свет.

— Знаете, — сказала она, — я потому назвала его Вилли... — Она все еще глядялась в мое лицо. — Потому, — продолжала она, — что Вилли был великим человеком.

Я, кажется, кивнул.

— Да, я знаю, он совершал ошибки, — сказала она и подняла подбородок как будто с вызовом, — тяжелые ошибки. Может быть, он нехорошо поступал, как тут говорят. Но здесь... в глубине... в душе... — она положила руку на грудь, — он был великим человеком.

Она больше не интересовалась моим лицом, не пыталась разгадать его выражение. Сейчас я ее не интересовал. Как будто меня не было.

— Он был великим человеком, — заключила она почти шепотом. Затем она снова посмотрела на меня, уже совсем спокойно. — Понимаете, Джек, — сказала она, — я должна в это верить.

Да, Люси, вы должны в это верить. Вам надо в это верить, чтобы жить. Я знаю, что вы должны в это верить. И я не ожидал от вас ничего другого. Так и должно быть, и я это понимаю. Ведь дело в том, Люси, что я сам должен в это верить. Я должен верить, что Вилли Старк был великим человеком. Что случилось с его величием — это другой вопрос. Может быть, он пролил его на землю, как проливается жидкость из разбитой бутылки. Может быть, он свалил его в кучу и разом сжег в темноте, словно большой костер, — и не осталось ничего, кроме темноты и мерцающих углей. Может быть, он не умел отличить свое величие от своего ничтожества и так смешал их, что все испортил. Но величие в нем было. Я должен в это верить.

И когда я пришел к этому убеждению, я вернулся в Бёрденс-Лендинг. Я пришел к этому убеждению не тогда, когда смотрел вслед Рафинаду, поднимающемуся по лестнице из полуподвального коридора публичной библиотеки, и не тогда, когда Люси Старк стояла передо мной в передней облезлого домика на ферме. Но и это, и все другие события, происходившие вокруг меня, привели меня в конце концов к такому убеждению. Веря, что Вилли Старк был великим человеком, я могу лучше думать об остальных людях и о себе самом. И в то же время с еще большей уверенностью могу осудить себя.

Я вернулся в Бёрденс-Лендинг ранним летом по просьбе матери. Однажды ночью она позвонила мне и сказала:

— Мальчик, я прошу тебя приехать. Поскорее. Ты можешь приехать завтра?

Когда я спросил, зачем я ей нужен, — я еще не хотел возвращаться, — мать уклонилась от прямого ответа. Она сказала, что все объяснит, когда я приеду.

И я поехал.

Я подрулил к дому в конце дня. Она ждала меня на веранде. Мы перешли на боковую галерею и выпили. Она говорила мало, а я ее не торопил.

Но в семь часов Молодой Администратор не появился, и я спросил ее, придет ли он к обеду.

Она помотала головой.

— Где он? — спросил я.

Она повернула в пальцах пустой бокал, льдинки там тихо звякнули. Наконец она сказала:

— Не знаю.

— В отъезде? — спросил я.

— Да. — ответила она, позвякивая льдинками. Потом она повернулась ко мне. — Он уехал пять дней назад, — сказала она. — И не вернется, пока я не

уюду. Понимаешь... — Она опустила стакан на столик с видом человека, принявшего окончательное решение. — Я уйду от него.

— Черт подери, — пробормотал я.

Она продолжала смотреть на меня, словно чего-то ожидая. Чего — я не мог понять.

— Черт подери, — сказал я, пытаюсь как-то уложить в голове эту новость.

— Ты удивлен? — спросила она, слегка подавшись ко мне в своем кресле.

— Еще бы.

Она внимательно наблюдала за мной, а я различал на ее лице любопытные перемены чувств, слишком неясных и мимолетных, ускользающих от определения.

— Еще бы не удивлен, — повторил я.

— Да? — сказала она и откинулась в кресле, утонула в нем, как человек, который упал в воду и тянется к веревке, хватая ее на миг и выпускает, снова тянется и не может достать, и знает, что пытаться дальше — бесполезно. Теперь в лице ее не было ничего неясного. Оно было точно таким, как я сейчас описал. Она упустила веревку.

Она отвернулась от меня, как будто не хотела, чтобы я видел ее лицо. Потом сказала:

— Я думала... я думала, тебя это не удивит.

Я не мог объяснить ей, почему я — да и любой другой человек — должен был удивиться. Я не мог объяснить ей, что если женщине ее возраста удастся поймать на крючок мужчину не намного старше сорока лет и не разорившегося в пух, то очень удивительно, что она за него не держится. Даже если у женщины есть состояние, а мужчина — такая задница, как Молодой Администратор. Я не мог ей это объяснить и потому промолчал.

Она продолжала смотреть на залив.

— Я думала... — начала она и после короткой заминки продолжала: — Я думала, Джек, ты поймешь почему.

— Знаешь, нет, — ответил я.

Она немного помолчала.

— Это случилось в прошлом году, я сразу почувствовала, когда это случилось... Ах, я ведь знала, что так и будет.

— Что случилось? Когда?

— Когда ты... когда ты... — Она запнулась, подбирая какие-то другие слова. — Когда Монти умер.

Она опять повернулась ко мне, лицо ее выражало мольбу. Она опять пыталась поймать веревку.

— Джек, Джек, — сказала она, — это все Монти... Ты понимаешь?.. Монти.

Мне казалось, что я понимаю; так я ей и сказал. Я вспомнил серебряный чистый крик, который выбросил меня в переднюю в день смерти судьи Ирвина, лицо матери, когда она лежала на кровати и весть проникала в ее сознание.

— ...Монти, — говорила она. — Всегда был Монти. Только я этого не понимала. Между нами... давно уже ничего не было. Но всегда был только Монти. Я поняла это, когда он умер. Я не хотела понимать, но я это поняла. И я больше не могла так жить. Настал момент, когда я почувствовала, что не могу. Не могу. — Она поднялась с кресла — рывком, как будто ее сдернули. — Не могу, — сказала она. — Потому что все перепуталось. Все было перепутано с самого начала. — Ее руки скручивали и рвали платок, который она держала у живота. — О-о, Джек, — громко сказала она, — все перепутано, с самого начала.

Она бросила изодранный платок и выбежала с галереи. Я слышал постукивание ее каблуков в комнате, но это не была прежняя ясная, бойкая дробь. Это было какое-то безнадежное неряшливое клецанье, вдруг заглухшее на ковре.

Я подождал немного на галерее. Потом пошел на кухню.

— Мать плохо себя чувствует, — сказал я кухарке. — Ты или Джо-Белл под-

нимитесь к ней попозже, узнайте, может быть, она поест бульона с яйцом или еще чего-нибудь.

Затем я отправился в столовую, сел за стол при свечах, мне принесли обед, и я поковырял его.

После обеда пришла Джо-Белл и сказала, что она была наверху с подносом, но мать его не взяла. Она даже не открыла дверь. Просто крикнула из комнаты, что ничего не хочет.

Я долго сидел на галерее; звуки на кухне замерли. Потом свет погас и у нее. Зеленый прямоугольник на черной земле — там, где свет из окна падал на траву, — вдруг тоже стал черным.

Немного погодя я поднялся наверх и постоял у ее двери. Раз или два я чуть не постучал. Но решил, что, если даже войду, говорить будет не о чем. Что можно сказать человеку, который узнал о себе правду — неважно, дурная она или хорошая?

Поэтому я спустился обратно и, стоя в саду среди черных магнолий и миртов, думал о том, как, убив отца, я спас душу матери. Оба они открыли то, что им нужно было знать для спасения. Потом я подумал, что, наверно, всякое знание, которое чего-то стоит, оплачивается кровью. Наверно, только так ты можешь определить, стоит ли чего-нибудь твое знание: оно должно быть куплено кровью.

Мать уехала на другой день. Она отправлялась в Рино. Я отвез ее на станцию и в ожидании поезда аккуратно выстроил на платформе все ее чистенькие, подобранные в тон чемоданы, саквояжи, сумки и картонки. День был жаркий и ясный, мы стояли на горячем зернистом цементе с той пустотой в мыслях, какая предшествует обычно расставанию на железнодорожной станции.

Мы стояли довольно долго, глядя на пути, которые бежали по береговой низине, мимо сосен, к колеблющемуся от зноя горизонту, где должна была возникнуть маленькая клякса дыма.

Неожиданно мать заговорила:

— Джек, я хочу тебе что-то сказать.

— Да?

— Я оставляю дом Теодору.

От изумления я не мог произнести ни слова. Я вспомнил, как все эти годы она набивала дом мебелью, хрусталем, серебром, пока он не превратился в музей, а она — в сущий клад для антикваров Нью-Орлеана, Нью-Йорка и Лондона. Я думал, что никакая сила не заставит ее с этим расстаться.

— Понимаешь, — поспешила объяснить она, неправильно истолковав мое молчание, — Теодор ведь ни в чем не виноват, а ты знаешь, как он помешан на этом доме, на том, что мы живем на набережной, и прочее. Я подумала, что ты не захочешь тут жить. Понимаешь... я подумала... подумала, что у тебя есть дом Монти, и если ты будешь жить в Лендинге, то предпочтешь его дом, потому что... потому что...

— Потому что он был моим отцом, — закончил я немного угрюмо.

— Да, — спокойно согласилась она. — Потому что он был твоим отцом. И я решила...

— Да ну его к черту, — не выдержал я. — Это твой дом, и ты можешь делать с ним что угодно. Мне он не нужен. Сегодня я соберу свои пожитки, и ноги моей там больше не будет. Можешь мне поверить. Мне он не нужен, и мне безразлично, что ты будешь делать с ним и со своими деньгами. Они мне тоже не нужны. Я тебе всегда говорил.

— Не так их много осталось, чтобы стоило из-за них волноваться, — сказала она. — Ты же знаешь, как мы жили эти шесть или семь лет.

— Ты разорилась? — спросил я. — Слушай, если ты на мели, я тебе...

— Не разорилась, — сказала она. — На жизнь мне хватит. Если поселиться где-нибудь в тихом месте и жить скромно. Сначала я думала поехать в Европу, но потом...

— Да, держись от Европы подальше,— сказал я.— Там скоро будет ад крошечный. Очень скоро.

— Нет, я не поеду. Я поеду куда-нибудь в тихое, недорогое место. Еще не знаю куда. Надо подумать.

— Ладно,— сказал я.— А насчет меня и дома можешь не беспокоиться. Ноги моей там не будет, это я тебе твердо обещаю.

Несколько минут она задумчиво смотрела на восток, туда, где за соснами и береговой низиной терялась пустая пока дорога. Затем, словно подхватив мои слова, сказала:

— Не надо мне было жить в этом доме. Вышла замуж, приехала сюда... он был хорошим человеком. Все равно надо было оставаться дома. Зачем я поехала?

Трудно было с этим спорить и так же трудно — согласиться, поэтому я молчал.

Но, видимо, она обсуждала этот вопрос не со мной, потому что, внезапно подняв голову, она посмотрела на меня и сказала:

— Что ж, я это сделала. Но теперь я знаю.

И откинув свои ладные плечи в ладном голубом полотняном костюме, она подняла лицо, как раньше,— как дьявольски дорогой подарок, преподнесенный людям,— и пусть только люди попробуют не выразить благодарности.

Да, теперь она знала. И стоя под солнцем, на горячем цементе, она, казалось, размышляла над тем, что узнала.

Однако размышляла она о другом. Потому что немного погодя она повернулась ко мне:

— Мальчик, скажи мне одну вещь.

— Какую?

— Мне очень важно это знать.

— Что?

— Когда... когда это произошло... когда ты пошел к Монти...

Вот оно. Я ждал этого. И среди зноя, стоя на горячем цементе, я вдруг похолодел, мои нервы съезжились от холода.

— ...Он тогда... он... — Она смотрела в сторону.

— Попал в безвыходное положение и поэтому застрелился? Это ты хотела спросить? — сказал я.

Она кивнула и посмотрела мне в глаза, ожидая, что теперь будет.

Я изучал ее лицо. Освещение было для него не выигрышное. Такое освещение уже никогда не будет для него выигрышным. Но она держала голову высоко, смотрела мне в глаза и ждала.

— Нет,— сказал я,— у него не было никаких неприятностей. У нас вышел небольшой спор из-за политики. Ничего серьезного. Но он жаловался на здоровье. Говорил, что плохо себя чувствует. Я думаю, в этом все дело. Он сказал мне: прощай. Теперь я понимаю, что это означало. Больше ничего.

Она немного сникла. Больше не было нужды держаться так прямо.

— Это правда? — спросила она.

— Да,— ответил я.— Правда, клянусь богом.

— Ох,— тихо произнесла она с почти беззвучным вздохом.

Мы ждали поезда. Говорить было больше не о чем. Теперь, в последнюю минуту, она наконец спросила о том, о чем хотела спросить и боялась спросить все время.

Вскоре на горизонте показался дымок. Потом стало видно, что черный дымок движется к нам вдоль кромки ясной воды. Потом со скрежетом и шипением, сотрясая почву, выбрасывая клубы пара, машина прокатилась мимо нас и стала. Проводник в белой куртке начал собирать чистенькие сумки и чемоданы.

Мать повернулась ко мне и взяла меня за руку.

— До свиданья, мальчик,— сказала она.

— До свидания,— сказал я.

Она придвинулась ко мне, и я обнял ее одной рукой.

— Пиши мне, мальчик, — сказала она. — Пиши, ты один у меня остался.

Я кивнул.

— Напиши, как ты устроилась, — сказал я.

— Да, — сказала она.

Я поцеловал ее, и в этот миг кондуктор, стоявший за ее спиной, взглянул на часы и уронил их в карман презрительным движением, какое делает кондуктор экспресса, готовясь скомандовать отправление после полутораминутной стоянки в захолустном городишке. Я знал, что сию секунду он крикнет: «Посадка окончена!» — но эта секунда растянулась надолго. Как будто, глядя на человека на другом краю долины, ты увидел дымок над его ружьем и ждешь бог знает сколько времени, когда донесется до тебя тихий звук выстрела, или увидел молнию вдалеке и ждешь грома. Я стоял, обняв мать одной рукой за плечи (ее щека, прижатая к моей, оказалась мокрой), и ждал, когда кондуктор крикнет: «Посадка окончена!»

Наконец он крикнул, мать отошла, поднялась по ступенькам, обернулась, помахала мне, поезд тронулся, проводник захлопнул дверь тамбура.

Я смотрел вслед поезду, увозившему мать, пока от него не осталось ничего, кроме пятнышка дыма на западе, и думал о том, как солгал ей. Что ж, я преподнес ей эту ложь, как подарок на прощание. Или в некотором роде свадебный подарок. подумал я.

Потом я подумал, что, может быть, солгал ей, выгораживая себя.

— Нет! — с бешенством произнес я вслух. — Не ради себя я врал, не ради себя.

И это было правдой. Истинной правдой.

Я преподнес матери подарок — ложь. И она отдала меня — правдой. Она заставила меня взглянуть на нее новыми глазами, а это в конце концов привело к тому, что я увидел новыми глазами весь мир. Вернее, новое представление о матери заполнило тот пробел, который, возможно, был в центре новой картины мира, преподнесенной мне многими людьми — Вилли Старком, Сэди Бёрк, Люси Старк, Рафинадом, Адамом Стентоном. Это означало, что мать вернула мне прошлое. Теперь я мог признать прошлое, которое прежде казалось мне отравленным и грязным. Теперь я мог признать прошлое, потому что мог признать ее и примириться с ней и с собой.

Многие годы я осуждал ее как бессердечную женщину, любившую лишь власть над мужчинами и краткое удовлетворение тщеславия и плоти, которое они ей давали, жившую в странном бездушном колебании между расчетом и инстинктом. И мать, чувствуя это осуждение, но, должно быть, не понимая его причины, делала все, чтобы удержать меня и задушить осуждение. Единственное, что она могла со мной сделать, это применить ту силу, которую она с успехом применяла к другим мужчинам. Я сопротивлялся и негодовал и в то же время хотел, чтобы она меня любила, ее сила притягивала меня, потому что она была прекрасной, полной жизни женщиной. Меня тянуло к ней и отталкивало от нее, я ее осуждал, и я ею гордился. Но все переменялось.

Первым знаком для меня был серебряный исступленный крик, разнесшийся по дому в день смерти судьи Ирвина. Этот крик звенел у меня в ушах много месяцев, но он затих, захлебнулся в грязи прошлого к тому времени, когда мать вызвала меня в Бёрденс-Лендинг и сказала, что уезжает. Тогда я понял, что она говорит правду. И примирился с ней и с собой.

Я не искал этому объяснения — ни в ту минуту, когда она заговорила об отъезде, ни в следующий день, когда мы стояли на цементной платформе и ждали поезда, и не тогда даже, когда я стоял там один, следя за последним пятнышком дыма, растворявшимся на западе. Я не искал этому объяснения и тогда, когда сидел той ночью один в доме, который был домом судьи Ирвина и стал моим



домом. Проводив мать, я запер ее дом, засунул ключ под половик на террасе и ушел из него навсегда.

В доме судьи Ирвина воздух был спертый, пахло пылью и нежилым помещением. Под вечер я растворил все окна, а сам пошел ужинать в Лендинг. Когда я вернулся и включил свет, дом стал больше похож на тот дом судьи Ирвина, который я помнил. Но сидя в кабинете, в окна которого лился влажный, тяжелый и душистый воздух ночи, я не спрашивал себя, почему у меня так покойно на душе. Я думал о матери с чувством покоя и облегчения и совсем по-новому ощущал мир.

Немного погодя я встал и вышел из дома на набережную. Стояла ясная ночь, волны тихо шипели на гальке берега, и залив под звездами был светел. Я шел по набережной, куда не очутился у дома Стентонов. В маленькой задней гостиной горел свет, тусклый свет, как будто от настольной лампы. Несколько минут я смотрел на свет, потом вошел в калитку и зашагал по дорожке.

Дверь веранды была на запоре, но внутри дверь в переднюю была открыта, и я увидел на полу прямоугольник света, падавшего через открытую дверь задней гостиной.

Я постучал.

Через секунду на освещенном месте в передней появилась Анна.

— Кто там?— крикнула она.

— Это я.

Она прошла по передней, пересекла веранду. Потом я увидел в темноте за стеклом ее тонкую белую фигуру. Я хотел сказать ей «здравствуй», но не сказал. Она возилась с замком, тоже молча. Потом дверь открылась, и я вошел.

Едва ступив на террасу, я услышал запах ее духов, и холодная рука сжала мне сердце.

— Я не думал, что ты меняпустишь,— сказал я, стараясь, чтобы это прозвучало шуткой, стараясь разглядеть в потемках ее лицо. Я видел только бледное пятно лица и темное мерцанье глаз.

— Конечно, впусти,— сказала она.

— Ну вот, а я не был уверен,— сказал я, издав нечто вроде смешка.

— Почему?

— Ну, за мое поведение.

Мы подошли к качелям на веранде и сели. Цепи скрипнули, но мы опустились так осторожно, что сиденье не шелохнулось.

— А что ты такого сделал?— спросила она.

Я порылся в кармане, нашел сигарету и закурил. Не взглянув на ее лицо, я погасил спичку.

— Что ты такого сделал?— повторил я.— Спроси лучше, чего я не сделал. Я не ответил на твое письмо.

— Ничего страшного,— сказала она. Потом задумчиво, словно про себя, добавила:— Давно это было.

— Да, давно, шесть месяцев назад... семь. Но мало того, что я на него не ответил,— сказал я.— Я его не прочел. Я поставил его на бюро и до сих пор даже не распечатал.

Она ничего не ответила. Я несколько раз затянулся, ожидая ответа, но она молчала.

— Оно пришло не вовремя,— сказал я наконец.— Оно пришло, когда все на свете — даже Анна Стентон — казалось мне одинаковым, и мне на все было наплевать. Ты представляешь, о чем я говорю?

— Да,— сказала она.

— Ни черта ты не представляешь,— сказал я.

— Может быть, представляю,— тихо сказала она.

— Может быть, но не совсем то. С тобой такого не бывает.

— Может быть.

— В общем, поверь мне на слово. Все на свете -- все люди каза-

лись мне одинаковыми. Мне никого не было жалко. Даже себя мне не было жалко.

— Я не просила меня жалеть, — возмутилась она. — Ни в письме, ни устно.

— Да, — медленно проговорил я, — думаю, что не просила.

— Я никогда тебя об этом не просила.

— Знаю, — ответил я и замолчал. Потом сказал: — Я пришел сюда, чтобы сказать тебе, что теперь я настроен по-другому. Мне надо было кому-то сказать... сказать вслух, чтобы убедиться в этом. И это правда.

Я подождал, но на террасе было тихо, пока я снова не заговорил.

— Это из-за матери, — сказал я. — Ты ведь знаешь, как у нас было. Как мы не могли ужиться. Как я считал ее...

— Перестань! — не выдержала Анна. — Перестань! Не смей так говорить. Откуда в тебе столько злости? Зачем ты так говоришь? Твоя мать, Джек, и этот несчастный старик, твой отец...

— Он мне не отец, — сказал я.

— Не отец?!

— Нет. — И в темноте, сидя на неподвижных качелях, я рассказал ей все, что мог рассказать о светловолосой девушке с впалыми щеками, которая приехала из Арканзаса, и попытался объяснить ей, что вернуло мне мать. Я попытался объяснить ей, что если ты не можешь принять прошлого и его бремени, у тебя нет будущего, ибо без одного не бывает другого, и что если ты можешь принять прошлое, ты можешь надеяться на будущее, ибо только из прошлого можно построить будущее.

Я попытался ей это объяснить.

После долгого молчания она сказала:

— Я тоже так думаю — если бы я этого не поняла, я не смогла бы жить.

Больше мы не разговаривали. Но мы еще долго сидели на темной веранде, затопленной тяжелым, влажным, приторно-душистым воздухом летней ночи, и я выкурил еще полпачки сигарет, пытаюсь уловить в тишине звук ее дыхания. Наконец я сказал ей «спокойной ночи» и пошел по набережной к дому отца.

Такова история Вилли Старка, но это и моя история. Ибо история у меня есть. Это история человека, который жил в мире и долгое время видел мир определенным образом, а потом увидел его по-новому, совсем по-другому. Перемена произошла не сразу. Произошло много событий, а человек этот не знал, когда он в ответе за них, а когда нет. Больше того, было время, когда он пришел к мысли, будто никто ни за что не отвечает и нет бога, кроме Великого Тика.

Эта мысль, навязанная ему как будто бы несчастным стечением обстоятельств, сначала показалась ему чудовищной, ибо отнимала у него воспоминания, которыми он, сам того не подозревая, жил; но вскоре она же принесла ему утешение, ибо означала, что его ни в чем нельзя винить — ни в том, что он упустил свое счастье, ни в том, что он убил своего отца, ни в том, что он предоставил двум своим друзьям уничтожить друг друга.

Но позже, много позже, проснувшись в одно прекрасное утро, он обнаружил, что больше не верит в Великий Тик. Он не верил в него, потому что слишком много людей жило и умерло у него на глазах. На глазах у него жили Люси Старк и Рафинад, Ученый Прокурор, Сэди Бёрк и Анна Стентон, и их жизненные пути не имели никакого отношения к Великому Тику. На глазах у него умер отец. На глазах у него умер его друг Адам Стентон. На глазах у него умер его друг Вилли Старк, и он слышал его последние слова: «Все могло пойти по-другому, Джек. Ты должен в это верить».

На глазах у него жили и умерли два близких ему человека, Вилли Старк и Адам Стентон. Они убили друг друга. Они были обречены уничтожить друг друга. Как историк Джек Бёрден понимал, что Адам Стентон, которого он мог назвать человеком идеи, и Вилли Старк, которого он мог назвать человеком факта, были обречены уничтожить друг друга, так же как были обречены использовать друг

друга, стремиться друг к другу, чтобы слиться в единое, ибо каждый не был целен из-за страшной дисгармоничности их века. Но понял, что его друзья были обречены, Джек Бёрден одновременно понял, что тяготевший над ними рок не имеет ничего общего с предначертаниями его божества, Великого Тика. Они были обречены, но их жизнь была мучительным усилием воли. Как сказал в разговоре о моральной нейтральности истории Хью Милер (когда-то генеральный прокурор при Вилли Старке, а впоследствии друг Джека Бёрдена): «История — слепа, а человек — нет». (Судя по всему, Хью вернется к политике, и тогда я присоединюсь к нему, буду подавать ему палто. Я накопил ценный опыт в этой области.)

И теперь я, Джек Бёрден, живу в доме моего отца. То, что я должен здесь жить, в некотором смысле странно: ведь открыв когда-то правду, я потерял прошлое и убил отца. Но в конце концов правда вернула мне прошлое. Поэтому я живу в доме, который оставлен мне отцом. Со мной — моя жена, Анна Стентон, и старик, который был женат когда-то на моей матери. Несколько месяцев назад, когда я нашел его больным в комнате над мексиканским ресторанчиком, что мне оставалось делать, как не привезти его сюда? (Верит ли он, что я его сын? Не знаю. Но это и не кажется мне важным, ибо каждый из нас — сын миллиона отцов.)

Он очень дряхл. Иногда он находит в себе достаточно сил, чтобы сыграть партию в шахматы, как играл когда-то со своим другом Монтегю Ирвином в длинной комнате в белом доме у моря. Он был очень хорошим шахматистом, но теперь стал слишком рассеян. В хорошие дни он сидит на солнышке. Понемногу читает библию. У него уже нет сил писать, но изредка он диктует мне или Анне отрывки для своего трактата.

Вчера он продиктовал мне следующее:

Сотворение человека, которого Бог в Своем провидении обрек на греховность, было грозным знаком всемогущества Божья. Ибо для Совершенного создать простое совершенство было бы делом пустячным и смехотворно легким. По правде говоря, это было бы не сотворением, а самораспространением. Обособленность есть индивидуальность, и единственный способ сотворить, действительно сотворить человека — это сделать его обособленным от Бога, а быть обособленным от Бога означает быть греховным. Следовательно, сотворение зла есть знак Божьей силы и славы. Так должно быть, дабы сотворение добра могло стать знаком силы и славы человека. Но с Божьей помощью. С Его помощью и в мудрости Его.

Произнеся последние слова, он повернулся, внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Ты записал?

— Да, — ответил я.

Пристально глядя на меня, он проговорил с неожиданной силой:

— Это правда. Я знаю, что это правда. Ты это знаешь?

Я кивнул и сказал «да». Я просто не хотел его волновать, но позже решил, что по-своему верю в то, что он сказал.

Он продолжал смотреть на меня, потом тихо сказал:

— С тех пор, как эта мысль поселилась во мне, моя душа успокоилась. Я носил ее в себе три дня. Я держал ее про себя, чтобы убедиться и испытать ее душой, прежде чем я ее выскажу.

Он не закончит трактата. Его силы убывают с каждым днем. Врачи говорят, что он не доживет до зимы.

К тому времени, когда он умрет, я буду готов расстаться с домом. Начать с того, что дом заложен и перезаложен. Когда судья Ирвин умер, дела его были запущены, и позже выяснилось, что он был не богат, а беден. Однажды дом уже был заложен — почти двадцать пять лет назад. Но тогда его спасли ценой преступления. Хороший человек совершил преступление, чтобы его спасти. Я не должен испытывать самодовольства оттого, что не согласен спасать этот дом ценой преступления. Может быть, мое нежелание спасать дом ценой преступления (если бы мне представилась такая возможность — что сомнительно) — это всего лишь

другой способ выразить мысль, что я не так люблю дом, как любил его судья Ирвин, ибо добродетель человека может быть не чем иным, как вялостью его желаний, а преступление — не чем иным, как функцией добродетели.

Не должен я испытывать самодовольства и оттого, что пытался как-то испушить преступление моего отца. Деньги, которые я получил в наследство, должны быть отданы, думал я, мисс Литтло в ее грязной, пропахшей лисами комнате в Мемфисе. Поэтому я ездил в Мемфис. Но там я выяснил, что она умерла. Так мне было отказано в этом недорого стоящем проявлении моего благородства. Если мне суждено его проявить, то придется проявлять какими-то более сложными путями.

Но деньги у меня еще есть, и я трачу их на жизнь, пока пишу книгу, начатую много лет назад, — книгу о жизни Касса Мастерна, которого я не мог когда-то понять, но теперь, может быть, пойму. Мне кажется, есть какая-то ирония в том, что, описывая жизнь Касса Мастерна, я живу в доме судьи Ирвина и ем хлеб, купленный на его деньги. Ибо у судьи Ирвина и Касса Мастерна мало общего (если судья Ирвин и похож на кого-нибудь из Мастернов, то не на Касса, а на его гранитноголового брата Гильберта). Но ирония этого положения не кажется мне особенно смешной. Это положение слишком напоминает мир, в котором мы живем с рождения до смерти, а ирония от повторения становится пошлой. Кроме того, судья Ирвин был моим отцом, он был добр ко мне, он был, по-своему, человеком, а я его любил.

Когда старик умрет и моя книга будет окончена, я передам дом Первому и Третьему Национальным банку, и мне безразлично, кто в нем будет жить, ибо с этого дня он станет для меня всего-навсего удачно сложенной грудой кирпича и бревен. Мы с Анной никогда больше не будем здесь жить — ни в доме, ни в Лендинге. (Ей хочется жить здесь не больше, чем мне. Свое имение она отдала детскому дому, над которым попечительствовала, и, как я понимаю, оно станет чем-то вроде санатория. Она не испытывает особого самодовольства по этому поводу. После смерти Адама дом стал не радостью для нее, а мукой, и этот дар в конечном счете был даром тени Адама — скромный дар, как горсть пшеницы или расписной горшок в могиле, которыми убаготворяют душу усопшего, чтобы она отправилась в свой путь и больше не тревожила живых.)

Итак, летом этого, 1939, года нас уже не будет в Бёрденс-Лендинге.

Мы, конечно, еще вернемся, чтобы пройтись по набережной и увидеть молодых людей на теннисных кортах у купы мимоз, пройтись по берегу залива, где вышки для ныряния мягко вырисовываются на солнце, углубиться в сосновую рощу, где толстый ковер игольника приглушит шаги так, что мы будем двигаться среди деревьев беззвучнее дыма. Но это будет не скоро, а пока мы уйдем из дома в кипящий мир, из истории в историю, чтобы снова держать ответ перед Временем.

*Перевел с английского В. Голышев.*



---

---

# Л У Б Л И Ц И С Т И К А

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО

★

## РЖАНОЙ ХЛЕБ

СКОБЕЛЕВ

**Д**митрий Степанович Скобелев — егерь. В его участок входят исток Волги и та череда валдайских озер, что превращает болотный ручей в полноводную быструю речку. Он семнадцатого года рождения, ходьба по лесам и гребля держат его в великолепной спортивной форме. Длинен и легок, стрижка «под бокс» придает его голове юношеский вид. Отец трех дочерей; приемный сын уже моряк. Дом Скобелева — в поселке Пено, на улице Рабочей, у самой воды. Познакомились мы лет пять назад.

Будучи в этих краях, я услышал от районных газетчиков (тогда в Пено был райцентр), что лучше всех поля знает один майор, бывший директор Пеновской МТС. Он оставил руководящую работу, заделался штатным охотником, выбил тут волков и рысей, но хозяйством интересуется, иногда заходит в райком отвести душу — поругаться. С ним побродить полезно, да только в день он отмахивает километров по пятьдесят, недаром прозвище ему — Лось...

Скобелев стал брать меня в свои обходы. Сначала чернотропом, потом по легкому снежку мы с двумя его лайками, старой Тайгой и глуповатым недорослем Кучумом, исходили пеновскую округу — мелкие, в ядрах валунов поля, невыкошенные лесные поляны с сухой медуницей и первой порослью олешиника, устланные салатным «сочным» мхом ельники, деревеньки, где все молодое-крепкое «изнетилось».

Дмитрий Степанович здешний. Отец его, Степан Петрович, первый и бессменный до гибели председатель колхоза «Путь к коммунизму», отличался недюжинной силой, будто бы один вносил на баржу якорь в восемнадцать пудов. В тридцать шестом году Скобелев-младший, тракторист-стахановец, уже корчевал лес, за несколько лет добыл колхозу четыреста гектаров пашни. О нем знал район, флажок от райкома комсомола ему привозила веселая и бойкая Лиза Чайкина. О довоенной деревне егерь сохранил только радужные воспоминания.

В армию он пошел механиком, с первого часа войны оказался на передовой. Воевал под Сталинградом, был ранен на Курской дуге, на польской и германской границах, к Берлину подошел уже командиром подразделения, с двумя орденами Красного Знамени и орденом Александра Невского. Неподалеку от рейхстага его в последний, седьмой раз ранило, на этот раз в голову. Представляли, кажется, к Герою, но наградили орденом Ленина. Подлечившись, он с молодой женой Шурой, уроженкой Воронежа, вернулся в верховья.

По рассказу его матери, крепкой и строгой Кондратьевны, отца немцы не расстреливали, а забили сапогами. Старик зимою ставил в Волге мережи, чтоб прокормиться, а солдатня хулиганила. Петрович будто застал двух, когда те возились у мережи, и столкнул обоих в прорубь. Река утащила, но с горы замегили. Он бросился бежать, да скоро запыхался,

Насколько охотно Дмитрий Степанович вспоминал про фронт, настолько не любил говорить о своей работе в МТС. Он срывал графики хлебосдачи: бабы возили зерно в лодках, сутками гребли против течения, да много ли так перевезешь? Вышла какая-то неприятность с письмом товарищу Сталину — кажется, Скобелев возражал против цифр в обязательствах. Его начали вызывать по ночам. От всего этого у него открылась язва желудка, стала сильно болеть голова, он почернел, и врачи уже не считали его жильцом.

Тогда-то он и ушел в егери. Лес исцелил его.

Время, когда мы познакомились, было, пожалуй, самым тягостным для здешнего хозяйства. Не так даже тяжелым (без хлеба нигде не сидели, можно было заработать сбором клюквы, продажей поросят в Осташкове) — именно тягостным. Ничто так не утомляет, как бессмысленный труд, а посадка кукурузы и сахарной свеклы среди мшарников, распашка клеверов, установка дорогих «елочек» на голодных фермах были заведомо бессмысленны. Вся досада, раздражение, горечь выливались в спорах-разговорах, приглашать к ним не приходилось — знай только слушай.

Помню, Скобелева заставили обложить лося. Местное общество охотников приобрело «рецензию» (разрешение на отстрел) и приступило к егерю: укажи урочище. Он просил повременить: чернотроп скрывает следы, подранок уйдет, легко наделать мяса воронам. Но охотники были неумолимы. Наутро мы с егерем вышли.

Дул мягкий и влажный («пухлый», сказал Дмитрий Степанович) ветер, вершины сосен мерно шумели, идти было легко. Часам к девяти мы уже были в заросшей молодым леском Бредовке. По объединенным верхушкам, помету и чуть заметным следам (удлиненным — коровы, покруглее — быка) он заключил, что лоси тут, днюют. Пошевелить их он боялся, взял на поводок собак, а потом вдруг сказал:

— Пошли посмотрим, где Митька Скобелев пахал целину.

Невдалеке от истаявшей деревеньки Выползка он отыскал в зарослях березняка и осинника большой валун, сел на него, похлопал ладонью:

— Сюда обед привозили. А теперь вот — лоси днюют.

Подлеску было, должно быть, лет пятнадцать. Осушительные каналы уже трудно было различить.

— Как же мы будем ворочаться сюда? Ведь сколько ни отступай, а наступать придется.

Убеждение, что наступать придется, что землю непременно нужно возвращать — без этого тут жизни не будет, — лишало его покоя: каждый день усиливал трудность возвращения. Уже треть пашни в районе занял лес.

Обходя урочище ради уверенности, что звери не ушли, мы встретили молодого парня с ружьем. Он был из колхоза «Октябрь», звали его Лешкой Матвеевым. Егерь попросил его не ходить в Бредовку, парень кивнул. Пробив каблук лунку во льду ручья, егерь попоил собак, сломал дудочку сухого ствольника и, почти не наклоняясь, напился сам. Закурили.

Получив после армии паспорт, Лешка уехал на целину, отработал сезон трактористом в совхозе «Западный», домой приехал на время. Денежность отпускника была налицо: и в лес пошел в новой меховой куртке и хорошей шапке. О работах на целине он отозвался похвально: в уборку у него вышло по триста в месяц.

— Только пищи настоящей нету — картошки, капусты.

— Тверскому козлу без капусты беда. Оставайся дома.

— Останешься... Мать велит жениться, так одна осталась девка не кривенькая, не глупенькая — Аля, и та засватана.

— Из Селища бери.

(В Селище мы были. До войны — исправное село, теперь четыре дома, в одном лесник с женой, в трех — по ветхой старухе. Они собирались у сарая, сортировали тресту, судачили: дадут Нюске в телятник новый фонарь или нет.)

— Напрасно вы тут эмтеэсы раскурочили, — сказал Лешка. — Целину и ту совхозами осваивают, а вы хотите здесь на колхозах устоять.

— Что ты про колхозы знаешь, — вздохнул Скобелев. — Колхоз — сила.

— Да уж видим. Оляха в деревню пришла. Кто поздоровее, к Волконскому бежит... («К Волконскому» — значило в Торжок, где руководил районом пеновский уроженец и популярный партизанский командир с княжеской фамилией. Он не забывал земляков, помогал устроиться.)

— Ладно, — вместо прощанья сказал Лешка, — схожу в Клин. Может, рябца подшибу.

Я уже порядком устал, когда Скобелев предложил завернуть к его тетке, Татьяне Голузеевой. Завернули, хоть оказалось неблизко.

Усадила она нас на кухне, принялась угощать клюквой и солеными груздями.

— Себе небось августовской не оставила? — усмехнулся Дмитрий Степанович, зачерпнув ядерной ягоды. — Они тут с августа начинают клюкву драть, когда еще белая, — пояснил он мне. — Пока сдавать, покраснеет, только легкая будет, как пробка. Все равно — сорок копеек кило.

— Грешны, батюшка, — кивнула тетя Таня. — Сам-то тоже не один мешок сдал, лучше тебя никто мест не знает.

Намек на этот источник заработка Скобелеву был неприятен, и понятливая тетка тотчас сменила тему:

— Приемщик хоть за пробку платит, а колхоз за что? Все ж двадцать копеек на трудодень. На кукурузу только весной план, а после — не убирамши. Нониче трактор бороздки делал, а мы семена бросали и ногой прикрывали. Бригадир: «Остри топоры, осенью рубить придется», — а она, спасибо, не взшла. Ну, за что ж платить, дурья ведь работа.

— Нахальство, — сказал Скобелев. Этим словом определялось у него и браконьерство, и хулиганство, и воровство, вообще нарушение жизненных правил, обязательных для всех. Кукуруза была явным «нахальством».

— И с хлебом то же: навозу не кладут, что галка уронит, то и в земле. Сколько в сеялку всыпят, столько и соберут, да сеют боб, а убирают шушеру. Вон Володю опять за семенами нарядили.

Володя, двоюродный брат Скобелева, был тут заместителем председателя колхоза.

— Шестьдесят рублей чистыми деньгами в месяц! — с гордостью сказала тетя Таня. — И всякий скажет: такому стоит. На свою ответственность нониче комбайн переправлял через Волгу, а плотик — козу не удержит. Потом мне говорит: «Чуть не посивел». Мы, Голузеевы, смелые!

В тепле разморило, да и тетя Таня уговаривала дожидаться Володю. Но Скобелев поднялся, взял ружье:

— И так потемну вернемся.

— Все к невестам своим торопишься, — вздохнула тетка.

Верно, торопился он к дочерям и жене. Я заметил: уйти он мог как угодно рано, но в удовольствии провести вечер дома отказать себе не мог.

В «невестах» души не чаял, баловал, чем только мог, а женой откровенно гордился и не считал себя ровней ей. Александра Николаевна (работала она лаборанткой в больнице, почему Дмитрий Степанович и называл ее медиком) не потеряла за долгое замужество южной энергии и подвижности, бывала в курсе всех новостей. Через нее Скобелев водил знакомство и хлеб-соль с людьми видными — кое с кем из врачей, работниками лесничества. Она училась заочно, кажется, на фармацевта, но дело, по-видимому, шло туговато. Семья, дом, полный веселых голосов, были той частью его мира, где все нормально, правильно. Из недомолвок его и умолчаний я мог заключить, что он понимает: егерство в глазах Лешки-тракториста или любящей его тетки никогда не станет достойным самостоятельного мужа занятнем. Что ни толкуй, а от дел он отошел, выпрягся, и доводить разговоры до той остроты, когда могут сказать: «Да ты сам-то что, только критиковать горазд?» — он не должен. Снова, пожалуй, не впрячься,

но живой лес, где наведен порядок, и семья, где растут люди, давали радость, которой хватало на жизнь.

Об увиденном в хождениях с егерем я написал в газету. Разговор о проблемах Нечерноземья тогда считался бестактностью, за публикацию статьи нагорело.

Потом знакомые рыболовы и охотники изредка передавали приветы с верховой. Иные намекали, что там не все ладится, но что именно — понять было трудно.

Только в середине апреля юбилейного года я собрался наконец съездить к Скобелеву.

Уже в Калининне высота волжской воды предупредила, что попаду в самую распутицу, однако отправился — бетонкой до Торжка и разбитым грейдером дальше.

Над дорогой висел птичий грай — на древних березах чинили старые гнезда грачи. Опушки, заросшие гари были еще сиреневыми, но ольха цвела в полную силу. Сороки, качаясь на ее ветках, сбивали с сережек пыльцу. Овражки, канавы, промонны — все было полно талой, цветом в крепкий чай водой. Почти у каждой придорожной избы полоскали белье.

«Бабы белье полощут, вальки на небо кладут» — не про эту ли пору, не про здешний ли край? Что стирают все разом — понятно: вода сейчас у самых окон, мягкая и чистая, ведь снег до последнего часа тут остается крахмально-белым. В огородах и полях дела пока нет, а идет вербная неделя, за ней и «страшная» (страстная). И если куличи печет редкая семья — обходятся покупным кексом, — то вымыть после долгой зимы все занавески, подзоры, цветастые наволочки, половики, высушить все на вешнем ветре хозяйка считает долгом и, пожалуй, удовольствием. Вальки же...

До неба здесь рукой подать.

Кавказ — стена, Урал — пояс, вершина страны — двускатная крыша Валдая.

Надо полагать, «верховность» Селигерской округи, особую значительность здешних мест как истока чего-то важного и незаместимого администраторы и идеологи прошлого считали крепко. В противном случае не объяснить, почему город Осташков и его уезд, лежавшие в стороне от главных дорог, обладавшие не бог весть какими природными ресурсами, так резко выделялись культурой и благоустройством из ряда прочих российских уездов.

Рыбачью слободу, названную именем какого-то Евстафия, отобрал для своей опричины Грозный, после ею владеют патриархи. При Екатерине городу пожалован герб (три серебряных рыбки на голубом щите), тут действуют больница, воспитательный дом, богадельня. В 1805 году в Осташкове открывается городской театр. По Селигеру пошел первый российский пароход. В середине прошлого века здесь уже есть каменные мостовые, газовое освещение, городской сад. Земство открыло в уезде тридцать школ, три больницы, в них служат шесть докторов, семь фельдшеров, акушерки — концентрация для девятнадцатого века удивительная.

Церковь стимулирует паломничество в верховья народной реки. Канонизирован Нил Столбенский. Фигура тусклая, о нем и сказать-то нечего: двадцать семь лет жил на острове, питался ягодами, умер... Не сравнить ни с Нилом Сорским, писателем, обличителем монастырского корыстолюбия, ни даже с торжокским Ефремом, известным хотя бы близостью к князьям Борису и Глебу. Но не беда, свято место пусто не бывает: разумный выбор дня находки мощей (после сева, перед сенокосом, когда простой человек свободен, а Селигер на диво хорош) и значительные капиталовложения принесли свое. Нилова пустынь отстраивается с петербургской широтой и державностью: остров облицован гранитом не хуже набережных Невы, столичный архитектор возводит громадный собор, сооружаются гостиницы, подворья, число паломников поднимается до сотни тысяч в год. Тут, как справедливо говорит антирелигиозная брошюра, «один из очагов мракобесия дореволюционной России». Но плаванье на расцвеченной барке-«осташевке», светлые воды Селигера, воздушные (подуй — поплывут) его острова, колокольни и



кущи чистого Осташкова оставляли, надо думать, глубокое впечатление, могли вспоминаться всю жизнь.

Сейчас Осташков — заурядный районный городок, ничем не выдающийся, кроме разве преданной любви к нему коренного «осташа», трудностей с причалами (частным моторкам несть числа) и милиции на подводных крыльях. Впрочем, громадные запасы тишины, хвойного воздуха, ясной воды, уединения уже разведаны москвичом и ленинградцем. Здесь не сочинское бытие с рублевой койкой в сарайчике — едут семьями, живут в палатках и не оставляют больших денег местному населению (которое, согласно путеводителю, отличается добротой и приветливостью).

Совет Министров Федерации ассигновал пятьдесят миллионов рублей на создание здесь туристского комплекса. Начато строительство гостиниц, организованы охотничьи хозяйства, асфальт будет проложен к самой деревеньке Волго-Верховье, куда сейчас можно проехать только в сухую погоду на гусеничном тракторе. Но об этом позднее.

Свернув с Осташкова на Пено, я в первой же из деревень, где мы бывали со Скобелевым, принужден был остановиться. Здесь рубили новый дом!

В Лопатине, я твердо помнил, оставалось четыре мужика: три тракториста и заместитель председателя колхоза Митраков Иван, он и у коров, бывало, убирал, и за сеном ездил — «трудно с кадрами». До войны людная, с мощеной, обсаженной ветлами улицей деревня насчитывала сто домов, теперь же они в порядках редки, как зубы в старушечьем рту. Но вон — строятся!

Рубил дом Галахов Иван, тракторист тридцати лет. У него уже трое детей, у тещи стало тесно. «Плотить» он пригласил Федорова Александра, дальнюю родню. Не даром, конечно: сговорились на восьми рублях в день. Поскольку была затронута деликатная сторона, плотник исподволь напомнил шурина — дескать, есть за что брать. Говорил он обыкновенно для «осташа», то есть складно — не пословица, однако слова в фразе не переставишь, ее можно или забыть, или запомнить в точности.

— Сырое мягко, как репа, а с сухим намучишься (о дереве).

— Лес взят без суков, что комель, то и макушка.

— Рублю не на мох, а на чистый паз: сразу щели видно.

Дом просторен, семь метров на шесть, и высок — шестнадцать венцов. Как это — «где деньги»? Теперь тут совхоз, зарплата без опозданий. Ну-у, про то и вспоминать нечего, вся округа теперь совхозная, выколотить пятерку в день можно, если трактор новый. Теперь и пенсия сносная, и по бюллетеню платят. В Торжок уже не тянутся, будет. Жизнь совсем иная пошла. Митраков? Бригадиром теперь, во-он конюшню рубит...

Крепкие мужики, острые топоры, свежий запах дерева. Перемены в верховьях: Иван Галахов рубит дом!

Через час я уже сидел в знакомой кухне скобелевского дома, и Дмитрий Степанович, по охотничьей карте очертив мне новые совхозы, с жаром подтверждал:

— Совсем иное дело, что вы! Тетка-то моя — помните? — не нахвалится. «Бригадира, говорит, не жду, чем свет схвачусь — и корма возить: что телега, то и денежка». Люди обулись-оделись, скот держат, выходной узнали. Заводят городскую обстановку — шифоньеры, диваны. Господи, лет бы десять назад такие условия — разве докатились бы верховья до беды? Вот сходим по деревням, сами увидите. Совсем иное дело!

В доме было тихо.

Он показался мне запущенным — словно не хватало молодой женской руки. В окно я увидел: у сарая перекладывала дрова Кондратьевна. Я спросил егеря о «невестах».

— Давно ж вы не были... Шуре, знаете, доучиваться надо, так родня ее под Воронежем устроила, в санатории работает. Валечка и Леночка — с мамой, в письмах все про Волгу спрашивают... Теперь Кондратьевна командует парадом.

Егерь остался один. Дом был тот же, но веселья, молодости в нем больше

не было. Расспрашивать его я не решился: дело семейное. Но хозяин ушел в магазин, и Кондратьевна с прямой деревенской женщины сказала мне:

— Конечно, райцентра теперь нету, молодым тут не житье, что им те глухари да зайцы? Да только никак он один не привыкнет. Первое время, чего греха таить, попивал, а потом стал книжки читать... Ничего, скоро гриб пойдет, ягода, времени думать не будет.

За вечерней ухой Дмитрий Степанович был весел и словоохотлив, но я заметил: про землю и про лесные дела не говорил. Со смешком рассказал только, что егерям в новом охотничьем хозяйстве забот полон рот: будто предупредили их, что в сезон приедет заграничный принц или кто, словом — большая персона, у него есть желание отстрелить лося с двенадцатью отростками на рогах. Чтоб ровно дюжина! А егеря-то — вчерашние колхозники, чуть ли не семьдесят человек в охотники перешли, теперь прикармливают быков.

Утром, ясным и радостным, напрямик через бор, по кочкарникам с прошлогодней бурой клюквой, по древесной траве вереска, обходя стороной глухаринные тока, пошли к бывшей усадьбе МТС, где он когда-то работал, — теперь тут совхоз «Пеновский».

Вышли к деревне Бервенец. От строения на околице, под самой опушкой, тянуло свежим ржаным хлебом, и Дмитрий Степанович предложил:

— Поля Виноградова пекарит, зайдем корочку пожужем.

Дюжая раскрасневшаяся тетка орудовала у печи — вынимала формы, вытряхивала хлебы на брезент.

— Привет попечителю, как припек кормит?

— А-а, главный леший пожаловал. Небось рябца занес?

— И так гладка. Ты нам свеженькую горбушку, хотим пробу снять.

Поля доказала правоту путеводителя, мы принялись за хлеб с крупной солью. Она рассказала, что печет по сто буханок в день, пока хватает, но подрастут поросята — не станет хватать, пойдут жалобы.

— Народ денежный — пенсионеры! По тридцать рублей со старухой получают, пару кабанчиков колют в год, настачишься тут. Ну, ничего, как станут жалиться — мы мучки побелее, пускаем по восемнадцать копеек кило. Чисто пшеничным кормить накладно.

Все люди нынче, сказала Поля, на картошке, семенной бурт открыли. Кажется, и агроном туда поехал.

На всхолмье за деревней немолодые женщины перебирали картофель. Бурт, видно, был укрыт кое-как: много померзло, погнило, половина шла в отход. Отвозил отобранные мокрые клубни в деревню старик в косматой шапке. Сидя на телеге, он громко толковал с худощавым мужчиной — агрономом Погодиным.

— Вот, Степанович, — обратился старик за поддержкой к егерю, — говорю я товарищу Погодину, что никогда так не жили, ни до колхозов, ни в колхозах, а бабам все мало. Было, утром встану, и до завтрака у меня шапка мокрая. А теперь подъем в восемь: «Бабка, есть подавай!»

— Да ты нас послушайся — будешь вставать с зарей, — перебила его, распрямляясь и держась за поясницу, плоскогрудая, с зимней бледностью на лице женщина.

— Сказал: не буду... Да и бабке тоже — хлеба не печь, молоко будет...

— Будет оно, как опять лето без пастуха. Брался бы, дядя Сенька, послужил бы бабам.

— Отслужил, хватит, — досадливо отмахнулся дядя Сенька. — Копейка вольнее стала, не всякий горазд ломаться. Сама паси. Будет нужда — на льне заработаю. Теперь порядок городской, верно, товарищ Погодин?

— Ты давай-ка трогай, — улыбаясь, сказал Погодин. — Намолчался за зиму, в день не навестать...

Мы разговорились с Погодиным. Прошли полем редкой и тощенькой озими, едва подсохшим после талых вод лугом с пленкой от истаявшего снега, погля-

дели коровник. Он охотно складной, как и у плотника, речью («калий с азотом дали, фосфора не пришло») рассказал об урожаях, делах.

Зерновых в прошлом году совхоз собрал по два с половиной центнера, столько же, сколько высеял. Да и с этим намолотом намучились — деть некуда: ни сушилок, ни складов. Семена каждый год привозят, откуда они — агроном не знал. Севооборота не получается: люпин не вырос, семян клевера нет. Почвы сильно закислены, органику видят только прифермские поля, идущие под картофель. Считается, что минеральных удобрений вносят по полтора центнера на гектар пашни, на самом же деле их получает один лен. Он тут убыточный: убрать в срок не удается, качество низкое, да и везти на завод разорительно — до самого Селижарова, по бездорожью.

Лука на две трети заросли кустарником, выручает дядя Сенька с косой: гектар с грехом пополам сбреет — спасибо. Средний контур поля — гектара полтора, отсюда и выработка техники: тракторист только и делает, что «повяртывается».

Да, значит, хозяйство от перехода с колхозного на совхозный путь не поднялось. Былой горечи нет и в помине, и тезис дяди Сеньки «копейка вольнее стала» заметен буквально во всем. Но влияния на дело эта копейка не оказывает, с урожаями она не сцеплена, потому «не всякий горазд ломаться». О материальной заинтересованности говорить мудрено, потому что ничего материального под такой зарплатой нету. Если все так, спросил я агронома, то не выгоднее ли для государства вовсе не сеять тут хлеб и лен, чтоб не множить убытки?

— Не пустовать же земле! — возразил Погодин. — Во-первых, есть погектарный план на каждую культуру, так что, агроном, не брыкайся. Лен, например, нужен для суммы реализации, из нее исчисляется оплата персоналу. Потом — людям зарабатывать на чем-то надо? Оплата сдельная, есть тарифная сетка, начисляем по производственным операциям.

Сдельная оплата... Позже я прочитал в газете статью, поразившую верностью одного сравнения. Если бы охотнику платили не за добытые шкурки, а за число выстрелов в лесу, независимо от попаданий или промахов, то в урочищах стояла канонада, а мехов на аукционах поубавилось бы.

О негодности сдельщины говорится давно и достаточно резко. «Действующее в настоящее время положение по оплате труда в совхозах настолько несовершенно, что оно тормозит производство, — звучало с трибуны мартовского Пленума ЦК КПСС. — ...При существующей системе оплаты труда в совхозах высокопроизводительный труд оплачивается даже хуже, чем труд средней и даже низкой производительности.

Из-за несовершенства оплаты труда чаще всего в совхозах страдают добросовестные механизаторы. Настало время узаконить вопросы материального поощрения механизаторов...»

Системы поощрения, соединяющие личный и общественный интерес совхозного рабочего, внедряются более всего в местах благодатных, где действие сдельщины и прежде ступеньвалось возможностями почв и климата. В нечерноземной же зоне, где хлеб не родится, а создается, сдельная оплата сберегает чуждое экономике явление — ржаной урожай сам-два.

Совхоз «Пеновский» — одно из 455 хозяйств Нечерноземья, где в 1966 году урожай озимой ржи составил менее четырех центнеров с гектара. Средний намолот всех совхозов Калининской области в 1966 году — 5,5 центнера. Значит, в большинстве своем они вошли в группу из 1387 хозяйств зоны, чей урожай в том году был ниже шести центнеров. Группа эта составила почти треть общего числа хозяйств Нечерноземья, под зерновыми она держала миллион двести тысяч гектаров.

Здесь три или пять центнеров намолота принципиально отличаются от такого же сбора в Кулунде или Заволжье. Там это несчастье: надеялись на сто пудов, затраты произвели по этому расчету, а в силу каких-то обстоятельств надежды рухнули. Здесь же, в зоне гарантированных, то есть пропорциональных затратам, урожаям и предполагалось получить три или пять центнеров. Во всяком случае большинство работавших знало, что нормальному колосу взяться неоткуда,

что милостей от природы ждать впрямь нельзя: почвы закислены, только хвощ и всходит, органики поле не видело с сорокового года, азота и фосфора в нем на три, ну, на пять центнеров. Это не расширенное, даже не простое воспроизводство, потому что урожай сам-два (высевают здесь не менее двух с половиной центнеров) не может восполнить трат на горючее, запчасти, на оплату Ивану Галахову. Значит, новые ценности не создаются, только исчезают уже созданные.

И все же такова сила у сдельщины, что Иван Галахов пашет делянку у опустевшего Селища, зная, что вырастет «шушера»; заправщик привозит ему солярку тоже с сознанием, что работа эта ненастоящая. И механик, доставляющий запчасти, и агроном, который завозит семена, и парторг, создающий общественное мнение вокруг передовиков и бракоделов, тоже участвуют в условном действе, итогом которого будет не новый хлеб, а сносная жизнь исполнивших такие-то операции. Если плотника Федорова его мастерство кормит и он с гордостью отмечает рубку «не на мох, а на чистый паз», то мастерство и старательность Галахова и Погодина отключены.

На пенсии жил не только дядя Сенька — весь совхоз «Пеновский».

— Это со стороны легко рассуждать, — сухо заметил Погодин. — На бедного Ванюшку все камешки. А кто влезет в его шкуру, тот поймет: иначе нельзя.

Уже один, без Дмитрия Степановича, у которого были свои дела, я поехал по совхозам района, запасся кое-какой статистикой и сам стал приходить к успокоительному, расслабляющему сознанию, что «иначе нельзя».

И в былые времена, скажем — в 1927 году, Осташковский уезд хлебом себя не прокармливал: проживало здесь 169 тысяч человек, на крестьянский двор выходило по три гектара пашни, а ржаной урожай держался на уровне семи центнеров. Но содержалось громадное по сравнению с нынешним количество скота: 80 тысяч голов крупного рогатого и 40 тысяч лошадей. Луга и клевер обеспечивали кормом, ясно прослеживалось молочное направление. Земледелие, созданное среди лесов и морен сохой и для сохи, не было приспособлено к использованию тракторов, и не случайно молодые колхозы сразу же принялись за раскорчевку, создавая поле деятельности «стальному коню».

Сейчас в районе под пашней только пятая часть угодий. Зерновых в 1966 году было собрано в среднем по 4,3 центнера (сюда вошел и высокий намолот старого, специализированного на птице совхоза «Луч свободы», расположенного на подворье бывшей Ниловой пустыни). Естественные сенокосы, закустаренные и истощенные, дали по семь центнеров сена. Почвы «испустованы», минеральные туки идут, уже говорилось, под лен. Старый круг: мало удобрений — нечем кормить скот — мало скота — нет удобрений.

Меры экономической реформы (мощные рычаги цен, стабильность планов, государственные дотации на мелиорацию) здесь странным образом или лишались силы, или даже тормозили рост.

Твердый план. Им здесь закреплено производство льна, убыточное из-за малолюдности деревень и удаленности от заводов. Но край-то — льяной! План поставок зерна мизерный, скорей символический — 350 тонн, столько район съедает в декаду. Себестоимость центнера — порядка двадцати рублей, невероятно высокая даже при нынешнем уровне закупочных цен. Но раз сеют зерно, надо его сдавать: «иначе нельзя».

Мелиорация. Скорость наступления леса в районе — шестьсот гектаров в год, мелиоративная станция с бедным своим парком способна отеснить его на четырехстах гектарах. На гектар разрешено тратить сто двадцать рублей. Надо ведь беречь деньги, чтоб хватило на большую площадь. Уложиться с раскорчевкой, уборкой камня, с осушением в эту норму невысказано, и мелиораторы ищут гектары ценою подешевле. Осушение ведется открытым способом. Конечно, закрытый дренаж лучше и выгодней. Но гектар закрытого раза в четыре дороже открытого, к тому же и гончарной трубки нет. Была мысль пока вовсе не осваивать новые площади, а собрать силы и торфом, известкованием заставить родить поля, где не нужна мелиорация. Но область поправила: есть план введения площадей. Отдавать

под культурные пастбища пахотные участки (а и такая мысль была) категорически запретили: луга не выкашиваются, зачем же транжирить пашню? Логично.

Капиталовложения в развитие туризма. Пятьдесят миллионов рублей, отпущенные на Селигерский комплекс, пойдут на строительство пансионатов, гостиниц, дорог, оживят край. Правда, на специализацию хозяйств для обслуживания потока отдыхающих, то есть на молочные фермы, теплицы, дома для доярок, на дороги к молочным заводам, денег не дано. Благодать оборачивается новой бедой: туристскому комплексу нужны люди, из бригад уйдут последние животноводы. Но облугу курортному Селигеру дать надо, иначе нельзя — и он требуемое получит.

И в настроении районного звена угадывалось то же понимание — «иначе нельзя».

В совхоз «Селигер», что в селе Святом, прислали нового директора, молодого инженера Силова. На исполкоме сельсовета он обсуждал с бригадирами план сева. Бригаде, в которой из полеводов осталась только одна женщина (я видел ее, зовут ее Надей), запланировали посеять тридцать восемь гектаров льна. «Ну, как думаете вывьяртываться?» — учительски-строго спросила председательница сельсовета. Бригадир, покосившись на новое начальство, попросил было заменить зерновыми — их хоть комбайн уберет, — но директор уже принял условия игры, утвердил немислимый план, и бригадир пообещал: «Вывьяртывались ведь раньше, не подкачаем». (Осенью в «Селигер» прислали четыреста студентов Калининского политехнического института с проректором во главе. Надя учила их расстилать плохонькую соломку.)

Нужен был толчок со стороны, чтоб понять, что убыточный лен и 120 мелiorативных рублей на гектар — та же кукуруза, протянутая в сегодняшний день, что порочный круг разрывается совершенно иной стратегией хозяйствования: отказом от окостеневших схем, сломом подгнивших шлагбаумов, опорой на принципы рентабельности, хозяйственного расчета, на ту щедрость, что на поверку оказывается подлинной бережливостью, заботой о своих сегодняшних выгодах с неперменной мыслью о внуках. В целом говоря — стратегией экономической реформы.

\* \* \*

На западном скате Валдая — тихий город Холм, за ним Псков, Изборск, Печоры с чеканными прапорами над шатрами башен, а там уже Россия зовется (по-эстонски) Венемаа, в память о венедах, или (по-латышски) Кривия, по племенному имени кривичей. Прошлым летом, необычайно урожайным на зерно, белые грибы, рябину и яблоки, мне довелось поехать по хозяйствам Прибалтики.

Уже с трудом верится, что десять—двенадцать лет назад Эстония собирала по шесть центнеров зерна, а в Земгальской низине, за Ригой, обычным был урожай сам-два. Сейчас Эстония получает больше двадцати центнеров на круг (не говоря о лучших хозяйствах, где урожай приближается к сорока), картофеля в среднем — 170 центнеров, в производстве мяса на душу населения она значительно обошла соседние по Балтике Швецию и Финляндию. Главное же — так развит аграрный потенциал, создан такой задел, что не остается сомнения: маленькая республика вскоре выйдет на уровень стран самого интенсивного сельского хозяйства. А ведь, по рассказке, бог забыл создать землю для эстонцев. Он вывернул карманы, высыпал остатки песка, камней, мха, плеснул болотной воды, сунул эстонцу в руки лопату и попросил: «Ты уж доделай, Юхан, я отдохну». Довоенный урожай республики не переходил за одиннадцать центнеров.

Чем был прорван круг «мал урожай — нет удобрения — мал урожай»? Конечно, вложениями капитала. «Мы видим, что житницей в Западной Европе на глазах наших перестает быть один наш чернозем... — цитировалось на мартовском пленуме Центрального Комитета наблюдение Д. И. Менделеева. — Причина — не в земле, не в труде, а всего больше в капитале... Скажу еще проще: сельскому хозяйству нужно больше капитала для получения данного дохода, чем другим видам промышленности, если считать землю за капитал». Вложения идут, понятное дело,

в удобрения, в технику и мелиорацию, они разумно дозированы, один элемент помогает эффективно проявить себя остальным. Эстония ежегодно вносит на гектар культурной площади около семи центнеров минеральных удобрений. Но если доза искусственных туков возросла за шесть лет на 26 процентов, то органических — почти в два с половиной раза, гектар получает теперь ежегодно девять тонн торфо-навозного компоста. Секрет — в мощном развитии индустрии естественных удобрений. На каждой ферме в громадных количествах перерабатывается, оживляется мертвый азот торфа, а щедрая заправка компостом позволяет с толком использовать химический азот и фосфор.

Термин «культурная площадь» знаменует собой отказ от догматического разделения угодий на пашню и выпас — разделения, идущего у нас от писцовых книг семнадцатого века. Долголетнее культурное пастбище — это чрезвычайно продуктивная плантация трав, удобряемая наравне с зерновым массивом и дающая летом самый дешевый корм. На корову эстонских хозяйств приходится в среднем полгектара пастбищ, это и помогло поднять средний надой выше трех тысяч литров. Не только малопродуктивная пашня, но и отвоеванные у леса земли, осушенные и расширенные от валунов болота охотно отдаются под такой метод использования. Осушают для пастбищ так же, как и для пашни — только закрытым дренажем.

Закрытое дренирование — современный индустриальный метод сотворения земли. Ровный массив, пронизанный под пахотным или тразяным горизонтом жилами керамического водостока, качественно отличается от неосушенного угодья. Почва «дышит», улучшается ее биологический режим. Гарантия, что сев закончат в лучший срок, а урожай соберут и в дождливый год. Разумное использование удобрений и (за счет укрупнения полей) техники. Реже туманы, не наползет кустарник...

Гектар закрытого дренажа в среднем по Эстонии обходится в 540 рублей. Дорого? Зато нормой прибавки урожая на капитально улучшенном гектаре считаются 15 центнеров кормовых единиц (опять-таки неважно, зерновых или клеверных). Система подземного стока окупается урожаем максимум в пять лет, а работает десятилетия (под Таллином я видел исправно служащий дренаж 1853 года), поэтому все прибалтийские республики ведут дренирование только закрытым способом: Эстония в прошлом году «создала» 40 тысяч гектаров, Латвия — 80 тысяч, Литва — 110 тысяч. Значение коренной переделки земли отцов и дедов очевидно сознается и с гордостью пропагандируется. На краях вновь созданных земельных массивов под Пярну мне показывали крупные, вроде того, скобелевского, валуны. Это памятники труду: на камне высечено, кем и когда этот участок земли подарен народу. Вся республика празднует День мелиоратора: дренажных мастеров чествуют, как героев. Ученый-экономист Александр Ратт, человек сугубо рациональный, без тени аффектации сказал мне: «Мы работаем для своих внуков».

Размах мелиораций, немислимый, разумеется, при буржуазной власти в Прибалтике, стал возможен благодаря исподволь скопленной мощи индустрии. До войны в сельском хозяйстве Эстонии работало четыре экскаватора, сейчас же совершенных многоковшовых экскаваторов более восьмисот. Сотнями миллионов штук исчисляют выпуск гончарной трубки литовские и латвийские заводы. Качество ее высокое: шведские фирмы добиваются поставок именно прибалтийской керамики.

Конечно, стопроцентная государственная дотация на осушение, отсутствие экономического механизма, гарантирующего возвращение затрат, кое-кого балуют, причащают к безотчетному мотовству. В Латвии, например, 78 тысяч гектаров осушенных угодий в 1966 году вовсе не использовались. Там, где бесплатными для хозяйства вложениями в мелиорацию стараются перекрыть нехватку иных слагающих успеха, отдача, естественно, самая низкая. И она, наоборот, удивительно высока там, где тормозила дело именно переувлажненность. Организаторы все ясней сознают, что мелиорация не может быть дареным конем, что нужна система материальной ответственности за вложения в землю.

— Хозяйство за вложенные деньги должно нести ответственность рублем,— говорил мне О. Я. Валинг, председатель Госкомитета по мелиорации и водному хозяйству Эстонии.— Если по вине колхоза или совхоза, которые просили помочь мелиорацией, через три года после освоения участка нет проектной урожайности, логично потребовать от него в госбюджет часть израсходованных средств.

Высоту класса работы прибалтийских мелиораторов поможет оценить один пример. В латвийском совхозе «Вилце» мастера Елгавского управления успевают сделать закрытый дренаж, всю систему водосброса и подвести к полю дороги за время между уборкой парозанимающей культуры и озимым севом, то есть месяца за полтора. Директор совхоза П. Бицинь говорил, что пришлось из кожи лезть, чтоб успеть за мелиораторами — дать каждому новому гектару тонн по сто компоста, по полтонны аммиачной воды, пять центнеров суперфосфата. Зато урожай на новых полях вполне удовлетворительный: по 35 центнеров ячменя на круг, а пшеница «мироновская» дала по 47 центнеров.

Чтоб был понятен прибалтийский темп «сотворения земли», скажем, что во всех нечерноземных областях РСФСР в 1967 году планировалось осушить закрытым способом только 40 тысяч гектаров. Если Елгавское управление, о котором мы упомянули, способно дренировать в год семь тысяч гектаров, то 33 мелиоративные станции Калининской области получили план закрытого осушения на две тысячи гектаров — и не выполнили его.

Преимущества подземного водосброса и вообще комплексного облагораживания массивов (с расчисткой от камней, с подведением дороги) специалистам достаточно ясны, но дело в том, что области Центра и Северо-Запада не готовы к применению современной технологии. В 1966 году Федерация получила из Таллина только тридцать шесть дренажных экскаваторов, но дело не так даже в землеройной технике, как в гончарной трубке. За год все кирпичные (специальных-то нет) заводы российского Центра не вырабатывают и ста миллионов штук. Решено срочно построить двенадцать заводов с годовым производством почти в полмиллиарда трубок, но начато строительство только двух, а на десять заводов пока не поступила проектная документация. И к семидесятому году, считают осведомленные мелиораторы, РСФСР не сумеет, по-видимому, достичь уровня Прибалтики.

Впрочем, мелиорация — лишь часть комплекса научных и экономических мер, какими движется аграрная индустрия трех республик. Нельзя не заметить целенаправленности и решительности действий, строгого рационализма при глубоком внимании к будто бы мелочам, деталям и частностям.

Уже разработкой системы использования культурных пастбищ эстонские ученые выдвинули себя в первые ряды союзной сельскохозяйственной науки. Выведение гибридной брюквы «кузуки», завоевавшей теперь поля в десятках областей, создание агротехнических картограмм, укладка закрытого дренажа при наименьшем уклоне — все это научные работы с могучим экономическим эффектом, они сделали бы честь и гораздо более многолюдным коллективам, чем Эстонский институт земледелия и Тартуская академия.

Эстония выводит из севооборотов лен. Не говорим тут, целесообразно это или нет в общегосударственном смысле. Соседи псковичи, помнится, поражались: на чем же их колхозы будут держаться, ведь самая доходная культура — и долوى? Но в республике сочли, что «северный шелк» чрезвычайно трудоёмок, при высокой оплате труда он менее рентабелен, чем зерно, что ячменем и беконом колхоз может лучше использовать рубль и час. Сейчас минеральные удобрения потребляются зерновыми и травами, отсюда и рост урожая.

Производительность сельского труда в республике почти вчетверо выше довоенной; потребление электроэнергии, уровень энерговооруженности позволяют относительно безбедно преодолевать трудности, вызываемые сильным оттоком молодежи. Оплата труда в сельхозартелях республики высока (доход на члена семьи колхозника уже в 1965 году составил 998 рублей, тогда как в центральном районе он не превышал 640 рублей). Развитие дорожной сети, хорошие и богатые магазины, особый уровень бытового обслуживания сглаживают различия между

жизнью в Тарту, Таллине и в дальнем хуторке. Примечательно, что и там и тут управляет жизнью одна и та же точность.

Мы с эстонским коллегой приехали в колхоз «Рахва выйт» без предварительного договора, надеясь застать председателя и побеседовать часок-другой. Председателя-то мы застали, но он предупредил, что через десять минут уедет в банк. И действительно, десять минут через переводчика отвечал на вопросы, потом простился и уехал. Виноваты были мы сами: надо было условиться с занятым человеком хотя бы за день-другой. Но невольно подумалось: во скольких еще колхозах приезд постороннего мог бы нарушить ритм труда, заставил бы отложить важное и неотложное!

Другой случай — в самом глухом углу, на берегу Псковского озера, пасмурным летним вечером. По деревеньке прокатила и притормозила у крайнего дома автолавка. Из дома выбежала девочка, о чем-то спросила белокурую продавщицу, и тогда уже к фургону пошла дородная женщина, видно — мама девочки. Я понял: доставили заказ. То был огромный, торжественный, в изюме и сахарной пудре крендель. Он был очень свеж, и женщина, боясь взять его на руки, послала девочку за подносом... Еще теплым доставлен!

Прибалтика показывает, что можно сделать капиталом, умом и любовью с землей, которую не бог сотворил.

\* \* \*

Осенью, роскошным сентябрем с его паутиной и румянцем осинových верхушек, я снова приехал в Осташков. Селигер, отдохнувший после курортников, был покоен и светел, вода отражала хвою островных боров, высокие облака. По заозерью проходили сизые мягкие метлы дождей. В межтоках шло обычное движение — моторки с копнами сена, с поленищами сухих дров, с козами, успевай давать отмашку.

Урожай в районе был небывало высоким — больше семи центнеров вкруговую, но все семена пришлось сдать: зимовать им негде. До половины сентября в совхозе «Селигер» стояли несжатые полосы. Студенты жгли костры, пекли картошку. Жилось ребятам в этих краях просторно: в деревнях пустует множество крепких и больших, по пять—семь окон на улицу, домов.

А компактный многолюдный «Луч свободы» сработал просто превосходно: при малой толике минеральных удобрений вырастил по двадцать центнеров сухого, выполненного зерна, набил амбары и склады, будет зиму жить и своих кур кормить. Птицеводы «Луча» — народ как на подбор смысленный, добросовестный, умелый и к птице ласковый. И хотя тоже приходится «вывыртываться», зимовку вести в летних вольерах, здесь получают по 232 яйца в год на несушку. Под Таллином, насколько я знаю, хозяйств такого уровня культуры пока мало.

Дмитрия Степановича застать не удалось: егерь пропал в лесах.

Поздней осенью он прислал мне письмо, в нем сообщил, что Татьяна родила сына, стал теперь дедом, что Николай в Мурманске, а у Александры Николаевны с учебой трудновато — всему, видать, свое время. Просил достать японской лески, «а то у нас рыба тоже стала преклоняться перед Западом и на нашу бечевку не хочет клевать».

## ВОЛКОНСКИЙ

### 1

Существование такого района рассчитывалось математически.

Если в 1966 году 1718 колхозов и совхозов нечерноземной зоны (36 процентов всех хозяйств) получили урожай, близкий к среднему по стране, то есть в пределах 8—12 центнеров с гектара, то где-то непременно должна была возникнуть комбинация благополучных хозяйств, где-то десяток-другой колхозов и совхозов составляли район, не занижающий среднего обмолота страны. Уж там-то все процессы ясны как на ладони.



На Верхней Волге им оказалась округа веселого Торжка на Тверце — и прочие варианты тотчас отпали.

Он потчевал Пушкина и за то внесен в гастрономический путеводитель на-смешнику-объедале Сергею Соболевскому:

На досуге отобедай  
У Пожарского в Торжке,  
Жареных котлет отведай (именно котлет)  
И отправься налегке.

Он упокоил вблизи себя Анну Керн.

Впрочем, проездный пункт между столицами, он не был избалован вниманием — разве только Островский вскользь отметит его живописность да Щедрин, он же строгий вице-губернатор Салтыков, поставит в строку пословичную репутацию его жителя, «вора новотора».

А он, оседлавший крутые берега Тверцы, так хорош и своеобразен, что быть бы ему Маленьким Российским Городом — не памятником, а здравствующим городком на манер известного огурцами и королевским весельем Зноймо чехов и мнимоскаредного Габрова болгар. Древность его не сановна, художественных ценностей, повергающих в экстаз, кажется, нет, а полная катастроф его истории скорей все-таки шумна и вздорна, чем трагична. Двадцать пять раз разоряли — и единожды только татары, а то все свой, с крестом на гайтане, брат: суздальцы да тверичи, да Иван Калита два раза, запорожцы даже разок, словно доказывая старое наблюдение — «никто их не биша, сами ся мучиху». Но и живучесть тем бедам под стать, приверженность месту выше всех мер — поднимался он на тех же самых обрывах, вновь заводил негоцию хлебом и все оставался Новым Торгом, с двенадцатого века не удосужась постареть. Отмечая быстроту и незлобивую легкость нрава, Екатерина посадит ему в герб трех голубей. А может, разумелась привязанность к гнезду?

Ни владимирской нацеленности на чудо, ни намеренной архаики Ростова — все с расчетцем, по одежке, все при рождении было в меру дерзким современным, и все в свой срок постарело. Но когда видишь кремль с затейливой путаницей куполов, колоколен, веков и школ, разглядываешь городские дворянские усадьбы с флигельками на отлете, стесненные присадистыми мещанскими особняками, многоярусные звонницы с этаками амурными беседками, «эоловыми арфами», на самом верху, соразмерные площади перед торговыми рядами и уездными присутственными зданиями, каменные лестницы, ведущие к узким мощеным набережным со скамейками, с домашними лодками на привязи, — то забываешь, как захламлен и морщинист он сейчас, как недостает ему молодого желания нравиться, как долго надо драить, скоблить и красить его, прежде чем можно станет показывать современному белу свету. Просто радуешься, что город оказался достаточно живучим, что так упрямо копил себя век за веком, что интуристские Суздали — не генералы без армий.

Он приbedняется, такова натура, но деревянный («без единого гвоздя!») его храм Вознесения постарше Кизкей, а стоит он рядышком с шатром-колокольней расцвета московской школы, с той же соседствуют громадные созданыя классицизма, строенные Львовым и, видимо, Росси, — и все по берегу бок о бок, без перерыва, как оно и было в пережитом. И если даже позднюю, сахарно-белую, со звездами на куполах церковь на холме за валом туристу преподнесут как «северный Тадж-Махал» — не беда, в спор не ползет.

В кремле сейчас — учреждение, ни малейшего отношения ни к истории, ни к культуре вообще не имеющее.

Заязжий турист, да и сам «новотор» осмотреть ансамбль не могут. Если деревянное Вознесение используется как склад, то в каменных зданиях налажено сапоговаляльное, кажется, производство. Почему выпуск полезных валенок необ-

ходимо осуществлять в хорамах с белокаменной резьбой — никто сказать не может. За годы журналистских поездок довелось повидать всякого, и все же состоящие торжокских древностей способно покоробить. Кажется, фабрику скоро переселят. Но привести памятники в сносный вид, вернуть сюда дух творчества будет и трудно и дорого. Колокольни в трещинах, к портикам опасно подходить, дожди обрушивают штукатурку с росписью... Никто же их — сами себя...

Кстати, о том, что порой случается после переселения. Еще в стадии проектирования туристские комплексы, а уже стал острым вопрос об изгнании торгующих из храма. Суздаль вверен институту проектирования зданий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Дай бог Суздалью оказаться городом без очередей, но как бы не превратился он в «разгуляй-город». Боязно за Спасо-Ефимьевский монастырь — здесь похоронен Дмитрий Михайлович Пожарский. Вряд ли тише и пристойней станет у надгробья князя, если курс торгующих на рубли и конвертируемую валюту одержит безраздельную победу.

Прагматизм и самоуважение вполне совместимы. В Святогорском монастыре, у самой могилы поэта, — детская музыкальная школа. Отлично. Нилова пустынь передается «Интуристу» — на здоровье, застроенный остров и прежде давал довольно комфортабельный уют желающим причаститься Селигера. Но нельзя унижать памятник общепитовской приманкой. Грешно использовать «навынос и распивочно» те деяния каменосечцев и древоделей, что стали материальной частью истории. Торжок — раньше ли, позже — будет туристским центром. Вечевой, простецкий, любитель угостить, он больше многих сверстников своих располагает к непринужденному жизнелюбивому веселью. Весь этот разговор к тому, что нужны особые дозы такта, чтоб старому Торгу не нанести нового оскорбления — товарооборотом.

Еще до прямого знакомства я был наслышан о здешнем начальнике районного сельхозуправления, прежде первом секретаре райксма, пеновском партизане с декабристской фамилией. Алексей Викторович Волконский принадлежит к тем редким районщикам, чей выход на трибуну спешно возвращает народ из курилок и буфетов: вдруг да завернет такое, чего пропустить никак нельзя, что потом будет перекапываться по области из угла в угол, пока не потеряет автора. Простится же ему не за возраст, не за то, что в одном Торжке тянет семнадцать лет, а за то, что лих да удал, и прижать мудрено: живет одной работой, выходных не знает, устаревать не думает. Известно, что доклады он пишет сам, не признает «тайных советников» по этой части. Впрочем, популярен он, я после уверился, вовсе не как оратор, а скорей как старейшина, у какого найдешь если не справедливый суд, так заступничество. В районе его зовут Батей и знают, понятное дело, все, кто уже или еще выходит на работу.

Среда нивелирует районщиков, стирая отличия и в манере поведения, и в одежде, и в речи: пресловутые «решать вопросы», «уделять внимание», «озадачить», «обговорить» воспринимаются как пароль. Волконский же так выделяется и повадкой и языком, что я первое время подозревал его в нарочитом оригинальничанье.

Впервые встретились на собрании в совхозе — вручалось переходящее знамя. Его обступили доярки, птичницы, все в черных плюшевых жакетах, цветных козынках и сверкающих резиновых сапогах («оденутся — не отличишь от городских»). Он же, грузный, простолоудин и лицом и фигурой, демонстрировал им, кокетливо вертясь, купленную на курорте щегольскую модную шляпу. Женщины, смеясь, уверяли, что не идет ему, деревню не скроешь, фуражка лучше, потом стали расспрашивать про Сочи и «лунные ванны». Он отвечал в соответственном тоне, а затем, как забавную историю, рассказал, что его соседка по столу, колхозница с Кубани, встретила в парке бабоньку из своего колхоза, а как звать — не знает. «В одном колхозе, да не знает?» — не поверили женщины. «Так то из другой бригады». Приумолкли. «Сколько ж там у них народу?» — вздохнула одна.

«И в город не бегут, а ваши девчата все на Торжок косятся». — «Так пятидневка ж, чего вы хотите. В колхозах выходного не знают, а у городских — два на неделе»...

Конечно, ясней, чем той курортной историей, не объяснить всей разницы меж многолюдным Югом и здешней округой, где нетрудно помнить всех оставшихся в двух десятках деревень.

Запомнился другой эпизод — у льнозавода. Волконский привез сюда внушительную кавалькаду на семинар — обучать бригадиров правилам приемки тресты. Ловкость приемщиков известна, занижают качество тресты нещадно, колхозы теряют на этом пропасть денег — частью от незнания стандартов, частью от безразличия сдатчиков, больше же оттого, что привозят лен несортированным и отдают низшим номером.

У ворот застали здоровенные сани с трестой, тракторист бесстрастно наблюдал, как лаборантка берет образцы на анализ. «Ну, орел, каким номером сдашь?» — «А то их дело, какой запишут». — «Чудак, гляди, тут у тебя и единица и полтора. Ты перебери». — «Неделю тут стоять?» — усмехнулся малый. «А мы-то на что? Ты нам ящик белоголовой — моментом разложим».

Волконский взялся за дело, пришлось и остальным, и часа через полтора пропыленные «семинаристы» разделили воз на три кучи: единица, один двадцать пять, полтора. Пересчитали, переписали квитанции — за одни только сани колхоз получил на четыреста рублей больше! Под хохот окружающих Батя стал требовать у ошеломленного парня магарыч за этакий куш, настроение поднялось. Как водится, нашелся спросивший: когда ж, мол, семинар? Волконский ответил, что теперь по домам, а кто не понял, того и возить больше не след.

Не оригинальничанье — нарушение правил игры. Прием, к которому привыкли, стандартность поведения — рубанок без лезвия: строгать легко, толку чуть. Позже я убедился: набор «лезвий» у Волконского очень богат.

Министерство сельского хозяйства стало посылать в Торжок большие партии экономистов — изучать опыт бригадного хозрасчета. Мне довелось жить в гостинице с группой специалистов из черноземных областей. Командировку свою они считали очередной благоглупостью: слишком разнятся условия, над размерами здешних хозяйств посмеивались. Но почему, хоть и проездом, не побывать в Москве?

Утром их принимал Волконский. Я поразился: за столом сидел не районный Батя — вышколенный дипломат, задавшийся целью достойно представить малую свою державу.

Мягко поблагодарил — привезли хорошую погоду, она так нужна. Поблагодарил и за честь, оказанную приездом, выразил сомнение, смогут ли «новоторы» должным образом ответить на их интерес. Хозрасчет хозрасчетом, это пока только верхняя приборочка, а край-то, не секрет, отстающий, до урожая Юга ой как далеко. Конечно, до зерновых урожаяев, кормилец-ленок вне конкурса, он тут был и остается стержнем.

С той же почтительной непринужденностью Волконский стал толковать про малоизвестное и потому — любопытное. Лен — льнет, он холодит и освежает, потому и корпию раненым прежде щипали только из полотна. А в льняном масле есть такие свойства, что оно делало старую Россию, при всей ее антисанитарии, благополучной страной в смысле глистных заболеваний. Сейчас век искусственных волокон, но недаром спрос на лен все растет: здоровее его не придумаешь. У нас в стране — главный льняной массив мира, даем шестьдесят процентов мирового сбора, в основном, понятно, из Нечерноземья. Безо льна Россия неполная.

Урожайность против тринадцатого года выросла не сильно — удобрения тор-мозили. Считая грубо, центнер минералки дает на гектаре добавочный центнер волокна, то есть лишних триста рублей. Через зерно и на южных почвах такой прибавки не получить. Потому-то ржи тут и доставались крохи со стола — большую половину доходов давало льноводство. Впрочем, курс на прибыль провел

ревизию, рентабельность «северного шелка» вовсе не такая, как от механизированных отраслей, и расторопные эстонцы, к примеру, теперь обменялись с псковичами планами-заказами: взяли на себя псковскую сдачу картошки, отдали им ленок...

Уважая в слушателях специалистов, он сказал о ключевом противоречии: наиболее трудоемкая культура держит экономику малолюдных районов. На уборку гектара льна нужно двести восемьдесят человеко-часов — чуть не месяц работать в пору, когда уже журавли курлыкают. Лен, по пословице, на стлище родится второй раз, но и риск возрастает вдвое: сушь стоит — не вылежится, беда; дожди зарядили — по снегу поднимать придется, а то и до весны какой участок пролежит, потом поджигай, когда ветер от деревни...

Росаяная мочка — современница цепа, севного лукошка и сохи, но те-то в музее, а этот способ пращурский применяется на девяноста процентах площадей. Он дает заработок пожилой женщине, но производительность, понятно, как при царе Горохе. Запад давно освоил заводскую переработку, хлопоты фермера кончатся, как только лен созрел. Да и для нас искусственная мочка — не новинка. В самом начале века были широко известны три ее вида: псковской способ, баллонный и американский; лучшим признавали баллонный — в большом ящике соломку вымачивали за пять-шесть суток...

Машиностроение как-то обошло ленок, уборочной техники мало, она несовершенна и некомплектна, а мощности перерабатывающей промышленности никак не по сборам, стога тресты того и гляди задавят заводики. А план по цехам мочки такой, что и к концу пятилетки они примут только пятую часть урожая. Конечно, Югу с его комбайнами для свеклы, кукурузы и риса можно свысока глядеть на льянную маету, но лучше бы старые долги уплатить. Если не подпряжется всерьез индустрия — может осиротеть ленок, заилится золотое дно. А ведь — Волконский подчеркнул это — за льном второе, сразу после хлопка, место в сырьевом балансе текстиля! По тысяче рублей дохода с гектара при неважнецкой культуре, а принальч — полторы! Придется теперь скатерть стелить — пусть они вспоминают «новоторов». Пока скатерть впрямь самобранная: лен двадцать раз брали руками, пока на завод попал.

Доверительная ли его серьезность, самоуважение или знание произвели впечатление, только черноземцы потом аттестовали мне начальника управления как «мужика думающего». «И вообще район интересный».

Намерения идеализировать своего торжокского знакомого у меня нет. И грубоват бывает, и резок, и эрудиция, что сам признает, в делах нельняных подчас ограничена поздним заочным пединститутом. Но в нем сочетаются те достоинства стратега, что заставляют большую часть торжокских достижений отнести на счет уровня руководства. В провалах же, думается, субъективный момент здесь менее повинен, чем в местах иных.

Извечная методика прорыва: сосредоточить силы на малом участке и вгонять клин, пока не покатится весь фронт... Бригадным хозрасчетом Волконский неотступно занимался года два. В разрезе экономическом это была борьба с убытками и живописной речью Бати передавалась так: «Отправил рубль с утра работать, а к вечеру бредет восемьдесят копеек. Ах, туды-растуды, а где еще двугривенный? А ну, марш искать!»... В психологии же это было выделением в понятии «наше» осязаемого «мое». Текущие дела, естественно, текли, но ток их он упрямо направлял так, чтобы убрать авгиевы горы бесхозяйственности и умственной лени. Жесткий лимит затрат и довольно высокий процент приплаты за бережливость рождали яростные споры меж бригадирами и завгарами, кладовщиками, бухгалтерами, учили считать. Супонь и подойник, ходка грузовика и киловатт-час оборачивались ценностями, из-за которых стоило поругаться. Кампания дала заметный выигрыш. Вместе с новыми ценами, системой твердых планов, возвращением к исконному набору культур она помогла району выйти в сравнительно благополучные: и при малых дозах туков Торжок уверенно перешел за десять центнеров зернового сбора.

Привитая партизанской войной черта принимать решение самостоятельно и

брать ответ на себя. Поскольку размер посева в Нечерноземье искони определяется не землей, а количеством удобрений, район, пользуясь правом самостоятельного планирования площадей, стал было сочетать интенсивность с экстенсивностью. Проще — поля, коим удобрений не досталось, стал засеивать смесью вики с овсом на сено. Но в области сплусовали, и в справках все обернулось серьезным обвинением: тысячу гектаров зерновых район стравил скоту! Луга не окультурирует, тащит кормовые на пашню. Тучи над торжокским Батей сгустились, у многих возникла возможность посчитаться за его Цицеронов дар. Волконский никого под удар не подставлял, принял и выговор, и пришедшую с ним репутацию своеговольника. Последовали швырки, уколы, и если б не решительная защита Торжокского горкома, старый работник вряд ли удержался бы... Впрочем, в скором времени он сумел так изменить обстоятельства, что огонь приутих, а нехватка тучков перестала быть в Торжке главным тормозом. Но забегать не будем.

Смелость видеть процессы в их неприкрашенной ясности... С каждым летом все сильнее заботит Волконского воспроизводство рабочей силы. Именно в пору, когда платить стали по три с лишним рубля на человеко-день, когда наладилось и с питанием и с одеждой, когда тяжким сном стали казаться «пережитки» послевоенной поры, сельское население района начало таять со скоростью мартовского снега. Разумеется, механизация высвобождает рабочую силу для заводов того же Торжка, а процесс «урбанизации» закономерен и прогрессивен — если только он управляем и стимулируется соображениями занятости. Но, увы, отток людей артели возместить не успевали: по триста, по четыреста трудоспособных убывало в год. Ухудшался возрастной состав, падал процент молодежи, чем сокращалась возможность механизации, — старика на комбайн не посадишь. Дефицит все активнее покрывали за счет осенней присылки заводских рабочих и студентов, а «шефство» это никак не вписывалось в порядки экономической реформы. Волконский пришел к формуле: «Прибавка народу в арифметической прогрессии дала бы прирост продукции в прогрессии геометрической».

Район своевременно начал эксперименты. Проблему расчленили на две стороны — культурно-бытовую и строго денежную. Хотя бы два колхоза-разведчика должны были достичь той концентрации благ, при которой начался бы прилив. Программа, естественно, не объявлялась, в разведчики оба колхоза вышли словно сами собой: сыграло роль множество условий, в том числе и склад председательских натур. И все же отнюдь не без направленной помощи района артель «Большевик» стала платить выше всех остальных, а колхоз «Мир» заложил свой «агрород».

Согласно байке, за истинность которой ручаться нельзя, Волконский вез тридцатитысячника Якова Иосифовича Хавкина в райкомовской машине и в огромном райкомовском же тулупе. Хавкин, председатель потребсоюза, идти в разоренный «Большевик» страшно боялся, будто бы норовил даже выскочить из машины, но тулуп сбрасывать Волконский не позволял и, тем самым лишив его свободы передвижения, доставил до места.

Первое капиталовложение в хозяйство они сделали вместе, тайно: вывернули карманы и послали за хлебом для телятниц.

Человек легко загорающийся, с коммерческой жилкой и чуть романтической верой, что «таки выгорит», Хавкин поднимал хозяйство не без некоторых торговых акций. Скромно умолкает, когда при нем заговаривают о продаже картошки на Юг... (Эти коммерции верхневолжцев! Какими детскими затеями кажутся они рядом со ставропольскими, астраханскими, донскими колхозными товароборотами!) Лишняя денежка шла в дело, народ в артели на редкость трудолюбивый и старательный, сюда перебрали прибыльное семеноводство льна, и постепенно «Большевик» стал культурнейшим в агротехническом смысле хозяйством: обычные для него урожаи — пять-шесть центнеров льноволокна, картофеля — двести центнеров, зерна — около ста пудов.

Колхоз много расходовал на строительство. Не считая объектов производственных, тут возвели здания для магазина, для узла связи (даже почтарям помога-

ют колхозники!), начали строить удобный и светлый детский комбинат. И все же резко выделяется артель именно уровнем оплаты: в 1966 году, когда ей присудили Красное знамя Совета Министров СССР, она выдала на человеко-день 4 рубля 76 копеек. Так платит, сказать для сравнения, один из богатейших районов Ставрополья — Георгиевский.

Александр Борисович Мезит, долголетний председатель колхоза «Мир», характером посуровой; хлопотливой дотошности, помогающей Хавкину из любой отрасли извлекать прибыль, он чужд, артель держится привычным льном, а изрядная масса дохода объясняется солидными размерами хозяйства: полтысячи гектаров подо льном, тысяча коров, пятьсот шестьдесят трудоспособных. Земли «Мира» — вдоль бетонной трассы на Ленинград, дифрента «по положению» работает в полную силу, потому-то и решили именно здесь строить усадьбу, что демонстрируется теперь как достопримечательность области. «Решили» — значит выделили стройматериалы и дали подрядчика: лимитируют ведь не деньги, а возможности их превращения в кирпич и кровлю.

Школа-десятилетка, дом культуры, детский сад, баня, современного вида магазин, пожарное депо, порядок многоквартирных домов с водопроводом и газом — все это вкупе обошлось «Миру» в семьсот тысяч рублей. Городу были противопоставлены его же козыри: увеличение свободного времени — едва ли не главной ценности в сегодняшней деревне — за счет бытовых удобств; жизнь на людях, без пугающего молодежь хуторского одиночества. Платил «Мир» точно на среднерайонном уровне — 3 рубля 15 копеек на человеко-день.

Газеты рассказали об «агрогороде под Торжком», в колхоз полетели письма: слесарь из Воркуты, молодожены из Тулы, некто из Кустаная с целым веером профессий... Расчет оказался простым: за две тысячи рублей (квартира и прилагаемое к ней) колхоз «приобретал» работника. Переманивать народ из дальних торжокских деревень Мезиту не рекомендовали. «Мир» стал коллекционировать диалекты русского языка.

Сделанное сделано — всерьез и надолго. Десятилетия будет служить новая усадьба «Мира», а опыт «Большевика» продвинул вперед весь район. Но...

Вскоре после получения наградного знамени Яков Иосифович Хавкин приехал к Волконскому за советом: не переделать ли близкий к завершению детский комбинат в больницу? Пока строили, настолько поубавилось народу, способного детей родить, что заполнить хоромы на полтора года ребят нет надежды. Средний возраст колхозника достиг пятидесяти трех лет. Личные фонды потребления не стали панацеей; высокий заработок против ожидания оказался способным усилить отток: четыре дочки у доярки — и всех отослала учиться. «Теперь прокормлю, нечего и вам хвосты крутить». Обычная картина: в субботу избы наполняются, а зарей в понедельник, волоча сумки с картошкой и салом, молодое-крепкое спешит к остановке автобуса. Со странным для него унынием Хавкин спрашивал: «Вы мне скажете, кто здесь будет хозяйничать?»

По наблюдениям Александра Борисовича Мезита, воздействие «агрогорода» на старые деревни крайне слабо: в клуб за семь верст не пойдешь, ребенка в детский сад не поведешь. Новые квартиры заселяются пришельцами; из Владычни же, Спаса, других бригад по-прежнему идут за справками на выезд. Худо с приростом населения: за год схоронили двадцать пять стариков, народилось крикунов на свет — одиннадцать.

В 1966 году число трудоспособных в колхозах района сократилось уже на пятьсот человек. Методика прорыва на одном участке здесь не приводила к успеху — необходим был комплекс мер, равнозначных, как зубья в шестеренке.

Часто бывая в области, Волконский знал, что Торжок — не исключение, что в Бежецком, Кимрском, Нелидовском районах темпы оттока выше — до шести процентов в год, что только четвертый солдат возвращается после службы в родной колхоз, что один Калинин, несмотря на паспортные препоны, принимает на работу в год по семь тысяч колхозников. Из-за высокого среднего возраста жителей

смертность в сельской местности Калининской области последнее время стала выше рождаемости.

Но — «своя рубашка ближе к телу» — он думал о районе. До пенсионного рубежа ему только три года, и, хотя не работающим Волконского представить абсолютно невозможно, мысль о сменщике все чаще навещала его. Хозяйство надо отдать в здоровом состоянии. Как при такой зависимости от малолюдья, при нынешнем уровне цен резко поднять достаток колхозов? Чем достичь одновременно роста и зарплаты, и общественных фондов? Зерном — оно не требует ручного труда. Привозным плодородием — туками. Техники, позволяющей превратить селитру и фосфор в хлеб. Полнокровные артели должны удержат народ.

Алексей Викторович Волконский сделал для своего района больше, чем любой из соседей-коллег. Залучив в Торжок министра сельского хозяйства, он нарисовал ему перспективы захватывающие, клятвенно уверил, что именно здесь в считанные годы поднимутся к двадцати пяти центнерам среднего сбора, если помочь удобрениями. Первый приступ успеха не дал, и старый районщик зашел с другой стороны: стал просить туки для льна — здесь ведь зона института... Надо думать, не красноречие, а старая работа, известная благополучность хозяйств склонили чашу весов в пользу Торжка. С 1967 года район причислен к местностям комплексной химизации. Именно комплексной: не только вдоволь удобрения, но и закрепленное в приказе министра обещание дать две сотни тракторов, двести пятьдесят автомашин, экскаваторы — все, чтоб довести те туки до дела.

Таким окрыленным, деятельным, молодым, как в весну шестьдесят седьмого, район Батю не помнил.

— Сколько лет ждали этого! Новая эпоха — эпоха северного хлеба! Это ж праздник на нашей улице, шут вас побери совсем!..

Торжок возрождал — на иной, современной основе — исконную культуру ржаного хлеба.

## 2

Присловье «ржаной хлебушко — калачу дедушка» в смысле историческом не отвечает истине: и в северном земледелии рожь младше пшеницы, дающей калачи. В раскопках у нынешних Минска и Смоленска слои шестого — восьмого веков дают вдосталь семян зерновых, но ржи среди них нет. Впервые точное упоминание о ней находим у Нестора в житии Феодосия — это уже наше тысячелетие.

Исследованиями Николая Ивановича Вавилова твердо установлено происхождение культурной ржи из сорно-полевой: пшеница пронесла ее с собой на север и, вымерзая, оставила. Зимостойкая падчерица почти совсем вытеснила с полей менее выносливую мачеху и стала на долгие века главным хлебом северной России.

Удивительно созвучие русскому «рожь» в языках разных групп — финно-угорской, тюркской, германской. Татары называют ее «орош», венгры — «gozs», датчане — «rug», шведы — «råg»... У нас главный злак, кроме производного от «родить», имел и другие названия, передающие его значение для жизни: «жито», «благо», «обилие». «Прииде Семен Михайлович в Торжок... а обилие попроводи все в Новгород в лодиях, а в Новгороде хлеб бьяше дорог», — записывает хронограф под 1282 годом.

Устойчивость к морозам и засухе, скромные требования к почвам — одна сторона. В вековом конкурсе решало и то, что рожь — еда физически работающего человека. Калорийность ржаного хлеба выше, чем пшеничного. Больше отрубей — мука полноценней в отношении питательности. Русская рожь богаче белком, чем западноевропейская: у нас его содержание доходит до 17—18 процентов.

Хрупкий ржаной стебель исполнил титаническую и по нынешней поре работу — превратил «блата и дебри, места непроходна» у верховьев Волги, Днепра и Дона в пашню, сделал территорию молодого государства по преимуществу пашней. Уже в шестнадцатом веке под Москвой распахано практически все — лес уцелел лишь на 7,5 процента площади. Колос теснит и луга: в 1584—1586 годах в Московском уезде пашется 163 тысячи десятин, а под сенокосом только че-

тыре тысячи. В ту пору еще сильно залесены Ярославский и Пошехонский уезды («древесы разными цветяше и борием верси горам покровени»), но под Бежецком, Торжком, Переяславлем засеваеся больше половины угодий. Ржаное хлебопашество — основная и по сути единственная тогда отрасль производства (животноводство служебно). Им-то и скапливается тот экономический потенциал, что вдруг раздвинет границы сравнительно скромной державы до отместей Балтики, до пустынных обрывов Чукотки.

Рожью шелестят страницы летописей. Ими сохранены даты тяжких общерусских неурожаев — 1128, 1230, 1309, 1570, 1601 и 1602 годы, сохранены и цены на хлеб в лихолетья. На ржаном поле скрещены интересы боярина и холопа. Архивный документ о ржи — это почти всегда выразительная картина общественной жизни. «По грехом своим волею божию оскудали от хлебного недороду,— писали при Алексее Михайловиче крестьяне галицкой вотчины Одоевских.— Пал на землю и на рожь вереск, и побило рожь травую, и многие крестьянишка ржи из поля в поле не перегнаши, и пить-ести стало нечево. впрямь, государи, помереть голодом, едим траву, велите, государи, нас приказному и старостам отпустить кормиться по окольным вотчинам, чтоб нам голодом не помереть». Ответ был в том духе, чтоб послабления не ждать — в казаки сбегать и силы и хлеб находятя. Беда превращала северного крестьянина в донского, яицкого, иртышского казака — и развивалось иное, черноземное, пшеничное земледелие степей, нарастал процесс, позже окрещенный Дмитрием Николаевичем Прянишниковым «погоней за даровым плодородием».

На хлебных дрожжах поднимается зодчество. Если верно заключение Игоря Грабаря, что Россия — «это по преимуществу страна зодчих», что «все архитектурные добродетели встречаются на протяжении русской истории так постоянно и повсеместно, что наводят на мысль о совершенно исключительной одаренности русского народа», то верна и прямая зависимость размаха строительства от развитости зернового дела. Голодным или сытым работал каменосечеч — на возведение башни, храма, крепостной стены уходило равное число хлебных обозов; зная тогдашнюю производительность труда, мы можем определить это число в каждом случае. Густота кремлей, этой аккумулятивной и избежавшей тления мускульной энергии, — своеобразный показатель состояния старого земледелия. И если бы даже ни единой писцовой книги не дошло до нас, мы по памятникам архитектуры могли бы установить, что Вологда, Ярославль, Тверь — исконные округа наиболее устойчивых урожаев. Ведь на коротком пути от пышного Ростова до царских хором Углича вздымаются башнями малоизвестный Борисоглебский, стоит вовсе забытый кремль на Улейме... Только прочное поле могло выдержать такой груз.

Впрочем, устойчивость нечерноземных урожаев совмещалась с устойчивой близостью к голоду, с хроническим хлебным кризисом, не вывело из которого и развитие капитализма. Если пятнадцать пудов зерна на человека в год — голод, а восемнадцать пудов — его граница, то за последние пятнадцать лет минувшего века страна шесть раз переживала голод и четыре раза была на его пороге. Культурный слой копился медленно, он оставался по сути тонкой пленкой, которую легко прорывала любая беда. И в двадцатое столетие главная ржаная зона планеты вошла со средневековыми урожаями: за тридцать пять лет перед мировой войной крестьянские хозяйства громадного четырехугольника между Орлом, Псковом, Петрозаводском и Казанью не смогли поднять средние сборы ржи за шесть центнеров. Выделялись Ярославская губерния (около семи центнеров с гектара), Тамбовская (около восьми центнеров), в отдельные благоприятные годы сбор достигал сам-пяти, но общей картины это не меняло: российское Нечерноземье оставалось самым низкоурожайным из европейских районов устойчивого увлажнения. Традиционный экспорт хлеба был антинационален: даже при четырех центнерах зерна в год на душу было преступлением вывозить рожь на свинофермы Дании и Германии.

Фантастическое трудолюбие земледельца и его сметливость, наблюдательность, умение приладиться к каждой нивке, к любому взгорку, выработанная



«властью земли» способность интуитивно чувствовать, что хорошо, что худо для поля, не избавляли от власти культурной и технической отсталости. Соха и безграмотность — сестры. В 1910 году две трети почвообрабатывающих орудий в России были деревянными. В эту же пору, по докладом второй Государственной думы, 58 процентов детей школьного возраста ни дня не сидели за партой. Когда под Таллином уже действовал закрытый дренаж, Энгельгардт сокрушался: смоленские мужики молятся «царю граду». В Голландии, Дании, Германии химизацией земледелия уже сбалансировали выносимый и вносимый азот, когда Тимирязев на опытных полях втолковывал крестьянам, что селитра вовсе не для того, чтобы хлеб выростал уже соленым. В краях, где урожай не приходит, а делается, роль такой производительной силы, как просвещенность, культурность, профессиональная обученность населения, велика чрезвычайно, и дефицит этого фактора у нас всегда сурово давал себя знать. Хотя в России жители ее спокон веков и занимаются главным образом земледелием, однако с.-х. умения и знания наших русских хозяев весьма не велики, до крайности просты и до сего времени первобытны», — уже в советское время писал агроном-популяризатор А. А. Бауэр.

Считая главной проблемой ликвидацию разрыва между всемирно-историческим величием задач, поставленных и начатых Октябрем, и нищетой материальной и культурной, В. И. Ленин ставил успех кооперативного плана в прямую зависимость от накопления культуры в народе, от «цивилизованности» — в том числе и технологической, производственной. «Чтобы достигнуть через нэп участия в кооперации поголовно всего населения, — диктует Владимир Ильич 4 января 1923 года, — вот для этого требуется целая историческая эпоха. Мы можем пройти на хороший конец эту эпоху в одно-два десятилетия. Но все-таки это будет особая историческая эпоха, и без этой исторической эпохи, без поголовной грамотности, без достаточной степени толковости, без достаточной степени приучения населения к тому, чтобы пользоваться книжками, и без материальной основы этого, без известной обеспеченности, скажем, от неурожая, от голода и т. д., — без этого нам своей цели не достигнуть». Символом российской отсталости в двадцатые годы служила крестьянская лошадь, но сама отсталость проявлялась не так в тягле (Дания достигла тридцати центнеров среднего урожая практически без тракторов), как в истощенности почвы и в том сложном, долго накапливаемом, что зовется культурностью работника.

Перед самой коллективизацией Д. Н. Прянишников видел в нашем сельском хозяйстве «комбинацию средневекового уровня урожая с резко выраженным сельским перенаселением... и это при таком резерве нераспаханных земель, каким не обладает ни одно государство ни в Европе, ни в Азии». Как и прежде в острые моменты, вспыхнул спор «северян» и «степняков». Что решит зерновую проблему — богатая почва степей с вечным для них риском суховея или подзолненное, раз пятьсот рожавшее поле, при уходе гарантирующее сбор? Где у страны страховка от недородов?

Еще голод 1891 года породил проект «черноземца» В. В. Докучаева о кардинальной перестройке земледельческого хозяйства Юга. Труд «Наши степи прежде и теперь» (с дрофой на обложке, «издание в помощь пострадавшим от неурожая») содержал в себе планетарные предложения (плотины на Волге, Днепре и Дону, регулирование оврагов, лесоводство, строительство прудов и водоемов), что потом, лет через шестьдесят, были оживлены в «великом плане преобразования природы». Ни пруды, ни дубовые рощи сомнений в полезности не вызывали. Создание морей, способных затопить сотни тысяч десятин плодородных угодий, всерьез не обсуждалось. Критика шла по иному руслу: не по эффекту будут вложения. Признавая естественным освоение черноземных пространств, русская классическая агрономия все настойчивее высказывалась за сосредоточение сил и средств страны на преобразовании нечерноземной нивы.

Летом 1929 года «Известия» публикуют известную статью Д. Н. Прянишникова «Резервный миллиард». До сих пор история нашего земледелия была историей устремления в степь. Дальше так нельзя! Распахивать земли там, где

земледелие — заведомо азартная игра, это подвергать себя риску слишком больших колебаний от засух. Чтобы быть застрахованным от суховея, нужно создавать резервный миллиард пудов в нечерноземной полосе, в той климатической зоне, в которой построила свое интенсивное хозяйство Западная Европа. «Химизация земледелия!» Слово произнесено. Советскую агрономию отныне нельзя будет упрекнуть в близорукости.

Трактор и комбайн становятся важными аргументами в пользу натиска на степь. И все же два года спустя Н. И. Вавилов, докладывая на Всесоюзной конференции по планированию науки, твердо высказывается за северный хлеб. «Передвижение посевов в направлении востока, Казахстана, связано со снижением урожайности, с малой устойчивостью урожая... Применение минеральных удобрений, известкования, мелиорации создаст на Севере прочную базу для развитого устойчивого земледелия, гарантирующего при надлежащих условиях максимальные урожаи». Н. И. Вавиловым сформулирована стратегическая задача — прервать потребляющую зону в производящую.

Но при курсе, когда сельское хозяйство было не финансируемой, а финансирующей отраслью, северный хлеб подняться не мог.

Вклад нечерноземной деревни и в индустриализацию, и в победу в Великой Отечественной войне, и в восстановление страны был таким невероятно большим, что цифры переломного, 1965 года — зона производила пятую часть зерна, весь лен, большую половину картофеля, держала треть всего поголовья коров и свиней — были скорее мерой людской доблести, чем мерой отставания.

За тридцать с лишним лет тенденция в самом общем виде может быть выражена так. Дальнейшее продвижение в сухую степь, в зону дарового и рискованного земледелия. Возрастание колебаний валового сбора зерна — амплитуда их в последнее десятилетие достигала трех миллиардов пудов. Намолоты «не только не удовлетворяли потребностей страны, но и стали тормозом в развитии всего народного хозяйства...» (доклад Л. И. Брежнева на майском (1966) Пленуме ЦК КПСС). В зоне устойчивого увлажнения происходило и сокращение и обеднение пашни. Первый секретарь Кировского обкома партии Б. Петухов недавно опубликовал («Известия», № 21 за 1968 год) пятилетние данные по вятским полям: гектар, засеянный зерновыми, терял в год 19 килограммов азота, 8 килограммов фосфора, 16 — калия, вносилось соответственно 3, 2,7 и 9,6 килограмма. Важнейший из национальных запасов — запас плодородия — таял стремительно. К 1964 году производство зерна в нечерноземной зоне составляло меньше 70 процентов довоенного уровня. Никакие полумеры, частные решения уже не могли остановить этого процесса.

Время поможет по достоинству оценить все значение документов мартовского и майского Пленумов Центрального Комитета и в хозяйственном, и в политическом, и в социальном смыслах. Но уже и сейчас ясно, что курс на мелиорацию, на подъем земледелия в историческом центре государства велет к разрешению крупнейших сложностей в сегодняшней и завтрашней жизни страны. Именно в краях, где урожай прямо пропорционален вложениям, сельскохозяйственный труд гарантированностью результатов может быстрее всего приблизиться к труду индустриальному. Именно в краях, где роль случайностей минимальна, урожай можно планировать и целенаправленно повышать. Расширять посевные площади и на целине-то больше некуда: размер зернового клина в близком будущем останется на уровне 130 миллионов гектаров. А рост населения автоматически уменьшает подушный надел: если в 1958 году на человека приходилось 1,06 гектара пашни, то к началу 1967 года доля эта составила уже 0,96 гектара. Норма развитых стран — тонна зерна в год на человека. Уже надо думать о поре когда в стране будет 275—280 миллионов едоков. Покрыть потребности в зерне сможет лишь урожай в 22—23 центнера на круг. Задачей дня стало повторенное Тимирязевым крылатое слово Свифта: вырастить два колоса там, где рос один.

В 1965 году в производстве зерна Нечерноземье достигло уровня 1940 года.

В 1966 году в почву было внесено больше элементов питания, чем в 1928 году.

В 1967 году зона дала самый высокий за всю историю средний намолот — 12 центнеров. План продажи зерна ею выполнен на 178 процентов. Вслед за Эстонией за стопудовую отметку перешли Литва, Подмосковье, Ленинградская и Тульская области, Латвия, Карелия...

Стронулось? Да!

Но только это движение и раскрыло в полной ясности всю многосложность и трудность задачи. Прежде всего еще нужны серьезные усилия, чтобы всюду преодолеть инерцию давних процессов. И в «послемартовские» годы площади зерновых в российской части зоны сократились, и внушительно — на 1,2 миллиона гектаров. Продолжается «вынос» из сельского хозяйства самого драгоценного элемента — механизаторских кадров: Новгородская область ежегодно теряет одного из семи трактористов, Калужская — одного из пяти.

Даже в шестьдесят седьмом сотни хозяйств российского Нечерноземья не выполнены хлебного плана. За два урожая пятилетки этот район Федерации недодал почти 600 тысяч тонн зерна. Больше всего должников в Калининской, Псковской, Вологодской, Костромской, Рязанской областях, отрыв их земледельческой культуры от прибалтийского или подмосковного уровня становится все заметнее.

Чтоб долго не говорить об этапах последующих, сопоставим размеры зернового посева Северо-Западного района: 1940 год — 2 216 тысяч гектаров, 1967—998 тысяч...

Лимитируют минеральные удобрения — ясно. Расслоение урожаев заложено уже в фондах — понятно: если эстонский гектар получает в действующем веществе 172 килограмма туков, то калининский — 57, ярославский — 47. Острейшим образом лимитирует фосфор. Даже для того, чтобы с толком и пользой вносить уже поступающие азот и калий, российская годовая доля фосфорных туков должна быть увеличена на полтора миллиона тонн!

Но органика — ее ведь не шлют пульманами, а без нее туки мертвы! Но склады, сушильное хозяйство, система семеноводства — все ж это создается на месте! Анализируешь причины недоборов, и напрашивается вывод: иному хозяйству и давать-то туки рано, не в коня корм, ему еще дорасти нужно! По данным научных институтов, около половины посевов зерновых в центральном районе зоны сильно и средне засорено. Средняя засоренность — нет трети урожая, сильная — 40 процентов. Селитра — не средство от осота и дикой редьки. В оптимальные сроки под урожай 1968 года области Центра посеяли только половину хлеба, остальной досевался с опозданием до четырех недель. Стала почти правилом гибель десятой части озимых. Суперфосфат тут ни при чем. И пенять ли на нехватку фосфора, если Калининская область почти треть площадей засеивает некондиционным материалом, а 86 процентов клина — семенами третьего класса?

Я приводил в одной из статей категоричное мнение старейшего зерновика, профессора Виктора Евграфовича Писарева: «При нынешнем уровне техники и селекции достаточно соблюдать элементарные требования агрономии, и появиться, пусть не сразу, тот прибавочный миллиард, о котором писал Прянишников».

Выяснить, что важнее — культура или туки, — это (помянем сравнение В. В. Докучаева) спрашивать у врача, что нужнее больному: еда, свежий воздух или уход. И все же роль некогда выделенного В. И. Лениным фактора культурности, грамотности, «цивилизованности» не убавилась — резко выросла, а ленинская строчка-формула: «Не хватает? Культурности, уменья» — вполне применима к проблеме нечерноземного хлеба.

«Элементарные требования» профессора вовсе не так уж элементарны, они принципиально не те, что были достаточны для живущего во «власти земли». Химизация, пользование технологическими картами, данными почвенных анализов, работа на сложных машинах требуют невообразимой прежде концентрации

знания, развитости, мастерства. Культурная революция изменила деревню. Но нельзя забывать, что село было и остается поставщиком рабочей силы, что в основном в город идет деятельная, развитая, легко аккумулирующая знания часть населения. Как ни горек вывод Волконского: «Председатель рад второгоднику», — справедливость его несомненна. И наивно полагать, что профессиональный уровень колхозника, полевода, агронома теперь настолько высок, что нигде не сдерживает роста урожая...

Не могу не привести красноречивую цитату из книжки ярославского агронома А. В. Смирнова «Удобрения и урожай» (Ярославль, 1965):

«Однажды я был свидетелем такой любопытной сцены.

Молодой механизатор... припудривал серо-белым порошком только что поднятую зябь. Проходившая полем колхозница долго наблюдала за ним, а потом взяла пригоршню удобренной земли и решительно остановила агрегат:

— Не дело делаешь, парень...

— Почему не дело? Бригадир велел, — обиделся механизатор.

— Потому что удобрение, которое ты вносишь, — азотное. А вносить его с осени почти бесполезно — за полгода до сева азот-то весь улетучится. А кроме того, удобрения надо вносить в почву, а не пудрить им поле накануне зимы. Понял?

Мне, агроному, это было и удивительно, и приятно. Рядовая колхозница, да к тому же из «чужой» бригады, не только сумела разобраться в минеральных удобрениях (что, признаться, не всегда удается и некоторым агрономам), но и сошла своим долгом предупредить брак в работе. Случай примечательный!»

Примечателен этот случай не так даже производственной наивностью агронома, которому рядовая колхозница должна толковать азы химизации, сколь поражающим безразличием и тракториста, и бригадира, и агронома к тому, пропустит или пойдет в дело долгожданный азот.

Научить отличать нитратное удобрение от калийной соли не слишком сложно. Сложней исключить необходимость контролера — колхозницы или иного лица — при работнике северного поля. Между культурностью земледельца и культурой земледелия связь не простая. Чтоб был смысл, стимул копить и использовать знание, нужно совпадение личных интересов человека в поле с интересами хозяйства. Совпадение это достигается развитостью чувства хозяина.

Хлебородное это чувство разбазаривалось долго и разными способами: символическими ценами на колхозную продукцию и шаблонной директивой, нарушениями артельной демократии и пренебрежением к народному опыту. Чувство хозяина — тоже из тех ценностей, что не поступают по фондам. Его нужно растить в душах. Без этого хлеб не зашумит.

### 3

Двадцать пять не вышло, но пятнадцать центнеров на круг Торжок дал! Ссыпали чуть не два хлебных плана.

И все же при осенней нашей встрече Волконский был задумчив и пасмурен. С комплексной химизацией не получалось, министерство подвело: удобрения пришли, а из обещанных двухсот пятидесяти автомашин появились только три, тракторов едва двадцать вырвали. на просьбы, телеграммы, напоминания ответ был один: «Нет фондов». Туки шли в отвратительном наборе; фосфора почти не было, из-за этого резко упала отдача азота и калия. Областное управление после годовых итогов стало упрекать: у опытного-то, у экспериментального, эффективность минералки ниже, чем у соседей.

Со стройматериалами сущая беда — за год не сдали ни одного культурно-бытового объекта. Свободных денег — десять миллионов, а толку от них...

Проклятый некомплект!

А главная печаль — резко сдал ленок: убирали всем Торжком, а номер низкий. выручка против прошлогодней упала на два с половиной миллиона. На по году вали или на что иное, а для себя-то ясно: на руках его больше не удержишь, мало их, рук.

За год число трудоспособных в торжокских колхозах убавилось на семьсот человек.

Он не искал сочувствия, не ждал каких-то там слов, вел весь разговор так, будто год обычный, за которым пойдет еще и еще один, можно доделать, вытянуть, выправить. Но пасмурность оттого-то и шла, что год — из отсчитанных. Познакомил меня с недавним председателем колхоза Алексеевым — маленьким, но мускулистым, чапаевской повадки и легкости. Сказал не без значения:

— Вот -- заместитель, тягивается...

Черт возьми, сколько черствости и неблагодарства в том, что не исполняются приказы министра!

## ДОБРЫНИН

За Волгу, в тутаяевский «Колос» меня повела загадка.

Сопоставив двухлетние данные (1965—1966) известных в Ярославской области хозяйств — учхоза Тимирязевской академии «Дружба» и тутаяевских артелей «Приволжье» и «Колос», — я пришел к таблице парадоксальной, насмешливой.

	Внесено удобрений на га		Урожай (цент. с гектара)
	минеральных (кг)	органических (тонн)	
«Приволжье»	445	5,1	17
«Дружба»	310	4,8	15,8
«Колос»	115	3,1	19,3

Это что же, надо меньше вносить, чтоб больше получать? В управлении за сравнительную точность цифр ручались, почвы, судя по карте, сходные. Один товарищ даже сказал доверительно, что в «Колосе» «председатель не по колхозу»... Так что ж там хлеб дает?

Семь процентов хозяйств зоны в шестьдесят шестом году получили намолот в пределах 14—30 центнеров. Естественно, это артели и совхозы наиболее высокого уровня вложений. Как же попал в этот авангардный отряд колхоз с минеральными дозами Селигера?

И вот Алексей Федорович Добрынин — тот, кто «не по колхозу», — повел меня смотреть сев яровых. Без фуражки ради жаркого дня, темно-синяя гимнастерка враспояску, вид самый рабочий, а повез без охоты, будто я отвлек его от настоящего дела и надо было ему от меня скорей отбояриться.

Только выехали за деревню — стоит сеялка. В разгар дня. У самой дороги.

— Здорово, Лучинин. Чего загораешь?

— Поломочка вышла, — покосился на меня тракторист. — Послал парня в бригаду, мы живенько.

Край поля отмечали светлым пунктиром мешки с зерном: норма, значит, отмерена. Я не слышал, о чем вполголоса толковал тракторист с Добрыниным, но помогать председателю не остался.

— Сомневается, — сказал он в машине. — Пять кругов сделал, а высевал будто мало. Бойтся промазать, за агрономом послал. Фалетров высев ставил, он и проверит. Про поломку это он так, не обращайтесь внимания. У нас в посевную поломка — чепе.

Подтекст был совершенно ясен: в простое можно винить Лучинина, можно агронома Фалетрова, но председатель Добрынин тут ни при чем.

Показав мне под деревней Благовещенье превосходную ферму романовских овец — серых, черноногих, с чем-то оленьим в обличье — и лоснящееся стадо ярославков на лужку с первой травой, он, видимо, заключил, что с газетчика довольно. Стал так откровенно поглядывать на часы, что пришлось спросить, не совещание ли какое.

— Электромотор, — поколебавшись, признался он. — Кажется, еще есть в «Сельхозтехнике». Успеть бы захватить... Правду вам сказать, я свой сев уже кончил. Отладили, вытолкнули в поле, завертелось — тут уж агроном гляди. Мое дело теперь — зима.

С готовностью исполнил мою просьбу — подвез к сеялке Лучинина, познакомил с агрономом и — без тени тревоги, что приедет неровен час узнает тут что-нибудь потаенное, деликатное, — укатил «захватывать».

А у меня уже было что разузнать. Отчего Лучинин боялся промазать? Пусть в «Колосе» столь уж высока ответственность каждого, что с тракториста взыщут за густоту стеблей. Но устанавливал-то норму высева Фалетров, с него и спрос. Боязнь недополучить осенью по хозрасчету? Так ведь он сегодня на простое потерял, а синица в руке, известно, дороже журавля в небе. Стал допытываться у агронома, когда тот пустил агрегат.

Но Иван Михайлович Фалетров, не молчун даже, а человек той крестьянской серьезности, что велит или дело сказать, или промолчать, не мог взять в толк, чего я добиваюсь. Лучинин позвал его потому, что боялся промазать, не засеять, — это он повторил мне несколько раз. Про урожай он сказал, что корень в севооборотах и в том, чтобы все делать по-людски. Севообороты ввели, но культура пока «храмлет». А народ в «Колосе» способный — тверские переселенцы, тут всегда хлеб был получше, чем, скажем, в Борисоглебе, в колхозе «Победа». Сейчас разница, «кругло» говоря, в десять центнеров: колосьяне две тонны берут, борисоглебцы — одну. Там не переселенцы, нет.

Из рассказа Ивана Михайловича я должен был заключить, что у кормила в «Колосе» не только не исключительные, а даже явно средней подготовки и невесть какого опыта люди. Сам Фалетров после службы на флоте был послан райкомом в какую-то краткосрочную областную школу, с тех пор и работает, а диплома настоящего нет. Добрынин же начал тут бригадиром, после сколько-то лет председательствовал в «Победе», теперь вернулся, руководит.

Я ходил за Фалетровым тенью, записывал про севообороты и нормы высева, впрямь не находя ничего, кроме элементарного соблюдения агроправил. Газетчикам знакомое это тоскливое ощущение — пробуксовка. Будто и «вникаешь», и сведений уже целый короб, и поднадоел всем, а ясность все так же далека и все крепче желание прекратить рытье там, где, видать, нет ничего. Не изъезди я до того Калининскую область, согласился бы, что все дело в тверском происхождении колосьян.

Стоило согласиться с тем, что Лучинин поступил только естественно, и весь образ действий председателя и агронома («стиль руководства» в данном случае — слишком выспренный) лишался всякой значительности.

...В зерноскладе знакомый мне мужик, Виктор Краснощечков, возится у импортной очистительной машины — решета подбирает, что ли. Фалетров обходит его стороной, не заговаривая, не поздоровавшись даже. Я было подошел, но Иван Михайлович тронул за рукав:

— Сейчас к нему нельзя. Горячий, еще пошлет... Он сам наладит, потом зайдем.

...У фермы — денник, где доят. Сюда навезли торфа, компост делать. Заведующая Анна Федоровна, бывшая доярка, отменного спокойствия и веса женщина, мирно, без обычной среди доярок готовности к крику, говорит Фалетрову:

— Михайлович, вы когда эту пыль уберете? Сулили подстилку, а стало хуже, чем на дороге. Молоко грязнится.

Смотрим на марлю во флягах: да, пыль. Но агронома дело — удобрения, о чистоте молока должен заботиться зоотехник. Фалетров ли виноват, что нет хорошего подстилочного торфа?

— Ладно. скажу, чтоб больше не везли...

...В июньское воскресенье, когда рожь уже выколосилась, а яровые покрыли землю — районный семинар, смотрины полям. Добрынин подвез череду «москвичей» и «газиков» к ржаному полю. Великолепная рожь, мышь не проберется,

в солому хоть палец суй. (Намолотили с того поля по пятьдесят центнеров на круг!) Представить такой хлеб знающим толк соседям — удовольствие и почет, случаев таких в году немного. Но отвечает-то за зерно агроном — и председатель отходит в сторонку, отдавая слово Фалетрову. Иван же Михайлович начинает толковать о своей промашке: надо было ставить на метре по семьсот растений, да побоялся — не выдержит земля. Пошел на пятьсот пятьдесят, а не выдержала, выходит — недобор... Председатель молча грызет стебелек. Помалкивают и соседи: хвалить такое поле неловко.

...Осенью всем колхозникам раздадут «уроки» — гресту поднимать. Жене Ивана Михайловича, Лиде, трудней, чем иным: оставить дома некого, сама и с огородом и с коровой. Соседки, понятно, обогнали. И вот, выкраивая в день по два-три часа, на стлеще работает агроном. Поднимает, как и все, тупым серпом, но в женском деле не мастак, к тому же радикулит мешает. Бабы добродушно посмеиваются: «Это, Иван Михалыч, не землю пробовать». Понятное дело, колхозу агрономовы льняные снопы обходятся дорого. Но пока солодкой лен не сдадут, тягость должна лежать равномерно на всех.

...Перед праздником пятидесятилетия в конторе судят-рядят, кого отметить премией и как — деньгами или подарками. Юбилей такой, что малым не отделаешься: придется приемники брать и отрезы. Спор обостряется, и все явственней мнение: одарить всех до единого! Неужто люди не заслужили? И который сейчас из годов вышел — он в войну тянул! Добрынин вызывает к разуму: это ж хозяйственно невыгодно, всех отметить — значит никого... Страсти все жарче: рублей хоть по пять, но чтоб память была у каждого! Подумав, Добрынин и сам голосует за «обезличку». Ивану Михайловичу на торжестве вручат настольную лампу, женщинам — зеркала, сахарницы...

Тогда-то и пришла наконец ко мне спасительная мысль — глядеть на «Колос» со стороны «Победы», сопоставить вместе с урожаями и статуты колхозников.

Атмосфера. Общественная атмосфера! Главная разница между соседями в том, как живет и работает, кем чувствует себя человек.

«Победой» руководит Георгий Федорович Голубков. В свое время был секретарем райкома, сельхозуправление вел. Он-то и посылал на учебу Фалетрова и, как рассказывает, помогал выводить колосья в люди (без большого, судя по старым сборам, успеха). Себя не жалеет, вникает в каждую мелочь, взыскателен и строг. Успех «Колоса» задевает его, объясняет он его, однако, так: богатому и черт люльку качает...

«Победа» — колхоз отнюдь не отстающий, скорее «крепкий середняк». Глядеть сверху, так кое в чем и «Колосу» дает форы: центральную усадьбу, например, застроил стандартными домами. Дозы удобрений почти равные с «Колосом», надох, сборы тресты тоже сравнимы. На виду будто один серьезный разрыв — в намолоте зерна.

Но копнуть глубже — хозяйства-то совсем разные. Сумма прибыли у «Колоса» в два с лишним раза выше, чем у «Победы». Один человеко-день в зерновом производстве у колосьян дал 3 рубля 76 копеек прибыли, в Борисоглебе — 1 рубль 94 копейки, в льноводстве соответственно — 11 рублей и два сорок три. И уже определяющая всю обстановку разница: на человеко-день в шестьдесят шестом «Колос» выплатил 4 рубля 86 копеек, «Победа» — 2 рубля 74 копейки. Пропать! Будто не в четырех километрах от Борисоглеба лежит колхоз Добрынина, а за горами, за долами, будто не бегают каждый день внуки к бабушкам из одной деревни в другую...

А потому пропять, что в Борисоглебе...

— Разбаловался народ!

Как-то, рассказывает Георгий Федорович для характеристики нравов, полеводки в поле картошку буртовали. Он вовремя приехал и растолковал, как соломой укрыть и как землей присыпать. Ну да, оно, конечно, дома картошка не мерзнет, но ведь тут и масштабы не те, а главное — совсем другое отношение, так что лишний раз напомнить полезно. Однако же весной выяснилось: поморо-

зили, разбойницы, соломы пожалели, укрыли тят-ляп. «Я же объяснял, где ж ваши головы были?» И вот что ответили Георгию Федоровичу: «А чего — объясняли! Вы б постояли над душой, мы б и сделали, как следует!»

«Разбаловался народ», и тому свидетельство — то и дело бьющая в глаза мнимость работы. Это даже не обман, потому что и учетчик, и бригадир, а подчас и сам Георгий Федорович знают или чувствуют, что тут одна оболочка, но и строгости на всех не настачишься и не расследуешь всюду... Под деревней Киселево возили навоз в паровое поле. Долго возили, первые кучи уже травой поросли. И уже высохли, выветрились начисто бурые комья, когда тракториста Батова послали запахивать это будто бы удобрение. Пахота тоже была мнимой: цапанье, огрех на огрех. Плуг отчего-то сломался, Батов бросил поле — досыхать. Однако же бригадир Арефьев «выходá» поставил всем, потому что поле считается удобрением, навоз-то от ферм убрали...

Неизвестно почему паровой участок, засеянный элитой на размножение, оказался засоренным — и не только дикой травой, а тимофеевкой! В другое поле — усердие не по разуму — дали столько азота, что рожь, едва выколосившись, полегла.

Можно было бы сочувствовать Георгию Федоровичу — ему выпал трудный участок конкретной работы, — если б не счастливая его натура, предохраняющая от терзаний. Как бы ни припирали — все равно «божья роса», вывернется, бока под критику не подставит. Не то чтоб у него недоделок, промашек не было, но бросьте вы любого в это пекло — сразу репку запое! Ведь какие меры воздействия у председателя? Да никаких теперь! Штрафом их прижмешь? Да плевать они хотели, у них все обуты-одеты и деньги на книжке есть. А чуть пережми — поминай как звали, без справки ушел, через год со стройки с паспортом приедет.

— Разбаловался народ!

...В тот летний семинар Голубков сам показывал свои поля (агрономша в Борисоглебе не в большой чести). Не показывал даже — защищал. Изрежен? А попробуй загущи, когда такая нехватка азота! Сорняк? Не без того, но хвощ, щавель — они ведь от закисленности. Сырым торфом испортили почву. Помните, команда была — прямо с болота торф возить? Вот и кашляем с тех пор. Надо ж объективно судить, с учетом сложностей...

И хотя (все ведомо!) возил кислый торф он сам и насчет команд всяческих лично ему многое можно было б напомнить, так силен был его напор, что и у самых зубастых из «семинаристов» пропадала охота подначивать: махнув рукой, отступались. Престиж «Победы» — кто отстоит его, если не Георгий Федорович? Уж не тракторист Батов ли? Тому-то не больно важно, как отзовутся, что подумают о колхозе.

Заседания правления, совещания в «Победе» проходят едва ли не регулярнее, чем в «Колосе», и не к чему подозревать здесь кого-то в несоблюдении уставных норм. Помнится одно долгое летнее правление: обсуждали дела в складском хозяйстве — почему долгоносик в семенах завелся, почему азотные удобрения размокают. Меры были приняты и воспитательные и экономические: подняли оплату кладовщикам, наказали кого-то, решили оповестить обо всем колхозников. (Делает это Георгий Федорович по радио, и в деревнях такие «переключки» явно недолюбливают за непаритетность — «он ругает, а ответить нельзя».) К финансовым же здешним санкциям у меня уже было определенное отношение, и причиной тому — Вера-сердце-ломит.

Она заведует фермой в киселевской бригаде, еще молода, статна, вожевата. Не ругается, но всякую тираду о безобразиях заключает одинаково: «Эх, сердце ломит!» Я долго не знал ее фамилии и для себя нарек ее этим прозвищем.

На ее ферме каждую весну падают телята — белый понос. Правление штрафует ее и телятниц. Георгий Федорович тоже платит сколько-то. Вроде обижаться не на кого. Но почемудохнут-то, надо понять? Вере лавно ясно. Колодец с питьевой водой рядом с отстойником, вода заражается — она при мне достала



ведра несвежей, плохой воды. А Голубков: «Не морочь голову, лениться не надо, я по вашей милости плачу!» Эх, сердце ломит...

А с другим колодцем тоже история. Над ним — строеньице, избушка на курьих ножках. Вошли — полутьма, у сруба длинные грибы. Вера подняла крышку, внизу — электронасос, рядом жердь прислонена. Включила рубильник, мотор не шелкнулся. Тогда она ударила по кожуху жердью справа и слева — он стронулся, натужно заработал.

— Первобытный век, — сказала Вера. — Второй год так. Не смыслим ведь ничего, побьешь — работает минут десять...

«Идиотизм деревенской жизни», оказывается, совместим с электромотором.

Не такая уж и мелочь, что колосьяне — земледельцы столбовые, божьей милостью. Есть гнезда живописцев, почему не быть деревне особо талантливых землепашцев? И «разбалованность» в Борисоглебе — тоже теперь уж категория вполне производственная. Но почему за «послемартовские» годы дар колосьян раскрылся, у соседей же «баловство» не спало?

Вот он, томик с классической «Властью земли». Можно припоминать Глебу Ивановичу Успенскому идеализацию патриархальности, можно упрекать, что не разглядел за идущим капитализмом его могильщика, но факт психологического открытия, им совершенного, бесспорен. Земледелец — это, по Успенскому, человек, который по самому существу своей природы не может существовать иначе, как с сознанием, что он «сам хозяин». Нет этого сознания — нет земледельца, есть работник, раб, пьяница Иван Босых.

Категория «власти земли» и ныне в очеркистском активе; правда, ей частично придается этакий опошленный смысл. Запах земли, тропинка во ржи, родной колодец, прочие атрибуты сельской жизни наделяются некоей мистической силой. Они якобы способны вернуть заблудшую душу из города, да не в отпуск, а совсем, уже они, а не бывшее чувство собственности, удерживают наиболее достойных в отстающих колхозах. Кто покидает деревню, тот опустошен, доступен всем порокам; кто остался или вернулся, тот взамен светных благ обретает «запах», «тропинку» и иные аксессуары богатства духовного. Почти что Успенский...

Ну, а «власть цеха», преданность рабочему заводу, — она что ж, разлагающая? А «власть мастера» — от лукавого?

Нет, у Успенского отношение крестьянина к земле многосложно, противоречиво, диалектично. Радость деяния — но и рабство экономическое, рожденное скудостью и невежеством, травяное существование. «Будет так, как захочет земля; будет так, как сделает земля и как она будет в состоянии сделать... И вот человек в полной власти у этой тоненькой травинки... Ни за что не отвечая, ничего сам не придумывая, человек живет только слушааясь, и это ежеминутное, ежесекундное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует жизнь, не имеющую, по-видимому, никакого результата (что выработают, то и съедят)...». Поэзия труда — и рабство духовное, идиотизм деревенской жизни. «Принимая от земли, от природы указания для своей нравственности, человек, то есть крестьянин-земледелец, вносил волей-неволей в людскую жизнь слишком много тенденций дремучего леса, слишком много наивного лесного зверства, слишком много наивной волчьей жадности».

И наряду с этим — облагораживающее сознание «сам хозяин»!

Не Лучинин или Краснощеков, а самый даже неряшливый, неудачливый тракторист из Борисоглеба знает о технике, селекции, азоте и фосфоре несравненно больше, чем знал самый головастый из его прадедов. Забыто про «Марью — зажди снега», «Евдокею — подмочи порог»; но радиопрогнозы сделали потерю незаметной. Вместе с собственностью на землю исчезла питательная среда волчьих нравов. Что же осталось от «власти земли» непоколебленным?

То сознание — «сам хозяин».

Обобществление земли не убавило, а многократно усилило его роль. Хлеб — деяние коллективное. Технология такова, что каждый причастный к делу может

и умножить и перечеркнуть результаты труда других. Кладовщик-неряха развел долгоносиков, смешал элиту с семенами тимофеевки — и нету элитного поля. Сверхвысокая концентрация этого сознания в какой-то личности (как, предположим, у Голубкова) дела не спасает — наоборот, оборачивается помехой. Непременно каждый — «сам хозяин»!

Так вот, в «Колосе» колхозник — хозяин, в «Победе» — работник. Тут и вся разгадка разницы в десять центнеров.

Ну, хорошо, а кто ж Добрынин в колхозе? Тоже хозяин, но в той доле мер, как Фалетров — в полях, Краснощеков — в семенном амбаре. У него особая сфера — координация действий, отладка большой и чрезвычайно сложной машины, которая от удара жердью не заработает. Высшая его доблесть — найти для зерноочистки именно Краснощеница, а Анну Федоровну поставить к ферме, не на лен. Он в своих действиях не вольней, а связанней любого члена колхоза, потому что его мера — равнодействующая мнений и взглядов.

Как-то после уборки я застал в конторе однорукого Александра Ивановича, заведующего овцефермой в Благовещенье, — он пришел взять квитанции на племолодняк. Отдельных кабинетов у председателя и агронома в правлении нет, в комнате оказались и Добрынин, и Иван Михайлович, и зоотехник, заходила кассирша — словом, людно было, и Александр Иванович разговорился, выкурил две или три папироски. Я потом, тем же вечером, записал вкратце рассуждения А. И. Новикова, одного из основателей колхоза, получился, кажется, любопытный протокол.

...Протестовал против намерения поставить в фермах механические тележки. «А если та тележка поломалась? За механиком, так. Еще штатная единица. Ах, две смены? Две ставки. Денег некуда девать?» Сам Новиков в технике не разбирается, и тирада — не только протест против раздувания штатов, но и акт самозащиты.

...«Незачем нам хлеб в страну ввозить, если своя земля есть. Выгодней минералку купить — везти дешевле, пользы больше. Прежде наши-то всегда навоз в Романово-Борисоглебске скупали...».

...Напустился на разбитную кассиршу — почему она член профсоюза, а его, хоть тридцать лет с овцами, не принимают? Иван Михайлович, колхозный профорг, разъяснял ему правила приема по профессиям (тракториста можно, у кассирши — диплом техникума, тоже можно, а его — нельзя), но только рассердил тем Александра Ивановича, да и сам расстроился.

...«Вы не вздумайте хлебом обделять! Не по два, так по килу на день делите, а то ни черта из урожая не выйдет, верно говорю. Когда он у меня в ларе, так мне и есть не хочется, а пусто — тревога, под ложечкой сосет».

Тележки поставят обязательно; с профсоюзом, хоть бы и хотели, не решат; закупки туков — не колхозное дело. Но замечание насчет хлеба учтут — Новиков не от одного себя говорит. Никакого собрания не было — просто погрелся старикан, потолковал с начальством, о чем не преминет рассказать в Благовещенье.

Использовал право хозяина. Психология наемного работника Александру Ивановичу Новикову чужда.

В юбилейном году колосяне выполнили хлебный план-заказ на пятьсот процентов. При ничтожно малой дозе туков колхозом глубинного российского Нечерноземья, артелью Добрынина, Фалетрова и Лучинина, достигнут «урожай датского типа» — собрано 28,7 центнера на круг.

Разрыв в урожае между «Колосом» и «Победой» сохранился прежним, но в финансовом смысле — возрос. Череда несчастий поубавила доходы Борисоглеба.

В последний раз я переправлялся через Волгу уже поздней осенью. Приехал, и первый же знакомый: «Слыхали о пожаре? Ну как же, в Борисоглебе сарай с трестой сгорел. С тридцати, кажется, гектаров. Лучший лен был...»

Голубкова я не застал — тот уехал в район. Рядом с кузницей чернело пе-

пелище... Надо же, в один только год телятник сгорел, здоровенный скирд сена, теперь вот лен.

Киселевские рассказывали, что примчались они на пожар первыми, да уж было не подступиться: в одночасье все стало пеплом.

— И ведь говорили ему, — сокрушалась Вера. — Разве ж можно возле кузни-то, подумайте! Не могло не сгореть. Одно дело — искры, другое — мужики всегда «строить» туда идут, курят, всем деревенским известно. Нет чтоб у него на глазах было! Вот и гляди теперь. Золотая зола! Ну, приедет милиция, а что толку?

В избушке рядом с рубильником по-прежнему стояла жердь. Вера сказала, что просила брата, завгара колосовского (ну да, Арефьева Николая, это брат родной), приехать починить чертов насос.

— А он говорит: «Пошто маешься? Шла бы к нам»... Да как бросить — сердце-то ломит. Соединили бы вы нас с «Колосом», а?

Май 1968 года.

\* \* \*

Эти страницы были уже набраны, когда Центральный Комитет партии вновь обсудил вопросы сельского хозяйства. «...Главной задачей по-прежнему остается всемерное увеличение производства зерна. Уже в ближайшие годы среднегодовое производство зерна должно составить примерно 190—200 млн. тонн. Для достижения такого уровня необходимо значительно и как можно быстрее поднять урожайность зерновых культур».

Так сформулирована центральная задача сельского хозяйства в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на Пленуме Центрального Комитета 30 октября 1968 года. Для обеспечения названного уровня производства урожайность в целом по стране должна быть доведена примерно до 16—17 центнеров с гектара, или возрасти на 5—6 центнеров по сравнению со средними сборами минувшего пятилетия. Дело, что и говорить, трудное.

Развитие наступления, — так можно сказать о направленности постановления последнего Пленума ЦК, — закрепление успеха и развитие натиска на основных участках. Усиление химизации, быстрое наращивание мощностей индустрии минеральных удобрений. Мелиорация определена как важнейшая составная часть работы, закрытый дренаж — как наиболее прогрессивный способ осушения земель. Комплексная механизация и повышение культуры земледелия, исполнение намеченных размеров капиталовложений и следование принципу твердого плана — все это окажет самое прямое влияние на подъем зернового хозяйства нечерноземной зоны. Пленум преподал урок последовательности в решении важной задачи, показал пример критического, требовательного подхода к оценке достигнутого.

Хорошо представляю радость, с какой читали документы Пленума — веское обещание поддержки, требование быстрее брать новый подъем — в Торжке, в Тутаеве, в Осташкове.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Ю. ФЛАКСЕРМАН

★

## СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

I

**Д**етство мое прошло в Ярославле. Мы жили около Корзинкинской мануфактуры (ныне прядильно-ткацкий комбинат «Красный Перекоп»). Отец был часовщик. Его клиентуру составляли квалифицированные рабочие: сезонные, приехавшие на фабрику из деревень на зиму, и рабочие малой квалификации часов не имели.

В 1903 году был арестован мой старший брат Яков. Помню, в семье говорили, что у Яши в кармане нашли газету «Искра», но это мне ничего не разъяснило. Газета «Русское слово» по воскресеньям выходила с иллюстрированным приложением «Искра». В нем печатались портреты царя, великих князей, министров и генералов. Больше всего мне нравились ордена и медали, которыми были завешаны груди генералов, особенно звезды, украшенные драгоценными камнями, эполеты с бахромой и аксельбанты. Что же плохого в том, что у Яши нашли в кармане «Искру»?

Но Яши не было. Мать носила в тюрьму передачи. В домашний быт начали входить новые слова: «нелегальная литература», «революция», «провокаатор»...

Брат просидел семь месяцев, заболел туберкулезом и в 1904 году умер. Хотя нас, детей, после смерти брата осталось семеро, мать очень тяжело переживала утрату своего первенца.

С этого времени вся наша семья тесно связалась с революционным движением и взрослые постоянно подвергались репрессиям.

Осенью 1905 года наш дом стал как бы центром местной революционной интеллигенции — передовых рабочих, студентов, учительниц, служащих фабрики, фельдшеров и врачей фабричной больницы. Происходили постоянные дискуссии. Каждого вновь приходящего еще у входной двери мы, ребята, спрашивали: «Вы эсдек или эсер?» Радовались каждому эсдеку и бывали разочарованы, если пришедший оказывался эсером: наши-то ведь были социал-демократы!

Когда рабочие Корзинкинской мануфактуры присоединились к общероссийской политической стачке, местная администрация задержала выплату им заработанных ранее денег, хотя из Москвы от Корзинкиных было дано распоряжение выдать их. Рабочие решили идти к губернатору — требовать, чтобы им была выдана заработная плата.

Стройными рядами, с революционными песнями пошло тысяч десять рабочих. Я увидел знакомых, вошел в колонну, весело шагал и пел. В центре города колонна остановилась, был устроен короткий митинг — кто-то сообщил, что вызваны казаки. Но демонстрация продолжалась. Вооруженных членов боевой дружины выставили вперед. Перестроившись, колонна двинулась дальше. Метров за гриста до дома губернатора демонстрация была расстреляна, ислехстана нагайками и разогнана казаками, налетевшими на колонну сзади. Меня затолкнули в какой-то подъезд, и оттуда я наблюдал расправу над рабочими.

Семнадцатого октября 1905 года был издан царский манифест. Многие обыватели были обмануты им. Вскоре начались жестокие репрессии. В нашей семье были аресто-

ваны отец и старшая сестра Наташа. Отца взяли за революционную агитацию среди рабочих и после четырех месяцев тюрьмы выслали на пять лет на Север, в Кемь. Наташу выслали в Вологодскую губернию.

Полиция полагала, что у нас хранится оружие, которое раздается рабочим. Поэтому по ночам в нашей квартире часто производили обыски. Я тоже был уверен, что у нас в доме прячут оружие. Сестра Галина, как я узнал потом, еще раньше помогала Якову распространять литературу, а в 1905 году вступила в партию. Однажды она привезла и спрятала какой-то металлический предмет; это был шапирограф, но мое воображение превратило его в пулемет.

Обыски были безрезультатны. Мать действовала умно.

Помню такой курьезный случай. Ночью идет очередной обыск. Мать невозмутимо, скрепя руки на груди, стоит у косяка двери. Пристав выдвигает ящик комода и перебирает белье. Вдруг он обнаружил круглый предмет. Испугавшись, спрашивает:

— Что это?

Мать спокойно отвечает:

— Бомба.

Пристав отскакивает от комода и распоряжается:

— Достаньте!

Мать так же спокойно говорит:

— Вы обыскиваете — вы и доставайте.

Пристав приказывает полицейскому осторожно извлечь бомбу. Тот с трепетом извлекает из-под белья круглый предмет, и... все видят детский волчок. Пристав зло цедит:

— Неуместная шутка!

Галину арестовали в 1908 году. Она просидела до суда два года в самарской тюрьме, по суду была оправдана, но затем выслана «в административном порядке» в Архангельскую губернию.

Незадолго до суда мать вызвали в жандармское управление. Там жандармский полковник Графтио учинил ей допрос. Нужно было установить, где находилась Галина в какой-то определенный промежуток времени — в Ярославле или в Москве. Мать не знала, что надо сказать, чтобы спасти дочь. Отказаться давать показания она не хотела: это произвело бы на суд неблагоприятное впечатление. Поэтому она сказала, что в это время Галина была в Москве, припомнила массу деталей, полковник все аккуратно записал. Но когда он дал матери протокол для подписи, она долго и внимательно читала, а затем заявила, что все перепутала. Бранила свою память, тут же вспоминала, что все было совсем не так: Галина как раз в это время приехала из Москвы... И опять пошли подробности — про белье, которое она оставила подругам, и т. д. Протокол был разорван, начался новый допрос. После того как был разорван и второй протокол, рассвирепевший полковник прекратил допрос и пообещал матери при случае припомнить ее поведение.

Случай не заставил себя ждать: в 1910 году «за содержание конспиративной квартиры» мать была выслана на пять лет.

Так вся взрослая часть нашей семьи была разогнана охранкой по всей стране.

Для меня началась тяжелая жизнь. Лишь после трех лет мытарств по чужим семьям — у одних жил, у других обедал — меня приняли в семью товарища, с которым я сидел на одной парте, — Петра Николаевича Снегирева, ныне члена КПСС, пенсионера (был директором Онкологического института в Ростове-на-Дону). На всю жизнь я сохранил светлое воспоминание о прекрасном, жизнерадостном Николае Ивановиче Снегиреве, отце моего товарища, погибшем в первую мировую войну, и о его жене Марии Федоровне.

Благодаря Снегиревым и директору гимназии Николаю Алексеевичу Веригину, хорошему педагогу и хорошему человеку, мне удалось окончить гимназию.

Летом с 1911 по 1914 год я регулярно ездил к матери в ссылку, в Полтаву. Там познакомился со Станиславом Косиором и другими ссыльными социал-демократами. Вечерами обычно велись беседы и споры. Моя мать в партии не состояла.

Не имея твердых партийных взглядов, она все же была убежденной атеисткой и революционеркой. Вся обстановка в нашей семье и весь круг знакомых толкали меня на то, чтобы и я связал свою жизнь с революционной борьбой.

В 1915 году я поехал в Петроград к сестре Галине. В то время она работала секретарем редакции журнала «Летопись», организованного М. Горьким. В Петрограде мне удалось прочитать несколько нелегальных статей о причинах войны и о ее характере. Они в значительной степени определили мое вступление в большевистскую партию.

Вернувшись в Москву (в то время я учился в Московском университете), я связался с революционным подпольем. Помню, в одной дискуссии о войне доклад делал меньшевик-оборонец П. Маслов. Против него выступали студенты-большевики, с которыми я здесь и познакомился.

В начале 1916 года мне дали первое партийное поручение — переписать в толстый литературный журнал лимонным соком большевистскую прокламацию против войны и отправить почтой в Стокгольм.

В мае того же года, после окончания второго курса, меня призвали в армию. Осенью из 56-го запасного полка я был переведен в Нижний Новгород в студенческий батальон (в нем мы были на правах юнкеров). Здесь меня и застала февральская революция.

Мне посчастливилось слышать выступление В. И. Ленина с «Апрельскими тезисами». Случилось это так.

В Нижнем Новгороде, как и в некоторых других городах, после февральской революции наша партия начала свое легальное существование в одной объединенной организации с меньшевиками. С первых же дней между нами и ими начались разногласия. Мы были противниками войны, меньшевики были «оборонцами» и ратовали за войну до победы. Мы были против поддержки правительства капиталистов и помещиков, меньшевики поддерживали Временное правительство. Было очевидно, что с меньшевиками надо рвать и создавать свою отдельную партийную организацию.

В фракции большевиков образовалась группа, главным образом молодежи, которая настаивала на немедленном разрыве. Однако некоторые «старики» отстаивали единство социал-демократической партии. Борьба с ними было трудно таким, как я,—мы и по времени вступления в партию, и по возрасту им уступали. А с каждым днем положение становилось все более сложным.

Я решил ехать в Петроград, где жила моя сестра Галина. В «Летописи» печатались статьи революционеров, находящихся в эмиграции или в ссылке; теперь многие из них возвратились. Я надеялся через сестру познакомиться с ними и с их помощью уяснить себе, что делать в нашей партийной организации.

В Питере через сестру я познакомился с М. С. Урицким, тогда еще меньшевиком, и сразу сблизился с ним.

В марте 1917 года он был одним из руководителей меньшевистской организации, входил в ОК<sup>1</sup>. Став во время войны революционным интернационалистом, он все больше расходился с меньшевиками в существеннейших вопросах и вскоре порвал с ними. Первоначально он вошел в межрайонную организацию, а затем вместе с нею вступил в нашу партию, стал членом ЦК и принимал активнейшее участие в Октябрьской революции. Его критика соглашательской, оборонческой политики меньшевиков, решение порвать с ними, о котором он сказал, убеждали меня в правильности моей позиции, и мне казалось, что я уже нашел ответ на вопрос, разрешить который приехал в Петроград.

В это время в Питер начали съезжаться делегаты на съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Не все Советы делегировали своих представителей, и съезда не получилось. Вместо него проведено было совещание Советов рабочих и солдатских депутатов, которое и работало с 29 марта по 3 апреля 1917 года.

На 4 апреля было назначено совместное заседание двух фракций закончившегося совещания. В повестке дня организаторы заседания поставили вопрос о возможности

<sup>1</sup> Организационный комитет — руководящий центр меньшевиков.

объединения большевиков и меньшевиков. Меня это очень взволновало. Выходит, думалось мне, ошибался я, а не нижегородские старики партийцы? На совещании Советов рабочих и солдатских депутатов по двум вопросам — о войне и об отношении к Временному правительству — делегаты-большевики голосовали вместе с меньшевиками. А теперь вот устраивается совместное заседание, где будет обсуждаться вопрос об объединении. Вряд ли такое возможно без решения ЦК!

Я пришел в Таврический дворец, где должно было происходить это заседание, как гость. В зал бывшей Государственной думы первыми пришли меньшевики. Вот появились Церетели, Дан, Чхеидзе и другие. Повсюду в кулуарах с нетерпением ожидали начала. А заседание все не начинается — ждут большевиков. Их нет.

Я не знал, что в это время там же, в Таврическом, только наверху, происходило совещание фракции большевиков, на котором обсуждался доклад Ленина. И Ленин согласился повторить свой доклад на совместном заседании.

И вот пришли делегаты-большевики. Председатель Чхеидзе объявляет объединенное заседание фракций открытым и предоставляет слово для доклада Ленину.

Ко мне подошел взволнованный Урицкий и сказал:

— Вы будете секретарствовать. Вот вам бумага, постарайтесь подробнее и точнее записать речь Ленина. Это очень важно!

Урицкий был заместителем редактора «Известий Петроградского Совета», он усадил меня на кафедру на специальное место для секретарей, ниже президиума и места для оратора.

С небольшим текстом знаменитых «Апрельских тезисов» на листочках бумаги Ленин поднялся на трибуну и начал доклад. Тщательно записывать оказалось делом трудным: все внимание было поглощено оратором.

Ильич читал по пунктам свои тезисы и последовательно их комментировал. Здесь нет надобности приводить их содержание.

Скажу только, что доклад Ленина дал исчерпывающий ответ на вопрос, за решением которого я приехал в Питер. Когда Ильич говорил о задачах партии, гневно прозвучало его обращение к меньшевикам:

— Как можно ставить вопрос об объединении с вами? Через несколько месяцев вы будете по другую сторону баррикад! Права была Роза Люксембург, когда сказала, что германская социал-демократия — «груп смердящий».

Что тут началось! Меньшевики повскакали с мест, кричали: «Клевета! Долой!» Они били кулаками по пюпитрам, топали ногами. Ленин молчал, спокойно стоял, величавый, уверенный в своей правоте. После заседания я вручил Урицкому свою запись речи Ленина. На другой день я просил дать мне ее, чтобы продиктовать стенографистке или машинистке. Урицкий отказался, заявив: «Я ее вам не дам, вы не знаете, какая это ценность!» Я убеждал его, что без меня запись эту никто не прочтет, а я должен уехать. Но ничего добиться не мог. До сих пор мне так и не удалось найти эту запись.

Я слышал Ленина впервые. Возвращался в Нижний Новгород, плененный им. Мне было радостно от одной мысли, что я буду работать и бороться заодно с Лениным.

Вскоре после Всероссийской VII апрельской конференции большевиков в Нижнем Новгороде произошло разрыв с меньшевиками.

Собрание большевиков происходило в Канавине. Присутствовали большевики из города, из Канавина и из Сормова. Избрали окружной комитет партии. В него вошли: А. И. Писарев (сормовский рабочий), Я. В. Воробьев (из Канавина), Лосев, А. В. Савельева, я и другие. Председателем был избран товарищ Писарев, секретарем — я. На первом же заседании окружкома было решено издавать свою большевистскую газету «Интернационал». Была создана редакция. Практически издавать газету начинали три члена окружкома — Савельева, Лосев и я.

Семнадцатого (4) июня 1917 года вышел первый номер газеты. (16 июня 1967 года «Горьковская правда», награжденная орденом Трудового Красного Знамени в связи с пятидесятилетием со дня выхода первого номера, отмечала свой полувековой юбилей.)

В конце июня пришел приказ направить меня из нижегородского студенческого батальона, в котором я все еще числился, в Петергофскую школу прапорщиков. Мень-

шевистско-эсеровский исполком Совета был рад освободиться от единственного в этом органе большевика и поторопился дать военным властям согласие.

Ко мне явился недавно прибывший юнкер батальона и отрекомендовался:

— Мацедо.

Это был Александр Безыменский. В то время он так подписывал свои стихи. Ему, по решению окружкома, я и передал несложное хозяйство газеты. Было грустно с нею расставаться, зато я ехал в самый центр революции.

В Петергоф я приехал уже в конце июня 1917 года. Вскоре произошли июльские события. Наша партия подвергалась жестоким репрессиям. 4 июля был арестован товарищ П. В. Дашкевич, член бюро военной организации при ЦК партии, который руководил петергофской организацией большевиков. Вместо него избрали меня. Я был введен в исполком Петергофского Совета. С этого времени я целиком занялся партийно-политической работой в Петергофе и Петрограде.

Шестого июля в Таврическом меня подозвала Галина и сказала, что я должен немедленно поехать к ней на квартиру, там она скажет за чем, дело очень важное. Дома она сообщила, что Я. М. Свердлов и Е. Д. Стасова поручили ей временно укрыть в своей квартире Владимира Ильича. Я должен был выйти на Каменноостровский проспект (ныне проспект Кирова) и между двумя поперечными улицами (названия их я уже забыл) встретить Ильича и привести его на набережную реки Карповки, в дом № 32. Сестра осталась дежурить дома.

Я пришел на указанное место и стал ждать прихода Владимира Ильича. Я был в юнкерской форме и, чтобы не вызывать подозрений, изображал нервничавшего юнкера, который ждет девушку, опаздывающую на свидание.

Время шло, а Владимира Ильича не было. Я начал нервничать и в самом деле. Неужели произошло что-то неладное? Но вот я увидел подходящую ко мне Галину. Я. М. Свердлов сообщил ей по телефону, что дальше ждать не следует, они пошли в другое место.

Это было в начале июля, а в конце этого месяца на VI съезде партии, на котором я был делегатом с совещательным голосом от петергофской организации, впервые был поставлен вопрос о вооруженном восстании.

Съезд происходил полулегально ввиду угрозы ареста и членов ЦК, и делегатов съезда. Надо было найти надежное место для работы редакционной комиссии по выработке резолюции съезда по основному вопросу — о политическом положении. Вопрос обсуждался у Е. Д. Стасовой на Выборгской стороне, где она работала. Я предложил квартиру моей сестры — сама она лечилась в Финляндии, а ее муж уехал к детям в Ярославль. Предложение было принято, и Елена Дмитриевна Стасова поручила мне организовать работу комиссии в квартире на набережной Карповки.

Работа комиссии проходила в очень простой, товарищеской обстановке, даже я, не член комиссии, принимал участие в формулировании некоторых положений. Хорошо помню, как в соответствии с тезисами В. И. Ленина, напечатанными в кронштадтской газете «Пролетарское дело», комиссия записала в седьмом пункте: «В настоящее время мирное развитие революции и безболезненный переход власти к Советам стали невозможны, ибо власть уже перешла на деле в руки контрреволюционной буржуазии. Правильным лозунгом в настоящее время может быть лишь полная ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуазии».

## И

События развивались очень быстро. После корниловского мятежа, подавленного рабочими и солдатами революционного гарнизона под руководством большевиков, обстановка крайне обострилась. Широкие массы на собственном опыте убеждались, что меньшевики и эсеры их обманывают: война продолжалась, хозяйственная разруха углублялась, земля оставалась у помещиков. Буржуазия при помощи контрреволюционной военной стремилась задушить революцию.

Мы, большевики, работавшие в пригородах столицы, видели, что генералитет готовит вторую корниловщину, стягивая свои войска к Петрограду.



В Петергофе появились хорошо одетые кавказского типа рослые, с кривыми длинными саблями кавалеристы: часть конного казачьего корпуса была расквартирована в Петергофе.

Однажды по дороге в уком я догнал четверых гулявших казаков. Завязался разговор.

— Что, ребята, приехали большевиков бить?

— Да, пора кончать с предателями!

Я был в форме юнкера. Разговор завязался легко и просто.

— Ну, хорошо. А вы знаете, военная наука учит: чтобы хорошо бить врага, бить крепко и успешно, надо его знать?

— Это правда.

— Ну, а что вы о большевиках знаете? Только то, что вам офицеры говорят. Вы кто, небось землю пашете?

— Да.

— Ну, а ваши офицеры кто? Помещики или сынки помещиков, старшинские дети из богатых. Выгодно ли им говорить вам всю правду?

Разговаривая так, мы подошли к укому.

— Ну, вот что я вам скажу. Здесь помещается комитет петергофских большевиков. Хотите узнать врага? Пойдемте вместе в комитет, послушаем, чего добиваются большевики.

— Ну что ж, давай послушаем.

Вошли. Усадив казаков, начинаю осторожно разъяснять:

— Вы меня не знаете, мы только что познакомились. Чтобы у вас не было сомнения, что я говорю правду, начнем с документов. Вот газета «Рабочий путь». Для начала я прочту вам передовую статью из сегодняшнего номера. Согласны?

Беседа продолжалась часа два. К концу казаки благодарили нас, крепко жали руки и просили:

— А можно завтра повторить беседу? Мы бы привели товарищей.

На другой день, точно в назначенный час, помещение комитета плотно заполнилось казаками.

Разошлись поздно, усталые, но возбужденные и удовлетворенные.

А через несколько дней мы узнали, что казаки начали арестовывать своих офицеров, и вскоре командование принуждено было вывести эту часть из Петергофа.

В стране создавалась ситуация, когда вооруженное восстание могло быть успешным. И наоборот, промедление, потеря времени угрожали разгромом революции, утратой всех ее завоеваний. Ленин неоднократно ставил эти вопросы. В такой момент ему надо было находиться ближе к центру революции. Поэтому он переехал из Гельсингфорса в Выборг, а затем тайком перебрался в Питер. Необходимо было экстренное заседание ЦК большевистской партии, чтобы со всей остротой поставить коренной вопрос нашей революции — вопрос о восстании, о захвате власти рабочими и крестьянами. Эти вопросы должны быть решены с ним, с Лениным. Вопрос о вооруженном восстании и его подготовке был решен на конспиративном заседании 23 (10) октября 1917 года. Мне случилось принимать участие в его организации.

Я. М. Свердлов и Е. Д. Стасова поручили организацию этого важного заседания моей сестре Галине. Она была замужем за Н. Н. Сухановым. В то время Суханов был членом меньшевистско-эсеровского исполкома Петроградского Совета; он был одним из редакторов газеты «Новая жизнь» и примыкал к меньшевикам. Поэтому квартира Суханова не вызвала у охраны Керенского подозрений.

Мне Е. Д. Стасова поручила охрану этого заседания. Надо было проследить за тем, не ведется ли наблюдение за квартирой, и, проверив, обеспечить надежный выход Ленину после окончания заседания.

Членов ЦК оповещали об этом экстренном заседании осторожно, адрес сообщали особо секретно. Для лучшей конспирации заседание было назначено на 10 часов вечера, когда уже стемнеет. Особенно это было необходимо для Ленина. Приходили по одному, по два.

В тот день я должен был поехать в Кронштадт, там задержался и приехал к

сестре после десяти часов. Получив от нее нахлобучку за опоздание, я прошел на кухню и начал греть самовар. Сестра наливала чай и относила в столовую. Скоро вышел весь запас углей. Пришлось шепать лучину и ею греть самовар. Так прошла почти вся ночь. Несколько раз я выходил во двор и на улицу провсрать обстановку. И здесь мне помогали мои юнкерские погоны: при нежелательных встречах они могли отвести подозрение.

Заседание закончилось поздно ночью. Я снова вышел из квартиры и осмотрел двор и улицу. Важно было установить, где дворник. Как и в царское время, при Керенском дворники были связаны с охранкой, им обычно поручалось наблюдение за подозрительными квартирами. Убедившись, что нигде никого нет, я сообщил об этом сестре и Якову Михайловичу. Свердлов ушел в столовую, и вскоре оттуда вышел Владимир Ильич Ленин. Он был в парике, усы и борода у него были сбриты. Густые седоватые волосы парика ниспадали к бровям и почти совсем закрывали его большой лоб.

Впечатления у хорошо знавших Ильича от его измененного вида были самые разные. Сестра рассказывала, что, открыв дверь, когда пришел Ильич, она сразу узнала его, что не узнать его было нельзя, хотя парик, кепка и отсутствие усов и бороды сообщали лицу более молодежавый вид. А Александра Михайловна Коллонтай, опоздав на заседание, по ее словам, села рядом с каким-то незнакомым «стариком», и только когда он лукаво улыбнулся, с радостью узнала Ильича.

Некоторые товарищи после заседания остались ночевать и утром с предосторожностями поодиночке разошлись.

В квартире на набережной Карповки в доме № 32 теперь открыт мемориальный музей В. И. Ленина.

\* \* \*

В сентябре большинство в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов стало уже нашим. Левели и пригородные уездные Советы; надо было как-то объединить их и обеспечить их единство: ведь восстание требовало единства воли и действий.

В пригородах Питера было расквартировано много воинских частей, школ прапорщиков,— необходимо охватить их нашим влиянием.

В Кронштадте на конференции уездных Советов был создан окружной исполком Советов Петроградской губернии. Председателем исполкома был избран И. П. Флеровский — член Кронштадтского комитета большевиков и исполкома Петросовета; заместителем — Л. Н. Сталь, член Кронштадтского комитета большевиков и редактор газеты «Пролетарское дело»; я был избран членом и секретарем окружного исполкома. Штаб-квартира Петроградского окружного исполкома разместилась в Смольном, где нам была предоставлена одна комната.

Выполняя решение ЦК партии от 10 октября, исполком постановил направить в уездные городки своих членов, чтобы провести в Советах резолюцию о поддержке предстоящего восстания. А так как ни один из этих местных Советов по количеству представляемых избирателей не мог послать своего делегата на II съезд Советов, то окружной исполком рекомендовал им делегировать его представителей от группы Советов.

Я поехал в Петергоф, Красное Село, Гатчину и Ямбург (ныне Кингисепп). Везде была принята резолюция о поддержке восстания, и мне выдали делегатские мандаты. С четырьмя мандатами поздно вечером 24 октября я вернулся в Петроград.

Приехав в Смольный, я был удивлен: у дверей нашей комнаты стоял вооруженный красногвардеец и не впускал меня. Я показывал мандаты и печати исполкома.

— Не могу, не приказано,— твердил он.

— Ты чего воюешь, Флакс? — насмешливо спросил меня проходивший мимо Дашкевич (он был выпущен из тюрьмы после подавления корниловского мятежа). — Ты что, не знаешь? Уж началось! Иди наверх за назначением.

Я бросился по лестнице в Военно-революционный комитет. В это время там

происходило боевое заседание. На последних ступенях лестницы встретил Г. И. Чудновского.

— Ты куда бежишь? — спросил он.

— За назначением.

— Слушай, я член тройки по руководству наступлением на Зимний и комиссар Преображенского полка. Согласен быть моим заместителем в полку? Тогда едем в полк.

— Согласен.

И мы поехали.

В полку шел митинг. Небольшая, но компактная, хорошо организованная группа большевиков и сочувствующих им призывала полк присоединиться к революционному гарнизону и Красной гвардии, быстрым ударом взять Зимний и обеспечить успех революции и переход власти к Советам. Эсеры, меньшевики и поддерживающие их офицеры настаивали на действиях в защиту Зимнего дворца и Временного правительства. Полковой же комитет уговаривал сохранять нейтралитет. Уставшая к ночи масса солдат была склонна, пожалуй, следовать советам своего комитета.

Казармы Преображенского полка были расположены рядом с Зимним дворцом, они примыкали к зданию Эрмитажа. Преображенцы чаще, чем другие гвардейские полки, несли караулы в Зимнем дворце, охраняя царя, а затем особу Керенского. Надо было ломать психологию, чтобы вывести солдат этого полка на штурм дворца, и это оказалось трудным.

Пробыв некоторое время на митинге, выяснив обстановку и переговорив с товарищами, мы убедились, что согласия на выступление против Зимнего мы сейчас не получим, необходимо хотя бы удержать полк от защиты Зимнего. Мы решили затягивать митинг как можно дольше. Связались по телефону с Военно-революционным комитетом и получили на это согласие. Чудновский ушел, а я остался выполнять задание.

Мы продолжали митинговать. Как только спадало оживление, большевики-преображенцы выпускали очередного оратора, который своим острым выступлением вызывал новую волну дискуссии. В ночь на 25 октября, чуть ли не под самое утро, солдаты потребовали кончать митинг и, не приняв решения, стали расходиться спать.

Было очевидно, что полк в защиту Зимнего дворца не выступит! И то хорошо! Я поехал в Смольный.

\* \* \*

Двадцать пятого октября в 10 часов 45 минут вечера открылся II Всероссийский съезд Советов. Ленина на этом первом заседании не было — он руководил восстанием. Большевики составляли более половины всех делегатов, а вместе с левыми эсерами и левыми меньшевиками-интернационалистами, которые поддерживали большевиков, они имели подавляющее большинство.

Ко времени открытия съезда все правительственные учреждения, генеральный штаб и банки были заняты восставшими.

Правые меньшевики и эсеры выступили с протестом, обвиняя большевиков в заговоре. Пушечные выстрелы (сначала сигнальный — «Авроры», затем ночью — Петропавловской крепости) окончательно расстроили их слабые нервы. С истерическими криками о «расстреле дворца» они покинули съезд.

В 3 часа 10 минут ночи, когда съезд после перерыва возобновил свою работу, под взрыв аплодисментов и ликующие крики было объявлено о взятии Зимнего дворца и аресте Временного правительства.

Преображенский полк все же участвовал в штурме Зимнего дворца!

Первое заседание съезда было закрыто. Но делегаты не расходились из Смольного; некоторых из них посылали по городу для выполнения различных поручений. Второе, и последнее, заседание съезда началось в 9 часов вечера 26 октября. На нем были приняты два ленинских декрета — о мире и о земле — и образовано первое в мире рабоче-крестьянское правительство во главе с Лениным.

Ленин впервые появился на заседании съезда. Зал был полон: кроме делегатов, пришли увидеть и услышать Ленина все, кто находился в Смольном. Аплодисменты,

крики, приветствия — все слилось в какой-то шквал радости. Когда Ильич вышел на трибуну, чтобы доложить Декрет о мире, весь зал встал, люди двинулись к трибуне, Ленину долго не удавалось говорить. Неслись крики, солдаты потрясали винтовками, бросали вверх шапки.

Открытое появление Ленина перед представителями народа само уже было свидетельством величайшей победы. Где они, те, которые хотели арестовать и уничтожить Ленина? Они сметены, отброшены ураганом революции. На трибуне перед нами Ленин, живой Ильич — вот она, победа! И мы ликовали. Разве можно было не кричать, не бросать в воздух шапки?

Когда наконец водворилась тишина, Ленин произнес совсем просто:

— Пора приступить к строительству социалистического порядка.

Эта простая фраза произвела потрясающее впечатление.

Многие видели Ленина впервые. Вот он стоит перед ними — в поношенном костюме. Ни тени рисовки, ни тени позы. Это не «герой» в щегольских крагах, френче и галифе, как ненавистный Керенский. И обрадованные этой простотой и деловитостью, мужики-солдаты и рабочие разразились новыми аплодисментами, новым взрывом восторга.

— Вопрос о мире есть жгучий вопрос... — начал Ленин свое краткое выступление и прочитал Декрет о мире.

С короткими горячими речами выступили несколько делегатов от различных организаций, и декрет был единогласно утвержден. Это был первый советский декрет, он положил начало мирной политике нашего социалистического государства. Все встали, торжественно и взволнованно запели «Интернационал». Когда пропели припев к первому куплету, кто-то заметил: «Уже не будет, а есть». И в первый раз слова гимна: «Это будет последний и решительный бой» — мы стали петь по-новому: «Это есть наш последний и решительный бой!»

Когда зал утих, В. И. Ленин начал докладывать Декрет о земле. Первый параграф гласил: «Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа». Эта короткая фраза знаменовала глубочайший социально-экономический переворот, который осуществлялся на другой же день после победы социалистической революции.

\* \* \*

Двадцать восьмого октября (10 ноября) правые эсеры и бывшие царские офицеры организовали в Петрограде контрреволюционное выступление юнкеров. Руководила им подпольная организация «Комитет спасения родины и революции», в которую входили представители контрреволюционных партий — правых меньшевиков и эсеров, кадетов, октябристов — и контрреволюционные офицеры. Юнкерам удалось занять телефонную станцию, телеграф и некоторые другие учреждения. Военно-революционный комитет направил против этого выступления красногвардейцев (вооруженных рабочих) и верные революции воинские части.

Как только развернулись серьезные военные действия, правые эсеры и большинство офицеров скрылись. Юнкера были предоставлены самим себе. В некоторых пунктах они держались твердо и продолжали сражаться даже в совершенно безнадежном положении.

Несколько дней центральные улицы Петрограда находились под огнем. Движение по ним почти прекратилось. В это же время бежавший из Зимнего дворца Керенский стягивал под командой генерала Краснова войска к Царскому Селу и Пулкову. Для борьбы с военной контрреволюцией был организован штаб во главе с товарищами Н. И. Подвойским и В. А. Антоновым-Овсеенко. Полагая целесообразным использовать для этих операций аппарат штаба Петроградского военного округа, Н. И. Подвойский и В. А. Антонов-Овсеенко обосновались в здании этого штаба на Дворцовой площади.

Меня Антонов-Овсеенко назначил комиссаром Николаевского (теперь он Московский) вокзала. Мне было поручено следить за движением поездов и не допускать к Петрограду военные эшелоны.

Исполнительный комитет Всероссийского Союза железнодорожников — Викжель, — а вернее, его главари-меньшевики пытались удерживать железнодорожных рабочих о:

участия в восстании против Временного правительства Керенского и в то же время не присоединялись к контрреволюционным выступлениям. Позиция Викжеля была настолько неясная, колеблющаяся, что в то время даже вошло довольно широко в обиход, если кто-либо колебался и не давал прямого ответа на вопрос, говорить: «Да скажи ты прямо, перестань викжелить!»

Когда я прибыл на Николаевский вокзал, оказалось, что там уже был комиссар, назначенный Викжелем. Имея в своем подчинении железнодорожную воинскую часть, он фактически был хозяином всего вокзала. Ни передать мне свои функции, ни подчиниться моему контролю он не желал. Предпринимать против него какие-либо меры у меня не было возможности. В штабе решили не обострять отношений и договорились с Викжелем, чтобы к Питеру не пропускали воинские эшелоны.

После этого несколько дней мне пришлось работать в штабе у Подвойского и Антонова-Овсенко. Там я впервые увидел полковника генерального штаба М. А. Муравьева, предложившего советской власти свои услуги. Появился военный специалист! До его прихода работа штаба состояла главным образом в организации и отправке отрядов. Теперь появилась карта, стала выясняться дислокация частей, своих и противника. Однако сразу обнаружилось, как неудобно работать штабу в отрыве от правительства. По предложению Владимира Ильича руководство штаба было перенесено в Смольный. Я был оставлен в штабе Петроградского округа на бессменное дежурство и связь.

Этот Муравьев как военный специалист принимал участие в строительстве Красной Армии, занимал ответственные посты во время гражданской войны, но в 1918 году в Симбирске попытался повернуть войска на помощь восставшим левым эсерам и, отстреливаясь при аресте, был убит.

Однообразно проходили дни на дежурстве. Связь можно было поддерживать только по телефону. Штаб округа потерял свое значение, да и пути к нему некоторое время были под обстрелом.

Как-то утром вестовой доложил, что меня спрашивает какая-то женщина. Распоядившись, чтобы ее пропустили, я был крайне удивлен, когда в кабинет вошла моя жена. В то время она училась в психоневрологическом институте и жила у своей старшей сестры, муж которой, Н. Н. Колачевский, работал в секретариате Керенского. Он жил на Васильевском острове, в двух комнатах большой квартиры, принадлежавшей владельцам конфетной фабрики Конради. Семья Конради выехала за границу «от революции подальше» — и предоставила ему часть своей квартиры, рассчитывая сохранить таким образом имущество. Колачевский же после победы Октября оказался связанным с «Комитетом спасения родины и революции» и принимал участие в организации юнкерского восстания.

В эти тревожные дни в квартире оставались две сестры. Муж одной дежурил в большевистском штабе, муж другой находился где-то в подполье и был связан с контрреволюционной организацией. Каждая из женщин, волнуясь за судьбу своего мужа, периодически звонила по телефону и получала утешительное сообщение, что скоро все кончится полной победой. Но победа одного означала почти верную гибель другого. Радостная улыбка одной сестры вызывала волнение другой. В результате после длительного ряда дневных и ночных часов ожидания, надежд и волнений сестры перестали разговаривать друг с другом. Желая прекратить это мучительное состояние и узнать, как в действительности развиваются события, моя жена покинула квартиру и по обстреливаемым улицам пришла в наш штаб. До полной ликвидации юнкерского восстания она оставалась в штабе. Так началась ее революционная работа. Вскоре она вступила в партию.

Девичья фамилия моей жены была Вигдорчик. Она сестра Н. А. Вигдорчика, делегата I съезда РСДРП (минского), большого специалиста по вопросам охраны труда, основателя Института по борьбе с профессиональными заболеваниями в Ленинграде. Поженнились мы с ней, когда из пехотного запасного полка, где я был рядовым, меня перевели в Нижний Новгород в студенческий батальон. Как юнкер, я имел право носить перчатки. Был сезон ярмарки; хотя посещать ее юнкерам запрещалось, покупать перчатки я пошел туда — интересно было увидеть знаменитую нижегородскую ярмарку

В одном из ярмарочных киосков, где продавались перчатки, меня привлекло лицо продавщицы. У нее я купил перчатки, затем привел к ней других товарищей — мы купили много перчаток. Познакомились. Оказалось, она студентка: мать наняла на ярмарке ей ларек, чтобы дочь заработала себе на учебу. Через год, незадолго до Октябрьской революции, она стала моей женой. На партийную работу она ушла со второго курса психоневрологического института. В Петрограде до эвакуации правительства в Москву работала в аппарате ЦК партии, помогая Е. Д. Стасовой вместе с моей сестрой Галиной. В Москве стала работать в Секретариате ЦК с К. Т. Новгородцевой, затем была секретарем Е. Д. Стасовой, когда, после смерти Я. М. Свердлов, та была избрана секретарем ЦК. Работала секретарем Н. Н. Крестинского в ЦК, затем в Секретариате В. И. Ленина как заместительница Л. А. Фотиевой. Была секретарем Совета Труда и Обороны (СТО). В 1929 году начала учиться в плановом институте, но вскоре тяжело заболела и в 1933 году умерла.

Когда покончено было с восстанием юнкеров, я покинул здание штаба Петроградского военного округа и перебрался в Смольный. Здесь приходилось выполнять множество поручений.

Однажды надо было достать машину, отвезти А. М. Коллонтай в Красное Село и организовать ее выступление в воинских и красногвардейских частях, сражавшихся с отрядами Керенского. Ожидая машину, мы стояли в коридоре Смольного, рассказывали друг другу разные случаи, вновь переживая события последних дней. Оживленная, жизнерадостная, тогда еще молодая Александра Михайловна говорила:

— Ну вот, перевернули страницу истории — социалистическая революция началась. Заварили мы кашу! Сохраним ли головы? — На секунду задумалась. — Ну, а пока поторопите машину!

Я пошел в диспетчерскую. Через некоторое время туда вошел Владимир Ильич и, подойдя к столу диспетчера, попросил машину. Диспетчер, боец автоотряда, не отрывая глаз от каких-то листов, которые он читал, ответил:

— Нет у меня машин.

Владимир Ильич смутился. Помолчав, он тихо произнес:

— Я — Ленин.

Боец вскочил.

— Простите, Владимир Ильич, сию минуту.

И, распорядившись насчет машины, долго смотрел вслед уходящему Ильичу.

### III

Попытка Керенского—Краснова задушить революцию была ликвидирована. Краснов был взят в плен, а Керенский бежал.

Советское правительство вплотную занялось созданием нового государственного аппарата.

Надо было получить постоянную работу. Но где? Первостепенной задачей был выход из войны. В первые дни после Октября казалось, что ее окончание вероятней всего связано с изменением международного положения. Поэтому, подумав я, лучше всего идти работать в Народный комиссариат иностранных дел. Но иностранных языков я не знал, поэтому в Наркоминделе мне делать было нечего.

Проходя как-то по коридору Смольного, я встретил А. В. Луначарского. Он сказал:

— Зайдемте ко мне.

Анатолий Васильевич сообщил мне, что Комиссариату просвещения переданы все бывшие царские дворцы, царские имения-заповедники, императорские театры и прочее. Все это должно составить ведомство дворцов и музеев республики. Для управления этим делом Анатолий Васильевич решил привлечь Петра Васильевича Дашкевича и предложил мне быть у него заместителем. Я дал согласие. Но Дашкевич от этой работы отказался. Тогда Анатолий Васильевич спросил меня:

— Что, если я назначу вас комиссаром этого ведомства? Справитесь?

Я еще ни разу в жизни не бывал ни в одной канцелярии, совершенно не был зна-

ком ни с каким делопроизводством, не имел никакого представления и о том, какие учреждения входили в состав бывшего царского министерства двора, поэтому, пожав плечами, ответил:

— Не знаю.

Оказалось, что и сам Луначарский знал об этом министерстве немногим больше, чем я.

— Давайте попробуем. Мне сказали, что главное учреждение там — камеральная часть,— сказал он,— вот я и назначу вас комиссаром этой части.

Тут же был продиктован мандат: «Я, Народный комиссар просвещения, назначаю тов. Флаксермана Юрия Николаевича комиссаром камеральной части бывшего министерства двора. Предлагаю всем советским учреждениям оказывать ему полное содействие» и т. д. Получив такую бумагу, я пошел разыскивать по Петрограду камеральную часть. Узнав, что она помещается в Аничковом дворце, прошел к ее начальнику князю Гагарину. Это был старец лет под восемьдесят, который прошамкал:

— Я могу передать вам дела камеральной части, но для этого мне нужно получить указание моего начальства. Я подчинен хозяйственной части.

— Что же такое камеральная часть? — спросил я.

Оказалось, что камеральная часть была кладовой ювелирных изделий. Цари получали от верноподданных различные подношения и в свою очередь посылали подарки в виде каких-либо драгоценностей — часов, колец, булавок к галстуку и т. д. Хранением этих вещей, их отсылкой и занималась камеральная часть.

Когда я рассказал обо всем этом Анатолию Васильевичу, он, так же как и я, высказал предположение, что хозяйственная часть и есть главное учреждение бывшего министерства двора. Таким же мандатом я был немедленно назначен комиссаром хозяйственной части. Здесь я получил тот же ответ, что и от князя Гагарина. Мне заявили, что смогут передать дела, если получат на то распоряжение от своего начальства. Оказалось, что хозяйственная часть входит в состав бывшего собственного кабинета его императорского величества, который возглавляет действительный статский советник Рюдман.

Сообразив, что я могу еще долго так ходить от одной части к другой, я попросил заведующего хозяйственной частью рассказать мне о структуре бывшего министерства двора. От него я узнал, что министерство двора управлялось специальной канцелярией, которая сохранена и работает по сей день. После февральской революции Керенский ликвидировал лишь личные канцелярии царя и царицы. Всеми же дворцами, имениями и прочими учреждениями и предприятиями царской фамилии управлял так называемый «кабинет», который также действует в настоящее время. Из ведения кабинета изъяты лишь земельные угодья (удельное ведомство), которые Керенский передал министерству земледелия. Весь остальной аппарат министерства двора полностью сохранен.

Когда я сообщил Луначарскому о добытых мною сведениях, ему пришлось задуматься. Дело было очень большое, работа предстояла ответственная — можно ли поручать ее столь молодому и малоопытному в жизненных делах человеку? Анатолий Васильевич все же решил рискнуть. Я получил новый мандат, которым был назначен помощником народного комиссара просвещения по ведомству дворцов и музеев республики, комиссаром бывшего министерства двора, а также бывшего царского кабинета.

На другой день утром, явившись в кабинет, я уволил с работы Рюдмана. Все чиновники этого большого учреждения сидели на своих местах. В министерствах, банках и других учреждениях был организован саботаж, чиновники и служащие в большинстве на работу не являлись. Но в министерстве двора был полный порядок: все аккуратно приходило на работу, перья скрипели, как будто ничего не произошло.

В один из первых же дней ко мне зашел какой-то чиновник хозяйственной части, типичный чиновник низшего класса табели о рангах — сухощавый, долговязый, в форменном кителе, с чисто выбритым лицом, по которому никак нельзя было определить возраст. Его более длинные, чем полагалось, зачесанные бобриком волосы были какого-то неопределенного цвета — то ли перед тобою совершенно седой человек, то ли очень светлый блондин. Заговорщицким тоном он сообщил мне:

— Большинство наших чиновников, особенно крупных, черносотенцы. Вы видите, они даже не саботируют, притаились. Нам, партийным, здесь очень трудно.

— Вы партийный? С какого времени? — быстро спросил я.— Покажите членский билет.

Чиновник смутился. Задуманный им в расчете на доверчивую молодость шантаж не удался. Он молча ретировался.

Министерство просвещения помещалось у Чернышева моста. В его здании были парадные залы для приемов, просторные, богато обставленные кабинеты министра и крупных чиновников. Но все это пустовало: чиновники саботировали. Поэтому нашу «штаб-квартиру» Луначарский устроил в Зимнем дворце, в так называемой Детской половине, с подъездом на набережной Невы.

При встрече со мной на другой день в Зимнем дворце у Луначарского в глазах за стеклами пенсне появились добродушно-насмешливые искорки.

— Знаете, Юрочка, какой про вас анекдот ходит по Питеру? Рюдман рассказывает: «Приходит ко мне дитя в офицерской шинели и допрашивает: «Признаете советскую власть?» — Луначарский улыбнулся и ободряюще добавил:— Ну валяйте, валяйте, действуйте!

\* \* \*

В первый же день нашей работы в Зимнем дворце в 12 часов дня подходит ко мне дворцовый лакей и, почтительно изгибаясь, приглашает:

— Юрий Николаевич, фриштыкать пожалуйста.

— Что? — спросил я, не поняв.

— Фриштыкать, говорю, завтракать пожалуйста.

Он уже узнал, что я его непосредственное начальство, и поэтому с приглашением завтракать обратился ко мне, а не к наркому.

В то время в Питере было голодно, и такое приглашение было приятно.

— Анатолий Васильевич, завтракать зовут. Пойдем?

И все, кто в это время был с нами, человек пять или шесть, пошли вслед за лакеем. Каким-то далеко не парадным коридором нас повели в другую половину дворца, и мы очутились в столовой.

Очевидно было, что на восемнадцать кувертов стол накрыт по давно заведенному порядку. Белоснежные скатерть и салфетки, орлы на тарелках, вилках, ножах и ложках, чинные лакеи, которые начали молча обносить блюдами,— все это было неожиданно. В Смольном в те дни с трудом удавалось получить жидкий чай, кусочек черного хлеба и, как особый деликатес, селедку. Здесь же нам подавали телячьи отбивные!

В конце рабочего дня, в 6 часов вечера, та же фигура в сером пригласила нас обедать. Народу было в это время довольно много, и мы заняли почти весь стол. К обеду подавали бульон с пирожками, рыбу, мясо, дичь.

Позвав к себе лакея, я спросил его, кто командует всеми этими завтраками и обедами. Он вызвал ко мне кого-то старшего по чину.

— Откуда у вас все это?

— Из гофмаршальской части.

— Что это за гофмаршальская часть? Расскажите подробно.

— Гофмаршальская часть обслуживала царскую семью. Все повара и лакеи, стационарные и передвижные, числятся за гофмаршальской частью.

— Что это за передвижные повара?

— Если царь куда-либо уезжал, с ним отправлялись повара и лакеи — эти люди и составляют особый передвижной штат.

— И что же, весь этот штат существует и до сих пор?

— Да, все на своих местах.

— Откуда же гофмаршальская часть достает продукты?

— Как откуда? — удивился он моему вопросу.— Доставляют поставщики по договорам.



«Поставщик двора его императорского величества»,— вспомнил я тут вывески больших магазинов.

Восемь месяцев прошло, как уже не стало «величества», а Керенский сохранял все порядки царского двора вплоть до передвижных лакеев. Если бы удался корниловский переворот и появилось бы новое величество, царский двор был бы готов его принять.

Видно, господин Керенский со своими министрами неплохо себя чувствовали за этим столом, накрываемым на восемнадцать кувертов.

— Анатолий Васильевич, до сих пор существует особая гофмаршальская часть, которая ведала кормежкой царя,— рассказал я.— Одной челяди здесь свыше пяти сотен. Вот плоды ее деятельности,— показал я на стол.— Завтра я все это ликвидирую.

— А не жаль? — лукаво взглянул Луначарский и серьезно добавил:— Безусловно, ликвидируйте немедленно.

Были ликвидированы и другие явно ненужные учреждения бывшего министерства двора. С помощью еще двух товарищей — комиссаров-инспекторов — мы похоронили гофмаршальскую и камеральную части, капитул орденов и другое. Огромное количество серебряных ложек, подносов, ваз, кубков и прочей утвари обычного обихода, разные золотые и серебряные ордена и другие предметы были упакованы в ящики и сданы в Госбанк.

Занимаясь делами в Зимнем дворце, я невольно наблюдал за работой лакеев. Уборку комнат во дворце производили так называемые внутренние, комнатные лакеи. Это были молчаливые фигуры, одетые в серую форму с двуглавыми орлами на петлицах. Они ревностно следили за порядком и поддерживали в комнатах образцовую чистоту. Если кто-нибудь из посетителей при разговоре машинально брал какую-нибудь безделушку со стола, трюмо или специальной подставки, находившийся здесь лакей неотступно следил за ним. Как только посетитель уходил, лакей молча приближался, устанавливал безделушку на ее место, поворачивал, как она стояла. Эти лакеи так привыкли к заведенному порядку, к расстановке мебели, украшений и т. д., что не переносили ни малейшего отклонения от этого порядка и почти автоматически восстанавливали его вновь. Было очевидно, что для наилучшей охраны дворцов и музеев необходимо сохранить на местах этих внутренних лакеев. Это и было тогда сделано.

Для содержания многочисленных дворцов и зданий как в самом Петрограде, так и в окрестностях и в других городах надо было создать административно-хозяйственный аппарат, который обеспечил бы охрану, ремонт и отопление всех этих сооружений. Административным аппаратом бывшего министерства двора была его канцелярия. Во главе этой канцелярии стоял молодой князь Гагарин, заместителем его был барон фон Штакельберг. Хозяйственное обслуживание всего царского имущества было сосредоточено в кабинете.

Небольшой административно-хозяйственный аппарат для управления всеми дворцами-музеями создавался на базе этой канцелярии и бывшего кабинета.

Прежде всего были освобождены от работы князь Гагарин и барон фон Штакельберг. В канцелярии министерства двора на меня произвел хорошее впечатление сравнительно молодой чиновник, который выполнял работу управляющего делами. Я рассказал ему о задачах нового аппарата, который надо создавать для содержания и обслуживания культурных ценностей, становящихся достоянием народа. Тут же мы наметили структуру и штат управления дворцов и музеев республики при Наркомпросе.

— Я не знаю никого из ваших чиновников,— сказал я ему,— соберите всех сотрудников канцелярии и обсудите, кто должен и хочет остаться. Чиновников высших классов оставлять не следует, из прочей массы надо отобрать наиболее деловых, тех, кто охотно будет работать в новом аппарате. Вам с ними придется работать.

Так было создано новое управление. Оно настолько отвечало своему назначению, что просуществовало в том же виде много лет.

Года через два я встретил в Москве этого управляющего. Он уже вполне советский работник, приехал в командировку, очень обрадовался встрече и сказал:

— Когда вы пришли, не верилось, что это серьезно. К тому же уж очень молоды вы были. А потом мы часто вспоминали, как быстро был создан аппарат, который работает и сейчас, и хорошо работает.

Мы встретились, как старые друзья...

Через несколько дней после реорганизации Луначарский сказал:

— А знаете ли, Юрочка, на вас поступила жалоба.

— Кто же на меня жалуется? За что?

— Князь Гагарин и барон фон Штакельберг. Они не саботировали, а вы их незаконно и незаконно уволили,— сказал Анатолий Васильевич и добавил:— Сегодня в двенадцать часов они придут сюда. Будем разбирать их жалобу.

В 12 часов явились вылощенные молодой князь Гагарин и барон фон Штакельберг.

На вопрос Луначарского, что они делали и что они могли бы делать теперь, князь Гагарин сообщил, что основная их работа заключалась в подготовке докладных записок, которые министр двора докладывал царю. Луначарский заметил:

— Но ведь прошло восемь месяцев, как нет министра двора. А я все записки диктую сам. Мне их не нужно составлять.

В этом духе беседа продолжалась еще несколько минут, затем князь и барон откланялись, и больше мы их не видели.

\* \* \*

Царский двор получал средства от доходов с имений царя через кабинет и, кроме того, два миллиона рублей на квартал в виде дотации из государственной казны. В министерстве двора были свой финансовый аппарат, своя касса и даже свой финансовый контрольный орган. Но «кабинетские земли» в то время доходов уже никаких не приносили, а деньги были нужны. Наркомфином тогда был товарищ В. Р. Менжинский. Большинство чиновников министерства финансов саботировало, но все же нам удалось найти документы, чтобы доказать Менжинскому, что на четвертый квартал бывшему министерству двора действительно полагается получить два миллиона рублей. Реализовав эти деньги, мы могли содержать дворцы, театры и многочисленные учреждения своего ведомства.

В Питере было много зданий, принадлежавших министерству двора, зимой их надо было отапливать. Ранее дрова в Питер завозились на баржах. После их продажи баржи также разделялись на дрова и продавались. Революционные события, саботаж чиновников и банковских служащих вызвали застой в этом деле. На Неве стояло много груженных барж, но дров никто не покупал.

Один из энергичных и предприимчивых чиновников нашего нового аппарата предложил сккупить все эти дрова и вывезти на наши склады. Невозможно же оставить без отопления дворцы, Эрмитаж! Было очевидно притом, что закупить и вывезти дрова можем сейчас только мы: наши чиновники не бастуют и у нас есть деньги.

Мне хотелось уяснить себе, почему чиновник так горячо ратует за это. Оказалось, что он, заботясь о топливе для дворцов и театров, не забывал о возможности тем самым обеспечить дровами также и себя, и своих сослуживцев, живущих на казенных квартирах. А главное, он, видимо, хотел «заработать»: купил он по дешевке — куда купцам деваться со своими дровами перед заморозками на Неве? А счета они ему подпишут с хорошей надбавкой. Так что куш сорвет он изрядный. Мошенничество, конечно... Но что делать? Своих людей у меня не было. А если бы и были, то не сумели бы дешево купить и заработали бы больше купцы. А для государственной казны все равно — так на таё вышло бы. Обдумав все это, я дал санкцию на покупку всех дров, завезенных по Неве.

Вскоре дрова понадобились всем правительственным учреждениям. Наша «операция» приобрела известность. Смольный и значительное количество других правительственных зданий топливом снабжали мы.

Много позже, в Москве, после смерти Я. М. Свердлова, когда председателем ВЦИК был избран М. И. Калинин и мы жили с ним в соседних квартирах, он, как-то встретив меня, спросил:

— Это вы в Питере скупали тогда на Неве все дрова? Здорово вы тогда это сварганили!

Мне было приятно, что он помнит об этом, и дорога его похвала.

\* \* \*

В Петрограде три «императорских» театра принадлежали бывшему министерству двора: оперный Марининский театр (ныне имени Кирова), драматический Александринский театр (ныне имени Пушкина) и Итальянская опера, Михайловский театр (ныне Малый оперный театр). Артисты этих театров участвовали в саботаже — театры продолжали действовать, но ни их администрация, ни артисты не желали иметь никаких дел с Наркомпросом.

Между нами началась борьба. Пришлось дать распоряжение не выплачивать артистам жалованья. Однако эта репрессия никакого впечатления не произвела: артисты договорились с администрацией театров, что они получают зарплату из касс театров, из выручки. Я распорядился выручку театров сдавать в кассу управления. Чиновники бывшего министерства двора не саботировали, работу выполняли аккуратно, и выручка ежедневно сдавалась в кассу. Тогда театры перестали работать.

Несколько дней спустя в Зимнем дворце появилась молодая актриса Марининского театра Владимирова. Она пришла с явным желанием установить контакт между саботирующими артистами и нами. Начались переговоры. Владимирова возвращалась в театр, опять приходила в Зимний дворец, и так много раз. В течение некоторого времени положение оставалось прежним.

Директором Марининского театра при Керенском был назначен всемирно известный пианист и дирижер А. И. Зилоти. Мы предложили ему передать нам ключи от бывшей царской ложи. Но выдать ключи Зилоти наотрез отказался, заявив:

— Я выдам ключи от ложи только представителям законного правительства. Здесь уже начиналась «высокая политика».

Луначарский посоветовался с Дзержинским. Феликс Эдмундович рекомендовал на другой день потребовать у Зилоти выдачи ключей, а в случае, если он откажется добровольно их выдать, его арестовать, а ключи забрать.

В 9 часов утра на следующий день с двумя красногвардейцами из ВЧК я явился на квартиру Зилоти и потребовал у него ключи. Зилоти заявил:

— Вы можете взять их только силой.

— Как видите, сила со мной,— ответил я, указав на красногвардейцев,— но я имею директиву в таком случае вас арестовать.

Забрав ключи у Зилоти, мы ушли. Я с ключами направился в Зимний дворец, а красногвардейцы повели арестованного Зилоти на Гороховую улицу в ВЧК.

На следующий день Дзержинский, пожурив Зилоти за никчемную демонстрацию, освободил его из-под стражи.

Но борьба после этого еще более обострилась.

Арестовать Зилоти! Это произвело среди артистов всех трех театров целый переполох. Но, так или иначе, им надо было решать, как быть дальше? Рассчитывать, что новая власть просуществует всего несколько дней? Быстро подавленное восстание юнкеров и провал военной авантюры Керенского — Краснова показали, что расчеты эти слишком ненадежны.

При посредстве Владимировой в Александринском театре было организовано общее собрание артистов всех трех театров. На этом собрании Луначарский выступил с докладом о задачах искусства и театра в революции.

Луначарского встретили холодно. Но постепенно аудитория начала внимательно его слушать. Вот слышались и раз и другой одобрительные реплики. Вот раздались то там, то здесь хлопки. А закончил свой доклад Луначарский под гром аплодисментов. Артисты вынесли его из театра на руках.

Мир был заключен. Найден был общий язык, должна была начаться совместная работа. Отныне «императорские» театры перестраивались в театры для народа, в очаги культуры и воспитания широких масс.

Театры открылись. Они начали свою работу на новой основе. В Маринском театре состоялось представление «Фауста» Гуно с участием Шаляпина — первый спектакль, во время которого голубые кресла и ложи вместо разодетой знати приняли рабочих, солдат и матросов.

Была праздничная, почти торжественная обстановка. Перед началом спектакля я приехал в театр с Луначарским. Нас проводили в боковую директорскую ложу. Знакомились с администрацией, с артистами. Луначарского они, правда, уже знали — многие слышали его доклад, оценили его ум, эрудицию, понимание искусства и не могли не восхищаться таким руководителем. Меня они видели впервые. Зато во время саботажа они хорошо ознакомились с моей фамилией. Кто распорядился не платить зарплату? Флаксерман. Кто распорядился забирать кассовую выручку? Флаксерман. Кто арестовал Зилоти? Все тот же Флаксерман. И вдруг, знакомясь, эту фамилию называет совсем еще молодой человек. (Мне тогда было двадцать два, но выглядел я года на четыре моложе своих лет.)

Проходя по коридору, я встретил знакомую мне уже актрису Владимирову. Она разговаривала с небольшой группой актеров, пришедших посмотреть торжественный спектакль. Когда мы с ней поздоровались, они полюбопытствовали:

— Кто это здоровался с вами?

— Флаксерман,— ответила Владимирова.

— Что? Такой молодой и уже Флаксерман! — воскликнул кто-то из артистов.

Так на длительное время в этих кругах за мной закрепилась кличка «такой молодой, а уже Флаксерман».

\* \* \*

Левые эсеры вошли в правительство. При распределении мест в Совнарком было решено образовать еще один наркомат. Из Наркомпроса было выделено управление дворцов и музеев республики и образован Народный комиссариат имуществ республики. Народным комиссаром был назначен левый эсер В. А. Карелин. Заместителем его А. В. Луначарский предложил назначить меня, что и было принято. Но Карелин был включен в делегацию по мирным переговорам с Германией и должен был уехать в Брест. В отсутствие наркома его заместитель получал в Совете Народных Комиссаров право решающего голоса, но эсеры отнюдь не хотели потерять свой голос. Ильич нашел выход — мое назначение должен был оформить не Совнарком, а сам Карелин, и тогда в его отсутствие заместитель будет иметь лишь совещательный голос.

На другой день А. В. Луначарский вызвал меня в Зимний, рассказал о вчерашних решениях. А вскоре приехал интеллигентного вида, в черном элегантном костюме высокий молодой человек, который и оказался новым наркомом. В течение нескольких минут они с Луначарским договорились о размежевании. Фактически все оставалось по-старому, менялось лишь название. Мы с Карелиным уехали на Фонтанку, — штаб-квартира управления мною уже была перенесена туда, в бывшую канцелярию министерства двора.

Карелин написал четыре приказа по наркомату. Первым приказом он объявил о вступлении в должность. Вторым назначил меня своим заместителем. Третьим приказом устанавливался новый режим заключения бывшего царя Николая Романова в Тобольске. Дело в том, что Тобольский Совет рабочих и солдатских депутатов информировал Владимира Ильича, что семья Романова во главе с бывшим царем устраивает приемы, вокруг нее группируется целая свита контрреволюционных генералов, «двор» живет полной жизнью, получая большие деньги из местного банка. По указанию Ленина Тобольскому Совету был послан приказ о необходимости установить для бывшего царя режим, обычный для заключенных, и ограничить соответственно средства на содержание его и семьи.

Последним, четвертым приказом Карелин возлагал на меня руководство наркоматом в связи с его отъездом на мирные переговоры в Брест.

Этими четырьмя приказами и ограничилась деятельность Карелина как народного комиссара имуществ республики.

В этот же день в 5 часов вечера я поехал в Смольный к Н. П. Горбунову — секретарю Совнаркома, — получил пропуск в Совет Народных Комиссаров и вошел в зал, где через пять минут должно было начаться заседание.

В 6 часов без двух минут вошел Владимир Ильич Ленин.

— Кто это? — спросил он у Горбунова.

Тот назвал мою фамилию. Владимир Ильич подошел ко мне и протянул, здороваясь, свою теплую и крепкую руку. Он внимательно и пристально посмотрел на меня. В голову пришла смутившая меня мысль, что Ильич потому так испытующе смотрит, что не ожидал встретить в Совнаркоме такого зеленого юнца. Я опустил глаза.

Начали подходить наркомы, и заседание началось точно в назначенное время.

В 1917 и 1918 годах я часто бывал на заседаниях Совета Народных Комиссаров и наблюдал работу В. И. Ленина. Какой школой государственной деятельности были эти заседания!

Работа Комиссариата имуществ республики ограничивалась узкой сферой. Вопросы, требовавшие правительственного постановления, решались обычно в комиссиях или в Малом Совнаркоме, поэтому на заседаниях можно было только слушать.

Новый государственный аппарат тогда только создавался, работы было исключительно много, людей же очень и очень мало. Все было перегружено, вечно спешили и всюду опаздывали. Но в Совете Народных Комиссаров в этом отношении была совершенно другая обстановка. Здесь царили точность и порядок.

Заседания Совнаркома начинались в 6 часов вечера. Как и при первом моем посещении, В. И. Ленин всегда входил в зал за две минуты до шести. Он строго распределял свое время и придирчиво требовал точности от других. Больших речей на заседании не допускалось. Существовал строгий регламент: краткий, о существе дела доклад не более пяти минут и выступления по три минуты. Ильич добивался наибольшей продуктивности работы. Он не допускал разболтанности и, приучая людей, впервые оказавшихся государственными руководителями, правильно организовывать их работу, оберегал тем самым и свой строгий распорядок дня, ибо только так был в состоянии вынести свою колоссальную нагрузку.

Ленин никогда никого не подавлял своим огромным авторитетом. На заседаниях Совнаркома царила товарищеская атмосфера, все чувствовали себя свободно. В прениях часто высказывались мнения, не совпадающие с ленинскими, он внимательно выслушивал и, если улавливал здравую мысль, вносил коррективы в свои предложения.

Вспоминаю забавный случай — одно свое неудачное выступление. Обсуждался декрет о труде и заработной плате. Ленину не нравилась формулировка одного пункта. Он хотел придать ему несколько иной оттенок, но это ему почему-то не давалось. Ильич терпеливо опрашивал товарищей, но все предложения, которые они делали, не выражали того, что было нужно. Мне казалось, что я нашел нужную формулировку, и, когда все были опрошены, а подходящая редакция все еще не была найдена, я попросил слова. Ильич обрадовался моей инициативе, но когда я произнес свою формулировку, махнул рукой и сказал:

— Да ведь это то же самое, только другими словами.

Никогда не забуду запомнившегося мне по контрасту заседания одной комиссии ЦК, которое вел И. В. Сталин. Это было в 1931 году. Обсуждался вопрос о составе и месте расположения нового крупного промышленного комбината, в котором играла большую роль энергетика, поэтому меня и пригласили. К этому времени я стал инженером-энергетиком и был заместителем председателя правления «Энергоцентра». Комиссия работала днем, в зале заседаний Совнаркома. Я устроился сбоку, у окон, где обычно сидел и в 1918 году, при Ленине. Члены комиссии, наркомы, Орджоникидзе и члены президиума ВСНХ сидели за длинным столом. Сталин ходил, покуривая свою трубку.

Говорили главным образом работники ВСНХ. Затем слово взял Сталин. Он сел сбоку у стола председателя, лицом к длинному столу. Говорил он так тихо, что никто ничего не мог расслышать. Сначала все невольно приложили к ушам руки, но и это не помогло. Тогда все чуть ли не легли на стол, стараясь расслышать оратора. В такой позе все они оставались до тех пор, пока Сталин произносил свою речь. Когда

же он кончил говорить, заседание было закрыто: обсуждать больше нечего, истина в ее последней инстанции высказана.

Как все это непохоже было на то, что было при Ленине. Владимир Ильич советовался с товарищами, свои предложения обосновывал, разъяснял, стремился, чтобы их поняли, а не только приняли. Это была в подлинном смысле слова товарищеская, коллективная работа.

\* \* \*

В царские времена министерство двора содержало огромный аппарат дворцового духовенства, которое имело свои приходы, свои духовные школы и прочее. Ликвидация и реорганизация учреждений этого министерства заканчивалась распоряжением, соответствующим решению советской власти об отделении церкви от государства.

Вот текст постановления, как оно вошло в «Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства»:

«Придворное духовенство упраздняется.

Охрана церквей бывшего министерства двора, как памятников искусства и старины, временно возлагается на комитеты и комиссаров тех управлений дворцами и установлений, к которым они примыкают.

Если со стороны какого-нибудь общества верующих будет заявлено желание совершения служб в этих церквях, то расходы по содержанию священнослужителей и церковных служителей и хозяйственные расходы эти общества должны будут взять на себя.

Разного рода благотворительные учреждения бывшего придворного духовенства, находящиеся в ведении Народного комиссариата имуществ республики, со всеми принадлежащими им капиталами переходят в ведение Народного комиссариата государственного призрения, учебные заведения — в ведение Народного комиссариата по просвещению.

Подписал: заместитель Народного комиссара имуществ Республики  
Ю. Флаксерман.

14 января 1918 г.».

Я привел полностью это распоряжение, чтобы показать, как в то время проявлялось стремление сохранить памятники искусства и старины.

Несколько позже мне пришлось ознакомиться с обстановкой повседневного быта бывшего царя и его семьи.

Когда немцы взяли Минск и Псков и создалась угроза Петрограду, мне было поручено поехать в Царское Село, осмотреть Екатерининский и Александровский дворцы и эвакуировать в глубь страны все ценности. (Главные ценности из этих дворцов Керенский в то время, когда они с Корниловым собирались сдать немцам революционный Петроград, уже вывез в Нижний Новгород.)

Екатерининский дворец и до революции был скорее музеем, в нем лишь изредка устраивались торжественные приемы. Александровский же дворец был основным местом, где жила царская семья. Сразу бросалась в глаза разница между этими двумя дворцами. Екатерининский дворец представлял собою большую художественную ценность. Расположение, внутреннее оформление и убранство многочисленных парадных залов было выполнено с большим вкусом. Личные комнаты Екатерины были очень изящны.

Александровский дворец, наоборот, в художественном отношении не представлял никакой ценности. Личные комнаты царя и царицы были аляповато и безвкусно отделаны в начале XX века в стиле модерн. В салоне царицы карнизы были украшены желтыми прозрачными кленовыми листьями, за которыми зажигались электрические лампы. Стены царской спальни были сплошь увешаны фотографиями членов семьи и родных. Обе кровати изголовьями примыкали к перегородке, за которой находилась моленная, представлявшая собой сплошной иконостас.

У царя было два кабинета: один для приемов, второй — сразу за ним, малый, — для работы. В большом кабинете у окна стояло удобное кресло с подлокотниками,

в котором, видимо, царь отдыхал. К стене была прикреплена лампа, которую можно было поворачивать так, чтобы при любой позе сидящего в кресле свет ее падал удобно. Тут же находилась книжная полочка. Что же читал царь во время отдыха? На полочке я нашел специально для него на толстой меловой бумаге напечатанные книжечки юмористических рассказов Аркадия Аверченко, приложения к журналу «Сатирикон». Других книг на полочке не было.

За креслом его рабочего стола в малом кабинете стоял большой резной ларь. В нем хранились черновики писем царя, написанные его рукой. Почерк у него был мелкий, нетвердый, женский. В большинстве это были черновики его коротких речей на различных торжествах, всего несколько строчек, неизменно начинавшихся: «Поднимаю этот бокал...» — и кончавшихся: «Пью за ваше здоровье», «Пью за процветание полка...», «Пью за успех гусаров...» и т. д. и т. п. Я нашел только одно письмо, которое представляло интерес. Это был черновик письма Николаю Николаевичу, написанного в то время, когда царь отстранил своего дядю от верховного командования и послал его командовать закавказским фронтом, а верховным главнокомандующим назначил себя. Писал он по-русски, а думал по-немецки (может быть, это письмо диктовала ему жена?). Письмо начиналось словами: «Так что (здесь явно немецкое «also») Мы почли за благо взять на себя Верховное командование всеми нашими армиями, на тебя же возлагаем командование...» и т. д. Даже в частном письме к своему дяде — «Мы» и «почли за благо»!

#### IV

Почти сразу после того, как II Всероссийский съезд Советов принял Декрет о мире, начались переговоры с Германией. 2 декабря было уже подписано соглашение о перемирии, а 9 декабря начались переговоры о мире.

Народ ждал. Все надеялись, что ненавистная война будет окончена. И вдруг неожиданно появилось известие — Троцкий мирного договора не подписал, заявив: «Войну прекращаем, армию демобилизуем, а мир не подписываем!»

Не только солдат, крестьянин, рядовой рабочий, но и мы, партийцы, агитаторы, пропагандисты, были поставлены в тупик. Состояние «ни мира, ни войны» — это было и необычно и непонятно.

В то время твердого единства в вопросе о немедленном заключении мира с Германией в ЦК партии создать не удалось. Острая борьба за мир передвинулась внутрь нашей партии. Главная тяжесть борьбы за выход из войны легла на плечи В. И. Ленина. В верхушке партии образовалась группа «левых коммунистов», которая энергично выступала против заключения мира и настаивала на «революционной войне» против германского империализма. Троцкий без какого-либо серьезного основания решил, что немцы наступать не смогут, и прервал переговоры.

Страна и революция были поставлены под удар. Немцы начали наступление по всему фронту и заняли Двинск, Минск, затем Псков.

Первого марта переговоры были возобновлены, а 3 марта в Брест-Литовске был подписан тяжелый мирный договор. предстояла ратификация его IV съездом Советов. Ввиду больших разногласий в ЦК по этому вопросу был созван VII экстренный партийный съезд, на котором развернулась острая борьба.

Работая в секретариате съезда и ведя записи выступлений, я видел, как твердо и настойчиво Ленин добивался, чтобы договор о мире с Германией был одобрен и ратифицирован.

На всю жизнь врезалось в память, с какой болью и горечью Ильич говорил: «Если европейская революция опоздала родиться, нас ждут самые тяжелые поражения, потому что у нас нет армии, потому что у нас нет организации...» Ему было очень тяжело. Мурашки пробегали по спине, когда он продолжал: «Если ты не сумеешь приспособиться, не расположешь идти ползком на брюхе, в грязи, тогда ты не революционер, а болтун...» Тяжело давался Ильичу жестокий компромисс, на который он вел партию во имя спасения советской власти и революции. Съезд завершился победой Ленина.

Сразу по окончании VII съезда партии начался переезд правительства в Москву. Наш Народный комиссариат имуществ республики выехал из Петрограда 12 марта. Накануне появился Карелин, выписал деньги на переезд, выдал мне их под отчет, сообщил время выезда, номера поезда и вагона и исчез.

Ехали мы без него. Прибыв утром в Москву, поехали в Кремль.

Весь Кремль с дворцами, соборами, Грановитой и Оружейной палатами, а также Нескучный дворец с его парком находился в ведении Народного комиссариата имуществ республики. Содержание памятников старины возлагалось на нас, и мы сразу же организовали реставрационные работы в Кремле. Охрану Кремля, регламентацию жизни в нем осуществлял комендант П. О. Мальков, который подчинялся непосредственно правительству. Квартину я получил во втором этаже Кавалерского корпуса.

Первоначально члены правительства поселились в гостиницах «Метрополь» и «Националь». ВЦИК и Совнарком было решено разместить в Кремле, в здании судебных установлений.

Через несколько дней в Кремле стали расселяться и народные комиссары. Я. М. Свердлов с семьей поселился в жилом помещении Большого дворца. В. И. Ленин временно поселился во втором этаже Кавалерского корпуса, против моей квартиры; постоянную квартиру для Владимира Ильича устраивали на третьем этаже здания правительства, рядом с помещением Совнаркома.

Я продолжал посещать заседания Совета Народных Комиссаров, которые неизменно проводил В. И. Ленин. Особенно четко в памяти сохранились два заседания.

На одном из них, не помню уже по какому поводу, Ильич высказался о взаимоотношениях государственного и партийного аппаратов. Владимир Ильич говорил примерно так: наша партия правящая, она решает все принципиальные вопросы внешней и внутренней политики, она дает указания о хозяйственно-экономическом строительстве в стране, о создании нового аппарата государственной власти. Мы, являясь членами партии, обязаны выполнять решения партии, и выполнять должны точно, со всей строгостью партийной дисциплины. Но нельзя смешивать партийный аппарат с государственным. Один не может, не должен подменять другой.

Второе, особенно запомнившееся мне заседание Совнаркома происходило в самом конце июня и посвящено оно было утверждению списка национализируемых предприятий. Ильич тщательно и придирчиво проверял список, с пристрастием допрашивал товарищей, ведавших отдельными отраслями промышленности, не пропустили ли они какое-либо предприятие, особенно из принадлежавших иностранным владельцам. За некоторые иностранные предприятия пришлось бы платить, если бы они были национализированы после 1 июля 1918 года, поэтому Ленин так торопился утвердить список национализируемых предприятий и так тщательно его проверял. Подготовительная работа была проведена тщательно, и Декрет о национализации предприятий был принят своевременно — 28 июня 1918 года.

\* \* \*

В Москве мы особенно сблизились и подружились со Свердловым. В первые дни после переезда случилось так, что только в моей квартире был телефон, и Свердлов, часто заходя к нам, чтобы поговорить по телефону, иногда оставался посидеть и отдохнуть. Иногда он забегал голодный, а жена привезла немного муки из Питера и угощала его оладьями.

Жена моя в это время работала в Секретариате ЦК с Клавдией Тимофеевной Новгородцевой, женой Якова Михайловича. Этот Секретариат помещался сначала в номере гостиницы «Националь», а потом в «Метрополе», там, где теперь кафе. Сначала они работали вдвоем — это и был весь «аппарат» ЦК! Позднее прибавилась третья — товарищ Станкина, а затем еще человек пять-шесть. После работы я приходил к ним и помогал в переписке с местными организациями, в составлении циркулярных писем и инструкций, которые им поручал подготовить Я. М. Свердлов.

Вспоминается такой эпизод первых дней московской жизни. После ратификации



Брестского мира левые эсеры вышли из правительства — я остался без наркома. Как-то после работы к нам в квартиру вошел В. Д. Бонч-Бруевич, управляющий делами Совнаркома, и заявил, что Свердлов распорядился, чтобы мы переехали жить в гостиницу «Националь». Мы сложили наши скромные пожитки и вызвали машину.

Через некоторое время пришел Яков Михайлович. Переговорив по телефону с рядом товарищей, он спросил:

— Чего сидите, как сычи? Хоть бы чаем угостили.

Жена ответила:

— Ну вот, распорядился, чтобы мы уезжали, чемоданы сложены, а теперь просит чаю.

— Как? О чем я распорядился? Куда вам уезжать? Ничего не понимаю!

Мы рассказали о визите Бонч-Бруевича.

— Опять «набончил!» — воскликнул Яков Михайлович.

Оказалось, что Владимир Дмитриевич принял меня за левого эсера — очевидно, потому, что я был заместителем Карелина.

С Яковом Михайловичем я познакомился в первые месяцы после февральской революции и сразу убедился, что Свердлов не только сторонник Ленина — он близок Ленину как умелый вожак масс.

Яков Михайлович познакомился с Лениным лично в начале апреля 1917 года. Уже через две недели, на Апрельской конференции, Ильич увидел в нем недюжинного организатора. С этого времени Я. М. Свердлов и становится ближайшим его помощником. В подготовке Октября, в осуществлении победы, сразу после Октября они идут неразрывно вместе.

Обладая исключительной памятью, хорошо зная людей, Свердлов доверял людям. Помню, после переезда правительства в Москву в одном из номеров гостиницы «Националь» Яков Михайлович давал мне какое-то поручение. Надо было связаться с различными учреждениями — и с московскими, и с только что переехавшими из Питера, с ВЧК. Чтобы не тратить время на писание бумаг, писем, мандатов в той обстановке, когда на одного человека наваливались тысячи дел, Яков Михайлович на бланке Председателя ВЦИК красными чернилами посредине бланка написал свою фамилию: «Я. Свердлов», поставил гербовую печать, вырвал бланк из блокнота и вручил его мне. Такая бумага позволяла вести любые переговоры от имени правительства... Обстановка требовала быстрых действий!

В 1918 году жена моя, ожидая ребенка, поехала в Нижний Новгород к матери, я провожал ее туда. Яков Михайлович условился с нами о том, чтобы подготовили на случай необходимости у матери на чердаке тайник для архива ЦК. Он хорошо знал Нижний Новгород и считал это место надежным. Республика напрягала все силы в борьбе с контрреволюцией. В конечной победе Свердлов был уверен, но, как бдительный организатор, должен был предвидеть всякие возможности, и он их предвидел.

Когда чехословацкий корпус и эсерово-белогвардейские банды были наконец оттеснены с Волги к Уралу, создалась угроза Екатеринбургу (ныне Свердловск). В это время перед заседанием ВЦИК в одной из комнат ресторана «Метрополь» собралась фракция большевиков. Свердлов прочитал телеграмму исполкома Екатеринбургского Совета: положение опасное, сил для обороны Екатеринбурга недостаточно, бывший царь Николай Романов может быть освобожден белогвардейцами, которые превратят его в знамя контрреволюции. Не имея возможности эвакуировать царя, исполком по своему постановлению расстрелял его со всей семьей. Исполком просил ВЦИК санкционировать этот вынужденный шаг. Радости это известие, понятно, не доставило. Но дело было сделано, рассуждать о нем было нечего, и Яков Михайлович предложил фракции без прений дать свою санкцию, что и было единогласно принято.

Яков Михайлович прожил короткую жизнь — всего тридцать четыре года. Вот ее баланс: детство и юность заняли шестнадцать лет, сознательная жизнь и работа в партии — восемнадцать, из них двенадцать лет он пробыл в тюрьмах и ссылках, четыре года в подполье. Только два года прожил он после свержения царизма, лишь около полутора лет после победы Октября.

\* \* \*

Тридцатого августа 1918 года после работы прихожу домой. В это время я был один, жена еще не вернулась из Нижнего. Жил временно в одном из целой анфилады залов Детской половины дворца. Потолки здесь были очень высокие. В моем жилище стоял письменный стол у окна, а в другом углу — по диагонали и, казалось, далеко-далеко — стояла кроватка. Было неуютно, пусто, одиноко и тоскливо.

В такой обстановке я узнал о покушении на Ленина.

Стало совсем невыносимо быть одному в этом большом зале. Позвал друзей, ходили неслышными шагами. Говорили почти шепотом. Боялись нарушить тишину, как будто это обеспокоит раненого Ленина, помешает ему бороться за жизнь...

Около полуночи зазвонил телефон. Говорила одна из сотрудниц Секретариата Совнаркома:

— Юрий, нет ли у тебя рубашки? Ильичу надо делать вторую перевязку, а у него нет больше чистой рубашки; обзвонила весь Кремль, ни у кого нет.

Я как раз на днях получил ордер на две рубашки и купил их в Верхних торговых рядах (ныне ГУМ) в магазине Кандырина. Одна была на мне, а другая лежала в шкафу, ее и послали раненому Ленину.

\* \* \*

Со дня на день ждал я приезда жены с дочкой. Тогда декрета об охране материнства еще не было, за полтора месяца до родов жена временно оставила работу, теперь она должна была приехать и через некоторое время снова приступить к ней.

В зале, где я временно поселился, с новорожденным ребенком жить было невозможно: там не было ни воды, ни кухни. Но в Кавалерском корпусе освободилась квартира, в которой временно жил Владимир Ильич; ее нам и предоставили.

Как ни часто я имел случай видеть Ленина, в кваргиру я вошел в торжественном настроении: за этим столиком он работал. Из окна был виден собор Двенадцати апостолов; конечно, Ильич любовался видом двенадцати изяшных главков собора. Захотелось запечатлеть этот пейзаж — в открытое окно сфотографировал крышу собора, его купола. Снимок я сделал стереоскопическим аппаратом, отпечатал стеклянный диапозитив.

Впоследствии я любил рассматривать этот снимок. Перед глазами вновь появлялись знакомые главки храма в солнечный день, они навевали воспоминания о первых годах революции, воскрешали дорогой образ Ильича.

\* \* \*

Сотрудники аппарата ЦК решили сообща встретить новый, 1919 год и пригласить на новогоднюю встречу Владимира Ильича с Надеждой Константиновной и Троцкого. Ради праздничности вечер устраивали в зале Малого Кремлевского дворца.

Как-то в последних числах декабря жена, придя с работы, рассказала, что товарищи говорили по телефону с Владимиром Ильичем и приглашали его на встречу Нового года. Ильич поблагодарил, сказал, что придет с Надеждой Константиновной.

— А знаешь, что ответил на приглашение Троцкий? Он спросил: «А охрана будет?» Как тебе нравится?! Внутри охраняемого Кремля ему нужна еще особая охрана!

Встреча Нового года, второго Нового года при советской власти, прошла очень весело и дружно. Троцкий не пришел. А простота Ильича создавала общую непринужденность.

## V

Более двух лет работал я непосредственно с А. В. Луначарским и часто встречался с ним в частной жизни.

А. В. Луначарский стал народным комиссаром просвещения уже в первом составе рабоче-крестьянского правительства, образованного на II Всероссийском съезде Советов. Можно без преувеличения сказать: он был блестящим народным комиссаром просвещения.

Ему выпало на долю решение грандиознейшей задачи революции — строительство новой, социалистической культуры. Огромная работа в этом общем комплексе проблем шла по двум главным направлениям: создание новой системы народного образования и перестройка и мобилизация всех видов искусства на помощь революции, приобщение широких масс рабочих и крестьян к сокровищам общечеловеческой культуры.

Один только перечень вопросов, которые требовалось разрешать в области народного образования, говорит о грандиозности масштабов работы. Сюда относились: начальное и среднее обучение; создание единой трудовой школы; политехнизация обучения (реформа школы); создание сети дошкольного воспитания и решение заново относящихся сюда педагогических и гигиенических задач; перестройка гуманитарных и технических высших школ; ликвидация неграмотности взрослого населения; учреждение всевозможных подготовительных курсов и рабфаков для воспитания новой, рабоче-крестьянской интеллигенции; разработка проблем и организация внешкольного политического просвещения широких масс трудящихся. И все это не терпело отлагательства.

А. В. Луначарский с поразительным умением охватывал все эти широчайшие задачи. В коллегии Наркомпроса, на специальных съездах и конференциях, при посещении школ, университетов, детских садов, детских домов он давал не только основные направления, но и компетентные конкретные указания. Он блестяще руководил всем этим делом.

В области искусства требовалось ответить на вопросы: революция и литература, революция и театр, революция и кино, революция и живопись, революция и скульптура, революция и архитектура, революция и музыка,— над всеми этими проблемами размышлял многогранно образованный Луначарский. Значительную часть его деятельности составляли статьи, книги, речи, в которых Луначарский рассматривал с марксистской точки зрения историю и теорию искусства, анализировал классовую природу и исторический смысл различных направлений, намечал пути развития искусства в революции.

Центральную мысль своих работ в этой области Луначарский выразил известным афоризмом: если революция дает искусство душу, то искусство дает революции уста.

Его работа была трудна. Проблемы стояли большие, новые и сложные. Знающих людей было мало. Уже в самом начале революции всем хотелось видеть искусство, которое полностью отвечало бы задачам и запросам революции. Но как этого достигнуть, не знали и зачастую предлагали неправильные и неприемлемые рецепты. Анаголий Васильевич мужественно отстаивал то единственно верное направление, которое при поддержке Ленина он проводил.

Например, в 1919 году Бухарин в одной из статей в «Правде» категорически требовал: надо сломать буржуазный театр, кто этого не понимает — не понимает ничего. Анаголий Васильевич разъяснял: во-первых, не все искусство и не весь театр буржуазной эпохи буржуазны, и в эту эпоху созданы такие ценности человеческой культуры, которые пролетариат должен наследовать; во-вторых, чтобы создать новый, пролетарский театр, необходимо создать пролетарскую драматургию и труппу, а это длительный процесс; и, в-третьих, для быстреего создания пролетарского театра, как и всего пролетарского искусства, необходимо людей, которые вышли из поднимающихся новых классов, воспитывать на достижениях мировой человеческой культуры. И, обозлившись, что редко с ним бывало, он писал: «Пока я остаюсь народным комиссаром по просвещению, это дело — введение пролетариата во владение всей человеческой культурой — остается первой моей заботой, и от этой задачи меня лично не оттолкнет никакой азбучно примитивный коммунизм» (намек, тогда всем понятный: широко распространенная книга Бухарина называлась «Азбука коммунизма»).

Чувствуя поддержку Ленина, Луначарский указывал, что, если бы руководители русской революции избрали другой путь, они назначили бы другого наркома. И, перефразируя Салтыкова-Щедрина, его рассказ о том, как градоначальник Перехват-Залихватский, въехав на белом коне в город Глупов, сжег гимназию и упразднил науки, он язвительно писал, что этот другой нарком «смог бы выехать на белом... впрочем, на красном коне, упразднить университеты и заставить смолкнуть на всех концертах несчастных буржуев Бетховена, Шуберта и Чайковского, распорядившись играть всюду

один только «гимн» (не «Боже, царя храни», а «Интернационал», конечно), пожалуй, с вариациями».

Луначарский был великолепным оратором. Людей, которые хорошо говорят, часто характеризуют: «Говорит, как пишет». Такая характеристика неприменима к Анатолию Васильевичу. Скорее можно сказать, что он писал, как говорил. Он захватывал своей искренностью, темпераментом, эмоциональностью, хотя речи его были насыщены теоретическим материалом и содержали много сведений. Каждый, кто слушал Луначарского, видел перед собой историка, теоретика искусства, знатока политической экономии, философии.

Особенностью Луначарского-оратора было умение быстро мобилизовать весь запас своих огромных знаний, весь свой бурный темперамент. Произнося речь, он вдохновлялся до подлинного творчества.

Впервые я услышал Луначарского в несколько необычной обстановке.

Летом 1917 года с моей сестрой и Анатолием Васильевичем мы договорились вместе пойти на демонстрацию. Перед выходом одной из колонн на Невский проспект, увидев знакомых рабочих, мы влились в колонну и пошли вместе с нею. У одного из перекрестков в начале проспекта неожиданно раздался выстрел. Демонстранты разбежались, скрываясь в боковых улицах, воротах, подъездах. Невский сразу опустел. На середине улицы остались и стояли лишь трое — Луначарский, сестра и я. Нам было как-то даже неловко — стоим как напоказ. Анатолий Васильевич спросил:

— Вы думаете, мы остались на месте и не убежали потому, что мы храбрее? — И тут же сам ответил: — Конечно, не храбрее. Мы шли с колонной, но не были с нею слиты. Толпа, как один целостный организм, испугалась выстрела и в общей панике побежала, а мы были вне этого организма, вне толпы и остались на месте.

«Выстрелом» оказался на деле выхлоп газа в плохо отрегулированной автомашине. Пока это не выяснилось, пока люди возвращались и становились на место, Анатолий Васильевич прочитал нам нечто вроде лекции о психологии толпы. Он сделал глубокий анализ особенностей этого организма, его отличие от коллектива, привел ряд примеров с подробными деталями из разных исторических эпох — одним словом, мы выслушали великолепный экспромт.

Я уже рассказывал, как речь Луначарского сломила саботаж артистов бывших императорских театров. Надо было слышать эту речь, чтобы понять силу воздействия, силу слова этого замечательного оратора.

— Что же, если бы контрреволюционная сволочь упивалась рабочей и солдатской кровью, как это было после поражения Парижской коммуны во Франции, вы, деятели святого искусства, считая себя вне политики, продолжали бы играть, танцевать и перед диктатором, восседающим в царской ложе, продолжали бы петь: «На земле весь род людской чтит один кумир священный, тот кумир телец златой»? — спрашивал Анатолий Васильевич.

Разговор был прямой, серьезный, но становилось ясным, что со стороны и этой враждебной, предубежденной аудитории уже не может быть эксцессов. В зале была тишина. А когда Анатолий Васильевич, увлекательно рассказав о задачах нового, свободного искусства и театра в революции, заканчивая речь, спросил: «Разве можно найти большее счастье для служителя искусства, чем нести свое вдохновение, свое творчество народу, показывать и раскрывать ему сокровища гениев человеческой культуры?» — пришедшие его слушать как враги угрозили ему овацию.

Его знания, неисчерпаемая эрудиция и великолепная память позволяли ему выступать на любую заданную тему. Он как-то говорил, шутя:

— Если меня разбудить ночью, назвать тему, то через пятнадцать минут я буду готов к двухчасовому докладу.

А когда его спросили, как может он выступать с большими речами без подготовки, он изумился и ответил:

— То есть как это без подготовки? Я к этому готовился всю жизнь.

В этой шутке была большая доля правды. В 1916 году в Швейцарии, когда ему стало очевидным, что в России должна скоро произойти революция, он обложился кни-

гами и почти год изучал педагогику и проблемы народного образования. В результате он оказался вполне подготовлен к тому делу, которое ему было поручено.

Мне посчастливилось находиться близко к А. В. Луначарскому и в обстановке частной жизни. Познакомился я с ним еще до Октябрьской революции. Он вернулся из эмиграции в мае 1917 года через Германию, как и Ленин. Сразу же он посетил редакцию журнала «Летопись», где и подружился с моей сестрой Галиной. Тогда же познакомился с ним и я.

Вечерами, или, вернее, почками, после заседаний Совнаркома собиралась небольшая компания. Анатолий Васильевич читал нам вслух свои дореволюционные произведения. Читал и новые.

Читая драматические произведения, Анатолий Васильевич только при первых репликах называл, кто их произносит. Далее он читал так выразительно, меняя тембр голоса и манеру говорить для каждого из действующих лиц, что таких указаний уже не требовалось. Интонацией он передавал тончайшие оттенки характеров как мужских, так и женских.

Анатолий Васильевич читал Маяковского — «Войну и мир», «Облако в штанах» и «Флейту-позвоночник». Он читал их по-своему, не повторяя манеру Владимира Владимировича, очень просто. Оказалось, что это не только возможно, но, по-моему, замечательно хорошо.

Луначарский очень любил музыку. Он говорил, что порой, когда он слушает музыку, у него возникают рифмы, литературные ассоциации. К нему часто приходили музыканты и артисты, играли, пели.

Летом 1918 года, когда я жил в одном из залов Детской половины дворца, Анатолий Васильевич, приезжая из Петрограда в Москву со своим неизменным помощником Д. И. Лещенко, размещался в соседнем зале. Народным комиссаром имуществ республики был тогда назначен товарищ П. П. Малиновский. Мои регулярные посещения Совнаркома прекратились. Но Луначарский, возвращаясь из Совнаркома, всегда рассказывал нам, как прошло заседание.

В моем зале была турецкая тахта. Мы с Лещенко усаживались на ней и слушали. Анатолий Васильевич ходил по комнате, иногда со стаканом чая в руке, и говорил. Это был, пожалуй, не рассказ, а мысли вслух. Анатолий Васильевич обдумывал и оценивал, как Ильич решал тот или иной вопрос.

Меня, до этого почти ежедневно посещавшего заседания Совнаркома, слушавшего Ленина, восхищали острота восприятия Луначарского и сила его ума. Какой анализ событий и решений он давал, какие исторические параллели проводил, какие делал философские обобщения! Я сидел, боясь шелохнуться, и слушал как замороженный. Невольно приходило в голову: до чего же бедны мои собственные восприятия! Еще совсем молодым человеком я начинал понимать, какое огромное значение имеют знания для правильного осмысливания жизни. Какое счастье быть близко к такому человеку, как Луначарский!

Ленин не только высоко ценил Луначарского — он любил его. Реплика Ильича об Анатолии Васильевиче красноречиво говорит об этом. Относится она к тому времени, когда Луначарский отошел от партии и присоединился к группе «передовцев-махистов» во главе с А. Богдановым и В. Базаровым. В то время в Италии на Капри Ленин говорил А. М. Горькому:

— Луначарский вернется в партию.. На редкость богато одаренная натура. Я к нему «питаю слабость», — черт возьми, какие глупые слова: питать слабость! Я его, знаете, люблю, отличный товарищ! Есть в нем какой-то французский блеск.

Мой младший брат Александр с конца 1918 года в течение трех лет был секретарем А. В. Луначарского. Нарком и секретарь были очень дружны. Анатолий Васильевич звал его просто Шура. Все близкие к наркому работники Наркомпроса, театров и других учреждений любили его секретаря и звали его тоже не иначе как Шура.

Луначарский был человеком мягким. Многие этим злоупотребляли. Шура старался, как мог, оберегать его от назойливых ходатаев, просителей, которые, зная характер Анатолия Васильевича, не прочь были пытаться устраивать свои делишки. Влюблен-

ный в своего наркома, двадцатилетний секретарь пытался добиваться твердости в решении тех административных вопросов, которыми приходилось заниматься наркому. Он болезненно переживал «административную беспомощность» Анатолия Васильевича и наивно пытался «воспитывать» у него твердость, но неизменно терпел поражения в этой непосильной борьбе. Луначарский любил Шуру и, видя его усилия, добродушно признавал свои недостатки, посмеивался.

Свою работу в Наркомпросе Шура оставил, когда пошел учиться в высшее учебное заведение. В дальнейшем судьба его сложилась неблагоприятно. Погиб он еще молодым. Во время Отечественной войны он служил в саперных частях. В 1942 году под Ленинградом при возвращении с выполненного задания группа саперов была обстреляна вражеским самолетом, и Шура был убит. Все товарищи по Наркомпросу, знавшие его, хранят о нем светлую память.

\* \* \*

Еще в 1916 году в Нижнем Новгороде у одной знакомой я как-то увидел книжечку в серой обложке: В Маяковский, «Простое, как мычание». Развернул, прочел несколько стихов и отшвырнул:

— Какая чепуха!

И тут же получил щелчок.

— Вы ничего, Юрий, не понимаете.

Я был смущен таким ответом, еще несколько раз брал эту книжечку с интригующим названием и пытался читать. Не понимал. Не нравилось.

Но вот произошла революция. Захватила новая большая работа. Я чувствовал, что переживаю небывалый подъем, напряжение и взлет всех своих сил. Однажды в свободный вечер зашел к своей знакомой, на глаза попалась опять эта серая книжечка. Опять раскрыл ее. Читаю и чувствую, что стихи созвучны моему настроению, состоянию того подъема, который владел мной. Я начал их понимать.

Мое личное знакомство с В. В. Маяковским произошло уже после Октябрьской революции. Встречался я с ним у Луначарского, в Кинокомитете, в Госиздате, в частной обстановке и даже за границей (в Париже) и всегда, при всех встречах любовался им. Хотя вначале я не понимал и не принимал его стихов, впоследствии они стали мне просто необходимы. Иногда наизусть, а чаще с книжкой читал я вслух его стихи.

Помню, в тяжелые для меня годы на далеком Севере я и мои товарищи боролись за то, чтобы выжить, чтобы сохранить себя для новой работы в партии. Древнюю римскую поговорку: «В здоровом теле — здоровый дух» — мы переиначили: «Тело здоровое, если здоров дух». Надо было сохранить твердость убеждений, мобилизовать всю свою выдержку. В тяжелой обстановке, в полумраке, голодные и усталые, казалось, на самом краю своего жизненного пути вдвоем с ленинградским инженером коммунистом Ф. С. Сидоренко мы как одержимые скандировали:

Четырежды состарюсь — четырежды  
омоложенный,  
до гроба добраться чтоб.  
Где б ни умер,  
умру поя!  
В какой трущобе ни лягу,  
знаю —  
достоин лежать я  
с легшими под красным флагом.

А. В. Луначарский считал, что за бравадой у Маяковского скрывалась его застенчивость. Не могу с этим спорить. Но вспоминаю такой случай. Однажды в 1919 году по какому-то делу мне надо было договориться с Анатолием Васильевичем. Утром перед уходом на работу я забежал к нему. Когда я вошел в кабинет, там находился Владимир Владимирович. Его разговор с Луначарским был закончен, но Маяковский оставался в кабинете, он нервничал и был явно возбужден.

После короткого разговора с Луначарским я получил от него поручение и должен был в его машине поехать в Наркомпрос. Анатолий Васильевич сказал, что со мной едет Маяковский, которому также надо туда.

Мы пошли. Спускаясь по лестнице, Маяковский брюзжал:

— Нашел кого назначить! И где он его выискал?

Когда мы влезли в машину, там уже сидел какой-то, видно еще молодой, человек с длинной черной бородой и большими круглыми глазами — он также должен был ехать в Наркомпрос. Владимир Владимирович продолжал браниться. Ругательства сыпались одно за другим, одно другого крепче. Я спросил:

— Кого и за что вы так браните?

— Нового заведующего отделом искусства Росского,— последовал ответ.

Тогда бородатый молодой человек со смущенной улыбкой протянул руку и сказал:

— Давайте знакомиться, я Росский...

Я чувствовал себя очень неловко, а Владимир Владимирович без тени смущения пожал руку и ответил:

— Ну вот и хорошо, вы теперь знаете, что я о вас думаю.

Эта резкая прямота мне очень понравилась.

## VI

Шла гражданская война. 15 апреля 1919 года в газете «Правда» было опубликовано постановление ЦК РКП (б) о мобилизации на фронт группы товарищей. В списке мобилизованных была и моя фамилия. Однако прочел я о своей мобилизации лишь через одиннадцать дней, когда «Правда» прибыла в Киев, где я находился в командировке.

В это время я был председателем Кинокомитета Наркомпроса. Только что нами была проведена национализация кинопромышленности. В Москве среди нескольких частных организаций, занимавшихся съемкой и прокатом кинокартин, было голько две фирмы, о которых можно было говорить как о предприятиях,— это кинофирмы Ханжонкова и «Русь». Во главе фирмы «Русь» был молодой талантливый коллектив, который сумел привлечь в кино крупных артистов Художественного театра (Москвина и других). Поэтому было решено сохранить эту организацию. Ее не национализировали, а превратили в кооперативное предприятие «Межрабпом — Русь».

По существу государство при национализации кинопромышленности получило в Москве лишь ателье кинофирмы Ханжонкова на Житной улице и аппараты проката с некоторым количеством старых картин. За годы работы в Кинокомитете у меня осталось впечатление, что все это дело в то время было связано с большой спекуляцией. До революции пленка в стране не производилась, а ввозилась из-за границы. Все наличные запасы ее после революции припрятали частные владельцы. Достать пленку можно было только из-под полы, по спекулятивной цене. Режиссеры и художники, которые группировались тогда около Кинокомитета, тратили свои силы больше на то, чтобы сорвать побольше денег за каждую работу, которую выполняли. Ни одной не только талантливой, но даже просто приемлемой художественной кинокартины Кинокомитету в то время создать не удавалось. Много и с интересом, порой даже самоотверженно работали только операторы кинохроники.

Вскоре запасы пленки на московском черном рынке были почти исчерпаны. Но к началу года Красная Армия освободила Киев, и решено было направить туда комиссию, чтобы с ведома местных властей скупить там у частников всю припрятанную кинопленку и, таким образом, сразу отделаться от спекулянтов и обеспечить себе возможность производства новых кинокартин. Вот почему я оказался в Киеве.

Быстро завершив дела, я поторопился выехать в Москву и явился в Политуправление Реввоенсовета республики. Однако поезда в то время двигались крайне медленно, и я ехал в Москву одиннадцать суток.

Когда я с таким опозданием пришел к начальнику ПУРа, все вновь созданные дивизии были уже укомплектованы военными комиссарами, для чего и была мобили-

зована наша группа. Политпросвет ПУРа в это время создавал у себя киноотдел для организации стационарных и передвижных киноустановок в частях Красной Армии. Меня назначили инспектором Политпросвета ПУРа и временно оставили работать председателем Кинокомитета Наркомпроса. Моей задачей было помочь вновь созданному в ПУРе киноотделу проекционными аппаратами и использовать привезенную из Киева киноплёнку для выпуска агитационных короткометражных картин для Красной Армии. Этим делом я занимался примерно полгода, а на фронт выехал лишь в декабре 1919 года.

Я был назначен начальником редакционно-издательского отдела политотдела Юго-Западного фронта, который находился в Харькове. Начальником политотдела был В. Н. Потемкин. Мы издавали военный фронтовой журнал, газету для красноармейских частей фронта, газету для солдат, мобилизованных белогвардейцами и находящихся за линией фронта, много брошюр, листовок, плакатов и прочее. В небольшом аппарате отдела было несколько журналистов и группа пролетарских поэтов во главе с И. Садофьевым. Все они работали дружно и самозабвенно.

Кроме редакционно-издательской деятельности, я был еще председателем фронтовой контрольной парттройки, лектором на курсах подготовки агитаторов и пропагандистов для частей фронта, мне приходилось постоянно выступать с докладами на собраниях и митингах. Был делегатом Всеукраинского съезда партии, депутатом Харьковского Совета. Словом, работы было много. Но коллектив политотдела был молодой, дружный, и работалось весело.

\* \* \*

Нарушая хронологический порядок, расскажу о двух забавных встречах, случившихся во время моей политотдельческой работы.

Как-то летом 1920 года в Харьков, в политотдел Юго-Западного фронта, приехал М. П. Павлович (Вельтман). В прошлом меньшевик, он был крупным экономистом, автором нескольких работ по империализму<sup>1</sup>. На курсах агитаторов и пропагандистов он должен был прочитать четыре лекции об империализме.

Я был знаком с работами Павловича. Они написаны живым языком, насыщены большим фактическим материалом и читались с большим интересом. Поэтому было очень заманчиво получить лекции Павловича и издать их в качестве пособия для курсантов. Я обратился к нему с просьбой дать мне рукопись лекций. Павлович категорически отказал в моей просьбе.

— Через четыре-пять дней я должен уехать. Рукопись у меня в одном экземпляре, а она мне нужна. К сожалению, ничего не выйдет.

После первой лекции я попросил Павловича на следующий день утром зайти ко мне в редакционно-издательский отдел.

Павлович долго жил в эмиграции во Франции. Он привык к французской кухне — обедать с вином. Был он мужчина крупный, тучный, с хорошим аппетитом, а здесь ему приходилось сидеть на скудном и даже просто голодном красноармейском пайке.

В 11 часов утра грузная фигура М. П. Павловича появилась в дверях кабинета.

— Здравствуйте! Зачем я вам понадобился? — пробурчал он, присаживаясь к столу.

— Михаил Павлович, надо все же издать ваши лекции. У меня тут приготовлен и аван в счет гонорара, — сказал я, вынимая из ящика фунт сливочного масла и бутылку вина, рано утром купленные на рынке.

— Откуда у вас такие сокровища? — ахнул он. — Ну и хитрец! От такого аванса я не могу отказаться.

Короче, мы вместе пошли за рукописью.

Вечером после второй лекции я просил Павловича опять зайти утром в отдел, сказав, что нужна его помощь. Надо было видеть удивление Павловича, когда я вручил ему пачку гранок набора его лекций и просил выправить их, не уходя из отдела.

<sup>1</sup> В своих ранних работах М. П. Павлович (Вельтман) расходился с Лениным в определении империализма, может быть, поэтому он сейчас известен только специалистам.



Когда была прочитана последняя, четвертая лекция и Павлович ответил на вопросы курсантов, он получил двадцать пять авторских экземпляров своих лекций об империализме. Их тут же раздавали курсантам.

Тут уж Павлович совсем растерялся. А на следующий день, как было условлено, он получил повторно масло и вино.

В сентябре, будучи в Москве на IX Всероссийской партконференции, я узнал, что Павлович так рекламировал издательскую деятельность нашего политотдела, что А. В. Луначарский просил ЦК партии отозвать меня из армии и назначить управляющим Госиздатом. Я был рад, что в этом было отказано: я не терял надежды после окончания гражданской войны стать инженером и работать в области хозяйственного строительства...

Осенью 1920 года перед Красной Армией встала задача — быстрее разгромить и ликвидировать вырвавшиеся из Крыма и продвигавшиеся к Донбассу войска Врангеля.

В начале октября меня вызвал к себе товарищ Александров, новый начальник политотдела фронта, теперь уже Южного. Оказывается, к нам приехал Демьян Бедный. Он привез только что написанный им «Манифест барона фон Врангеля». Стихотворение было удачное, своевременное. В тот же день мы быстро отпечатали листовки с «Манифестом», украшенные царским двуглавым орлом. На рассвете наши летчики разбрасывали их с самолета над расположением врангелевских войск.

Утром пришел Демьян Бедный и попросил показать ему гранки набора. Я показал ему листовку и сообщил, что она уже отправлена в наши воинские части и разбросана с самолетов над войсками Врангеля. Бедный был очень доволен.

Вечером начальник политотдела передал мне второе стихотворение Демьяна Бедного. Оно было написано опять от имени Врангеля, но было раза в три длиннее, изобиловало немецкими выражениями, требовавшими пространных примечаний-переводов, в общем, было неудачно. Отдавая эти стихи в типографию, я сказал, что с набором можно не торопиться. Ни наши красноармейцы, ни малограмотные солдаты и казаки Врангеля не справятся с обилием подстрочных переводов.

Прошло три дня. Меня вызвали к начальнику. В кабинете сидел Демьян Бедный.

— Доложите, в каком состоянии второе стихотворение товарища Бедного, которое я вам передал? — спросил меня товарищ Александров.

— Оно еще не набрано. У типографии сейчас очень много работы, — ответил я.

Демьян Бедный возмутился:

— «Манифест» был набран, отпечатан и разослан за одну ночь, а тут типография оказалась загружена? Что это за работа фронтового издательства?!

Тут я не выдержал и по молодости ляпнул:

— Так «Манифест» — хорошие стихи, а это что? Набор немецких фраз с целым словарем.

Бедный покраснел и закричал, что я ничего не понимаю в стихах. Когда мы остались одни, Александров мне сказал с упреком:

— Ну как можно говорить в лицо Демьяну Бедному такие вещи? Пусть это неудачное стихотворение, все равно надо его напечатать.

Как мне ни хотелось, но повторное распоряжение пришлось все же выполнять.

\* \* \*

1920 год. Красная Армия разгромила белогвардейские армии Краснова, Колчака, Деникина и Юденича. Вынуждены были убраться восвояси иностранные интервенты: французы, англичане и американцы. Оставалось лишь ликвидировать запертые в Крыму белогвардейские войска барона Врангеля. Советская республика, стремясь быстрее закончить гражданскую войну, предложила Польше заключить мирный договор. Однако западноевропейские империалисты сделали еще одну попытку задушить русскую революцию. Они натравили на Советскую республику польское правительство Пилсудского, вооружили и снабдили инструкторами его армию.

Весной 1920 года польские войска двинулись на Советскую Украину. Первоначально им удалось проникнуть в глубь страны и взять Киев. Однако вскоре положение резко изменилось. Красная Армия перешла в наступление, освободила всю оккупированную территорию и стремительно преследовала армию Пилсудского на путях к Варшаве. Конный корпус Гая прорвался за Варшаву и громил тылы противника. Казалось, падение Варшавы неизбежно. Но передовые части Красной Армии, преследуя быстро бегущего врага, оторвались от резервов, от тяжелой артиллерии и потеряли связь с базами снабжения. Началось общее отступление наших войск.

В это время, в конце сентября, в Москве собралась IX Всероссийская конференция партии. Я был на ней делегатом от политотдела Юго-Западного фронта.

Перед открытием конференции в ее кулуарах происходили ожесточенные споры. Многие обвиняли делегатов—командиров армий нашего фронта за поражение под Варшавой. Страсти разбушевались. Неужели, думал я с тревогой, конференция заполнится одними только упреками и самооправданиями?

Но вот конференция открылась. На трибуне появился Ленин. Он спокойно сказал, что нет надобности останавливаться на вопросе, кто виноват в том, что Варшаву мы не взяли. Необходимо определить задачи партии в создавшейся обстановке и мобилизоваться для их выполнения. Сняв этим ненужные пререкания и направив работу конференции по деловому пути, Владимир Ильич рассказал, какое значение для развития международной революции получило бы взятие Варшавы.

Приближение Красной Армии к Варшаве всколыхнуло всю Германию. Там многие слои населения были готовы идти с большевиками. В Англии в ответ на ультиматум Керзона, чтобы воспрепятствовать ее вступлению в войну против Советской России, рабочие по всей стране организовали «комитеты действия».

Но мы отступили от Варшавы. Положение создалось тяжелое. Империалисты толкают Польшу на продолжение войны. Врангель вылез из Крыма, занял Мариуполь и движется на север. Но польская кампания показала, что Польша победить нас не может, а мы могли бы и можем одержать над ней победу. Мир с Польшей будет заключен. Ленин призывал мобилизовать все силы в походе на Врангеля. Надо закончить гражданскую войну до зимы и приступить к хозяйственному строительству.

Мы слушали Ленина с величайшим волнением. Конференция деловым образом обсуждала поставленные им задачи. Пререкания и упреки были забыты.

На всю жизнь мне врезалась в память эта конференция. Я увидел на ней Ильича с какой-то новой стороны. Это был не только вождь революции, который руководит ее силами и хорошо маневрирует в любых условиях. Тут я особенно ошутимо увидел в нем старшего товарища, учителя в собственном смысле этого слова. Его предложение в начале доклада не искать виновных не было указанием начальника, запрещением, диктатом. Это был мудрый совет старшего.

Позже, читая и перечитывая Ленина, я всегда отмечал для себя присущую ему педагогическую способность — воспитывать и учить энергичному, но спокойному и трезвому мышлению.

## VII

IX конференция партии работала в конце сентября 1920 года, а в декабре я уже был опять в Москве. За эти три месяца мир с Польшей был заключен, Врангель разгромлен, гражданская война в основном окончилась. Постановлением ЦК я был демобилизован и направлен в ВСНХ.

В Москве проходил VIII Всероссийский съезд Советов. На этом съезде я присутствовал с гостевым билетом. Ленин говорил об электрификации. Едва успели отгнать пушечные выстрелы, умолкнуть пулеметы, как был развернут грандиозный план строительства новой жизни.

Ленин нарисовал увлекательную перспективу превращения отсталой крестьянской страны в передовую, индустриальную, электрифицированную социалистическую державу. Он сказал, что на днях Моссовет закрыл Сухаревку (рынок-барахолку). Но страшна не та Сухаревка, что закрыта. Страшна Сухаревка, которая живет в душе

и действиях каждого мелкого хозяина. Эта Сухаревка — основа капитализма, ее надо закрыть. Для этого необходимо перевести хозяйство страны, в том числе земледелие, на новую техническую базу, на техническую базу современного крупного производства. Такой базой может быть только электрификация.

И тут прозвучала знаменитая формула Ленина: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

В плане ГОЭЛРО даны были пути социалистической перестройки хозяйства страны. Он как бы дополняет программу нашей партии. Поэтому план ГОЭЛРО Ленин назвал второй программой партии.

Этот доклад Владимира Ильича и определил мою судьбу.

Я вспомнил, как в конце 1917 года, когда меня назначили заместителем народного комиссара, сестра иронически спросила меня:

— Куда же ты дальше пойдешь? В наркомы?

Я ответил:

— Нет, пойду в студенты.

И вот теперь я твердо решил: время идти в студенты.

Однако уйти учиться мне не разрешили. Зимой и летом, достав книги, в свободные вечера я изучал дифференциальное, интегральное исчисления, стараясь восстановить в памяти то, что учил в университете.

С осени 1921 года я начал учиться на электротехническом факультете Московского высшего технического училища без отрыва от работы. Учиться было нелегко — я был членом коллегии научно-технического отдела ВСНХ, затем по совместительству директором ЦАГИ, докладчиком и пропагандистом райкома! Но и запас сил был еще немалый. В 1925 году, окончив МВТУ, я стал инженером-энергетиком.

В 1925 году была введена в действие первая крупная электростанция, построенная по плану ГОЭЛРО, — Шатурская ГРЭС. Присутствуя на ее открытии, решил: здесь буду специализироваться, начав с дежурного инженера. Но Ф. Э. Дзержинский, который был тогда председателем ВСНХ, задержал меня на работе в научно-техническом отделе и в ЦАГИ, а в 1927 году вместо дежурного инженера электростанции меня назначили в Главэлектро начальником отдела и вскоре заместителем начальника главка с поручением руководить строительством электростанций по плану ГОЭЛРО..

Таким образом, в энергетике, как и в административно-организационной работе, мне пришлось проходить путь в обратном направлении — начинать изучение дела сверху. Однако правильно отнестись к своим задачам и возможностям, выработать требовательность к себе и добиться некоторого успеха в изучении техники и энергохозяйства мне помог один эпизод, случившийся, когда я еще работал в научно-техническом отделе ВСНХ.

В 1925 году, когда начиналось строительство новых заводов, мне было поручено организовать научно-технический совет из крупных специалистов для консультации по проектам этих заводов. Я должен был переговорить с профессором Я. В. Самойловым (он тогда был директором Института изобретений) и предложить ему почетный пост — председателя совета. Я. В. Самойлов отказался. Он скептически отнесся к пользе коллективной технической консультации, ибо здесь «вопроса голосованием не решишь», в особенности же считал непродуктивным обсуждение в совете с секциями проектов по различным специальностям. Он привел мне в пример, как это дело организуют наиболее культурные капиталисты.

Когда Я. В. Самойлов кончал учиться на геологическом факультете университета, руководитель дипломной работы дал ему письмо к Гужону, владельцу московского металлургического завода (ныне завод «Серп и молот»), просившему рекомендовать ему толкового оканчивающего студента.

Гужон принял Самойлова на работу и для начала поручил ему поехать в Харьков, в Общество владельцев угольных предприятий Донбасса, по их материалам изучить геологию бассейна и составить для него, Гужона, обзорный доклад. Зарплату он назначил двести рублей в месяц.

На недоуменный вопрос Самойлова, почему, получив доступ к ценнейшим, обычно закрытым материалам и изучая интереснейший вопрос, он будет получать такой высокий оклад, Гужон коротко ответил: «Не жалеете моих денег».

Представленный через два-три месяца Самойловым доклад был внимательно прочитан, о чем свидетельствовали пометки и подчеркивания цветными карандашами. Гужон одобрил работу и дал новое поручение — поехать с ним на южные металлургические заводы, затем, оставшись там, изучить весь процесс производства и особенно детально ознакомиться с производством кокса. При этом Гужон сообщил, что, высоко оценивая работу Самойлова по геологии Донбасса, он увеличивает ему оклад до двухсот пятидесяти рублей в месяц.

Опять через два-три месяца был представлен доклад, который показывал, что Самойлов добросовестно изучил производство, особенно технологию кокса, установил зависимость качества получаемого кокса от свойств и качества угля. Работа была также высоко оценена, зарплата повышена до трехсот рублей в месяц, и было дано еще задание: Самойлов должен был поехать в один из районов Донбасса, чтобы детально изучить условия добычи коксующихся углей в шахтах и геологические условия залегания углей в одном из районов бассейна.

По окончании работы повторилась та же история. Работа была внимательно изучена и одобрена. После всей этой учебно-подготовительной работы Гужон сказал Самойлову: «Я хочу строить под Москвой коксовый завод. Для этого завода я хочу сам организовать добычу угля. Вы мне должны указать, какой угленосный участок я должен приобрести».

Яков Владимирович заключил свой рассказ:

— Гужон мог обратиться за консультацией к кому-либо из профессоров, хорошо знающих Донецкий бассейн. Но, во-первых, это стоило бы ему примерно пять тысяч рублей, во-вторых, он имел бы основания сомневаться в такой консультации, опасаясь связи консультанта с конкурентами — владельцами шахт. Мне же, щедро повышая оклад, он выплатил всего тысячи две. Он знал, что я достаточно изучил все материалы, чтобы дать верный совет. Кроме того, он знал, что сын родителей с небольшим достатком будет благодарен ему. Попросту он дешево купил меня, сам же подготовив меня для квалифицированной консультации.

Эта притча заставила меня задуматься. Советская власть меня покупать не должна, думал я: я и так ей предан. Но мне надо настолько изучить энергетику, чтобы стать настоящим специалистом и быть в состоянии решать вопросы и консультировать по техническим проблемам.

С такой ясно поставленной задачей я и начал работать по электрификации.

К этому времени у нас уже работало семь новых электростанций общей мощностью в 160 тысяч киловатт, в их числе Волховская (56 тысяч киловатт) и Шатурская (48 тысяч киловатт) — первенцы наших крупных гидравлических и тепловых электростанций. Было начато строительство еще четырех электростанций общей мощностью в 110 тысяч киловатт. В 1928 году было начато строительство двенадцати электростанций мощностью в 910 тысяч киловатт, и среди них Днепровская ГЭС — 560 тысяч киловатт. В 1929—1930 годах начиналось строительство еще десяти электростанций общей мощностью в 690 тысяч киловатт и принялись за расширение действующих и строящихся электростанций на 500 тысяч киловатт. В 1931 году — еще десять электростанций мощностью в 715 тысяч киловатт. В начале этого года мы с Г. М. Кржижановским уже писали рапорт в ЦК партии о том, что план ГОЭЛРО выполнен в наикратчайший из намеченных сроков — через десять лет.

На мою долю выпало большое счастье быть одним из руководителей строительства электростанций, сооружаемых по плану ГОЭЛРО. Наиболее ответственный период этой работы мне довелось быть рядом с Г. М. Кржижановским как его заместителем в Энергоцентре.

О чем мог еще мечтать инженер-коммунист? Но надо было следовать намеченному жизненному пути. Хотя и с трудом, но все же мне удалось уйти с этой работы и стать в непосредственной близости к технике. Я занялся непосредственным строительством ТЭЦ сверхвысокого давления в Москве (ныне ТЭЦ-9 Мосэнерго). Работа на

этой электростанции представляла большой технический интерес — надо было осваивать новые параметры пара, новое оборудование (в том числе котел Рамзина); управление нашего строительства самостоятельно вело и проектирование.

Через два года, когда завершались работы по сооружению ТЭЦ, А. М. Горький прислал ко мне своего секретаря с просьбой написать в журнал «Наши достижения» статью «Как я стал инженером». К этому времени я уже был профессором Московского энергетического института, руководил кафедрой и читал курс «Электрические станции», а также читал курс по энергетике в Институте красной профессуры. Но я отказался написать эту статью и просил передать Горькому, что инженером в полном смысле этого слова я еще не стал. Лишь через три года, к началу 1937 года, когда мы как следует повозились с освоением оборудования с высокими параметрами пара, проектировали и осуществляли реконструкцию котлов и другого оборудования, я мог сказать себе: вот теперь я написал бы статью для журнала Горького — пожалуй, я уже стал инженером.

На восьмом десятке лет я продолжаю работать в Министерстве энергетики и электрификации СССР как технический консультант — председатель секции тепловых электростанций технического совета министерства, внося свой посильный вклад в великое дело электрификации нашей страны, начатое В. И. Лениным.



В. КАРДИН

★

## СЛУЖИТЕЛЬ СОВЕСТНОГО СУДА

**СЯ** воспользовался названием давней, едва ли не забытой статьи Лидии Сейфуллиной, посвященной Александру Николаевичу Островскому. Статья приурочена к столетию со дня рождения великого драматурга и опубликована в журнале «Сибирские огни» за 1923 год.

Л. Н. Сейфуллина еще только начинала. Если не принимать в расчет первые опыты, ее литературный стаж исчислялся месяцами. Однако за эти недолгие месяцы появились «Правонарушители», «Перегной», и молодая писательница, как видно, почувствовала необходимость теоретически осмыслить свою работу. Юбилей А. Н. Островского предоставил такую возможность, и Лидия Сейфуллина к ней прибегла с увлечением, равным тому, с каким писала первые повести и рассказы. Она вовсе не воспользовалась юбилейным поводом, дабы провозгласить собственные принципы. Но не наделенная исследовательской бесстрастностью, она говорила о А. Н. Островском с очевидной личной причастностью.

Упомятая в заголовке статьи должность А. Н. Островского (он, как известно, некоторое время состоял на службе в Московском Совестьном суде), Сейфуллина, конечно же, имела в виду высокое назначение писателя и безусловное соответствие ему того, о ком писала. Если литература для Сейфуллиной — высший Совестьной суд, то А. Н. Островский — образец такого служения. Он без утайки давал полную живую правду и «не мешал суду ни поучениями, ни добавлениями, ни пояснениями». Чтобы мир изображаемый воспринимался как мир действительный, необходимо предоставить зрителю, читателю возможность забыть об авторе. На том стояла Л. Сейфул-

лина. Совесть художника — в верности объективной жизни, верности, исключающей искусственное конструирование и всякие прочие способы «улучшения» либо «ухудшения» жизни.

«Смотри и виждь! Милостью таланта бытописатель верит своему тайному зрению. Он никогда не сгустит черных теней зла, не преувеличит мощь крыльев добра. И оттого, что он никогда не встанет ненужным для ярко нарисованного им мира толмачом в поле зрения читателя, он один может дать читателю момент полного художественного удовлетворения: уверенность в правде им написанного. Удовлетворение полного постижения им написанного».

Сейфуллина настаивает на разграничении понятий бытописатель и бытоописатель. Бытописатель — не бестрепетный свидетель, не равнодушный регистратор, упивающийся собственной пронизательностью: мол, пишу, что вижу, а там хоть трава не расти. Бытописание — высокая форма творчества, доступная Островскому, Чехову, Толстому. Оно не нуждается в авторских поучениях. «Подлинный бытописатель, милостью таланта возведенный в этот сан, обладает не только внешней зоркостью, а остротой тайного духовного зрения. Это тайное зрение дает ему возможность выделить из спящего какофонией красок полотно жизни сгусток типичнейших ее черт, бросив мелочь подсобных — на заработок фотографу, бытоописателю. Это тайное зрение находит в социальном теле народа основные недостатки и угрожающие здоровью его в данный период язвы. И отменяя болячки и ссадины случайные и скоро заживающие, бытописатель указывает

властным перстом требующие немедленного лечения. Он предъявляет читателю не свои рассуждения, а живую убедительность действий, желаний, поступков героев своего произведения, созданный ими быт; прекрасное и отвратительное в нем строго правдиво.

Принципы классика театральной литературы Л. Сейфуллина считала применимыми не в одной драматургии, сама специфика которой «удаляет» автора. Сейфуллина опиралась также на Чехова и Толстого.

Она говорила о силе художника, невольно подтверждая свои мысли своим творческим примером. Пример этот с годами приобрел более широкий смысл. И свидетельствовал уже не только о силе, но и о том, что ее нередко продолжает,— о слабости.

Стремительно и прочно заняв место одного из талантливейших зачинателей советской литературы, Л. Сейфуллина с годами утвердилась в положении скромного и не всегда заметного «продолжателя». Критики упрекали в затянувшихся паузах, литературоведы именовали это кризисом. Сама писательница нередко признавалась в мучительности поисков и недовольстве результатами...

Вклад Лидии Сейфуллиной в советскую литературу значителен, проблемы ее творчества многосложны. Не претендуя на исчерпывающее их решение, не отмечая уже сделанного нашим литературоведением, предпримем дальнейшие шаги в этом направлении.

Когда Сейфуллина писала статью «Служитель Совестного суда», вряд ли ее эстетические воззрения представляли собой стройную систему. Вернее предположить, что они сами собой вытекали из безоглядного доверия, которое она испытывала к революционной, в муках и борьбе обновляемой действительности. Если художник верит в нее, в ее проявления и факты, зачем кроить и перекраивать эти факты, лишая их убеждающей читателя подлинности, превращая свое высокое служение в суетное прислужничество?

Так диктовал скромный, но достаточно красноречивый опыт молодой писательницы, подтвержденный примером классиков.

Почему Л. Сейфуллина не обращалась к произведениям других советских писателей? Да их почти не было. Споров, исканий, проб было много, а книг мало. Хва-

тило бы, пожалуй, пальцев, чтобы их перечислить. В начале перечисления — «Бронепоезд 14-69» и «Партизаны» Вс. Иванова, «Неделя» Ю. Либединского, «Правонарушители» и «Перегной» Л. Сейфуллиной. Произведения, многим из которых предстояло стать советской классикой — «Чапаев», «Железный поток», «Разгром», «Тихий Дон», «Конармия», «Цемент», — еще не были созданы.

Ранние книги Лидии Сейфуллиной необыкновенно органичны, лишены малейшей преднамеренности: так виделось, думалось, писалось. Так новая явь сама воздействовала, нет, формировала своего художника. Победный творческий дебют сообщает сейфуллинскому манифесту — а «Служитель Совестного суда» своего рода манифест — убедительность литературного успеха, естественного слияния нравственных и эстетических начал.

«Правонарушители», «Перегной», «Виринея», другие рассказы и повести тех лет писались в состоянии властной зависимости от объекта изображения. Мало сказать — Сейфуллина знала эти объекты, мало напомнить о посещениях Тургорской детской колонии, где она сдружилась с будущими героями «Правонарушителей», или назвать женщин, послуживших прототипом Виринеи. Л. Сейфуллина прошла через быт своих героев не свидетельницей, а ровней. Он отпечатался на ней, она несла в себе его приметы и знаменья, его драмы, следы его борений.

Она была страстно привержена происходившему. «Острота тайного духовного зренья» — дар кровно заинтересованного художника. Потому-то он бросает фотографу — вот у кого холодново регистрирующая объективность — мелочишку незначущих подробностей. Сущее для него слишком важно, чтобы проавляться чем-то второстепенным, увлекаться выигранным, приманивать читателя сюжетным эффектом. Он дает сгустки жизни. А они неизбежно проблемны. Ибо сконцентрированная под пером писателя жизнь всегда проблемна.

Зависимость от мира была Л. Сейфуллиной не в тягость, а в радость. О «Правонарушителях» она вспоминала: рассказ писался «с веселой душой... как поется, когда хочется петь». И гордилась: рассказ создавался «по специальному заказу, с вы-

бором наиболее актуального по тому времени для нас вопроса».

Живую потребность дня Л. Сейфуллина принимала как властный императив пробудившегося, осознавшего себя писательского «я». Это рождало радостный энтузиазм, придавало глазу, руке незнакомую прежде уверенность, наделяло решительностью.

Вопрос, поставленный в «Правонарушителях», — ничего не скажешь — был очень актуален. И чтобы убедиться в этом, не было необходимости лишний раз посещать Тургоряжскую опытную детскую колонию. Поездки эти имели несколько иное назначение. Жизнь должна была подтвердить выбор, укрепить надежду. И она сделала это, рождая полное согласие между реальностью и писательским представлением о ней. Такое согласие несказанно воодушевляло. Рассказы, повести, трагические по своим коллизиям, писались с победным оптимизмом.

Это не оптимизм счастливых концовок, самодовольных «хэппи эндов». Оптимизм Сейфуллиной — от уверенности в правильном развитии жизни, в исторической неизбежности торжества добрых начинаний, достойных дел. «Исторической» отнюдь не в смысле десятилетий и веков. История творилась незамедлительно.

«Правонарушители» менее драматичны, нежели «Пережной» и «Виринея». Но и в них — горечь изуродованных войной и бездомностью детских судеб. Легко ли отъявленную шпану приобщить к честному труду, какому ни на есть знанию, через слой грязи пробиться к чистой сердцевине таких — оторви да брось — ребят, как Гришка Песков. И когда все начинает наконец налаживаться, над колонией, созданной подвижничеством и энтузиазмом Мартынова, нависает угроза закрытия, над колонистами — угроза голода.

Да, словно бы соглашалась писательница, трудно, очень трудно. «Дело табак... Дело — хны!» — как говаривал Мартынов. Не только с продуктами, одеждой. Мартынова не признают наробразовские деятели, суют палки в колеса, приказывают ликвидировать колонию. Но он сделал и — чего бы то ни стоило — будет делать свое дело. Мартынов не отречется от вчерашнего беспризорника Гришки Пескова, а Гришка не изменит ему.

Рассказ строен и до прозрачности ясен. В нем живет «веселая душа» писательни-

цы, все приводившая в естественное соответствие. Все в нем свершается с жизненной натуральностью и завершенностью. Автору нет нужды что-либо разъяснять, вдаваться в долгие описания. Он действует, как надлежит бытописателю: ничего примечательного не выпустит из поля зрения, не прозевать ядерное словечко Гришки или Мартынова. Писательница словно бы не ставит перед собой других задач, кроме изобразительных. Так по крайней мере может показаться. Короткая фраза не режет слух нарочитостью, индивидуально-своеобразная прямая речь звучит, словно подслушанная и стенографически записанная.

Молодой талант выказывал себя в выверенно зрелом мастерстве, в определенности лексической манеры, образной цельности.

Л. Сейфуллина безгранично доверяет подробностям жизни. Они, а не авторский комментарий, способны передать жизненную гармонию. Не разрешая себе отступления от фактов, писательница окрашивала их тонами личного восприятия. Преобладали светлые тона. И это неожиданное преобладание — вроде бы чему тут радоваться, колонию вот-вот закроют? — придавало рассказу обаяние свежести, незамутненной душевной бодрости.

Бытописание в трактовке Л. Сейфуллиной — это та степень верности увиденному, когда отпадает необходимость дополнительно комментировать, пространно морализировать. Но эмоциональное самовыявление художника безгранично. Он не пытается и не может быть протоколистом, не делает вид, будто равнодушно внимает добру и злу.

Следуя за своими героями, писательница неизменно подмечает все радующее, веселое и радуется и веселится вместе с ними. Гришка и Мартынов потому еще стали героями, что каждый из них, вопреки любым напастям, сохраняет запас бодрости и веселого дружелюбия.

Сейфуллина нашла людей, внушавших ей радостную веру. Уравненные в работе, обязанностях, правах друг с другом и с Мартыновым, подчиненные элементарным законам коллектива, человеческого естества, вчерашние голоштанники и воры, перевоспитываясь, обещают стать честными тружениками. В них, чумазах, еще только знакомящихся с мылом, писательница уви-



дела поросль лучшего будущего и упоенно рассказывала о преобразующей силе работы и правды (таковы первейшие устои воспитательной системы, утвердившейся в колонии).

Воспитательно-трудовые начинания Мартынова рождали у Сейфуллиной безоговорочное одобрение. Она старалась не выражать его прямо, но оно пропигывало строки рассказа.

Хорошо, что колонисты, вопреки всем помехам и преградам, налаживали свою трудовую жизнь. И песни они хорошо пели, особенно Гришкин любимый «Интернационал».

Бодрость не оставляет Сейфуллину и при описании выдворения монашек из монастыря. Как тут не посмеяться, не поулюлюкать в толпе, не отпустить в общей перепалке хлесткую реплику. «И, набрав воздуха в легкие, полный задором бунтующим, Гришка около игуменьи прокричал:

— Сволочь чернохвостая!»

Сын своего времени, Сергей Мартынов вообще сантиментов не любил, отвлеченной гуманности не признавал и ребятишек ею не баловал. Верил в истины простые и ясные, в силу собственных рук, в преобразующую человека власть труда. Выражал свои мысли с солдатской прямоотой:

«Вот она мать природа и труд! Вылечили. Сколько город на этих детей налепил нечистот. Отмылись. Как надо, как здоровое растут... В свое время хороший приплод дадут».

«Родителей нет — это, друг, хорошо. Родители — барахло! Мать юбкой над сыном трясет, сын бездельник выходит. Родили, и ладно. Сам живи».

«...Матерей не люблю! Барахоят тут. А ребятам барахолить некогда. Да и сами они с ними не сидят. «Ах, мамашенька...» «Ах, сыночек». Это, товарищ мадам, можно, когда гнидой живешь. А сейчас работай, сам себя спасай. Хны!»

Хилых и больных Мартынов не жаловал, в колонию не брал:

«Сантименты! Очищать землю надо. Больные пусть мрут. Когда один кусок — здоровым давай. Ходу здоровым! Вор, мошенник — давайте. Коли тело здоровое, выправится».

Мартынов не был ахти каким оригиналом. Его «простые» истины созвучны, например, строчкам В. Маяковского:

Мы  
тебя доконаем,  
мир-романтик!  
Вместо вер —  
в душе  
электричество,  
пар.  
Вместо нищих —  
всех миров богатство прикарманьте!  
Стар — убивать!  
На пепельницы черепа!

В. И. Ленин, как известно, относился к поэме «150 000 000» — оттуда взяты процитированные строки — весьма критически. По этому поводу в его записке А. В. Луначарскому говорилось: «Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность»<sup>1</sup>. Когда Маяковский прислал Ленину экземпляр своей поэмы с дарственной надписью, Владимир Ильич, по свидетельству главного редактора Госиздата Н. Л. Мещерякова, сказал: «А знаете, это очень интересная литература. Это особый вид коммунизма. Это хулиганский коммунизм»<sup>2</sup>. Он — разновидность «грубого и непродуманного коммунизма», о котором писал Маркс, усматривая его особенности в повсеместном отрицании личности человека, а также в том, что он завершает буржуазную зависть и жажду нивелирования.

Маяковский, переболев без осложнений корью, пошел дальше. Сейфуллиной же труднее было «идти дальше», она пребывала во власти своих героев. «Бытописатель», обостренно чуткий к общественным настроениям, она подхватила носившееся в воздухе и оседавшее в людях, подхватила с энтузиазмом приобщенного, с пылом единоверца. Критичность и даже элементарно эгоистическая осмотрительность (у каждого ведь впереди старость, и никто не гарантирован от болезни) исключались. Однако суть не только в этом. Постулаты, вроде провозглашенных в «150 000 000» или бодро брошенных Мартыновым, обладают коварной способностью легко отрываться от тех, кто их сформулировал, и охотно переходить на вооружение к персонажам чуждым, ненавистным.

Хорошие писатели, увы, оказываются порой плохими пророками. Верные сегодняшнему дню, сросшиеся с ним, они не всегда предчувствуют завтрашний. И он

<sup>1</sup> Цитируется по статье Е. И. Наумова «Ленин о Маяковском» в книге «Новое о Маяковском» (М. 1958, стр. 210).

<sup>2</sup> Там же, стр. 212.

оставляет за собой право предъявить им счет.

Прямота социального размежевания безошибочно отделяла друга от недруга. Осязаемое дело — первейший критерий. На нем сосредоточено явное и «тайное» зрение художника.

Для бытописателя, как его понимала Л. Сейфуллина, превыше всего — практический поступок героя в реально существующей обстановке. Тут зоркость ей не изменяла, ничто тут не игнорировалось.

Однако практические шаги, тем более победные, заглушали нравственный смысл слов, слетающих порой с уст практика, пока что — слов... Одобрение шагов отменяло критику слов, мысль об их последствиях, о возможно в перспективе их столкновении с делом.

Минуют годы, Л. Сейфуллина напишет рассказ «Гибель» — о безысходной трагедии писателя Ярославцева. В нем промелькнут такие строчки:

«...Положившись на одну плотскую силу здоровья, для себя лично, как творца культурных ценностей, он избрал опаснейший путь. Вот теперь погибает. Тот, кто взялся творить, воссоздавать жизнь, не может воспроизводить только шаг победителя, хотя бы его победа была самой существенной, разумной в свете истории науки и жизни. Победителя не судят, — это выдумал раб. А друг, собрат, соплеменник, ровесник обязан судить именно победителя. И дело не в самом суде, а в профессии. Творец воссоздания текущей жизни и застывших на многолетье художественных страниц не смеет отделять жизнь здоровой торжествующей плоти от жизни того, что определяют словом дух».

В двадцатые же годы увлеченная увиденным, самозабвенно преданная ему, Сейфуллина не слишком-то загадывала вперед.

Восторженно принимая новую явь и простые догматы, Сейфуллина не отворачивалась от сложностей времени. Но не пыталась измерить их глубину. Восторженность не предполагает основательного анализа. Ей сродни добрая вера, упование на быстротечность и бесследность всяких противоречий.

На ночном кладбище юные правонарушители слышат залпы: неподалеку в лесу Губчека расстреливает контрреволюционеров. Надо расстреливать или нет? Антропко считает, что лучше сажать в тюрьму.

Гришка молчит, думает: «Как в их стреляют, жмурят они глаза али нет?»

Ночные страхи к утру переплавились в детскую забаву. Вместе с ней родилась надежда, что ее скоро забудут, будут новые игры, другая жизнь. Как быстро, как легко она рождалась, эта надежда!

«Утром, как солнышко обогрело, все стало живым и радостным. Тьма скрылась и тоску с собой унесла. За стеной кладбищенской в Губчека и в расстрел играли. Петька председателем Губчека был. В одной руке будто бы револьвер держал, а другой из пулемета стрелял. Польшку с Анюшкой расстрелять водили. Антропка с Гришкой расстреливали. Гришка весело командовал:

— Глаза жмурьте! Жмурьте глаза!..

В звонких детских криках не было ни кощунства, ни жутки, ни гнева. Они в простоте жизнь больших воспроизводили. А солнышко грело жарко. Будто лаской своей обещало: новую игру еще придумают, эту забудут».

В статье «Служитель Совестного суда» Лидия Сейфуллина выделила жирным шрифтом абзац:

«Бытописатель всегда во взятой им для изображения эпохе находит класс, группу, наиболее полно выражающую социальное острие эпохи, действие — отрицательное или положительное — этого острия на народ».

Классовость — основа истинного, а если пользоваться терминологией Л. Сейфуллиной — бытописательского творчества. Сама она — сознательно и по самой натуре своей — влеклась к такому именно изображению. Оно сообщало страстную выразительность ее ранним книгам, а это в свою очередь принесло широкое признание.

Какой же класс, какая группа «наиболее колоритно выражает социальное острие эпохи» в «Перегнутое»?

«Перегнутой» — повесть о классовых катаклизмах на селе. Революция дала героев, село выявило их подлинную суть. Даже пришлых, городских.

Революция, перевернув и вздыбив Россию, отразилась — подчас зеркально, подчас своевольно и искаженно — в участии Софрона, его приятелей и врагов.

Измученные, ожесточенные войной мужики поднялись отвоевывать землю. Они сами словно вышли из земли, слепые в ярости, доверчивые и хитрые одновременно.

Борьба за землю — Сейфуллина это сумела передать — становится борьбой за души, борьбой внутри дремучей крестьянской души, где сожительствоуют труженик и накопитель.

Человеческое перемешано со звериным, а от холодной расчетливости до безбрежной удалости мгновенный переход.

Но уж запутаннее Софрона вроде и некуда. Его характер, его жизненный путь, поступки — сплошные противоречия. Привычные для классификации мерки неприемлемы.

«Кудрявый рыжий волос Софронов всегда торчком над головой, как сиянье. Борода тоже рыжая, и нет в ней степенности. Ключковатая, во все стороны. И в глазах строгости нет. Одна синь, в гнев темнеющая, но без свинца. Оттого нестрашная».

Софрон — вожак голытьбы, верховодит в смертельных схватках с сельскими богатыми, главенствует в волостном исполкоме. Почему он?

Солдатским прошлым на деревне не удивишь. Грамотой похвастаться не может. Был пьянчужкой, под забором валялся. Правда, тянулся к книге. Но вовсе не к той, которая глаза открывает. Предпочитал Дюма. Потому что непохоже на Софрону жизнь. Про крестьян и рабочих не любил читать, предоставлял это богатым. И имел объяснение: «Им черного хлебущка охота, белый надоел. А нам беленького хоть кусочек. Заместо пряника к празднику!»

Однако выбор класса, группы, «наиболее полно выражающих социальное острие эпохи», все же — полдела. Необходимо внутри класса, группы найти фигуру, которая сама по себе — социальное острие.

Таков Софрон. Не он один, разумеется. Но он прежде всего.

Сквозь все завихрения дремучей натуры негасимо светится мечта о счастье, справедливости, правде. Вера в осуществимость мечты. Не для кого-нибудь, а для себя, земляков. Не когда-нибудь, а вот сейчас. Не с помощью кого-либо, а своими руками, своим горбом, кровью своей. Бурлит в Софроне неумная страсть, выплескиваясь во все, за что бы ни принялся.

Страстность, одержимость сделали недавнего подзаборного пьяницу главарем деревенской бедноты. Те же черты плюс непосредственность сделали его героем «Пергноя».

Л. Сейфуллина превыше всего ценила непосредственность, органичность, открытость — в словах, поступках. Мартынова она искала не среди разумных образованных педагогов, а среди людей, природно одаренных, духовно независимых, увлеченных. Еще более стихийен Софрон. Здесь уж образование ничего не завуалировало, культура ни к чему не прикоснулась. Одержимость заменяет убеждения, инстинкт частенько повелевает разумом.

Увидев картины с голыми женщинами, Софрон дает распоряжение: сжечь. Проще простого внушить ему мысль, будто доктор при помощи громомовода сообщается с казаками. А коль как — нечего церемониться. Тяжел у Софрона кулак. Рядом с убитым доктором за смертью падает его жена. И — ни сомнений, ни сожалений. А маленького барашка, испуганного, пожалел, приласкал...

Будто замороженная, следовала писательница за Софроном. Он — от земли, на его стороне правда. Этого ей сейчас достаточно. Принимая происходившее, воссоздавая его, как бы сливаясь с ним, Л. Сейфуллина сводила к минимуму возможность и необходимость своего независимого осмысления.

Софрон способен жить мечтой, будь то мечта о царстве справедливости или о чистенькой кокетливой библиотекарше. Да и Антонина Николаевна не просто расслабляющий соблазн, а частица неизведанной, сказочно прекрасной жизни, далекой от душной деревенской грязи, как солнце от земли. Это — любовь-мечта, незнакомая прежде нежность, никому еще не прошептанная слова.

Высока была мечта и животнo-низменная месть за разочарование. Последние слова бросал распятой на полу библиотекарше, а потом, поднявшись, плюнул в лицо, толкнул ногой.

Мечь дика, слепа, безудержна. Однако по-своему оправдана. Сейфуллина в этом убеждена и нам не позволяет забыть: доктор действительно с казачьем стакнул, а Антонина Николаевна — дрянь, фальшивая и распутная бабенка.

Если «стар — убивать», если «больные — пусть мрут», то уж вовсе нелепо церемониться с классово сомнительным доктором, а заодно и с докторшей, раздумывать о блудливой библиотекарше. Темная стихия получала индульгенцию...

Для Софрона человеческая жизнь большой цены не представляла, культура же вовсе ничего не стоила. В нем клокотала ненависть, накопленная веками подневольного труда и глухого прозябания.

Писательница обостренной совестливости, полная сострадания к Софрону, Л. Сейфуллина стремилась смотреть на мир его глазами.

Время грозное, торопливое. Не до суда, самосудом обойдемся. Высшая справедливость за Софроном, а глухие его инстинкты рождены изначальной жизнью. На Софровой стороне сила истории, побеждающей революции и — извечных призывов, незамутненных цивилизаций. Их Л. Сейфуллина не сбрасывает со счетов, видит стихийное и в разумном, и в дегски трогательном, и в перелестах, и в незрячей жестокости. Видит и — невольно любит: стихийное вливается в революцию, сливается с ней.

Софрону противопоставлены не только сельские любуудры и богатеи, но, так ли, иначе ли, почти все встречающиеся в повести люди городской культуры. Даже приехавший в помощь инструктор. «Все они, городские, такие! — тверд в своем Софрон. — Видом обманные, а сами подлые. Учителя! Спасители!»

Лишь озверевшая в бунте, слепая от ярости толпа недолгим согласием связывает деревенских с городскими. Софрон одобрил расправу, что творила уличная беднота: «Когда дождешься на их, городских, по закону-то управу? Сбыли со счету которых, и ладно!»

Каждая встреча с городом и городскими рождает у Софрона недоверчивое озлобление. Разочаровавшись в Антонине Николаевне, надругавшись над ней, он возвращается к опостылевшей было Дарье, и новая нежность отливается в привычные слова: «Помолчи, Дарья... Помолчи, мать. Дура моя деревенская...»

Это — навек свое, исконное, кровное, понятное.

Л. Сейфуллина ищет естественного человека, естественное в человеке и превыше всего ставит такое. А город это стремится подавить. Всякие там нравственные «можно», «нельзя» — от бога и богатых, суд — затея эксплуататоров. Иной нравственности, иного суда писательница себе не представляла, а если и представляла, то не видела в них практической и исторической необходимости.

Стихия, в глазах Л. Сейфуллиной, прихотливая, но благая сила. Голова увлечена кровавую расправу и на добрые деяния. Как глянется — жестоким бунтом или детской наивностью.

Восторженное, безупречно верное воссоздание реального оборачивалось апологией далеко не самого светлого и совершенного в нем. Почему?

Л. Сейфуллина безошибочно определила «социальное острие эпохи», положительность его действия на народ. Но «острие» — неоднородно, его составляют разные, неодинаковые по позитивной силе слагаемые. Дабы воздействовать положительно, оно должно преодолевать внутри себя и отрицательные тенденции.

Однако в безоглядном увлечении писательница подчас воспевала, романтизировала темное своеволие стихии.

Революция как акт ясного социального сознания, торжество передовой мысли, рожденной высокой культурой и интеллектом, как осознанный порыв к обществу, где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»<sup>1</sup>, находилась вне прямого «бытописательского» видения Л. Сейфуллиной. (Разочаровавшись в земской интеллигенции, в эсеровских упованиях на одиночку-интеллекта, она ударились в другую крайность, не сулившую ничего хорошего. Но и поняв со временем ее пагубность, с болью сказав об этом в «Гибели», так и не смогла ее преодолеть. Бывают ошибки, за которые художник расплачивается пожизненно...)

Вернемся еще раз к статье об Островском. Там упоминается о совершенных с точки зрения бытописательства картинах: только по ним «наиболее живо можно понять эпоху, восхвалить или осудить ее».

По картинам, созданным Л. Сейфуллиной, многое раскрывается в эпохе. Но наше восхваление либо осуждение не всегда совпадает с авторским. Образуется некий зазор. Из-за него, вероятно, картины, не теряя достоверности, теряют долголетие. И не этот ли восторг, чреватый разочарованием, исподволь готовил кризис, которого впоследствии не избежала писательница? Он опасен был также своей безоглядной нескритичностью, легкостью. А всего более — инерцией одобрения стихии и тогда,

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест коммунистической партии. 1966, стр. 55

когда та, сменив яркое оперение на унылую серость, переходит от забубенной вольтницы к казарменному ранжиру. Дистанция тут невелика. Это две ипостаси мелкобуржуазной стихии, два ее возможных варианта.

Но романтизация стихии, взмывшей на вал революции, могла родить в искусстве высокий и прекрасный образ Виринеи, а упование на серую безликость, лишенную духа и интеллекта, привело в дальнейшем Л. Сейфуллину к драме «Попутчики» — тяжелой, по единодушному признанию критики, неудаче.

«Виринея», как объясняла сама Сейфуллина, повесть «о деревенской женщине, стихийно рванувшейся к очистительной грозе Октябрьской революции». В этом порыве многое от невозможности счастья материнства в обстоятельствах, навязанных трижды проклятой жизнью. Виринея сыта ею по уши.

Кем только она не была. В деревне — «незаконной» женой Василия, в городе — прислугой, разгульной бабенкой в рабочем бараке. Все извела. И кем бы стала, одному богу ведомо, не повстречайся с большевиком-солдатом Павлом Суловым, не приди следом за ним в революцию.

Материнство у Л. Сейфуллиной — высшая мера вещей и явлений, высший суд над строем и людскими отношениями.

Сколько ни мечтает Виринея о ребенке, но родит лишь от Павла Сулова. И тогда, когда обретет себя в революции.

Не в правилах Л. Сейфуллиной писать нарочито символических героев, она не поддавалась одному из тогдашних поветрий, не стремилась к многозначительной, всевещающей символике. Но гулена Виринея своей несуразной жизнью столько сказала читателям, что безотносительно к авторским намерениям воспринималась как олицетворение крестьянской судьбы, переломной деревни. Олицетворение тем более неожиданное, что Виринея не походит на обычную крестьянку, и деревня не считает ее за таковую. Наоборот, нередко они чужие, минутами — до вражды.

Ее бунт чем-то отличен от мужицкого. Им прежде всего нужна земля, ей, задыхающейся, — воздух.

«Виринея» — едва ли не первая повесть о властной духовной потребности в революции, потребности испытываемой не сильной в грамоте крестьянкой. Виринея, натура

богатая, необузданная и неприкаянная, оказывается в резком конфликте с самым жизненным устройством дореволюционной деревни. Для разрешения этого конфликта недостаточно получить землю или разбогатеть. Нужна ломка коренная.

Виринея до предела ненавистен искони сложившийся уклад, обычаи, освященные традицией и веками, патриархальная замкнутость крестьянской семьи, где раб-мужчина помыкает рабыней-женщиной. Бога она не признает, черт ей не брат. Но и самодельная городская эмансипация ни к чему — фальшива, достойна злой издевки. Инженер, единственный городской человек в повести, получил полной мерой предвзятое презрение Виринеи и невесту за что смерть от тяжелой руки Савелия Магары.

Первозданный нигилизм Виринеи — пропади оно все пропадом! — от обостренного сознания: жизнь непригодна для человека, в первую голову для крестьянина, еще более — для крестьянки.

«Все под богом плохо живут, Анисья, — уверяет она подружку. — Каждого своя ржа ест. И который говорит, что хорошо живет, только топырится для веселости, об жизни об своей думку подалеже загоняет, чтоб не точила».

Не ошибаясь, словно нюхом, Виринея угадывает ложь, будь она запрятана в быт, в чувство, в книгу. Обнаружив ее, проникается перехватывающей дыхание ненавистью, обличает со страстью, близкой к бешенству. Но не слепнет, не клюет на приманку красивой размягчающей лжи, не путает правду с неправдой, видит одно и видит другое.

«В книжках все такие обходительные. Про любовь там всякое. Ну, а наши деревенские эдак не займаются. С девками словами не канителият, а с бабой своей дак и вовсе разговоров не разговаривают. Корова когда скажут: «Красу-ушка», «Краснушенька», аль лошадь с добавкой слова ласкового назовут, а жену — нет. Для работы взята, для роду, а не для ласковости. И на работе скотину жалуют, а бабу нет».

Сказала о бабьей участи, а вдумайтесь: о всей крестьянской жизни, где корова вроде бы дороже жены. Есть у Виринеи дар на верные, точные слова. Ей их подсказывает ненависть.

Вдоволь нахлебавшись грязи, Виринея доходит до полного отчаяния, не ждет больше добра, не надеется встретить чест-

ность. Пусть она гулящая, а те, что вокруг, лучше? «Только не выдать хороших-то! Все больше пакостники, блудни да злыдни».

Ее внутренняя независимость граничит со стихийным нигилизмом, всеотвергающим протестом. И нередко перехлестывает через эту грань. Коль жизнь такова, как она есть, пусть проваливается в тартарары. Некому, нечего ее жалеть.

Неподконтрольная, бунтующая, вольнолюбивая прямота Виринея выражает глухую и глубинную ненависть крестьянства, а если еще точнее — физическую и нравственную невозможность жить по-прежнему.

Однако неудачами, поношениями, бедами не сломить гордую независимость, жизненную непреклонность Виринея. При своей ранности, болезненной чуткости к доброте и злу, она от природы наделена крепким внутренним стержнем. Согнуть можно, сломать нельзя. Проклятая жизнь, Виринея несет такой запас жизненных сил, неразменной духовной энергии, что — хочет или не хочет — опровергает свой нигилизм, свое проклятье всему сущему.

Л. Сейфуллина выписала характер до удивления цельный в бесконечных метаниях и противоречиях, которые по-своему, подчас «перевернуто», отразили объективные противоречия крестьянской судьбы и русской деревни в канун и в час революции. Сама Виринея, сколько бы ни поносила односельчан, ни измывалась над их темной неповоротливостью, всей душой радуется за крестьян, за «общество», за детей крестьянских, за справедливость.

И мужики, как ни изгалялись над Виринеей, по-своему дорожили ее прямоотой, бесребреничеством, небабьей смелостью. «Но Виркино бесстрашие, такое, когда даже цепкости за самую жизнь нет в человеке, невольно смиряло. Обезоруживало мужиков смешанным чувством боязни и восхищения».

Софрон приходил в революцию, повинуюсь неосознанному инстинкту, тяге к правильной жизни. У Виринея такой инстинкт многократно усилен инстинктом женским, материнским, самым древним и самым властным на земле.

Рядом с ней, женщиной, должен находиться мужчина. Этого тоже требовал древнейший инстинкт. Однако Павлу Сулову мало стать отцом ее сына. Он призван незрячую тягу к справедливой жизни сделать осознанно самозабвенным порывом.

По складу своему Виринея неотвратимо влечется к революции. Благодаря Павлу это влечение обретает такую целеустремленность, что революция становится судьбой Виринея. Отступишь Павел от своего дела, она продолжит его и не простит измену. «А я бы тогда тебе сама мышьяк в пирог запекла. Коли взялся — выстаивай. Уж такое дело твое».

Как ни велико в повести назначение Павла, он второстепенен. Впоследствии Л. Сейфуллина писала: «...Павел Сулов нужен был автору лишь как трамплин для прыжка вверх, для душевного взлета Виринея».

Виринея многограннее, самобытнее Павла, значительнее в своих связях с настоящим и будущим, ибо она — мать.

Однако не только в том значении Виринея, и Павел не только трамплин для нее.

«Виринеей» Л. Сейфуллина продолжала свою тему: стихия и революция.

Сгусток стихии — Савелий Магара. Его кидает от отшельнической святости к оглашенному блюду, от праведных речей — к убийству. Сам он, придя в конце концов к Павлу — тот от него не отвернулся, но и не возликовал, — гибнет: «дуром», в одиночку, наскочив на казачий разъезд.

Какую-то пользу революции его клокощущая ярость принести может. Но может ли революция положиться на него? Прохладность Павла понятна. Павел — сознательное начало в разгулявшемся море крестьянских страстей, ему вводить это море в железные берега организации и дисциплины. Он делает лишь первые шаги. Они убедительны не только благодаря видимой политической целесообразности — ее быстро постигают мужики, — но и благодаря ему самому — спокойно доброжелательному, органически справедливому, не умеющему кривить душой. Этим-то Павел и завоевывает Виринею, бунтующую во всю силу необузданного чувства.

Союз Виринея и Павла — больше, чем любовное обретение друг друга. Здесь для Л. Сейфуллиной новой и острой гранью поворачивалась проблема, державшая ее все эти годы в плену. Решала она ее, следуя за характером Виринея, используя разрыв во времени, образовавшийся между ней и героиней.

Вирка повиновалась лишь собственному чувству и отгнала старую мораль, освященную веками, церковью. А примет ли она

новую, примирит ли ее со стихией свободных эмоций?

«Виринею» отделяли от «Правонарушителей» два года. Сейфуллина уже видела обреченность, вырождение стихийного бунтарства. Оно либо перерастало в сознательность, пройдя ускоренную школу революции, либо, смирясь и перекрасясь, пристраивалось к колоннам победителей, либо, огрызаясь, нападало из-за угла.

Продолжая мысленно судьбу Виринеи, Л. Сейфуллина отвергла, однако, эти безусловные и достаточно распространенные варианты. Силой своей индивидуальности Виринея выламывалась из общего ряда.

Стихии, какой ее видела и романтизировала писательница, лишь ненадолго дано было слиться, совпасть с революцией. Возможен временный — не более того — союз, кончавшийся гибелью стихийного начала. Гибнет Софрон, гибнет Савелий Магара, гибнет Виринея, а Гришка Алибаев (духовный брат Виринеи, герой позже написанной повести «Каин-кабак») из лихого, сумасбродного партизанского вожака превратится в заплывшего салом сонного идиота. Но пока стихия служит революции — она для Сейфуллиной прекрасна. Даже в своей слепой ярости, звериной жестокости, безбрежном бунтарстве...

Виринея гибнет, по верному расчету казаков угонив в засаду: «Молоко ее к дитю приведет». Так оно и есть — приводит. «Как волчица к волчонку своему пробиралась. Будто след нюхала, вытянув шею и влекомая своим запахом — запахом крови, из ее жил взятой, шла кормить или выручить детеныша своего».

Однако смерть принимает не от руки казаков, а — в драке с одним из них — упав на крыльцо и ударившись затылком о железную скобу.

Логичнее вроде бы и героичнее сделать Вирю жертвой белоказаков. К чему тут скоба?

Виринея и есть жертва. Она пала в борьбе. Но и скоба не случайна.

Казачье — лютые охранители мира, против которого поднялись Павел и Виринея. Однако Виринея должна была погибнуть и потому еще, что Л. Сейфуллина не видела для нее достойного места в будущем завоёвываемом мире.

Писательница признавалась: да, ей хотелось сделать Виринею настоящей революционеркой, политруком в красноармейских ча-

стях. В самом деле, разве не пошла бы Виринея кожаная комиссарская тулупка?

Л. Сейфуллина отвергала такую перспективу. Она писала характер стихийно-бунтарский. В 1934 году, издав глядя на повесть, не отрекаясь от героини, от своей любви к ней, но и не без анализирующего хладнокровия, Л. Сейфуллина размышляла: «...Когда я увидела свою героиню до конца, то поняла, что она не может быть политруком. Единственно, что может эта первая бунтарка, — это умереть честно, чтобы о ней вспоминали, потому что если ее оставить в организованной среде, она будет вносить анархию и разлад, и неизвестно, как она воспримет переход в городскую среду. Может быть, тогда это будет такая дрянь, которую партия не будет знать, куда деть. Чтобы не погубить мою любимую героиню, я должна была ее умертвить, другого у меня ничего не получилось».

Трагизм судьбы Виринеи не только в кошмаре прежнего существования, не только в ее ранней смерти, обрекавшей на сиротство новорожденного сына, но и в тупике, который ожидал ее, останься она жива.

В этом была несомненная, мужественная правда психологии и истории, точность «тайного зрения» бытописателя.

Потому так высоко оценивались первые книги Лидии Сейфуллиной.

Еще в 1922 году Ник. Асеев, прочитав «Правонарушителей», радостно произнес «старинное словцо»: талант («Талант нового мира, родившегося в нем, выдвинутого им, в нем живущего и его организующего»). Когда появилась «Виринея», о писательнице заговорили все. Под статьями о Сейфуллиной стояли имена А. Воронского, А. Лежнева, П. Когана, Н. Осинского, Н. Смирнова, В. Переверзева, Г. Горбачева, Е. Никитиной... Все почти сходились на оценке, данной Н. Асеевым, на безусловной значительности созданного Л. Сейфуллиной за два три года упоенной работы. Но первоначальную оценку каждый развивал по-своему.

Досконально анализируя «Перегной» и «Виринею», А. Воронский приходил к выводу, что художественное дарование Сейфуллиной идет от Толстого и к Толстому. Более того, «повести Сейфуллиной... обнаруживают и однобокость, крайнюю условность изображений деревни Чеховым, Бунинным и, кстати сказать, Горьким».

«Сейфуллину считают «попутчицей», — писал А. Воронский, — но в ее художествен-

ном восприятии нашей эпохи больше коммунизма, чем иногда у тех, кто своей специальностью избрал травлю «попутчиков».

Неспроста у Воронского вырвалось насчет травли.

Как раз неотразимая правдивость общей картины вызвала у определенной части критики негодование, которое никак не назовешь благородным. В вину Сейфуллиной ставилась писательская зоркость, безупречная верность увиденному. Нет нужды и желания приводить соответствующие цитаты.

Дело приняло столь тяжкий для Сейфуллиной оборот, что за нее яростно вступилась Л. Рейснер. В статье «Против литературного бандитизма» Рейснер ополчилась на тех, кто шельмовал писательницу, утверждая, будто «выступает от имени партии и партийного общественного мнения».

«У Сейфуллиной, видите ли, деревня изображена недостаточно просвещенной, трезвой, культурной и хорошенькой. Гражданская война у нее не причесана и не умыта, а так, как в восемнадцатом году, в растерзанном виде, с кровью, размазанной по лицу. Фи, какие ужасы!.. Бабы кого-то там головой засунули в снег, мужики напились и набезобразничали. Разве это деревня, разве это революция, разве так умирают порядочные, настоящие, правверные, чистенькие и аккуратные герои? Зачем искаженные лица, крики, стоны, жестокости? Убрать, посыпать песочком, притушить, припудрить. Деревня, только что вышедшая из крепостничества, только что разбуженная первыми раскатами революции, это нечто абсолютно однородное. Что ни мужик, то бедняк революционер, член партии, подписчик «Правды», рабкор, член общества трезвости. Никаких расслоений, никакой классовой борьбы, ни кулака, ни середняка, ни бедного крестьянина, который по невежеству и темноте горой стоит за веру и царя».

Критика этого рода — Л. Рейснер характеризовала ее столь темпераментно, однако небезосновательно — долго сопутствовала лучшим книгам Лидии Сейфуллиной. Объектом критики становилась бытописательская

точность глаза и слуха Л. Сейфуллиной, выразительность манеры. Удары наносились без промаха. Руками редакторов, внутренних рецензентов, а иногда и самой писательницы.

В основательном текстологическом обзоре Л. Н. Смирновой «Литературное наследие Лидии Сейфуллиной»<sup>1</sup> приводятся бесчисленные примеры последующего «совершенствования» произведений. Наибольшему корректированию и купюрованию подверглись, разумеется, «Правонарушители», «Перегной», «Виринея». За бортом оказались, скажем, многие колоритные изречения Мартынова, был приглашен «Перегной», выкинуты либо смягчены сцены жестоких расправ, у Софрона поубавилось грубости, дремучие мужики быстренько овладевали политграмотой.

«...При решении вопроса о целесообразности переиздания «Виринея», — замечал внутренний рецензент в 1950 году, — следует учесть возможность ее отрицательного влияния, в частности и в особенности на молодежь».

Рецензент сомневался в нужности переиздания повести. «Перегной» в прежнем виде, по его мнению, переиздавать тоже не следовало»<sup>2</sup>.

Писательство, понимаемое как служение в Совестном суде, — занятие не из легких и сладких. Однако можно повторить слова, венчавшие давнюю, едва ли не забытую статью Л. Сейфуллиной: «...Нам близок, дорог и еще насущно необходим верный служитель суда Совестного с его неприкрашенной правдой». Тем более что в такое понятие мы, обогащенные великим опытом нашей истории и нашей литературы, вкладываем куда более высокую меру нравственной взыскательности, способность зрело судить о сущем и отвечать за будущее.

<sup>1</sup> В книге «Текстология произведений советской литературы». М. 1987.

<sup>2</sup> Издательство «Художественная литература», подготавливая в настоящее время Собрание сочинений Л. Н. Сейфуллиной, возвращает тексты к первоначальной авторской редакции.





# ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**И. Борисова.** Возвращение Бекова.— **Ю. Айхенвальд.** Поэт и его переводы.—  
**А. Липелис.** Проза Вадима Шефнера.— **А. Лебедев.** Реалистическая фантастика и фантастическая реальность.— **Л. Зонина.** На смерть матери.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**А. Давидович, С. Покровский.** Актуальные проблемы советского права.—  
**Ф. Цанн.** Социология и личность.— **Вл. Канторович.** У истоков экономической реформы.

## Литература и искусство

### ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕКОВА

**Тимур Пулатов.** Прочие населенные пункты. Романтическая повесть. «Дружба народов», № 6, 1968.

Охватывает ощущение сухости, выветренности, когда читаешь эту романтическую повесть. Пустыня здесь не только предмет, но кажется даже стилем. Сухая степь и соленые холмы. Пески. Безводное пространство. Т. Пулатов упоминает о них изредка, бесстрастно и монотонно. Они проникают в повествование и определяют поступки.

Командир Беков отвоевал эту землю у басмачей. Об этом помнят и сейчас, в 1932 году, и по-прежнему называют Бекова командиром. Но называют его также и директором, хотя руководит заводом Турсунов, и председателем, хотя настоящий председатель колхоза — Нуров. Однако предпочитает Беков свой старый первый титул — командир. Это не дань романтизму. Это суть мироощущения. Нуров говорит ему: «Ты давно перестал быть крестьянином, Исхак. Земля тебя забыла. А я скажу вот что: земля, она отталкивает все, что противоестественно ее сути. Так же и человек».

Для Бекова слова Нурова пресны и скучны. Он ли не хочет строить?

«Вначале в отряде Бекова все шло стихийно. Воины молодыми ушли воевать, вос-

вали долго, с прекрасным рвением уничтожая старый образ жизни, но когда пришел мир, воины вдруг поняли, что хаос и разруха долго продолжаться не могут и что им же самим нужно строить новую жизнь; поняли они это и растерялись, потому что строить их никто не учил.

И тогда командир сказал: давайте строить всем отрядом новый, доселе еще невиданный город. Перенесем в новый быт все наше военное хозяйство, все навыки наши и привычки, все, что появилось у нас за десять лет коллективной жизни. А главное, надо прийти в сегодняшний день с нашей верой, энтузиазмом и мужеством. А я, Беков, буду у вас инженером, но инженером не техническим, а идейным, то есть человеком, который будет учить вас духовному братству».

Повесть развивается как бы рывками: гражданская война, тридцать второй год, шестьдесят второй. В гражданскую войну Беков — герой и поэзия здешних мест. Стремительный, бесстрашный, бескомпромиссный и милосердный. Легко прощающий личную обиду во имя всеобщей справедливости, как простил он басмачу Бобо-Наза-

ру, когда тот по темноте своей ранил его, Бекова.

В тридцать втором непотухшая слава Бекова подняла людей на то, чтобы строить в пустыне новый Гаждиван — город и завод по переработке хлопка, который будет производить колхоз Нурова. Осмотрительный Нуров против этого проекта, потому что воды из пересыхающей речки Гаждиван хватит разве что на колхоз. Но кто мог противостоять азарту нетерпеливого Бекова, которому тогда и пять лет казались бесконечным сроком? Не Турсунов же, вялый и бесцветный, которому всегда хотелось держаться подальше от того, что требует усилий, и который сейчас вопрошает себя: «Почему я в этом водовороте? Все эти сдвиги, стройки, выстрелы из-за угла... Откуда я взялся, чтобы жить этим?» Даже твердый Нуров боится остаться без Бекова, потому что, при всей своей независимости, он привык к тому, что рядом есть командир, на которого можно положиться. Да и может ли сравниться с безоглядным Бековым Нуров, который до сих пор боится уже давно расстрелянного кулака Сиража, когда-то ранившего его ножом в голову? Нет, все эти младшие сподвижники Бекова не могут быть поставлены вровень с ним.

Но проходит тридцать лет, и Беков возвращается в Гаждиван, ожидая увидеть за проектированный рай. Он хочет увидеть то, что было им заложено, — ведь состарили его не только годы, состарила нефундаментальность прожитой жизни: он везде наездом, он всегда на прорывах — именно здесь его атакующий темперамент находил свое выражение. А Гаждиван — это единственное место, где он закладывал основы. Его тянет не просто в места молодости. Его тянет к той точке, где приложены были силы истинно созидающие, к точке безвестной, обозначаемой на карте как «прочие населенные пункты». А прославленные места, где он был наездом и побеждал с ходу, связка были с его природой лишь поверхностно, отнюдь не теми корнями происхождения, личности и судьбы, какими связан с ним Гаждиван. Он возвращается на свою родину, на свою почву? Географически, биографически? Нет, он возвращается туда, где стоит его город и где его должны поэтому помнить.

Но его не помнят.

Об этом забвении и написана повесть Т. Пулатова.

Гаждиван «не получился», а колхоз Нурова расцвел. Как и предсказывал трезвый Нуров, Гаждивану не хватило воды, и город увял.

Самонадеянный порыв Бекова был атакой, которая захлебнулась в песках. Его командирский азарт вернул пустыне пустыню. Кропогливый труд Нурова покорила пустыню, создал оазис.

Людская память жива в той мере, в какой прошлое насыщает настоящее. Помнят то, что живо. Младший сподвижник Бекова Нуров оказался его продолжателем куда в большей мере, чем он сам. Не случайно в колхозе Нурова Бекова и помнят больше, чем в Гаждиване. И добрее помнят. Память гаждиванцев тусклее и требовательней.

Бывший адъютант Бекова Эгамов — единственный человек в городе, для которого возвращение Бекова — высокое торжество. Он хлопочет, он созывает людей и приносит много цветов. Он заставляет вспомнить Бекова, но он не может возродить в сердцах гаждиванцев того пафоса, который рождало когда-то одно имя командира. Эгамову кажется — это оттого, что гаждиванцы измельчали, угасли, что душа их жива только ничтожными интересами еды, питья, низкого материального существования. Эгамов искренне презирает своих соотечественников за их безразличие к высокому. Но презирая и браня их, он не замечает, что вместе с ними ждет от Бекова того слова, той мысли, которые бы возродили Гаждиван. Он вообще многого не замечает в себе либо же подавляет добровольно, боясь нарушить собственные представления о верности командиру, а следовательно, и о служении добру. Он не замечает, как выскальзывают у него слова о том, что сырость завелась в пересохшем Гаждиване от пота босоногих людей. И Эгамова гнет в поле, в котором он вырос, он мечтает раствориться в нем после смерти. Легко убивавший в молодости, он сейчас все больше ощущает цену человеческой жизни. Его любовь к командиру поражает богатством и той находчивой чуткостью, которую рождает подлинная преданность, хотя на поверхности житейских отношений он выглядит стариком — суетливым, беспомощным и ума явно недалекого. Но, видимо, вступают в действие какие-то другие силы души, которые скорее всего уже не увидят спроса.

Герои Т. Пулатова сложны, несмотря на

притчевую определенность, даже закостенелость своих ролей. То, что поначалу казалось однозначным и очевидным, вдруг переосмысливается, в знакомых сопоставлениях обнаруживается неожиданность. Эта романтическая повесть не уходит в подробности реальных обстоятельств. По каждой из судеб мы перемещаемся тоже как бы рывками, угловато, без тех оттенков, которые помогают одному цвету перейти в другой, и потому неожиданными оказываются сочетания красок и переходы их, точнее перебросы. (Порой эти изменения даже слишком резки, слишком отрывочны. Тогда начинает казаться, что автор чересчур произвольно распоряжается ими, как бы попадая во власть взятого ритма и героя естественности своего многослойного повествования, которое, при явной условности, достаточно реалистично, чтобы быть построенным только как притча с ее строгим ображением «чистой сути».)

Неожиданным оказывается и многоголосье стариков, школьников, торговцев, хлопкоробов — пестрого и дробного населения, которое находит на родной земле вернувшийся Беков. Молодому писателю удалось редкое: «люди думают», «люди говорят» — эти фразы, почти безликие, в повести Т. Пулатова отстаиваются в образ, отчетливый и значительный, несмотря на то, что почти ни одного лица он из этого людского моря не вырывает. Здесь поучают и кланчат, ободряют и клеймят, лгут и поражают прозрением. Ни одно из этих состояний писатель не выдает за конечную истину. Повесть внутренне очень подвижна, безостановочна, несмотря на суховатость и статичность письма.

Неожиданным оказывается и финал притчи, которую рассказывает Нуров Бекову. Святой думал сделать добро пахарю, пригласив его отдохнуть в тени шелковицы, только что чудом выросшей на его ладони. А пахарь перетащил под шелковицу все свое хозяйство и, когда святой стал отсылать его обратно к бороне, сказал, что он, пахарь, вовсе не рожден пахарем, как утверждает святой, а рожден, чтобы повиноваться святому и слушать его рассказы. Святой простодушно поверил и стал рассказывать. Но пока рассказывал, дерево это сгнило и упало. «А святой сидит до сих пор под раскаленным небом, и человек слушает его рассказы...»

Беков понимает — добро святого пришлось не к месту и потому обернулось злом. Святой хотел сотворить добро во имя добра, ради собственного стремления к добру, не думая, что нужно человеку и что земле. Он слишком далеко ушел от этих понятий и потому заблудился в отвлеченностях.

Так же и Беков. В отличие от Нурова он забыл о реальных людях и реальной земле. Они и обернулись для него тем обстоятельством, которого он не учел. Беков был широк и принял эту мудрость. Но он был и слишком деятелен, чтобы согласиться на покой, приняв который он признавал свое бессилие и этим отрицал свое существование. А для действия не было уже ни сил, ни знания той реальности, которую он обнаружил. И он умер, оставив на земле пыльный Гаждиван, в существовании которого был повинен, и оазис Нурова, к которому был непричастен.

И. БОРИСОВА.

★

## ПОЭТ И ЕГО ПЕРЕВОДЫ

Я. Х е л е м с к и й. Вторая половина дня. Книга лирики. «Советский писатель». М. 1967. 144 стр.

Я. Х е л е м с к и й. Ключ. Страницы белорусской лирики. Сборник переводов. «Беларусь». Минск. 1968. 184 стр.

Новый сборник переводов Я. Хелемского «Ключ» открывается стихотворением, посвященным белорусской поэзии. «Живет в мелодике стихов свобода первозданной речи», — пишет поэт о своих друзьях, поэтах белорусских, чьи стихи «не белоручки, а работы мастера».

Это же стихотворение есть и в новой, две-

надцатой уже, книге поэта «Вторая половина дня». Разумеется, не одно оно связывает оба сборника: поэтический перевод лучше всего удается тогда, когда поэты родственны «по строчечной сути». Родство это легко проследить, сопоставив обе книги.

На страницах «Второй половины дня» читатель найдет раздел «Рассыпанный набор.

Книга в книге». Эти ранние, еще довоенные стихи поэта не начинают и не завершают сборник, а вклиниваются в середину его, перебивают нынешний, давно определившийся для нас голос и, как бы прерывая течение современности, возвращают в мир событий и поэзии тридцатых годов.

Поэзия Якова Хелемского никогда не замыкалась в себе, она открыта для окружающего. И когда читаешь стихи Хелемского, редко возникает ощущение, что ты наедине с поэтом. Ведь самому поэту важно, что он не «сам по себе», что он вместе с временем, с его людьми, его духом и его злобой дня. В «Рассыпанном наборе» есть и стихи об учебной тревоге Осоавиахима, и торжественно-гневные, хотя и несколько риторичные стихи о падении Парижа, и романтическая баллада о мечтателе-птицелове, так и не поймавшем своей «синей птицы», — ведь Метерлинку, о котором эти стихи, пришлось бежать в Америку от фашистской оккупации. Не ушел в те годы поэт и от могучего влияния Багрицкого, когда писал в 1935 году о легендарном герое-полярнике Шмидте:

Что мне слышится в этот миг  
За трамвайным седым окном?  
Грохот лопающихся льдин  
И посвистыванье пурги...

И сверкает, как ледакол,  
Угловой стококонный дом.  
Это — славный «Сибиряков»!  
Я по трапу взлетаю вверх,  
Я вбегаю в каюту...

Мать  
Крепким чаем поит меня...

(«Возвращение с лекции...»)

Нередко поэты тридцатых годов демонстративно ставили рядом с возвышенным, романтическим образом выразительную бытовую деталь. Это было больше, чем прием. Постоянное сопоставление высокой мечты и бытовой реальности, облагороженной мечтой, но чаще побежденной ею, выражало мироощущение тех, кто романтическим рывком стремился поднять действительность к высотам идеала.

Многие не явные, но прочные и живые нити связывают стихи Я. Хелемского, поэта «фронтowego поколения», как сказано в аннотации, с поэзией тридцатых годов. Строки Дмитрия Кедрина «Я хочу еще раз видеть солнце—Солнце Первой Половины Дня» так полюбили поэту, что стали ненавязчивым, подспудным, но тем не менее вполне опре-

деленным лейтмотивом книги. Эти строки—эпиграф «Книги в книге». Юношеские стихи Я. Хелемского о Бальзаке, «упрямце», «заранее схожем с роденовской глыбой», тоже напоминают и о Кедрине, и о том, что во второй половине тридцатых годов многие молодые тогда поэты, словно стремясь расширить пределы своей современности, заново открывали для советской поэзии и для себя страницы истории и культуры прошлого — и вот Борис Корнилов писал о Пушкине, а Кедрин о Рембрандте. Да и раздел «Узнавание», непосредственно следующий за «Рассыпанным набором» и посвященный впечатлениям от заграничных поездок, как бы продолжает десятилетия назад начавшийся процесс: тогдашнее заочное и еще «литературное» узнавание мира теперь стало вполне реальным.

Читая книгу Я. Хелемского, ясно ощущаешь и его крепкую внутреннюю связь с поэзией Смелякова, в которой и сегодня по-прежнему светит «Солнце Первой Половины Дня». Она, эта связь, прослеживается и в нынешних стихах Хелемского — достаточно привести такую, например, строфу:

И по январскому Арбату  
Идут, хоть ветер не утих,  
В спортивных стеганках ребята,  
Девчущки в тужельках лихих...

(«Не то, чтоб стужа шла на убыль»)

Эта переключка двух непохожих поэтов свидетельствует еще и о чуткой переимчивости, опасной, вообще говоря, для поэта, но переводчику необходимой.

Я. Хелемскому как поэту в высшей степени свойственно ощущение текучести бытия и стремление идти в ногу с жизнью, как с однопольчанами в строю. Многие стихи сборника посвящены теме преодоления разрушающей силы времени, посвящены ровесникам и ровесницам, не стареющим, хотя для очень многих уже «старшим». А нелегкая биография поколения придает любви к жизни особую остроту:

Живу!  
Не чудом ли живу?  
Я тоже мог лежать во рву  
С простреленною головой...

«Не дезертир, не домосед», лирический герой стихотворения мог и «погибнуть без войны, быть осужденным без вины»...

Живу!  
Не чудом ли живу?  
Я тоже мог...—

так кончается это стихотворение, во многом объясняющее любовное и пристальное внимание поэта к приметам живой жизни — к цветам осени и краскам современных картин, к большим событиям века и милым его мелочам, к весенней метели, например, когда «влажняет воздух. И оседает зимняя лыжня». В стихах Хелемского такая точно названная деталь порой говорит читателю о мире ярче, чем иной внешне как будто бы даже эффектный образ. «Все надежней и полновеснее бескорыстия урожай», — пишет, например, Я. Хелемский в стихотворении «Сосед», словно забыв, что поэтическое переосмысление, способное воскресить «первозданный» смысл слова, не должно этому коренному смыслу противоречить. Ведь «бескорыстие» по сути своей не предполагает награды! И едва ли «сверхчуткость» поэтического сердца («Пластика Маяковского») стоит сравнивать со сверхчуткостью вибратора, даже «тончайшего». Боюсь, что укоренившаяся склонность выбирать сравнения этого рода (вспомним давнее «а вместо сердца пламенный мотор») не столько способствует точности поэтического выражения, сколько доказывает излишнюю веру поэтов во всемогущество точных наук. Но хотя в одном стихотворении Хелемского есть «ускорителей разбег», а в другом говорится о Пегасе, который и «объезженный искусством» «не присмирел», «не погас», — не эти орехи определяют книгу. Я уюмянул о них лишь потому, что они опасны для многих поэтов, склонных употреблять слова не в их прямом, а в их метафорическом, но уже устоявшемся значении. Связи слов по этим вторичным, метафорическим смыслам всегда опасны тем, что сила коренного и первичного значения слова, недооцененная поэтом, неожиданно превращает хрупкий метафорический образ в недоразумение вроде «непогасшего Пегаса».

Яков Хелемский вообще нередко строит стихи, развивая в них некий исходный метафорический образ. Ощущение, что весна — бой (в стихотворении «Крики слышатся галочьи...», 1967), создало единый почти на все стихотворение метафорический ряд: «бараны апреля» в первой строфе возвещают «о начале похода», в следующих строфах «с веток и веточек стрелы сыплются наземь», «об исходе баталии догадаться нетрудно». А рядом с этим стихотворением — другое, в котором основой поэтической картины оказывается ощущение оживающего, обрета-

ющего новые связи мира, где все «зажурчало, запело. И пестрят многоочия на поверхности белой... углубленья и черточки — словно азбука Морзе.. В эту полночь весеннюю все ручьи и высотки шлют свои донесения, поздравленья и сводки» («Не во сне, а воочию...»).

Нельзя сказать, что восприятие весеннего мира сразу же в сходстве с чем-то само по себе лишает стихи непосредственности. Просто Хелемскому, как и многим городским по психологии поэтам, остро и чутко воспринимающим красоту природы, хочется закрепить в себе это чувство — оно и закрепляется через установление сходства с привычным, знакомым. В приведенных случаях характер поэтических ассоциаций говорит читателю и о том, что память о войне, должно быть, занимает немалое место в душе поэта. Конечно, недостаточно уловить и передать мгновенное ощущение сходства. Важно почувствовать и выразить, что же оно значит. Ведь само по себе развергивание точной найденной метафоры лишь варьирует первое, непосредственное и мгновенное чувство, а не развивает его от поэтической находки к обобщению, открытию. Впрочем, чувство композиции помогает Я. Хелемскому вовремя и умело завершить стихотворение.

Умение слышать смысловые и образные возможности слова не мешает поэту ценить слово, еще не «обработанное» литературным употреблением, слово само по себе:

О, эти ДЖЫ, и ДЗЕ, и ЦЕ!  
Дзя ўчына,

збожжа,

дзень,

дзівосны.

Созвездьям слов созвучны сосны,

Лозняк в закатном озере.

И вздохи дремлющего вяза...

(«Люблю поэтов белорусских!»)

Это ощущение слова как законченного в себе явления пришло к поэту вместе с творческой зрелостью: ведь Я. Хелемский, как от жизни, не отставал и от литературного процесса, одной из сегодняшних примет которого является возрождение обостренного внимания к слову. И понятно, что именно любовью к белорусскому языку привлекло Я. Хелемского стихотворение Пимена Панченко, где поэт на случай, если вдруг «белорусская мова» «растворится в слиянье языков», просит сохранить «хоть месяцев наших названья».

...СТУДЗЕНЬ — стужа за стеклами окон,  
ЛЮТЫЙ — синий февральский мороз,  
САКАВИК — набухание соков,  
Воскрешенье высоких берез...

(«Родной язык»)

Органичное, природное слово Белоруссии близко переводчику. Близок ему и напряженный драматизм «Монолога» Аркадия Кулешова:

Три ветви — дровом дружбы мы росли,  
Но две из них срубил топор несчастья.  
Ни в рай, ни в ад, однако, не попасть им —  
Они, как прежде, жители земли.  
Их ощущает, как безрукий руку  
Или безногий ногу, старый ствол...

Общее ощущение от книги «Ключ» — это ощущение мира полевого и лесного, сельского по преимуществу. Ощущение это вызывает первый же раздел книги — стихи

Петруся Бровки, чью безыскусность и простоту хорошо передает Я. Хелемский:

Защита будущему хлебу —  
Снежинки падают во мгле.  
Мы издавна стремимся к небу,  
А небо тянется к земле.

(«Люблю и солнышко в зените..»)

Самому Я. Хелемскому как поэту, может быть, и несвойственна эта простота. Но хороший переводчик не только отдает переводимым стихам свой темперамент и талант. Иной раз он получает от них то, чего не хватает ему самому.

Обе новые книги Я. Хелемского составляют как бы единое целое. Они вносят нечто новое и в наше представление о поэте, и в русскую поэзию. Беспорным фактом которой стала книга переводов «Ключ».

Ю. АЙХЕНВАЛЬД.

★

## ПРОЗА ВАДИМА ШЕФНЕРА

Вадим Шефнер. Запоздалый стрелок. Повести и рассказы. «Советский писатель». Л. 1968. 538 стр.

Склонность к рассуждениям и выводам, тяготение к ясности мысли, четкая выстроенность концепции вплоть до обращения к притчевой композиции — все это, свойственное Шефнеру-поэту, мы находим и в его прозе, что, однако, вовсе не значит, будто она рассудочна. Напротив, насыщенная глубоко лирическими темами и сюжетами, иногда даже и непосредственно автобиографичная, проза В. Шефнера изобильна неожиданными, сложными взаимодействиями героев и — более того — изначальным отрицанием чисто рассудочного отношения к жизни, и это — при явной ее тенденции к извлечению логического результата из переживания фактов.

К рассказам Вадим Шефнер обратился еще в начале сороковых годов. «Запоздалый стрелок» — не первый его сборник. Большую часть его занимают повести, так или иначе выходящие за пределы строго реалистической манеры — фантастические или с фантастикой граничащие. Они-то, пожалуй, всего более и показательны для В. Шефнера-прозаика. Условность этих повестей несомненна.

У Виктора Шумейкина из повести «Счастливый неудачник» все беды происходят

на почве, так сказать, обыденной жизни: то он с карниза свалился, то дом чуть не сжег, то в Финском заливе едва не утонул и т. д. Как сказано в стихах другого героя этой повести, графомана дяди Бобы, «сегодня имеем капризы и многого хотим достичь. А завтра случайно с карниза по черепу трахнет кирпич. Сегодня имеем зарплату и в бане кричим: «Поддавай!», а завтра, быть может, к закатау на нас наезжает трамвай». Ничего не поделаешь: общих закономерностей здесь нет и под контроль их взять невозможно.

Мало того. Герой Шефнера и неудачник — какой-то странный — счастливый. Оказывается, неудачи — не такая уж плохая вещь: они или приведут к счастью, или во всяком случае помогут избежать большей беды. Сам автор в предисловии к повести формулирует эту свою установку так: есть люди, которые каждую мелкую неудачу «воспринимают как жестокий приговор судьбы... Вот я и хочу придать им бодрости и по мере сил доказать, что неудачи часто ведут к удачам».

Что ж, намерение благое, хотя бы и в жанре «полувероятной» повести. Представление о том, что ничто в мире не проходит

бесследно, что все возмещается и нет неоплаченных слез и забытых героев, к счастью, не вовсе исчезло из сознания современного человека. И повесть Шефнера с ее родственной народной сказке моралью отвечает этой неискоренимой человеческой надежде на искупление.

Впрочем, формула сказочного оптимизма здесь скорее фигуральна. Удачи не столько сменяют неудачи, сколько живут в них, ибо главная удача героя — его характер, его молодая открытость миру, неистошимый резерв его душевных сил. Вот почему рассказ о больших и малых неприятностях героя ведется весело.

Та же проблематика и в повести «Человек с пятью «не», или Исповедь простодушного». Герою, жизнеописание которого здесь представлено, тоже фатально не везет — и опять-таки по причинам частного порядка. К примеру, приняв для проверки изобретенный провизором Валентином Валентиновичем «Прогресс-волосатин», он весь покрывается зеленой шерстью и попадает из-за этого в серию неприятностей: за неприличный вид его выгоняют из санатория, его бросает девушка, которой он отчасти нравился, ему приходится уйти из техникума и т. д.

Повесть названа сказкой, и не случайно: герой ее — потомок, хотя и не по прямой линии, Иванушки-дурачка. Неудачи его, сколь ни фантастичен повод ко многим из них, объясняются просто: доверчивостью, безотказной готовностью помогать людям — хотя бы тому же изобретателю, — простодушием, добротой и т. д. Да и завершается сюжет в соответствии с традицией: герой получает как будто бы полное возмещение за все свои неудачи.

И опять-таки: во втором плане повести таится, пока не выходит в конце ее на поверхность, мысль о том, что не в процветании и благополучии полнота бытия, а в сложном и разнообразном, пусть подчас и болезненном, жизненном процессе. Обретя благополучие и признание окружающих (его «находчивость и деловитость ставят в пример другим»), герой повести Степан стал испытывать иногда странное состояние, неведомое ему раньше, в долгой полосе бед и неудач: «Изредка, по ночам, когда в доме все спят, а мне не спится, меня охватывает нелепая грусть по моему бестолковому прошлому». Сбылось не только вы-

держанное в духе сказочной традиции предсказание цыганки — осуществилось и то, что «выдала» электронная машина гениального математика: удачи, успех привели к «нулю» — к изоляции от жизни.

Есть в повести и еще один поворот темы. Степан — «старательный и беспрогульный студент», безотказный добровольный помощник и исполнитель, и это бы ничего, если бы отношение его к миру не было столь безотчетным, если бы система оценок была у него осознана и точна, а усердие руководимо прочными критериями. Но доброта Степана безразборна. Его поэтому и обманывают все, кому не лень. Он словно та овца, которая сама просит, чтобы ее стригли. Конечно, в повести есть ирония, но идет она не от героя-повествователя, а мимо него — от автора, и вседозволенство простодушного Степана — не маска, а лицо. И это уже не столько трогательно, сколько грустно.

Особый тип «неудачника» развернут в маленьких повестях «Скромный гений» и «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала». Герои их, изобретатели, внутренне живут вне давления обстоятельств, сохраняя верность себе, своему делу, своей любви. То, что они делают, — реализация души, осуществление личного порыва, идеи, выросшей из индивидуального опыта. Поэтому создаваемое ими хотя и гуманистично по смыслу, однако не обязательно обращено ко всем. Это, как сказать, «лирические изобретения». Суть той и другой повести не в анализе отношений между социальными потребностями и чувством ответственности научного работника. Для этой — конечно же, серьезной — проблемы в обеих повестях слишком много доброго юмора и даже грустного умиления. Суть их в ином — в утверждении ценности человека, измеряемой не результатом его стремлений и усилий, тем более честолюбивых, а той глубокой общественной природой личности, которая выражается в душевных движениях и поступках, внешне не связанных с непосредственной социальной практикой, но определяющих ее стиль и направление.

Для того, чтобы очевиднее была значительность действительного человеческого содержания личности, Шефнер тем или иным способом изолирует своих героев от успеха или прямо противопоставляет их ему. Алексей Возможный уединяется в

глуши не только потому, что созданные им крылья несвоевременны. Просто его существование не нуждается в побрякушках славы («Запоздалый стрелок...»). Точно так же и Сергей Кладезев изобретает вполне уникальные, не рассчитанные на серийное производство препараты и приборы и не торопится выйти с ними к людям («Скромный гений»).

Герои Вадима Шефнера ходят, как правило, парами, и неудачника обычно сопровождает преуспевающий — его антидвойник. Вот здесь-то — в другом варианте — критерий удачи в его тривиальном значении окончательно переосмыляется, обращаясь уже в прямое средство негативной характеристики героя.

У Степана, человека с пятью «не», есть брат, который отцом «за громкий голос», «за свой здоровый внешний вид» был окрещен Виктором, Победителем. Таким он и становится, ибо посвящает себя личному успеху. Невежественный и тупой, он более всего заботится о том, как выглядит, и даже, боясь потерять «маститость», отказывается от омоложения.

Носителем культа успеха является и живущий в XXII—XXIII веках Историк литературы Матвей Ковригин («Девушка у обрыва, или Записки Ковригина»). Это человек уравновешенный и рассудительный, выдержанный и благоразумный. Он хорошо знает, что «недостижимое — недостижимо и невозможное — невозможно», и поэтому без особых страданий примиряется с потерями, особенно чужими. Он уверен в себе и доволен собой, а также миром, в котором живет, ибо принимает его как статичную данность. Он не одобряет дерзких новаторов: «В наш век не может быть великих открытий... В наш век возможны только усовершенствования». Его мудрость — «так всегда было, так всегда и будет».

Впрочем, усилия людей меняют мир, и Ковригин вынужден, конечно, принимать его — со всеми его изменениями. Но, вечный апологет господствующей нормы, он негодует теперь на тех, кто хотел бы еще раз сдвинуть реальность с места. Когда-то он отвергал идею универсального материала — аквалида, над которой работал его друг Андрей Светочев. В конце повести он говорит: «Наш мир стоит на аквалиде, а им (ученым нового поколения. — А. Л.) мало аквалида, им подавай Ничто, превращенное в Нечто!»...

Вадим Шефнер сам определяет жанры своих повестей: «полувероятная история» («Счастливый неудачник»), «повесть-сказка» («Человек с пятью «не»...», «Запоздалый стрелок...»). Если принять подразумеваемые авторские критерии, то можно, очевидно, назвать сказкою и повесть «Скромный гений». И лишь в одном случае автор настаивает на собственно фантастике, давая «Девушке у обрыва...» подзаголовок «фантастическая повесть». Но это как раз случай наименее удачный. «Девушка у обрыва...» строится на многих типовых местах современной зауряд-фантастики: кроме процветающего мира послезавтрашнего дня, в ней есть всякие усовершенствования, великое открытие, драматические приключения героев и многое другое в том же роде. Трактуются это застывшее жанровое содержание преимущественно серьезно. Но даже и там, где держаться в рамках традиционной научно-фантастической повести Вадиму Шефнеру уже не по силам и он прибегает к спасительному юмору, юмор его не спасает: скажем, пародийно-полемическая интонация в рассказе о чудо-агрегатах, создающих и контролируемых стихи, так же привычна, как и восторги по их поводу. Юмор здесь теряет глубину и вырождается в банально-репризный. Связано это, очевидно, с тем, что Матвей Ковригин с его самодовольством хорошо приспособившейся посредственности нередко размывается как характер, либо превращаясь в экскурсовода по достопримечательностям XXII века, либо просто уступая место автору для нетрудных шуток. Отсюда и жанровая аморфность этого произведения.

В повести «Человек с пятью «не»...» фантастика имеет последовательно сатирическую функцию. Чудеса техники придуманы здесь автором не для того, чтобы мы, послушные упомянутому Валентину Валентиновичу, создателю «Прогресс-волосатина», рисовали себе соблазнительные картины жизни благодетельствованного очередным гением человечества. Назначение их в другом — в осмеянии узкопрактического подхода к науке и самой жизни. Когда некий Олег Олегович на своей Опытной Установке материализует время в голубую пластмассу, а из нее штампует пепельницы и торгует ими на базаре, дискредитация мещанского утилитаризма осуществляется в фантастическом образе впечатляюще и



масштабно. Мало того, у Шефнера все эти крайне практичные изобретения никому, в том числе и герою повести, счастья не приносят. Фантастика здесь, таким образом, составляет художественную материю сатирической мысли, но вовсе не утверждает собственное содержание как гипотетически возможное.

В сборнике Вадима Шефнера не все сказка и фантастика. Рассказы, составившие основу первого раздела книги, живы своей чуткостью к человеческому горю, уважением к душевному миру личности, сознанием ее непререкаемой ценности. Из военных рассказов несомненно хороши «Неведомый друг» (1944) и «Наследница» (1943), из последних — «Дальняя точка» (1959) и «Тихая просьба» (1961). Написаны они иначе, чем произведения сказочные и фантастические, но это просто другой вид литературы.

Своеобразный мост между ними — рассказ «Ночное знакомство» (1961). Психология желаний и наивной веры, игнорирующих ограничения нашего реального зем-

ного мира, представлена здесь в своем идеальном качестве — как психология детства: ребяташки хотят приманить собаку, несколько ночей подряд снящуюся одному из них, и привести ее в дом. Они покупают для этого колбасу, кладут ее под подушку и — ночь за ночью — ждут, надеются, отчаиваются... Рассказ где-то на грани правдоподобия, в нем все та же открытость миру и все та же святая цельность нелукавой души, что и в фантастике Шефнера. Больше того: в нем тот же преуспевающий «практик» — вечный спутник «неудачника», на этот раз заурядный пройдоха, непридуманно извлекающий из простодушия маленьких идеалистов вполне материальную выгоду — деньги, кусок колбасы и т. д.

Итак, противостояние интеллигентности и делячества, естественной человечности и суетливой погони за успехом, деликатности и способности идти напролом... Как видим, мера, с которой Вадим Шефнер подходит к людям, не всеобъемлюща. Но без нее — не обойтись.

А. ЛИПЕЛИС.

★

## РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Улитка на склоне. Ч. I — сборник «Эллинский секрет» Лениздат 1966. Ч. II. «Байкал», №№ 1, 2, 1968.

«... На холме и вокруг холма происходит что-то странное... Из леса с густым басовым гудением вдруг вырываются исполинские стаи мух, устремлялись к вершине холма и скрывались в тумане. Склоны оживали колоннами муравьев и пауков, из кустарников выливались сотни слизней-амеб... Один раз из тумана со страшным ревом вылез молодой гиппоцет, несколько раз выбегали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за собой белесые полосы остывающего пара...»

Перед нами «фантастическая повесть» Аркадия и Бориса Стругацких «Улитка на склоне».

Опять фантастика!

Диву даешься, как подумаешь, сколько всяких фантастических чудиш приходится ныне на одну человеческую душу в литературе. И произошло это прямо на наших глазах. Не странно ли, между тем, что именно сейчас — в пору небывалого расцвета строго научных взглядов на жизнь — такой

популярностью стала пользоваться всякого рода художественная фантастика? В чем смысл сего парадокса?

Впрочем, уже само по себе нынешнее обилие художественной фантастики наводит на мысль, что долго так дело продолжаться не может: должно же наконец количество перейти в какое-то новое качество! Вель традиционная фантастика начинает, кажется, понемножку навязать читателю в зубах. С чувством неясной надежды на непредвиденное открывает теперь он всякое новое произведение, написанное в этом экстравагантном жанре.

«...Проект директивы о привнесении порядка».

§ I. На протяжении последнего года Управление по лесу существенно улучшило свою работу и достигло высоких показателей во всех областях своей деятельности. Освоены, изучены, искоренены и взяты под вооруженную и научную охрану многие сотни гектаров лесной территории. Непрерывно

растет мастерство специалистов и рядовых работников. Совершенствуется организация, сокращаются непроизводительные расходы, устраняются бюрократические и иные непроизводственные препоны.

§ 2. Однако наряду с достигнутыми достижениями, вредоносное действие Второго закона термодинамики, а также закона больших чисел все еще продолжает иметь место, несколько снижая общие высокие показатели. Нашей ближайшей задачей становится теперь упразднение случайностей, производящих хаос, нарушающих единый ритм и вызывающих снижение темпов...»

Да... Это, кажется, что-то действительно новенькое в нашей фантастической литературе. А впрочем, вспомним-ка Бредбери, лемовские «Дневники» Йона Тихого, вспомним тех же Стругацких — «Понедельник начинается в субботу»... Да и вообще даже самая что ни на есть фантастическая мысль ограждает, как известно, пусть в самом фантастическом виде, какие-то вполне реальные обстоятельства. И, стало быть, ее можно проанализировать с этой — реальной — точки зрения. Только вот зачем же все-таки отражать реальные обстоятельства в самом фантастическом виде?

Затруднительно сколько-нибудь связно изложить сюжет нового произведения Стругацких. В общем же, речь идет о различных диковинных злоключениях двух героев. Одного зовут Перец. Он — филолог по образованию — попадает в некое Управление, которое занимается Лесом. Что такое «Управление», читателю, должно быть, — хотя бы в общих чертах — известно. А вот «Лес» — это не лес, это, как предупреждают нас сами авторы повести, «скорее символ непознанного и чуждого, чем само непознанное и чуждое, по необходимости упрощенный символ всего того, что скрыто пока от человечества из-за неполноты естественнонаучных, философских и социологических знаний». И еще авторы говорят, что «читателю не следует ломать голову над вопросом, где же именно происходит действие: в глухом неисследованном уголке Земли или на отдаленной фантастической планете. Для понимания повести, — как они полагают, — это не играет роли»...

Перец очень хочет попасть на Биостанцию при Управлении и оттуда в Лес, который давно уже манит его своими тайнами. В ту же пору по Лесу блуждает другой герой повести — Кандид, который гонится до

браться до Биостанции, вернуться к людям. Но Управление устроено так, что попасть из него в Лес крайне трудно. А Лес «устроен» так, что он знать ничего не знает и знать ничего не хочет ни о каком Управлении, и выбраться из него почти никакой возможности нет.

Несколько лет тому назад в статье, опубликованной в одном из наших популярных изданий, проводилась та мысль, что художественная фантастика все более начинает обнаруживать тенденцию к измене романтическим абстракциям космических прогнозов во имя обращения к насущным проблемам земной жизни. Статья называлась «Возвращение со звезд» (см. «Техника — молодежи», № 5. 1964). Эта мысль находит подтверждение в свидетельствах самих создателей художественной фантастики. Станислав Лем как-то заметил: «В конечном счете я пишу для современников о современных проблемах, только надеваю на них галактические одежды». А вот зачем же нужны все эти «одежды»? Есть ли какое-то объективное объяснение и оправдание или нет?

Впрочем, в новой повести Стругацких одежды такого рода сведены, по-видимому, к минимуму.

«...Отыскав Кулака, он тронул его за плечо...

— Чего, шерсть на носу, касаешься? — прохрипел он, глядя Кандиду в ноги. — Один вот тоже, шерсть на носу, касался, так его взяли за руки и за ноги и на дерево закинули, там он до сих пор висит, а когда снимут, так больше уже касаться не будет, шерсть на носу...

— Идешь? — коротко спросил Кандид.

— Еще бы не иду, шерсть на носу... Да только куда идем? Колченог вчера говорил, что в Тростники, а я в Тростники не пойду, шерсть на носу, там и людей-то в Тростниках нет, не то что девок, там если человек захочет кого за ногу взять и на дерево закинуть, шерсть на носу, так некого, а мне без девки жить больше невозможно, меня староста со свету сживет...»

Нет, что там ни говорите, не с туманности Андромеды слышится этот голос. Странная, действительно, фантастика (если не странно говорить так о фантастике) окружает героев новой повести. Прыгают по Лесу деревья, какие-то полурастения-полуживотные припеиваются к людям, «мертвяки» — киберы охотятся за тупыми,

одичавшими жителями лесных сел. А в Управлении кипит бессмысленная деятельность, составляются дикие директивы, на испорченных счетных машинах подготавливаются материалы для каких-то сводок, чиновники осваивают смежные специальности, а в рабочее время режутся в шахматы и надираются кефиром до потери человеческого облика... В Лесу хозяйничают какие-то «высшие существа», насаждающие прогресс посредством искоренения всего человеческого в людях. И сквозь всю эту кривляющуюся несуряницу, сквозь всю эту пошехонщину и чертовщину проходят два современных человека — два главных героя повести, — они недоумевают, и ужасаются, и стараются как-то разобраться в закономерностях этого неправомерного мира, в котором все перепутано: то, что бывает, с тем, что не должно быть, а то, чего не может быть, с тем, что, того и гляди, будет. Этот мир соткан из самых разноречивых тенденций общественного бытия. Это невероятный мир. Это мир разного рода общественных потенциалов, порой весьма мрачных. Перед нами как бы эмбрионы тех или иных вероятностных феноменов будущего — того будущего, которое возможно, если дать этим эмбрионам развиваться. В повести эти эмбрионы рассмотрены под микроскопом, возможность дается в перспективе, претензия материализуется, мизерное оказывается чудовищным, мы видим воочию то, чего не должно быть, фантастика вырывается из окружающей действительности.

Впрочем, Стругацкие тут не делают никаких открытий. В сущности, они вполне следуют известному принципу: видеть и изображать жизнь в ее развитии. Все дело лишь в том, что они не хотят уподобиться теологам, ибо разве лишь теолог способен еще в наш век верить в фатальную предопределенность прогресса и не понимать, что «развитие жизни» вариантностно. По поводу же «исторической функции, выполненной фаталистической концепцией философии практики, можно было бы написать хвалебный некролог, напомнив о пользе, которую она принесла в определенный исторический период, и именно поэтому обосновывая необходимость похоронить ее со всеми приличествующими случаю почестями» (А. Грамши).

Что же касается собственно фантастики, то в этой связи безынтересно будет, наверное, вспомнить, что еще Чернышевский наставлял на важности разделения всех стремлений на стремления и потребности

«действительные, серьезные, истинные» и стремления «мнимые и фантастические», которые не имеют оснований в «естественных потребностях» человеческой природы.

Но что же такое эти «фантастические потребности», как не известные общественные тенденции, претендующие на общественную значимость или даже обшесзначимость, хотя и не имеющие опоры в «естественных» и «здоровых» свойствах «человеческой природы»?

Конечно, с устранением «фальшивой обстановки» подрывается база и у «фальшивых желаний», но сами собой они при этом не исчезают. С ними надо бороться, ибо и сами они борются за свое осуществление. И вот в этом-то случае художественная фантастика подчас может оказаться тем более реалистичной, чем «фантастичнее», как говорил Чернышевский, те элементы реально существующей фальши, о которых она рассказывает и вероятностную проекцию в будущее которых она нам представляет. Вот зачем этого рода литературе нужны ее «фантастические» одежды — форма соответствует содержанию, этих «одежд» требует сама модель отображаемой тенденции, иные ей не годятся. Так фантастика некоторых реальных тенденций и стремлений находит себе соответствие в реализме художественной фантастики.

«...Есть такое мнение, господа, что человек никогда не договорится с машиной. И не будем, граждане, спорить. Директор тоже так считает. Да и Клавдий-Октавиан Доморошинер этого же мнения придерживается. Ведь что есть машина? Неодухотворенный механизм, лишенный всей полноты чувств и не могущий быть умнее человека. Опять же и структура небелковая, опять же и жизнь нельзя свести к физическим и химическим процессам, а значит, и разум... Тут на трибуну взобрался интеллектуал-лирик с тремя подбородками и галстуком бабочкой. рванул на себе безжалостно крахмальную манишку и рыдающе провозгласил: «Я не могу... Не хочу этого... Розовое дитя, играющее погремушкой... плакучие ивы, склоняющиеся к пруду... девочки в беленьких фартучках... Они читают стихи... они плачут... плачут!.. Над прекрасной строкой поэта... Я не желаю, чтобы электронное железо погасило эти глаза... эти губы.. эти юные робкие перси... Нет, не станет машина умнее человека! Потому что я... потому что мы... Мы не хотим этого! И этого не будет

никогда!!! Никогда!!!» К нему потянулись со стаканами воды, а в четырехстах километрах над его снежными кудрями беззвучно, мертво, зорко прошел, нестерпимо блестя, автоматический спутник-истребитель, начиненный ядерной взрывчаткой...»

Кто теперь со спокойной совестью может отрицать, что это абсолютно фантастическая картина? И кто со спокойной совестью ныне захочет отрицать, что нет на нашей планете «такого мнения», как пишут Стругацкие, согласно которому. «чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немытые ноги и нечищенные башмаки... Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности... Приятно, желательно, но отнюдь не обязательно. Как латынь банщику. Как бишопсы для бухгалтера. Как уважение к женщине для Доморошнера (заведующий кадрами Управления.— А. Л.)... Все зависит от того, как понимать прогресс. Можно понимать его так, что появляются эти знаменитые «зато»: алкоголик, зато отличный специалист; распутник, зато отличный проповедник; вор, выжига. зато отличный администратор! Убийца, зато как дисциплинирован и предан...»

И когда герои Стругацких уходят довольно далеко в будущее, построенное согласно этому мнению, нехитрые желания начинают посещать их. Эти желания возникают как своеобразная антитеза фантастическому миру, который окружает их. Эти желания — своего рода антиутопия, рожденная утопической действительностью в сознании утопистов поневоле, каковыми эти герои на самом деле являются. Эти желания — реакция на фантастическую реальность, на фантастику, данную им в ощущениях.

«Хорошо бы где-нибудь отыскать людей,— подумал он.— Для начала просто людей — чистых, выбритых, внимательных, гостеприимных. Не надо полета высоких мыслей, не надо сверкающих талантов... Пусть они просто всплеснут руками, увидев меня, и кто-нибудь побежит наполнять ванну, и кто-нибудь побежит доставать чистое белье и ставить чайник, и чтобы никто не спрашивал документы и не требовал автобиографии в трех экземплярах с приложением двадцати дублированных отпечатков пальцев, и чтобы никто-никто не бросался к телефону сообщить куда следует значительным шепотом, что-де появился неизвестный, весь

в грязи, называет себя Перцем, но только вряд ли он Перец, потому что Перец убит на Материк и приказ об этом уже отдан и завтра будет вывешен... И чтобы они не требовали от человека полного соответствия каким-нибудь идеалам, а принимали и понимали его таким, какой он есть. . Боже мой, — подумал Перец, — неужели я хочу так много?»

И вообще, «какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс, я и прогрессом-то его называю только потому, что нет другого подходящего слова... Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали!.. Идеалы... Естественные законы природы... И ради этого уничтожается половина населения! Нет, это не для меня. На любом языке это не для меня». Плевать мне, говорит Кандид, что какой-нибудь там несчастный житель лесной деревушки—«это камешек в жерновах их прогресса. Я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормозили...».

Да, «закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали», история сама по себе не имеет цели. Но вот люди, которые «делают историю», — не вне морали, и они имеют цель. Важно, чтобы цель была правильная. Но ведь даже и в том случае, когда цель избрана правильно, бывает, случаются и разного рода отклонения от пути к этой правде, бывают искажения на этом пути. Бывают? Бывают. И тогда важно, чтобы эти отклонения и искажения не заслоняли бы собой и путь к цели, и самую цель. Новая повесть Стругацких вызвана к жизни этой заботой. Не праздной. Ибо существуют, как видно, различные, порой противоположные, представления о том, что же следует считать нормой, нормальным ходом жизни. а что — отклонением от нормы. Для героев новой повести Стругацких, скажем, действительность, окружающая их, — фантастически ненормальна. Но встречаются, оказывается, и такие еще представления о жизни, согласно которым ненормально как раз подобное именно отношение к изображаемой в повести фантастической действительности! Фантастика провозглашается реальностью, нормальная жизнь подменяется нормативной фантастикой. Обстоятельства, которые, согласно Стругацким, не имеют права на развитие, противоестественны, — эти самые обстоятельства вдруг ни с того ни с сего

прочно прописываются не где-нибудь, а в нашем социалистическом обществе, объявляюся чуть ли не характеристическими для него!

«Это произведение, названное фантастической повестью, является не чем иным, как пасквилем на нашу действительность... Авторы не говорят, в какой стране происходит действие, не говорят, какую формацию имеет описываемое ими общество. Но по всему строю повествования, по тем событиям и рассуждениям, которые имеются в повести, отчетливо видно, кого они подразумевают», — пишет в газете «Правда Бурятии» (19 мая 1968 года) В. Александров.

На каком же основании делается это допущение, по каким характерным чертам совмещает В. Александров фантастическую реальность Стругацких с реальностью, им обозначенной? А вот по каким: «Фантастическое общество, показанное А. и Б. Стругацкими в повести «Улитка на склоне», — пишет В. Александров, — это конгломерат людей, живущих в хаосе, беспорядке, занятых бессельным, никому не нужным трудом, исполняющих глупые законы и директивы. Здесь господствуют страх, подозрительность, подхалимство, бюрократизм».

Вот те на! Поистине фантастическая аберрация! Что же, выходит, все эти явления и признаки и есть то «типическое», что сразу же дает право рассматривать любую фантастику, если она включает в себя подобные элементы, как некий «слепок» с нашей действительности? Хороши же у товарища В. Александрова представления об обществе, его окружающем, ничего не скажешь...

Впрочем, В. Александров может думать, конечно, и так, это его право. Но не опростетливо ли в таком случае, выступая в роли обличителя злонамеренных, столь неловко и откровенно демонстрировать свои собственные весьма, скажем так, удивительные мнения о нашем обществе и, судя о других по самому себе, приписывать им без тени смущения эти собственные свои представления, выдавать формулы, в которых явления, составляющие, как всем известно, всего лишь отдельные искажения и единичные, эпизодические отклонения от норм данного общества, предстают уже как его неотъемлемые и самоочевидные признаки?..

Писательница А. Громова в предисловии ко второй части повести Стругацких замечает: «Я вовсе не собираюсь из опасения, что

«Улитка на склоне» будет кому-то непонятна, давать к ней разъяснительные комментарии: я знаю, что этой повести обеспечена достаточно широкая аудитория». Есть основания полагать, что так оно и будет. И, может быть, потому, в частности, что в этой повести достаточно отчетливо проявились некоторые характерные черты современной художественной фантастики, пусть даже пока еще в достаточно схематической форме. Целесообразно ли, чтобы это произведение комментировалось на манер приведенного выше образца? Но не в этом даже заключено главное. Куда важнее то, что уже есть, оказывается, люди, готовые поверить в существование фантастической химериалы Стругацких и принять ее как вполне реальный образ жизни!

Нет, это совсем не удивительно, что ныне — в пору небывалого развития научных взглядов — такое распространение получила и такой популярностью пользуется разного рода художественная и научная фантастика. Ибо именно развитие научного, трезвого взгляда на жизнь позволило людям обнаружить утопические элементы и вкрапления в самых реалистических и рациональных в целом системах, позволило увидеть земные корни самых невероятных утопий. Утопия — это заблуждение, претендующее на вечность. Современная художественная фантастика все более и утверждает себя главным образом как форма преодоления социального утопизма. Гем она прежде всего и ценна, потому-то она и оказалась столь необходима именно в век великой технической революции и всемирных побед научного коммунизма...

Создателям и теоретикам художественной фантастики бывает свойственна обидчивая интонация: литературу такого рода часто все еще рассматривают как не вполне серьезное, что ли, искусство, как искусство занимательное по преимуществу. Но все более широко элементы художественной фантастики проникают в традиционное реалистическое искусство и все больше вполне реалистических элементов накапливается в произведениях, написанных в жанре художественной фантастики. Возникает новый синтез, и критерии сближаются. Но не механически — реализм порывает со всяческими утопиями, отделяя их от себя и осознавая их в себе. Изобилие художественной фантастики чревато кризисом жанра, и творцы такого рода искусства

более всего заинтересованы в этом кризисе: он будет означать их победу, победу искусства...

...Выбираясь из Леса, один из героев новой повести встречает наконец его истинных хозяев. «Они не обратили на него внимания... Он ничего не значил для них, словно был большим приبلудным псом, какие бегают повсюду без определенной цели и готовы часами горчать возле людей, ожидая неизвестно чего». И человек остолбенел при виде этих «жутких баб-амазонок, жриц партеногенеза, жестоких и самодовольных повелительниц вирусов, повелительниц леса». Но что же, собственно, все-таки произошло? — думает герой. «Я встретил трех лесных колдуний. Но мало ли кого можно встретить в лесу. Я видел гибель лукавой деревни, холм, похожий на фабрику живых существ, адскую расправу с рукоедом... гибель фабрика, расправа... Это же мои слова, мои понятия... Мне это страшно, мне это отвратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо. и может быть, надо говорить не «жестокое и бессмысленное натравливание леса на людей», а «планомерное, прекрасно организованное, четко продуманное наступление нового на старое», «своевременно созревшего, налившегося силой нового на загнивающее бесперспективное старое»... Не извращение, а революция. Закономерность. Закономерность, на которую я смотрю извне пристрастными глазами чужака, не понимающего ничего и потому, именно потому воображающего, что он понимает все и имеет право судить. Словно маленький мальчик, который негодует на гадкого петуха, так жестоко топчущего бедную курочку»...

Но нет. Дело тут не в наивности героя. И тогда ему впервые в голову с такой отчетливостью приходит мысль, ради утверждения которой, быть может, и написано все произведение: «Контакт между гуманоидным разумом и негуманоидным невозможен. Да, он невозможен». Человеку не ме-

сто в фантазмагорическом мире, он не может в нем ужиться, сколько бы ни старался в том преуспеть...

Прыгают живые деревья, ядовитые мхи прорастают в живое человежье тело, и Доморошинер в Управлении готовит очередной «Проект о привнесении порядка и искоренении случайностей», а жуткие бабы-амазонки, жрицы партеногенеза, все играют в свои девичьи игры...

«...Он оглянулся на Слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Живой радиоприемник. Значит, есть и живые радиопередатчики... и живые механизмы, и живые машины, да, например, мертвяки... Ну почему, почему все это, так великолепно придуманное, так великолепно организованное, не вызывает у меня ни тени сочувствия — только омерзение и ненависть»...

Кулак неслышно подошел к нему сзади и треснул его ладонью между лопаток.

— Встал тут и глазеет, шерсть на носу, — сказал он. — Один вот тоже все глазел, открутили ему руки-ноги, так больше не глазеет. Когда уходим-то?»

Надо было как-то добираться до Биостанции...

У нас по справедливости много пишут — особенно в последнее время — о необходимости всемерного развития искусства, романтически окрыленного, проникнутого пафосом романтической мечты, романтической устремленностью в будущее. Эти энергичные призывы к всемерному развитию такого рода искусства совершенно закономерны сейчас у нас. И утверждение мечты о прекрасном будущем, романтического порыва вперед и вверх находит себе необходимое дополнение в развенчании тенденций, претендующих на историческую правомерность и романтический ореол, но несовместимых с идеалом научного коммунизма.

**А. ЛЕБЕДЕВ.**

## НА СМЕРТЬ МАТЕРИ

Симона де Бовуар. *Очень легкая смерть*. Перевод с французского Н. Столяровой. Послесловие С. Великовского. «Прогресс». М. 1968. 112 стр.

Первый послевоенный роман Симоны де Бовуар назывался «Все люди смертны». То была пространная философская притча о человеке, отведавшем эликсир жизни. Фоска — властитель Кармоны — стремился к бессмертию, чтобы сломить врагов, осадивших город. Он достиг бессмертия и действительно взял верх над ними. А затем, обретя сверхчеловеческие возможности, стал ставить перед собой все более и более грандиозные задачи, непосильные для смертного, чей век отмерен, и добивался их осуществления. Но неумолимое время всякий раз сообщало привкус разочарования плодам его свершений: новое поколение, успевавшее уже прийти на смену современникам замысла, нуждалось в чем-то другом, стремилось к иным целям, оказывалось чуждым упованиям вечного Фоски. Сквозь континенты и эпохи (от позднего средневековья до наших дней) тянула Симона де Бовуар нить этой судьбы, иллюстрировавшую умозрительный конфликт между «точкой зрения смерти, абсолюта, Сириуса и точкой зрения жизни, индивида, Земли», как позднее определила она сама в «Силе вещей». Самозабвение любви, всевластность страстей, упоение борьбой, отвага и одержимость идеей, ради которой человек готов пожертвовать всем вплоть до жизни, оказывались недоступны Фоске именно потому, что он-то пожертвовать жизнью не мог. Свинец усталости и разочарования копился в его жилах, он отрекался от активного участия в деятельности людей и искал забвенья в некоем подобии добровольного анабиоза, эрзаца небытия. Все люди смертны, и люди они потому, что смертны, — гласил роман.

«Очень легкая смерть» — тоже книга о жизни и смерти. Но в ней нет и следа умозрительной философски-этической конструкции. Здесь все — пережитое. Это рассказ дочери о смерти матери.

Симона де Бовуар описывает с безжалостной — к себе и читателю — откровенностью долгую и мучительную агонию семидесятивосьмилетней женщины, погибающей от саркомы. Описывает свое смягчение перед этим невыразимым страданием, перед этой неистовой борьбой за жизнь в преддверии неотвратимой кончины. Описывает не под-

властное доводам разума безотчетное чувство стыда за собственное бессилие. Описывает, как борется в ней желанье, чтоб мать поскорее отмучилась, умерла, и неодолимая, вопреки логике, жажда продлить эту угасающую жизнь, которая так страшится небытия, так радуется малейшей иллюзии улучшения, так цепляется за самую крохотную надежду. «Не раз при мысли о муках обреченных на смерть больных я возмущалась бездействием их близких: «Я бы убила такого больного». Но при первом же испытании я дрогнула, поддалась общепринятой морали и отрекаюсь от своей собственной. «Да нет, — сказал Сартр, — просто вы спасовали, это неизбежно», — рассказывает она.

Симона де Бовуар не пытается дать некое абсолютное, равнозначное для всех решение этической коллизии, возникающей у каждого, кто оказывается в ее положении. Как вести себя перед лицом бессмысленных страданий близкого существа, уже обреченного на смерть (но когда это случится? через час? через день? через месяц? вправе ли кто-нибудь отнять у человека этот час, день, месяц?). Странно, что она судит куда категоричнее, когда ставит ту же проблему по отношению к врачу (впрочем, странно это только, если думать об авторе как носителе чистого разума, не подвластного эмоции). Как ни далека Симона де Бовуар от толстовского презрения к науке, к медицине, толкующей о «кишке» и «почке», когда нужно думать о вечных вопросах жизни и смерти, к врачам она почти столь же несправедлива, как автор «Смерти Ивана Ильича». С плохо скрываемой ненавистью пишет Симона де Бовуар о всегда подтянутом, элегантном, талантливом докторе Н., который гордится тем, как он блестяще провел реанимацию старой женщины. Гем, что во время операции были использованы самые современные способы анестезии Симоне де Бовуар представляется, что Н. — тип врача, не думающего о том, что больной — человек, отказывающегося принимать во внимание чувства родных. Он мастер своего дела, не желающий считаться ни с чем, кроме мастерства.

Точно забыв, что она сама для себя не решила вопроса о том, как должно держаться у одра страждущего и обреченного

и вправе ли она ускорить шаги смерти, Симона де Бовуар требует, чтобы врач, для которого решение это, может быть, еще сложнее, отказался в известный момент от бессмысленной борьбы за продление жизни — продление страданий.

Н. представляется ей типом технократа, типом буржуа, ограниченного ханжеской моралью, общепринятыми нормами поведения. «Уважающий себя врач не идет на компромисс в двух случаях: когда дело касается наркотиков и аборта» — приводит она ответ Н. на ее просьбу давать матери побольше наркотиков, чтобы та не чувствовала боли. Эта «железная» формула окончательно компрометирует врача в глазах Симоны де Бовуар, не задумывающейся о том, какие нравственные муки могут стоять за холодной личной хирургии, вынужденного ежедневно переживать то, что ей самой приходится пережить впервые.

«Очень легкая смерть» была написана Симонной де Бовуар сразу после смерти матери. Страницы этой книги еще дышат болярной атмосферой, еще кровоточат.

Можно ли, нужно ли, человечно ли писать о таком? Дано ли писателю нравственное право делать предметом литературы столь страшные интимные переживания? Симона де Бовуар ответила бы на этот вопрос, что не только можно, но и должно: таково ее представление о праве и долге писателя-мемуариста, представление, ставшее, очевидно, второй натурой.

Воспоминания о счастливой незабываемой поре детства, написанные в зрелые годы, не редкость. Чаше всего люди, с которыми соприкасался ребенок, уже умерли. Никто не оскорбится, не възышет, если и будет помянут иронически. К тому же годы изглаживают из памяти большинство людей все дурное, что случилось в те дальние времена, высвечивают все милое, доброе. Иное дело, когда мемуары режут по живой плоти времени, по неостывшим, еще не отпавшим от живой жизни человеческим отношениям. Здесь каждое суждение задает современников. Здесь многолика правда непременно к кому-нибудь да обращивается сурово нахмуренным лбом, жестким взглядом, презрительно искривленным ртом. Здесь нередко встает эгическая проблема о праве мемуариста делать публичным то, что было вместе с ним пережито реальными персонажами повествования. Воспоминания Симоны де Бовуар стоят на крайнем преде-

ле откровенности — о себе и, неизбежно, о других.

Это может покорибить читателя, воспитанного в иной мемуарной традиции. Во французской литературе исповедальная откровенность имеет очень глубокие корни, восходящие к Жан-Жаку Руссо, но даже французская критика, главным образом, впрочем, консервативная, встретила некоторые страницы автобиографии Симоны де Бовуар упреками в бесстыдстве.

Когда в 1960 году вышел в свет второй том ее мемуаров «В расцвете сил», касавшийся событий пятнадцатилетней давности, многие корили автора за то, что она поторопилась, что следовало выждать, пока все уляжется, ойдет на дистанцию, не подвластную страхам. Симона де Бовуар не вняла укорам. Напротив, бросила им вызов, как всю жизнь бросала вызов общественным условностям и табу. Она гут же принялась за третью книгу мемуаров, которая и вовсе касалась самого недавнего: «Сила вещей» завершается 1962 годом, а вышла она в свет в 1963-м. «Я хочу передать еще совершенно живой опыт», «я хочу ухватить его в движенье», — объясняла она.

«Безразличие — будь оно просветленным или безутешным, — свойственное дряхлости, не позволило бы мне передать то, к чему я стремлюсь: тот момент, когда на грани еще обжигающего прошлого начинается закат. Я хотела, чтоб в этом рассказе циркулировала моя кровь; я хотела погрузиться в него еще живой и поверить мою жизнь сомнением до того, как все сомненья угаснут», — писала она в предисловии к «Силе вещей».

Это стремление передать себя людям во всей несглаженности, незакругленности, неразрешенности внутренних коллизий вызвано не тщеславием, не нездоровой жаждой самобичевания, а гвердой уверенностью, что чем искренней, полнее, достовернее рассказана одна жизнь — а чья же жизнь может быть рассказана полнее, чем своя? — тем важнее это повествование для людей, стремящихся к самопознанию. И долг мемуариста — бесстрашье, а если угодно, даже бесстыдство. Бесстыдство в том смысле, в каком верующий на исповеди не испытывает стыда перед священником. Только судия для Симоны де Бовуар не бог, а человечество.

Отсюда и внутренняя необходимость рассказать о смерти матери и о том, как



она — Симона де Бовуар — эту смерть пережила. Рассказать прямо, откровенно, не прикрываясь никаким флером благопристойности. Симона де Бовуар смеет, к примеру, написать, что почти не взволновалась, узнав о том, что мать упала и сломала шейку бедра, хотя понимала всю опасность; она подумала: «..Вообще говоря, смерть в ее возрасте — вполне естественное явление». Такая правдивость ужасает. Но она же внушает доверие к словам, которые будут сказаны дальше. И ставит перед читателем с бескомпромиссной остротой те проблемы, от которых многим подчас хочется уклониться.

Разумеется, смерть — «естественное явление». И семьдесят восемь лет — почтенный возраст. Но нет, нет и нет! Никогда человек не согласится с тем, что смерть — естественное явление. Мысль о неизбежности смерти, ясная и общезвестная, все же держится нами в самом темном, самом дальнем, самом абстрактном углу сознания и никогда — пока не подступит страшная минута — не прилагается повседневно ни к себе, ни к близким (вспомните рассуждение о Кае — человеке, который смертен, — в «Смерти Ивана Ильича»). И рассказ Симоны де Бовуар о днях, проведенных у смертного одра, в больничной палате, где заживо разлагается, постепенно уходит измученное тело той, что была полстолетия назад «дорогой мамочкой», — яростный вопль протеста, неприятия, ненависти к смерти.

Читая работу одного критика, посвященную его творчеству, Андре Мальро заметил на полях рядом с процитированным утверждением Сартра, что герой романов Мальро всегда «человек-для-смерти»: «А может, вернее заменить «для» на «против»? Это ведь только на первый взгляд одно и то же».

«Очень легкая смерть» — книга о «человеке-против-смерти». И как все настоящие книги против смерти — а таких в нашем столетии немало, ибо век на смерти щедр, а вера в загробное возмездие утешает очень немногих, — она также книга против неподлинной жизни. И в этом она тоже перекликается со «Смертью Ивана Ильича», хотя представления о том, что такое «настоящая жизнь», у авторов этих двух произведений достаточно расходятся.

Смерть ставит точку. Непоправимо, необратимо. Нельзя начать сначала, переде-

лать, передумать, перестроить. Ничего нельзя вернуть. А между тем дочь видит, как приближение смерти избавляет мать от предрассудков, от поверхностных обывательских суждений, навязанных ей средой и мешавших близости дочери и матери. Осыпается шелуха запретов, подавлявших самостоятельность Франсуазы де Бовуар, обесценивается обрядность (Франсуаза де Бовуар не теряет веры, но отказывается тратить силы, нужные для борьбы с болезнью, на встречу со священником.) И дочь невольно думает: если бы все это случилось раньше... Эта жизнерадостная, темпераментная, любопытная к людям и странам, способная, веселая, трудолюбивая женщина могла бы прожить совсем по-иному, куда полнее, богаче, ярче, могла бы стать не только женой своего мужа, рано начавшего ей изменять, не только деспотической и бестактной матерью своих дочерей, поспешивших от нее отделиться, как только представилась возможность. Но слишком поздно...

Этой темой «Очень легкая смерть» органически входит в один из основных потоков творчества Симоны де Бовуар, одержимой мыслью о неподлинности существования женщины в буржуазном обществе. Этому посвятила она двухтомное исследование «Второй пол», сыгравшее немалую роль в формировании женского самосознания на Западе, к этому возвращается она в последних беллетристических произведениях и в «Прелестных картинках», и в «Сломленной женщине», и в «Монологе». Но в «Очень легкой смерти» трагизм неосуществившейся биографии приобретает особую проникновенность и остроту, ибо агония подводит итог жизни матери — существа единственного, неповторимого, которого нет дороже.

Меньше всего эту книгу можно назвать утешительной. Да она и вызывает не к корности, а к яростному сопротивлению. Пожалуй, дочитать ее дает силу только знание, что и тебя не минует чаша сия. Но присутствуя на этой «генеральной репетиции собственной смерти», слышишь не только «мemento мори» — вернее, в самом «мemento мори» слышишь призыв прожить каждое мгновение жизни в его полноте и подлинности, следовательно, так, как велят тебе чувство, разум и совесть.

Л. ЗОНИНА.

### Политика и наука

## АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОГО ПРАВА

**В. М. Ч х и к в а д з е.** Государство, демократия, законность. Ленинские идеи и современность. «Юридическая литература». М. 1967. 504 стр.

Государство, демократия, законность... Эти проблемы все более волнуют человечество. Не случайно в самый канун Октября В. И. Ленин пишет книгу «Государство и революция», а затем, вскоре после победы восстания, в брошюре «Очередные задачи Советской власти» исследует вопрос о роли государства в решении экономических задач социалистического строительства.

Внимание к вопросам государства, демократии и законности никогда не ослабевало у вождя и теоретика нашей революции. Много места этим проблемам уделено и в последних статьях, справедливо названных политическим завещанием В. И. Ленина.

Значение для современности ленинских идей в области государства и права разносторонне исследуется в капитальном труде члена-корреспондента Академии наук СССР В. М. Чхиквадзе, уже получившем положительную оценку в партийной и советской печати. Достоинство книги — учет всех достижений советской юридической науки, разработка ряда спорных, нерешенных ее проблем, обобщение практики государственного строительства в СССР и других социалистических странах.

В монографии В. М. Чхиквадзе анализируются наиболее существенные стороны социалистического государства, прослежена его эволюция. Жизнь подтвердила, пишет автор, положение классиков марксизма-ленинизма, что социализм может расти и развиваться только при условии укрепления социалистического государства и распространения демократических начал, все большего, в перспективе — поголовного вовлечения народных масс в управление государством.

Автор начинает с философских вопросов, стремится осмыслить ленинскую методологию изучения государственно-правовой надстройки и разобраться в сложной проблеме — взаимоотношения экономики, политики и права. Эти главы дают читателю методологическую основу для рассмотрения конкретных вопросов.

Основное содержание книги — обобщение пятидесятилетнего опыта развития Совет-

ского государства. В. М. Чхиквадзе показывает историческую необходимость государства диктатуры пролетариата, закономерность перерастания его в общенародное государство. Специально и обстоятельно рассматриваются Советы, принципы, достижения и задачи национально-государственного строительства в СССР. Наибольшее внимание в книге уделяется проблемам: социализм и демократия, право и законность в социалистическом обществе.

Подробно обосновав мысль, что социализм и демократия неразрывно связаны между собою, автор справедливо утверждает, что советская демократия способна обеспечить наилучшие возможности для свободы личности, и ставит вопрос о путях полного воплощения этой возможности в действительность. При этом он показывает спекулятивный апологетический характер буржуазных лозунгов об «абсолютной» свободе личности, о «чистой» демократии и т. п.

Не претендуя на полноту представления читателю всего содержания книги, ограничимся разбором одного из основных ее разделов — о праве и законности в нашем обществе.

Нормальное развитие социалистического общества мыслимо только при условии строгого соблюдения и укрепления законности, охраны тех широких прав и свобод, которые завоевали трудящиеся. Те грубые нарушения законности, которые были порождены обстановкой культа личности, в корне чужды социалистическим общественным отношениям, именно потому они были так сурово осуждены Коммунистической партией.

В. М. Чхиквадзе серьезно и глубоко размышляет по вопросам социалистической законности. Он правильно утверждает, что понятие законности включает в себя не только точное выполнение существующих законов, — ведь тогда и режим какого-либо древневосточного деспота, требующего беспрекословного выполнения изданных им варварских предписаний, пришлось бы называть режимом, в котором господствует законность. Еще менее оно сводится к тре-

бованию иметь побольше законов, чтобы они регламентировали все и вся. Автор напоминает слова В. И. Ленина, что ни в одной стране не было такого обилия законов, как в царской России, где на все имелись законы, но законности не было. «Ничего положего на законность в России нет и следа. Все позволено администрации и полиции... вплоть до прикрытия и сокрытия преступления»<sup>1</sup>. Недостаточно иметь хорошие законы, надо, чтобы не только на бумаге, в юридических актах, кодексах, в конституции, но и на деле, в жизни реально обеспечивалась защита всех демократических прав граждан.

Укрепление законности есть объективная закономерность социалистического общества. Обосновав это, автор вместе с тем предупреждает, что она не проявляется автоматически, что необходима активная систематическая борьба за ликвидацию нарушений и совершенствование гарантий законности, за устранение любых препятствий в этом деле, ибо, как указывал В. И. Ленин, «малейшее беззаконие, малейшее нарушение советского порядка есть уже дыра, которую немедленно используют враги трудящихся»<sup>2</sup>.

Отсюда — большое внимание, которое уделяет В. М. Чхиквадзе проблеме гарантий, обеспечивающих социалистическую законность. Он подробно анализирует систему мероприятий, разработанных после XX съезда КПСС, вносит ряд новых предложений.

В этой связи очень важен вопрос о судебной ответственности должностных лиц за нарушение законных прав трудящихся, справедливо поднимаемый автором. В подготовительных материалах к книге «Государство и революция» В. И. Ленин выделяет слова Энгельса о том, что «рабочий класс, дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства... должен обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников...»<sup>3</sup>. Узаконение права граждан обращаться в суд с иском против должностных лиц, нарушающих их права, явилось бы реальной дополнительной гарантией строгого соблюдения режима законности.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 64.

<sup>2</sup> Там же, т. 39, стр. 156.

<sup>3</sup> Там же, т. 33, стр. 239.

Автор справедливо полагает, что конфликты, возникающие между гражданами и органами государства, могут и должны быть предметом судебного разбирательства. Взяв для примера пенсионное обеспечение, В. М. Чхиквадзе пишет: «Лицо, не согласное с отказом в назначении ему пенсии или с размером назначенной пенсии, может обратиться с жалобой в вышестоящую административную инстанцию. Но такой метод разрешения спора во многом уступает судебной проверке, которая связана с широкой гласностью, объективностью, полнотой, участием заинтересованных лиц или их представителей и т. д.».

Преимущество судебной защиты автор видит также и в том, что она воспитывает правосознание, уважение к законам и личности советского гражданина.

Отмечая необходимость гласных судебных процессов по делам о волоките, В. И. Ленин писал: «...с точки зрения принципа необходимо такие дела не оставлять в пределах бюрократических учреждений, а выносить на публичный суд, не столько ради строгого наказания (может быть, достаточно будет выговора), но ради публичной огласки и разрушения всеобщего убеждения в ненаказуемости виновных»<sup>1</sup>.

В связи с этим В. М. Чхиквадзе высказывается за более полную реализацию принципа гласности, за широкое применение выездных сессий, за освещение судебных процессов в печати, по радио и телевидению. Печать, по мнению автора, должна регулярно информировать о повседневной деятельности судебных органов, что содействовало бы и воспитательной роли суда.

Раскрывая ленинские положения о том, что гарантии прав и свобод личности и обязанность суда добиваться объективной истины по каждому судебному делу должны быть законодательно установлены, автор подробно характеризует тот вред, который нанесен был юридической науке и практике в годы, когда в правовой литературе развивались концепции о невозможности в каждом случае добиться объективной истины, о том, что для обвинительного приговора достаточно большой степени вероятности обвинения, то есть признавалась возможность обвинения и при недоказанности вины,

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 71.

когда выдвинута была чуждая социалистической законности идея, что для обвинения в политических преступлениях достаточно признания подсудимого и т. п. В. М. Чиквадзе показывает, как начиная с 1953 года партия и правительство последовательно повели борьбу с этими извращениями социалистической законности.

Показав, какое огромное значение В. И. Ленин придавал жалобам как одной из форм контроля масс за деятельностью госаппарата и обеспечения законности, В. М. Чиквадзе высказывает пожелание о законодательном закреплении единых правил отмены и пересмотра решений по жалобам, хотя и не излагает своих суждений о желательном содержании таких правил. В этой связи нельзя не приветствовать недавнее постановление Президиума Верховного Совета СССР, запретившее пересылку жалоб учреждению или лицу, действия которого обжалуются, и установившее уголовную ответственность за злоупотребления при рассмотрении жалоб.

В. И. Ленин требовал, чтобы должностные лица не только не допускали нарушения законных прав граждан, но и учили трудящихся «воевать за свое право по всем правилам законной РСФСР войны за права»<sup>1</sup>. Эта обязанность должностных лиц в СССР определяется тем, что политические свободы и социальные права советских граждан не «ступка» общества индивидууму и служат они не только удовлетворению интересов граждан. Нет. «Само общество,— пишет В. М. Чиквадзе,— заинтересовано в осуществлении прав своих членов».

Естественно, что при столь широком круге освещаемых в книге проблем не все они в равной степени рассмотрены автором. При этом отдельные положения автора не могут, на наш взгляд, не вызвать и возражений, и творческой дискуссии.

Так, говоря о связи права с общественным сознанием и верно подчеркивая органическую связь прав граждан СССР с их обязанностями, автор делает из этого странный, на наш взгляд, вывод: «Расширение прав советских граждан должно происходить по мере возрастания их политической зрелости, роста общественного сознания». Автор считает, что без этого

расширение демократических прав и свобод не приведет к достижению «высоких целей, которые связаны с развитием демократии».

Нам представляется, однако, что едва ли верно ставить дальнейшее расширение прав граждан СССР в прямую и одностороннюю зависимость от степени «возрастания их политической зрелости». Автор недостаточно учитывает обратное влияние роста демократии (расширения прав граждан) на повышение уровня общественного сознания.

Выяснению этого вопроса может помочь положение В. И. Ленина о взаимосвязи и взаимообусловленности социалистической законности и культуры, его указание на громадную роль единой социалистической законности в «создании культурности»<sup>1</sup>. Сам автор верно характеризует законность как «одно из важных средств развития, укрепления и охраны завоеваний социалистической культуры». Но ведь в чем меньшей степени расширение демократических прав и свобод будет способствовать «возрастанию политической зрелости» советских граждан.

Одно из прав граждан СССР и одновременно один из путей укрепления законности — это участие населения в отправлении правосудия, в деятельности суда, являющегося важным государственным учреждением. «Нам надо судить самим. Граждане должны участвовать поголовно в суде и в управлении страны»<sup>2</sup>, — указывал В. И. Ленин. В последнее время в печати были выдвинуты предложения об увеличении числа народных заседателей в составе суда с двух до четырех, шести и даже до двенадцати человек. Автор полагает, что этот вопрос надо решать «исключительно в плане обеспечения большего воспитательного воздействия судебного процесса» (стр. 427). Оговорка «исключительно», на наш взгляд, неоправданна. Мы считаем убедительными также доводы, что более достоверными станут выводы суда, шире развернется правовое образование населения и т. п. В связи с этим заслуживает поддержки предложение автора избирать всеобщими и прямыми выборами не только народных судей, но и составы вышестоящих судов.

Большой интерес представляют размышления автора о структуре правового сознания

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 149.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 199.

<sup>2</sup> Там же, т. 36, стр. 53.

ния как единстве индивидуального, группового и общественного сознания, чему в юридической литературе уделяется мало внимания. Но верно констатируя, что единство не означает отсутствия расхождений между этими формами правосознания, автор, к сожалению, не говорит о причинах этих расхождений и даже не ставит такого вопроса.

В решении некоторых вопросов развития Советского государства автор не сумел достигнуть необходимой ясности. В одном месте книги, например, говорится, что общенародное государство — это уже существующий факт (стр. 116), в другом — что государственная власть только «все более становится всенародной» (стр. 123). Политическая власть, по мнению автора, как в переходный от капитализма к социализму период, так и в период полной и оконча-

тельной победы социализма принадлежит рабочему классу (стр. 122). Но политическая власть, политическое господство рабочего класса — это и есть диктатура пролетариата, так всегда разъяснял В. И. Ленин. В общенародном же государстве политическая власть принадлежит всем трудящимся при руководящей роли рабочего класса.

Все эти вопросы нуждаются в дальнейшей углубленной разработке.

Труд В. М. Чхиквадзе принадлежит к числу тех, к сожалению, еще немногих изданий, где научность содержания сочетается с доходчивостью изложения. Это делает ее доступной не только специалистам-государствоведам, но и самым широким кругам читателей.

**А. ДАВИДОВИЧ,  
С. ПОКРОВСКИЙ,**

*кандидаты юридических наук.*

★

## СОЦИОЛОГИЯ И ЛИЧНОСТЬ

**И. С. Кон. Социология личности. Политиздат. М. 1967. 383 стр.**

**М**аркс однажды заметил, что, «в отличие от других архитекторов, наука не только рисует воздушные замки, но и возводит отдельные жилые этажи здания, прежде чем заложить его фундамент»<sup>1</sup>. Состояние социологии личности — неплохое подтверждение этих слов. Действительно, при обилии статей, брошюр, книг до сих пор остается нерешенным ряд основных вопросов и прежде всего нет единства в понимании самой категории «личность». Книга И. С. Коня интересна прежде всего тем, что автор обращается в ней именно к принципиальным проблемам социологии личности.

В предисловии выделено три круга вопросов, которые автор рассматривает в своей работе. Это, во-первых, система понятий, «с помощью которых наука описывает поведение личности и ее взаимодействие с другими людьми и обществом как целым»; во-вторых, такое исследование личности, в котором она предстанет «не только продуктом, но и деятельным субъектом общественных отношений»; и, наконец, в-третьих, выяснение ряда «неразработанных или спорных вопросов социологи-

ческой теории личности», поднятых современной наукой.

Сильная сторона книги — ее методология. Широкоизвестные положения марксизма являются в ней исходными принципами исследования, а не результатом, данным до того, как автор приступит к исследованию. Так, приведя известные слова «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений»<sup>1</sup>, И. С. Кон ставит вопрос: относится ли это высказывание Маркса к отдельному эмпирическому индивиду? Можно ли понимать формулу Маркса в том смысле, будто каждый из нас представляет собой всю совокупность общественных отношений, вбирает в себя все общество в целом? И дает аргументированный ответ: нет, трактовать подобным образом эту формулу не следует. Принадлежность человека к обществу опосредствуется принадлежностью его к конкретным группам и коллективам, а каждый из таких коллективов может быть носителем лишь части общественных отношений. Связь с конкретными «микрообществами» (производственными, семейными и т. д.) дает ин-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 13, стр. 43.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 3.

дивиду одновременно множество различных социальных ролей.

По убеждению автора, сколько бы мы ни повторяли, что человек есть «совокупность общественных отношений», мы не продвинемся в изучении нашего предмета, если не положим этот тезис в основу конкретного исторического исследования того мира, в котором живет человек. Однако описание личности через раскрытие ее социальных ролей, предостерегает автор, приведет лишь к человеку как социальному типу, но не к данному, «этому» индивиду. Если бы мы остановились на этом уровне, то нас ожидала бы опасность упустить из виду все то, что составляет индивидуальную неповторимость данной личности: ее связи с окружающим миром свелись бы, подобно сцеплениям узлов и деталей в машине, к простым функциональным отношениям. Но в действительности все обстоит сложнее: «Социальные роли, ценности, установки — все это имеет общий характер, дается индивиду обществом и передается от одного лица другому. Внутренний мир личности, ее Я присущ только ей одной, он возникает, развивается и погибает вместе с индивидом». В этой связи И. С. Кон подвергает сомнению прагматистский принцип — судить о людях только по их поступкам. «...индивиду никогда не удастся «опредметить», объективировать все свои устремления, — пишет автор, — в человеке всегда есть нечто незавершенное, невысказанное, непроявленное, именно потому, что он — не пассивная вещь, а деятель, творец, самореализация».

Личность может просто «снимать» копии с готового стандарта. Но она может отнестись к своей внешней среде и иначе, преобразуя ее в соответствии со своими внутренними стимулами. Первое есть простая «формовка» средой, и личность выступает с этой стороны лишь в качестве податливого материала. Вторая сторона становления личности — это активные поиски ею своего места в жизни, осознание своей ответственности, выбор решений. Если нет поисков, сомнений, творчества, тогда, строго говоря, нет и самой личности. С этой точки зрения проблема личности выступает как проблема ее самосознания, обретения внутренней свободы, интеллектуальной и культурной ориентации, ибо, замечает И. С. Кон, «чем значительнее жизненная перспектива личности, чем богаче ее внут-

ренний мир и ее культура, тем меньше ее зависимость от непосредственного окружения, тем больше ее духовная свобода. И тем нужнее она окружающим».

Нам кажется, что из этих мыслей И. С. Кона следует плодотворное для науки внимание к личности как субъекту общественных отношений, к творчеству (в любой области материального и умственного труда) как главной качественной характеристике личности.

В этой связи большой интерес представляет анализ И. С. Коном такого общественного явления, как конформизм, то есть приспособление к уже установившемуся стандарту, растворение личности без остатка в группе — «эталоне». Причины подобного поведения лежат и в обществе и в самой личности. Жить в соответствии с заранее установленными и не проверяемыми «рамками» и «нормами» легче: меньше личной ответственности. И чем меньше личность сознательно вобрала в себя объективных, реально существующих и развивающихся социальных ценностей, тем она беднее, тем податливее внешнему давлению, тем почтительнее относится к авторитету «правил». С другой стороны, если от людей требуют слепой дисциплины, игнорируют их самоуважение и индивидуальность, то способствуют формированию личности внутренне несамостоятельной и косной. Напротив, подлинный демократизм отношений в коллективе, уважение коллективом духовной самостоятельности его членов стимулируют формирование личности творческой, богатой и свободной в своих проявлениях.

Книга И. С. Кона подкупает своей направленностью против облегченного и упрощенного решения проблемы личности. Автор не обходит острых дискуссионных вопросов, привлекает для обоснования своей концепции данные медицины, психологии, применяет количественные методы.

Мы, конечно, не решились бы утверждать, что этой своей работой И. С. Кон расчистил прямой путь к решению фундаментальных проблем социологии личности, но книга отчетливо ставит такие проблемы, предлагает новые определения и тем способствует развитию всей этой области науки.

**Ф. ЦАНН,**

*кандидат философских наук,*

Владимир.

## У ИСТОКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

(По новым книгам экономистов)

Формально начало осуществляемой ныне экономической реформы положил перевод на новый порядок управления, планирования, стимулирования и пр. первых сорока трех промышленных предприятий в январе 1966 года. Это был в какой-то мере экспериментальный акт, но после него реформа стала последовательно развиваться и вширь и вглубь, набирать силы. Развитие по горизонтали характеризовалось тем, что к концу 1966 года реформой было охвачено 704 промышленных предприятия, а к концу 1967 года — уже 7069, их удельный вес составлял: по продукции — 38 процентов, по числу рабочих — 32 процента, по сумме прибыли — примерно 50 процентов. В настоящее время на новый порядок планирования переведены двадцать шесть тысяч предприятий, но одновременно реформа шагнула и в другие отрасли народного хозяйства — в строительство, на транспорт, в торговлю, в совхозы; происходившие параллельно коренные изменения порядка планирования колхозного производства и управления колхозами также неразрывно связаны с духом экономической реформы.

По ходу проведения ее в жизнь возникали препятствия; ломка сложившихся за многие годы организационных форм и самого стиля управления хозяйством с неизбежностью порождала свои трудности и диспропорции. Тем не менее за короткую свою историю реформа, хотя, может быть, и не так быстро, как хотелось бы, развивалась не только вширь, но и вглубь. Хозяйственная деятельность в стране протекает в атмосфере, созданной решениями мартовского и октябрьского Пленумов 1965 года, а затем XXIII съезда партии, признавшего осуществление реформы решающим условием выполнения пятилетнего плана. Естественно, ее действие выходит далеко за пределы нынешней пятилетки. Академик Н. П. Федоренко, по-моему, справедливо определяет глубинный смысл реформы как «коренной поворот в стратегии всей экономической работы, постепенно создающий новую психологию хозяйствования»<sup>1</sup>.

Экономической реформе предшествовали бурные дискуссии по теоретическим проблемам, иногда, казалось бы, непосредственно

<sup>1</sup> Н. П. Федоренко. Экономика и математика. «Знание». М. 1967, стр. 6.

с будущей реформой даже не связанные. В этих спорах принимали участие экономисты, философы, социологи, математики, позже к ним присоединились многочисленные хозяйственники-практики, которым повседневная печать широко предоставила свои столбцы.

При взгляде из нашего времени не остается уже никакого сомнения, что теоретические дискуссии и «отвлеченные» споры всех этих лет были совершенно необходимы. Не опровергнув иные затверженные предубеждения, не перестроив мышление, чтобы воспринимать, в частности, новые понятия, приходящие из математики, социологии и других наук, мы не были бы в состоянии вступить на путь экономической реформы. Да иначе и не могло быть у нас, где народное хозяйство управляется не стихийно развивающимися процессами, а коллективным разумом. Если в реальной действительности «стихия» подчас и вносила крупные и нежелательные поправки в план, то это только свидетельствовало о существенных недостатках последнего — о пренебрежении к объективным закономерностям, присущим социалистическому обществу. Именно потому, что социалистическое хозяйство сознательно управляемо и в то же время всегда возможны разные конкретные варианты его развития, из которых предстоит выбрать наилучший, наиболее обоснованный, оптимальный, — именно потому и нужны дискуссии по теоретическим и практическим вопросам планирования и управления. Они не временное явление, как нам иногда внушают, а спутник, сопровождающий и опережающий наше развитие; они — проявление социалистической демократии, одно из условий повышения эффективности общественного труда, наконец гарантия от рецидивов волюнтаризма, причинившего стране большой ущерб.

Можно с удовлетворением отметить изменившийся за последнее время характер теоретических дискуссий. Одну из них академик К. В. Островитянов открыл таким напутствием: «Тон нашего обсуждения должен быть деловым и товарищеским. Мы не должны наклеивать ярлыки. В ходе дискуссии нужно не столько ссылаться на авторитеты, сколько приводить доводы по существу, оперировать не столько цитатами, сколько

ко фактами»<sup>1</sup>. Превосходные слова! Уместно еще раз напомнить в этой связи предупреждение Ленина, что в «инакомыслящих» и «инакоподходящих» к делу «надо не видеть «интригу» или «противовес»... а ценить самостоятельных людей»<sup>2</sup>. Обсуждения и споры продолжаются и по вопросам конкретной экономики, о методах хозяйствования. В заключительном слове на Всесоюзном экономическом совещании (май 1968 года) председатель Госплана Н. К. Байбаков сказал, что сделанные им критические замечания в адрес некоторых экономистов, конечно, не означают запрещения дальнейших дискуссий, что «поиски решений и творческие споры нужны»<sup>3</sup>.

За последние годы вышли в свет отчеты о научных дискуссиях по ключевым проблемам советской экономики, а также ряд капитальных экономических исследований; и те и другие, безусловно, помогли сформулировать и развить принципы хозяйственной реформы. Назову наиболее существенные из этих изданий. Это «Проблемы оптимального планирования» — сборник материалов международного симпозиума, проведенного в ГДР с активным участием советских ученых; «Математики и экономисты за круглым столом» — встреча, организованная редакциями журналов «Soviet Life» и «Вопросы экономики», а также «Экономической газетой», и, наконец, «Дискуссия об оптимальном планировании», развернувшаяся на сессии одного из научных советов Академии наук СССР, где слово взяла один за другим двадцать восемь ведущих наших экономистов-теоретиков (все три отчета выпущены издательством «Экономика», первые два — в 1966 году, последний — в 1968 году).

Из числа исследований индивидуальных и коллективных внимание привлекает прежде всего книга В. Г. Венжера, Я. Б. Кваши, А. И. Ноткина, С. П. Первушина и С. А. Хеймана «Производство, накопление, потребление» («Экономика». М. 1965), насыщенная конкретным материалом и одной из первых обосновавшая необходимость крупных перемен в экономической политике; далее — уже упоминавшаяся брошюра академика Н. П. Федоренко «Экономика и математика»; книги члена корреспондента АН

СССР Л. А. Леонтьева «План и стоимость» и кандидата экономических наук Г. С. Лисичкина «План и рынок» (обе в издательстве «Экономика». М. 1966); второе издание книги доктора экономических наук В. О. Чернявского «Эффективная экономика» («Экономика». М. 1967); популярная по форме, но чрезвычайно содержательная и принципиальная книга известного авиаконструктора О. К. Антонова «Для всех и для себя» («Экономика». М. 1965); капитальный труд лауреата Ленинской премии доктора экономических наук В. В. Новожилова «Измерение затрат и результатов» («Экономика». М. 1967), обобщающий длинный ряд работ этого выдающегося экономиста. Этот перечень можно было бы, разумеется, значительно пополнить.

Широкий диапазон тем, разрабатываемых авторами перечисленных книг. Безусловно, многие, в частности методологические, проблемы трудно поддаются восприятию специалистов, да и не входят в сферу их интересов. Но коренные проблемы экономики, поднятые нашими теоретиками, интересуют любого мыслящего читателя, так как затрагивают широкий комплекс вопросов хозяйственной жизни, проблем управления, производственной демократии, а следовательно, имеют также свой «человеческий», этический аспект. Эти причины и побудили литератора выступить на страницах литературного журнала с обзором теоретических работ экономистов.

К середине шестидесятых годов народное хозяйство СССР (как, впрочем, и других европейских социалистических стран) было прямо-таки беременно экономической реформой. Нужно считать немалой заслугой нашей теоретической мысли, что неблагоприятные тенденции в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов фиксировались, анализировались учеными (хотя печать и официальные инстанции в науке о них умалчивали), послужили толчком для глубоких раздумий и выдвижения новых концепций. В частности, в упомянутой выше книге пяти экономистов приводились тревожные данные о замедлении темпов ежегодного прироста промышленной продукции в 1962—1964 годах, о том, что сельское хозяйство развивается медленнее, чем это необходимо стране. Экономистов беспокоила тенденция к снижению фондоотдачи, что выражалось в постепенном уменьшении продукции, если рассчитывать ее на каждый миллион рублей дей-

<sup>1</sup> «Дискуссия об оптимальном планировании». «Экономика». М. 1968, стр. 4.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 73.

<sup>3</sup> «Экономическая газета», № 21, 1968.



ствующих основных и оборотных фондов. Закрепление такой тенденции привело бы к дальнейшему перераспределению народного дохода в пользу «накопления», но доля народного дохода, идущего в «накопление», у нас и без того выше, чем в других странах, и достигает 27—28 процентов. Ненормален и разрыв во времени между разработкой технического новшества и внедрением его в жизнь. Причем он зависит не только от медленных темпов строительства (объекты вступают в строй с превышением установленных сроков в полтора раза, хотя и сами нормативы нередко уступают западным). Модернизация производства, осуществляемая в порядке плана-приказа, в условиях, когда фонды и капиталовложения были «бесплатны», не всегда была выгодна предприятию, так как создавала трудности в выполнении плана. Все такие факты плохо увязывались с задачами технического прогресса.

Замечу, что экономическая реформа, даже не успев охватить большинство предприятий, начала оздоравливать хозяйственную жизнь. Уже в 1966 году продукция промышленности выросла на 8,6 процента (при плане 6,7), в 1967 году — на 10 процентов вместо 7,3 по плану, а в 1968 году промышленность завершила первое полугодие на уровне 109 процентов к предшествовавшему году. Производительность труда повышалась ежегодно на 7 процентов, а материальные запасы растут медленнее, чем продукция, — значит, опасную тенденцию снижения фондоотдачи удалось переломить.

Академик Н. П. Федоренко в докладе о математической концепции оптимального планирования, открывшем упомянутую дискуссию в Академии наук, рассматривает экономику как «систему с числом степеней свободы большим единицы», практически допускающую множество возможных вариантов развития. Народнохозяйственный критерий оптимальности представляется ему количественным выражением основного закона социализма — закона удовлетворения растущих потребностей общества, в число которых автор включает не только производственные и личные потребности, но и оборону, экономическую помощь другим странам и т. п.

Это говорит математик. Те же мысли встречаешь у экономиста, члена-корреспондента АН А. Г. Аганбегяна, который видит первую задачу оптимального подхода к конкретному планированию «в выявлении пара-

метров свободы», то есть факторов, за счет которых может происходить многовариантное развитие того или иного экономического явления.

Реформа — это разрыв со многими догматическими представлениями. В частности, она не мирится со склонностью экономистов-теоретиков канонизировать любую организационную форму, укоренившуюся в практике, тем более что эти формы, как известно, порождены бывали и преходящими историческими условиями, и продолжающимися поисками (происходит не имеющий прецедента социальный эксперимент!), а порой и проявлениями «голого» волюнтаризма. Ведь даже карточную систему распределения продуктов и ширпотреб в эпоху «военного коммунизма», хотя ее обуславливали, конечно же, временные обстоятельства, признавали одно время адекватной социализму; в тридцатые годы, когда темпы индустриализации породили новые временные трудности, эту теорию снова пытались гальванизировать. А практику планово-убыточных цен на продукцию тяжелой промышленности<sup>1</sup> толковали в учебниках политической экономии, как принципиально присущую социалистической системе и прогрессивную. Первым же шагом реформы был общий пересмотр оптовых цен, имевший задачу приблизить их к уровню общественно необходимых затрат и раз навсегда отказаться от «принципиальной» убыточности тяжелой индустрии.

Основополагающими для реформы следует считать и поныне не утихнувшие споры вокруг факта существования товарно-денежных отношений в нашей стране и действия закона стоимости при социализме. Казалось бы, этот факт давно признан нашими теоретиками, изложен в учебниках. Однако же в понимании сущности закона стоимости в социалистическом обществе, его роли, форм проявления, соотношения с планом единогласия среди экономистов нет и поныне. Между тем от позиции, занимаемой тем или иным экономистом в этих вопросах, зависит его отношение к реформе, к каждому ее ша-

<sup>1</sup> По сообщению С. Г. Столярова, одного из ведущих специалистов по ценообразованию, с 1926—1927 по 1965 год цены на изделия легкой и пищевой промышленности возросли в 15 раз, розничные цены — в 9 раз, а на изделия тяжелой промышленности — всего в 1,4 раза («Дискуссия об оптимальном планировании», стр. 114).

гу, к таким практическим проблемам, как использование экономических рычагов, принципы ценообразования, значение материального стимулирования, права предприятий, границы их самостоятельности и т. д. Как писал С. П. Первушин, «в течение десятилетий хозрасчетные категории недооценивались... Теперь на словах все признают правомерность закона стоимости, цену, прибыль, рентабельность в условиях социализма. Но дальше признания дело не идет...». Разработка практических мероприятий «тормузится ложной боязнью дискредитировать социалистический строй повышением роли в народном хозяйстве хозрасчетных категорий. При этом не принимается в расчет то соображение, что мы действительно дискредитируем новое общество неумелым хозяйствованием, упускаются неисчислимы возможности более успешного соревнования с капиталистическим миром»<sup>1</sup>.

Глубокие исследования советской экономической системы, в частности закона стоимости в социалистическом обществе, принадлежат В. В. Новожилову. Он определял основную задачу совершенствования экономического управления как согласование авторегулирующих функций товарно-денежных отношений с плановым регулятором социалистической экономики. Теперь, в итоговом своем труде «Измерение затрат и результатов», В. В. Новожилов говорит о таком плановом использовании закона стоимости, когда план создает условия, при которых экономические законы направляются на осуществление поставленных им задач. План приобретает, таким образом, огромную широту действия, эффективность. Важнейшим орудием плана, по мнению автора, становятся оптимальные цены, выражающие затраты труда, необходимые и по условиям производства, и по условиям потребления (вторая часть этой формулы обозначает учет спроса, потребительских оценок товаров)<sup>2</sup>.

В. В. Новожилову вместе с академиками В. С. Немчиновым и Л. В. Канторовичем принадлежит существенная часть заслуги в

обосновании экономической реформы как такой системы организации социалистического хозяйства, которая принципиально отказывается от искусственного противопоставления плановости товарному производству, исходит из потенциальной многовариантности конкретных путей развития народного хозяйства, широко опирается на математико-экономические категории и методы оптимального планирования.

Из сказанного не следует делать вывода, будто бы нашим экономистам-теоретикам удалось до конца раскрыть механизм действия закона стоимости при социализме и тема исследования как бы «закрыта». Отнюдь! Но многое уже прояснилось. Что же касается оптимального планирования, то оно уже широко применяется как на уровне отдельных задач (транспортные перевозки и др.), так и на уровне отраслей (например, в цементной промышленности оптимальные расчеты доведены до стадии рекомендаций Госплану и сулят экономию затрат и капиталозложений в пятилетке порядка 100 миллионов рублей), в текущем пятилетии уже 70 отраслей промышленности будут планироваться по такому методу. В то же время 35 процентов крупных строительных площадок будут применять математические, сетевые графики<sup>1</sup>, которые позволят регулировать ход строительства, поскольку любая помеха, влияние которой скажется лишь через некоторое время, оказывается на «критической линии» графика уже сегодня, высвечивается словно прожекторами.

В перечне научных трудов, на которые опирается этот обзор, не случайно названы работы математиков, пришедших в экономическую науку. Вообще в XX веке степень пользования математическим инструментарием в той или иной науке — показатель ее зрелости. Однако нельзя сводить математические методы в экономике к простому совершенствованию расчетов, как бы к преимуществам электронного арифмометра. Правда, ускорение счетных операций в десятки тысяч раз делает практически воз-

<sup>1</sup> В. Г. Венжер, Я. Б. Кваша и др. Производство, накопление, потребление. «Экономика». М. 1965, стр. 37.

<sup>2</sup> Характерно, что ни один из экономистов, стоящих на почве оптимального планирования, какие бы ярлыки на него в свое время ни навешивали, никогда не «отрицал» плана (единого, централизованного). Больше того, на каком-то этапе внедрения математиче-

ских методов в экономику «оптималистов» можно было бы даже обвинить в гипертрофировании централизованного плана, который-де можно создать чисто математическими и даже кибернетическими методами, учтя в нем «все, до последней гайки».

<sup>1</sup> К. А. Костянин. Из опыта применения сетевых графиков в строительстве. «Знание». М. 1968, стр. 3.

можным, вместо исчислений вручную одно-двух вариантов плана, выбор из огромного множества вариантов; тут количественные преимущества создают качественные изменения. Но речь идет о большем — о постижении экономистами особенностей математического мышления, включая понятия математической логики.

Вовсе не случайно математики, пришедшие в экономику, как и экономисты, усвоившие математическое мышление, выступали на протяжении всех последних лет застрельщиками в экономических дискуссиях, расчистивших путь реформе. Не случайно именно они добиваются практических выводов из признания закона стоимости и разрабатывают систему «автоматически» действующих экономических рычагов, создаваемых планом, подчиненных его целям. Ум экономиста, воспитанного на догматических формулах, инстинктивно воспринимает многовариантность, присущую товарно-денежным отношениям, как стихию враждебную. Напротив, математик привык к множественности явлений и факторов, их вызывающих. Например, созданный Л. В. Канторовичем метод линейного программирования дает возможность анализировать математико-экономические модели, включающие десятки и сотни видов продукции, производственных факторов, ограничительных условий.

Важнейшее направление экономической мысли связано с поиском единых измерителей, оценивающих работу народного хозяйства, отрасли, предприятия, цеха. Исключительную роль сыграла здесь в первую очередь борьба за принцип «оплаты фондов». Покойный академик В. С. Немчинов постоянно указывал, что мнимая бесплатность фондов и создающих их капиталовложений искажает всю картину планирования народного хозяйства и влечет за собой огромные потери<sup>1</sup> Экономист Л. А. Вааг с конца пятидесятых годов обосновывал «плату за фонды», вызывая на себя огонь догматиков, в первые годы прямо-таки сокрушительный. Одна из его брошюр, написанная вместе с С. Захаровым еще несколько лет назад, касавшаяся, казалось бы, очень узкой темы<sup>2</sup>, содержала целую программу будущей экономической реформы: плату за фонды, плат-

ность капиталовложений, пересмотр всего процесса ценообразования, поиск единого показателя эффективности и даже рекомендации по созданию свободного остатка прибыли как поощрительного фонда предприятий.

В. В. Новожилов в своей книге справедливо считает методы измерения затрат и их результатов узловой проблемой экономической науки. «Применение неправильных методов измерения затрат и их результатов, — пишет он, — ориентирует хозяйственную деятельность на излишние затраты, на погоню за мнимыми результатами, порождает противоречия между интересами предприятия и интересами народного хозяйства, между хозрасчетом и планом, затрудняет распределение по труду, препятствует демократизации управления народным хозяйством...»<sup>1</sup>. Поистине, в этой фразе перечислены (а в большой книге на высоком теоретическом уровне детально проанализированы) чуть ли не все главные проблемы, стоящие перед нашим хозяйством.

«Плата за фонды», как и другие стороны ценообразования, не исчерпывает, естественно, всех направлений поиска единых измерителей. Однако это одна из ключевых проблем планирования, тем более что «оптималисты» связывают с ней торжество чрезвычайно важного принципа: то, что выгодно народному хозяйству, должно быть выгодно и предприятию, и в конечном счете каждому трудящемуся.

Особая группа вопросов, разработанных теоретиками, связана с организационным аспектом всех проблем, которые призвана решить реформа. Академик А. М. Румянцев сообщил в своем выступлении на Экономическом совещании, что численность предприятий в стране достигла семисот тысяч единиц<sup>2</sup>. Помножьте эти сотни тысяч предприятий на тридцать—сорок плановых показателей, и сразу же станут очевидными причины иных просчетов планирования, а также и факторы, создающие гипертрофию управленческой прослойки.

Заслуга наших теоретиков в том, что они увязали новую систему управления хозяйственной жизнью в условиях реформы с экономическими законами, присущими советскому хозяйству. В. В. Новожилов, в частности, озабочен тем, чтобы план-дирек-

<sup>1</sup> См. В. С. Немчинов. Социально-экономические проблемы. АН СССР. 1961, стр. 376.

<sup>2</sup> См. Л. Вааг и С. Захаров. Методы экономической оценки в энергетике. 1962.

<sup>1</sup> В. В. Новожилов. Измерение затрат и результатов, стр. 3 и др.

<sup>2</sup> «Экономическая газета», № 22, 1968.

тива становился вместе с тем экономическим императивом для всех его исполнителей, что и обеспечило бы самую широкую демократизацию экономического управления. Последняя необходима не только потому, что народное хозяйство — слишком сложная система, управление которой не может быть полностью централизовано. Она нужна также для развития творческой активности масс, что заложено в социализме как его коренное преимущество. Оптимум в организации экономики достигается, по В. В. Новожилову, сочетанием непосредственной и «косвенной» централизации. Эта косвенная централизация состоит в утверждении «наверху» таких нормативов, при помощи которых «места», руководствуясь принципом: «максимум результатов — минимум затрат», сами могли бы найти варианты, наиболее соответствующие народнохозяйственному плану.

Я мог ознакомить читателя лишь с немногими узловыми идеями экономистов-теоретиков, оставляя «за кадром» большое число проблем, каждая из которых тоже имеет важное значение и вызывает споры. Скороговоркой, отнюдь не пытаясь исчерпать даже главные темы, отмечу такие, как принципиальное усиление в планировании эле-

ментов прогноза; использование вероятностных категорий; распространение того же принципа, что и оплата за фонды на естественные, но ограниченные ресурсы, например, на землю, на пресную воду и т. д.; перевод на начала хозрасчета, а следовательно, включение в себестоимость продукции таких «услуг», как проектирование, конструирование, доводка; оптовая торговля средствами производства вместо распределения их по ордерам, разработка для плана агрегатных цен (групп), в пределах которых предприятия смогли бы маневрировать...

Можно утверждать, что давно уже в истории советской экономической науки не наблюдалось столь широкого и плодотворного обсуждения экономических проблем — на теоретическом уровне и с привлечением обильного фактического материала, в том числе экспериментального. Дискуссии эти, не ограниченные, как прежде, искусственными рамками, бесспорно, положительно скажутся не только на дальнейшей кристаллизации теории социалистического хозяйства, но и на хозяйственной практике. Последнее, впрочем, — тема особого обзора.

**В. л. КАНТОРОВИЧ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**В. БАРАНЧЕНКО.** Гавен. «Молодая гвардия». М. 1967. 159 стр.

Виктору Еремеевичу Баранченко уже исполнилось семьдесят пять лет, когда в серии «Жизнь замечательных людей» вышла его первая книга — биография Юрия Гавена, участника V съезда РСДРП в Лондоне, политкаторжанина, искалеченного царскими тюремщиками, а в советское время — руководителя крымских большевиков, затем члена президиума Госплана СССР, человека, прожившего короткую, но насыщенную жизнь. Книгу, несомненно, обогащает жизненный опыт самого автора — участника описываемых событий; ему помогает драгоценное для биографа личное знакомство со своим героем, его соратниками и средой. Вместе с тем чувствуется, что В. Баранченко немало времени потратил на работу в архивах, на поиски свидетелей, в чьей памяти сохранились подробности отгремевших лет.

Основное достоинство книги — достоверность самостоятельно добытых фактов. Читая о том, как Виктор Барбан, боясь расстрела в пути без суда и следствия, добивался кандалов, чтобы лишиться карателей обычного предлога — «убит при попытке к бегству», — мы проникаемся доверием к автору. Когда В. Баранченко прерывает повествование сведениями о числе смертных казней в Варшаве, Орле, Тифлисе, Киеве, Нижнем Новгороде, сообщает колличество самоубийств в царских тюрьмах, приводит статистику по странам (в 1908 году в России казнено 1340 революционеров, во всем мире — 2311) — эти «голые цифры» вовсе не кажутся нарушением законов художественной литературы.

Но пристрастие к факту обнаруживает, к сожалению, в книге и свою оборотную сторону. Показывая результаты идейных исканий Гавена, автор нередко оставляет без внимания самый процесс таких исканий, чувства и мысли своего героя. Этот несколько утилитарный способ биографического описания уменьшает силу его нравственного воздействия.

Есть в книге и такие места (хотя их и немного), где в свою делную, полновесную прозу автор без нужды подмешивает долю безличной, многими использованной поэзии: «Золотилась осень в Крыму. В садах до земли сгибаются ветви под тяжестью плю-

дов. На виноградниках наливался виноград. Близилась пора ломки табака. Близкие друзья и товарищи тепло и сердечно проводили Юрия Петровича в Москву». Попадают в книгу и просто погрешности стиля (например, «мать семерых детей, которые все были членами партии, она была и талантливой стряпухой» и т. п.). При повторном издании эти недосмотры легко устранить.

Два слова об указателе имен в конце книги. Он представлял бы большую ценность, если бы сведения о деятельности большевиков, довольно подробно изложенные для дореволюционного периода, не становились крайне лаконичными, когда речь идет о советском времени. Составитель оставляет даже читателя в неведении, жив ли тот или иной человек в настоящее время. Очень кратко и неясно сказано в книге и о смерти самого Гавена.

Достоинства книги В. Баранченко, несомненно, перевешивают ее недостатки, но мы считали нужным о них сказать, так как они достаточно характерны для значительной части биографических книг, выпущенных за последнее время.

М. М.

★

**В. И. ЛЕБЕДЕВ.** Булави́нское восстание 1707—1708 гг. «Просвещение». М. 1967. 156 стр.

Книга В. И. Лебедева «Булави́нское восстание 1707—1708 гг.» — серьезный вклад в марксистскую историческую литературу об отважном донском атамане Кондратии Булавине, поднявшем на вооруженное восстание казаков против угнетателей. Она написана на основе большого документального материала, извлеченного автором из архивов. В. И. Лебедев исследует социальный и национальный состав участников восстания, показывает, что оно охватило не только Дон, но и многие районы Центральной России, вызвало выступления крестьян против помещиков и царских воевод на Украине, в Башкирии, на Нижней Волге.

Много новых сведений содержится в освещении автором дипломатической политики булавинцев, их военной организации, планов восстания и прочего.

Вместе с тем книга, на наш взгляд, не свободна и от недостатков. Не опубликована

но полностью ни одно из «прелестных писем» К. Булавина, рассылавшихся им по России. Слишком лаконично сказано о смерти К. Булавина, являвшейся долгое время загадкой в исторической науке. Следовало бы сослаться на исторические документы, подтверждающие убийство К. Булавина домовитыми казаками. Так, в «Истории Свейской войны» есть специальная глава о восстании, из которой Петр I собственноручно вычеркнул слова о самоубийстве атамана и написал: «Главного вора—разбойника в Черкасске казаки убили».

Не дан библиографический указатель важнейшей литературы о булавинском восстании.

Все это, однако, не отменяет того факта, что книга В. И. Лебедева является полезной общей работой об антифеодальном народном движении начала XVIII века.

**А. Попов.**

Станица Слащевская,  
Волгоградской области.

★

**Л. Е. МИНЦ.** Проблемы баланса труда в СССР. «Статистика». М. 1967. 256 стр.

Социалистическое общество заинтересовано в наилучшем использовании трудовых ресурсов, то есть в том, чтобы каждый, кто обладает способностью трудиться, был занят эффективным общественно полезным трудом. Добиться этого не просто хотя бы потому, что автоматизация неизбежным своим следствием имеет относительное сокращение потребности в рабочей силе на отдельных участках производства. Следовательно, наряду с такими вопросами, как выявление ресурсов труда и потребности всего народного хозяйства в рабочей силе, возникают проблемы эффективного перераспределения трудовых ресурсов из одних отраслей в другие, профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи и т. д. Все более важное значение приобретает совершенствование методов планового регулирования в этой области.

Монография Л. Е. Минца непосредственно обращена к этим вопросам.

В первой ее главе анализируются истоки балансового метода при планировании труда и изучении структуры трудовых ресурсов. Автор отмечает, что этот метод впервые разработан в нашей стране еще в первые годы советской власти, и довольно подробно излагает тогдашние мероприятия Советского государства по учету и распределению рабочей силы, анализирует многостороннюю деятельность Народного комиссариата труда. К сожалению, эта полезная информация ограничена концом двадцатых годов: в следующей главе автор обращается к балансу труда в условиях капиталистического хозяйства. Нынешнему же состоянию советской статистики труда в работе уделено всего несколько строк. Автор не дает читателю достаточно ясного представления о том, что же это такое — баланс трудовых ресурсов

и в чем именно состоят современные проблемы их использования.

На странице 97 Л. Е. Минц объясняет перемены в составе рабочей силы в послевоенный период, и в частности повышение удельного веса женщин, только механизацией трудоемких работ, ростом общего и технического образования. На самом же деле, как должно быть известно автору, эти изменения во многом определялись резким уменьшением трудоспособного мужского населения в результате войны.

Все эти недостатки снижают ценность работы, написанной на весьма актуальную и важную тему.

**В. К.**

★

**М. ПОСТУПАЛЬСКАЯ.** Вечно живой. «Детская литература». М. 1967. 191 стр.

Из «Рассказов об огне» (таков подзаголовок книги) юный читатель узнает о том, что принес огонь человеку, как человек приручил его начиная от первобытных времен до наших дней, как использовал его могучую силу.

«Если вы пишете по поводу изобретения... покажите его место в истории техники, а технику как веки в истории человечества». В своей книге «Вечно живой» М. Поступальская последовала этому совету Бориса Житкова. Автор восстанавливает тот сложный путь преобразований и усовершенствований, через который прошло использование человеком огня от костра до ТЭЦ («Истопник и повар»), от лучины до лампочки Ильича («Давящий свет»), от пращи до реактивного огнемета «катюша» («Огонь и оружие») и т. д. Драматический элемент вносят в повествование биографии Кулибина, Ирины, Уатта, Фултона и других изобретателей.

Ценные познавательные сведения М. Поступальская сумела подать в форме живой беседы с читателем, исполненной юмора и педагогического такта.

**Е. Городецкая.**

★

**А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ.** Воспоминания и впечатления. Составление сборника, предисловие и примечания Н. А. Трифонова. «Советская Россия». М. 1968. 374 стр.

Книга своеобразно продолжает ту линию изучения и популяризации литературного наследия А. В. Луначарского, которая начала была серией «Жизнь замечательных людей» — изданием его избранных биографических и автобиографических статей под общим заглавием «Силуэты». Особенность, отличающая «Воспоминания и впечатления», состоит прежде всего в том, что Н. А. Трифонов придал этому сборнику большую определенность, сделав его по преимуществу автобиографическим. При этом составитель очень удачно включил в книгу законченные автобиографические работы и извлечения из статей, посвященных другим темам, чтобы полнее представить воспоминания Луначарского о его современниках, рассказ о тех

событиях и людях, которых Луначарский знал сам, «а не из литературы». Получилась хорошая книга, и можно лишь пожелать, чтобы составитель в новом издании ее расширил (хотя бы в пределах, возможных для одностомника). Не сомневаемся, что Н. А. Трифонов, тщательный исследователь жизни и творчества А. В. Луначарского, сумеет сделать дополнения, которые лишь увеличат интерес читателей.

Комментарии в целом составлены со знанием дела и достаточно экономно. Лишь несколько примечаний желательнее было бы уточнить.

Очень неточно сказано, например, на странице 339, что Луначарский «признал свои «богостроительские» взгляды грубым заблуждением». Дело обстоит сложнее. Недаром в своей автобиографической заметке 1930 года он называет «Религию и социализм» в перечне своих главных сочинений.

Жаль, что в примечании, относящемся к Пролеткульту (стр. 363), не учтены публикации А. Ермакова, существенно уточняющие вопрос об отношении Ленина к художественной автономии этой организации.

Наконец обращает на себя внимание противоречивое текстологическое пояснение в конце предисловия составителя. Осуждая «некоторые издательства», которые «допустили произвольное редактирование и изменение авторского текста», Н. А. Трифонов сообщает, что «при подготовке настоящего издания текст был проверен по публикациям, появившимся при жизни автора. В отдельных материалах сделаны небольшие сокращения редакционного характера. Немногие слова, добавленные нами для исправления явных искажений и пропусков, заключены в ломаные скобки» (стр. 12). Чем же отличен от других издателей этот подход к редактированию текстов? Тем, что сокращения сделаны «небольшие»? Размер не определяет значительности. Что добавлены лишь «немногие слова»? Это опять же еще не предвещает соответствия этих слов мысли и способу выражения А. В. Луначарского.

Очевидно, вопросы текстологии в данном случае — когда речь идет о текстах Луначарского — совсем не просты и требуют особой осторожности.

Скажем в заключение, что, признавая спорность тех или иных определений, мы находим, что тексты подготовлены Н. А. Трифоновым вполне корректно, и еще раз повторим пожелание, чтобы издательство «Советская Россия» вернулось к этому сборнику, повторив его в расширенном варианте.

И. Сап.

★

**П. КОСЕНКО.** Павел Васильев. Повесть о жизни поэта. «Жазушы». Алма-Ата. 1967. 152 стр.

Первая биография русского поэта Павла Васильева издана в Казахстане, где он родился, где написал свои ранние стихи, от-

куда ушел в большую жизнь и большую литературу.

П. Косенко, как указано в аннотации, избрал жанр «художественной биографии». К чести автора, он пользуется приемом беллетризации очень умеренно, главным образом в первых главах, в которых говорится о детских годах П. Васильева. Большой интерес, на наш взгляд, представляют последующие главы, где П. Косенко, отойдя от семейных преданий, пишет о малоизвестном периоде жизни поэта: о его работе в журнале «Сибирские огни», о встречах с сибирскими литераторами В. Зазубриным, Н. Ановым, И. Гольдбергом, о поездке на золотые прииски.

Известность пришла к поэту в Москве, когда была закончена «Песня о гибели казачьего войска». Биограф рассказывает о трудной судьбе этой поэмы и других произведений, сразу же привлёкших внимание рапповской критики. Здесь, однако, П. Косенко изменяет чувство меры, и он слишком уж укрупняет фигуру Л. Авербаха, делая его ответственным за все ошибки РАППа. В равной мере неточными кажутся нам и характеристики двух других литераторов, с которыми поэт встретился в Москве: Н. Клюева и А. Архангельского. Но в целом московский период жизни П. Васильева показан удачно.

Путь поэзии П. Васильева к широкому читателю был тернист. Даже после гражданской реабилитации поэта нашлись критики, для которых он по-прежнему оставался вне советской литературы. Поэтому резкость, с которой П. Косенко вступает в спор с содержащей подобные высказывания статьей А. Коваленкова «Письмо старому другу», представляется вполне оправданной. К сожалению, не столь убедительны его возражения другому критику — А. Макарову. Вообще же достоинства книги П. Косенко определяются, как нам кажется, не отдельными полемическими пассажами, а всем ее содержанием, воссоздающим сложный, неустроенный внутренний мир поэта, — содержанием, приближающим П. Васильева к современному читателю. Этой же цели — сделать поэзию П. Васильева близкой новому поколению читателей — служат и многочисленные разборы его стихотворений и поэм, органично входящие в биографическую ткань книги.

Р. Помирный.

Ленинград.

★

**С. ВЕЛИКОВСКИЙ.** ...К горизонту всех людей. Путь Поля Элюара. «Художественная литература». М. 1968. 232 стр.

Слова Элюара «От горизонта одиночки к горизонту всех людей» давно стали крылатой фразой, — С. Великовский взял для заголовка своей книги лишь вторую часть этой формулы, поставив перед ней уточнение. Уже в этом уточнении — полемика с однозначными представлениями о путях поэзии. Поль Элюар и в годы молодости не был таким уж одиночкой: в стихах, которые он писал в

бытность солдатом первой мировой войны, ясно слышатся мотивы братства, человеческой солидарности,—война отвергается во имя счастья людей

Дальнейшая судьба поэта складывалась не просто—С. Великовский стремится ничего не выпрямлять и не подгонять под схему. Да, Элюар провел немало лет своей творческой жизни в среде экспериментаторов формы, путаников, скандалистов,—примыкал сначала к дадаизму, потом к сюрреализму. Впоследствии он сам резко критиковал этот период своей деятельности. Однако исследователь, говоря об исканиях и блужданиях поэта, не имеет права отделяться отпугивающими ярлыками: он должен попытаться объяснить. «Разношерстная дадаистская компания, собравшаяся в Париж со всех концов Европы и даже Америки, не была—как позже ее не раз изображали в пылу слишком раздраженных споров—ни злокозненной агентурой империализма в искусстве, ни авангардом первооткрывателей. Скорей она составила очередной призыв блудных—и нередко заблудших—сыновете буржуазии... Первая мировая война, сорвав с общества, где они жили, последние благообразные маски и с очевидностью обнаружив его разрушительную природу, довела их и без того неистовый микроматей до предела, до инфантильного каннибальства «дада».

Место Элюара в этой компании было особым. Там, где простор лилпутам, творцы задыхаются, замечает С. Великовский,—это верно и по отношению к следующей, сюрреалистской стадии работы Элюара. Его увлекали поиски новых средств выразительности—но он не принимал обесмысливания поэзии. В дерзких словосочетаниях типа «лохмотья стен, как вышедший из моды танец» были попытки запечатлеть расколотость, ломку устоев окружающего мира. Исконно декадентские мотивы умирания и распада сплетались у Элюара с очень органичными для него образами света, листвы, родника. Любовь оказывалась спасительной нитью, выводящей из лабиринта безнадежности.

С. Великовский вдумчиво, бережно—как бы не повредить тонкую словесную ткань—прослеживает становление гражданской лирики Элюара, начиная с «Победы Герники». Творческие поиски конца тридцатых годов подготовили стремительный взлет поэта в дни Сопrotивления. Одна из больших удач книги—анализ знаменитой «Свободы». Много раз воспевали божественную Свободу поэты прошлого столетия. Для Элюара она—не божество, а нечто земное, необходимое человеку и кровно ему близкое. Ее образ складывается из простейших, казалось бы хаотичных, впечатлений бытия. «Неупорядоченность в частности, получает полновесную смысловую нагрузку, из будто случайно оказавшихся под рукой кирпичиков складывается здание, являющее собой высший поэтический порядок».

Убедительным итогом жизни поэта-коммуниста становятся слова, написанные им незадолго до смерти: «Поэт следует собствен-

ной идее, но эта идея приводит его к необходимости вписать себя в кривую человеческого прогресса. И мало-помалу мир входит в него, мир поет через него».

Книга, густо насыщенная материалом, фактами литературной и общественной жизни, поэтическими текстами в оригинале и переводах, развернутыми конкретными разборами, читается с живейшим интересом: перед нами работа критика, который не только отлично знает, но и тонко чувствует, любит поэзию.

Т. Мотылева.

★

А. КУГЕЛЬ. Театральные портреты. «Искусство». Л. 1967. 384 стр.

Скучно бывает читать иные театральные рецензии: ума палата и ни капельки волнения. Эмоция порой кажется Золушкой театральной критики. Поэтому с таким удовольствием заново открываешь Кугеля—умного Кугеля, страстного Кугеля, язвительного Кугеля, который говорит об актере так, словно слагает оду в его честь.

«Мы все вышли из Кугеля»,—признался один из ведущих советских театроведов. Он прав. Но мы не только вышли из Кугеля. Мы и ушли от него, далеко ушли, но не всегда вперед—подчас и в сторону.

Он подписывался псевдонимом Ното pouch, но во многом был архаичен, как старый миф. Проповедовал в театре «анархическую идилию». Не понимал новую театральную структуру. Категорически не принимал Художественный театр, даже в годы его кульминации. Отрицал—целиком и полностью!—примат режиссуры в театре.

Консервативность Кугеля парадоксальна и неприемлема сейчас. Но человек он неповторимый и яркий, и в этой яркости—главное достоинство недавно изданной книги театральные портреты Кугеля.

Книга увлекает уже вступительным словом. Давно о театральных критиках не писали так взволнованно, и глубоко, и—что немаловажно—так изяшно. Именно изяшно—и по стилю, и по композиционной стройности, и по ненавязчивости точек зрения. Статья хорошо рекомендует не только Кугеля, но и ее автора, ленинградского театроведа М. Янковского, которому мы во многом обязаны выходом книги: он подготовил к печати и тексты публикаций, и комментарии.

Существует распространенное заблуждение, что трагический Мочалов был в русском театре всего-навсего романтическим исключением, что русскому театру свойственна в основном шепкинская традиция реализма. Но прочтешь эссе Кугеля об этом Илье Муромце русской сцены—и подумаешь: до чего же хрестоматийно наше представление об истории русского театра! И как она величественна в своей необъятности!

Этому же расширению нашего представления о русском театре служат и превосходные портреты Ермоловой, Варламова, Ко-



миссаржевской, Качалова, Орленева, Дальского, которые дает А. Кугель в своей книге.

Хорошо, что в сборник вошли миниатюры о Сальвини, Лузе, Бернар, Режан и Жюдик — выдающихся мастерах европейской сцены. Кугель смотрит на них глазами очевидца, и запечатленное им чудо сохранилось.

Кугель тенденциозен и активен в своих симпатиях и антипатиях. Он любит театр самозабвенно, любит его страстью художника, превратившего театральную критику в поэзию. Этому у Кугеля нужно поучиться.

Изданию книги предшествовал нелегкий труд, но он увенчался несомненным успехом: Кугель, как оказалось, и сегодня читаем и почитаем. Очередь за более полной публикацией его работ, и прежде всего тех, где *Notum novus* приводит небезытересные параллели между Станиславским и Мейерхольдом (в журнале «Театр и искусство»), где он драматически пишет о забвении актерской крупности и масштабности (книга воспоминаний, 1924), о сложности переживаемого театром периода («Листья с дерева», 1926).

Он нужен сегодня не только театральной критике. Нужен театру в целом. Потому что театр — прежде всего поиск, противоречия, споры. И Кугель не беспорен. По нему мы судим не столько о результате, сколько о самом театральном процессе. В этом — современность Александра Кугеля, одного из интереснейших деятелей русского театра.

Лесь Танюк.

★

**В. Б. МИРИМАНОВ.** Африка. Искусство. «Искусство». М. 1967. 144 стр.

«Открытие» африканского искусства произошло в 1919 году в результате нашумевшей выставки в Париже. Это событие получило огромный резонанс, сыграло важную роль в художественной жизни мира.

Периоду недооценки народного искусства вообще, а африканского в частности, когда профессиональное творчество неправомочно противопоставлялось непрофессиональному, пришел конец. Круг людей, плененных магической силой, тончайшей изощренностью и мастерством африканских резчиков по дереву, создателей шедевров Ифэ и Бенина,

постоянно увеличивается, и ныне удивительный мир африканского искусства стал частью мира любого любителя прекрасного.

Едва ли не первой в мире монографией по искусству народов тропической Африки явилась книга русского искусствоведа В. Маркова (В. М. Матвея) «Искусство негров», вышедшая в Петрограде в 1919 году. И хотя число появившихся за последнее время книг, брошюр и статей на эту тему еще сравнительно невелико, можно считать, что начатые некогда исследования успешно продолжают.

Среди искусствоведов-африканистов, много и плодотворно работающих в этой области, — автор рецензируемой книги. Последняя работа В. Мириманова вызывает особый интерес: это обширная по охвату подборка наиболее известных произведений искусства, найденных на территории Африки, большая часть которых впервые воспроизводится в наших изданиях. Здесь представлены петроглифы Тассилин-Аджера, Феццана, доисторическая живопись Северной и Южной Африки, терракоты Нок и сао, барельефы и статуэтки из бронзы, деревянные скульптуры, головы, маски из основных регионов континента, вошедших в историю мирового искусства. Иллюстрации сопровождают монографический очерк, насыщенный фактами и вместе с тем написанный живо, увлекательно.

Читатель книги найдет в ней материал по многим сложным, не решенным наукой проблемам изучения истории африканского искусства, его датировки, понимания, толкования. О многом автор вынужден писать со знаком вопроса, ему часто приходится употреблять наречие «по-видимому»: воссоздание подлинной истории искусства народов Африки остается пока делом будущего, современные ученые стоят лишь на пороге открытий, в результате которых заполнятся многочисленные пробелы. Но хотя на карте африканского искусства еще много «белых пятен», автор отверг соблазн ограничиться пересказом известного. Эта книга — не путеводитель, а скорее введение в науку об африканском искусстве. В этом ее ценность и привлекательность для читателя — даже того, кто впервые откроет для себя новый причудливый и неповторимый мир, созданный мастерами Африки.

В. Война.



---

---

## ОТ РЕДАКЦИИ

Согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР, рассмотревших предложение Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров СССР, Государственные премии 1968 года в области литературы присуждены:

**Чингизу Айтматову** за повесть «Прощай, Гульсары!» и **Сергею Павловичу Залыгину** за роман «Соленая Падь».

Впервые увидевшие свет на страницах «Нового мира», эти произведения были выдвинуты Московским отделением Союза писателей РСФСР и редколлегией нашего журнала на соискание высокой награды. Вместе с читателями редакция испытывает чувство удовлетворения и радости в связи с новым достойным пополнением отряда лауреатов Государственных премий.

Сердечно поздравляя Чингиза Айтматова и Сергея Павловича Залыгина с присуждением им Государственной премии СССР, мы надеемся вскоре познакомить читателей с новыми произведениями этих талантливых мастеров советской литературы.

---

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

**Л. Брежнев** О ходе выполнения решений XXIII съезда и Пленумов ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 30 октября 1968 г. Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 31 октября 1968 г. 64 стр. Цена 6 к.

**Б. Горбачев.** Социализм общие закономерности и многообразие форм развития 96 стр. Цена 14 к.

**Краткая история советского рабочего класса.** 1917—1967. 432 стр. Цена 97 к.

**А. Луначарский.** Рассказы о Ленине. Издание третье. 48 стр. Цена 6 к.

**Марксизм-ленинизм — единие интернациональное учение.** Выпуск IV. 448 стр. Цена 87 к.

**А. Яковлев.** Цель жизни (Записки авиаконструктора). Издание второе, дополненное. 62 стр. Цена 1 р. 78 к.

## «МЫСЛЬ»

**В. Зайцев.** Рабочий класс Англии в борьбе против наступления монополий (1956—1966 гг.). 216 стр. Цена 70 к.

**Д. Кайдалов.** Закон перемены гряда и всестороннее развитие человека 319 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Д. Киннадзе.** Потребности Поведение. Воспитание. 148 стр. Цена 48 к.

**П. Малышев.** Структура и эффективность фонда накопления в СССР. 348 стр. Цена 1 р. 19 к.

**Г. Никольников.** Выдающаяся победа ленинской стратегии и тактики (Врестский мир: от заключения до разрыва). 374 стр. Цена 1 р. 36 к.

**Т. Рахимов.** Национализм и шовинизм — основа политики группы Мао Цзэ-дуна. 120 стр. Цена 17 к.

## «ЭКОНОМИКА»

**Н. Варзин.** Производительность труда в странах социализма. 230 стр. Цена 73 к.

**Ю. Васильева.** Производственная эстетика и эффективность труда 134 стр. Цена 42 к.

**Проблемы научной организации управления социалистической промышленностью.** 647 стр. Цена 2 р. 41 к.

**Г. Русаков, А. Есин, М. Ратгауз.** Полный хозрасчет в совхозах и условия его осуществления. 95 стр. Цена 28 к.

**Совершенствование планирования и функционирования хозяйства в ПНР.** Перевод с польского. 224 стр. Цена 73 к.

**Ценообразование на мировом социалистическом рынке.** 167 стр. Цена 50 к.

## «НАУКА»

**Г. Алексеева.** Октябрьская революция и историческая наука в России (1917—1923 гг.). 300 стр. Цена 98 к.

**В. Комаров.** Увлекательная астрономия. 432 стр. Цена 89 к.

**Культура и быт народов Северного Кавказа** (1917—1967 гг.). 345 стр. Цена 1 р. 65 к.

**Памятники византийской литературы IV—IX веков.** Переводы 335 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Д. Проэктор.** Агрессия и катастрофа. Высшее военное руководство фашистской Германии во второй мировой войне. 1939—1945. 636 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Рабочий класс в борьбе против империализма, за революционное обновление мира.** Материалы международной научной конференции «50-летие Октября и международный рабочий класс» (Москва, 1967). 312 стр. Цена 1 р. 22 к.

**И. Светлов.** Советский скульптурный портрет. 91 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Я. Темкин.** Ленин и международная социал-демократия. 1914—1917. 623 стр. Цена 2 р. 56 к.

**И. Франк.** Физика ядра и атомная энергия («Научно-популярная серия»). 77 стр. Цена 25 к.

**А. Юшкевич.** История математики в России до 1917 года 591 стр. Цена 3 р. 28 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**В. Астафьев.** Синие сумерки. Рассказы. 415 стр. Цена 80 к.

**М. Бажан.** Люди, книги, даты. Статьи о литературе. Перевод с украинского. 279 стр. Цена 77 к.

**Ю. Гордиенко.** Уходящему далеко. Книга стихов. 144 стр. Цена 52 к.

**П. Кадыров.** Черные глаза Роман. Перевод с узбекского Л. Лебедевой 294 стр. Цена 59 к.

**В. Ковалевский.** Тетради из полевой сумки (Военный дневник). 608 стр. Цена 1 р. 10 к.

**М. Лоскутов.** Немного в сторону. Рассказы и очерки 256 стр. Цена 34 к.

**М. Лыньков.** Незабываемые дни. Роман. Книга 2. Перевод с белорусского. 687 стр. Цена 1 р. 24 к.

**И. Муратов.** В сорочке рожденный. Роман. Перевод с украинского 399 стр. Цена 69 к.

**А. Расих.** Когда расходятся пути Роман. Перевод с татарского 375 стр. Цена 63 к.

**Слово о Погодине.** Воспоминания. 279 стр. Цена 61 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**К. Ванин.** Хутор. Повести и рассказы. Вступительная статья М. Слонимского. 375 стр. Цена 58 к.

**П. Мериме.** Хроника царствования Карла IX. — Нобеллы Перевод с французского. Вступительная статья Ю. Виппера. «Библиотека всемирной литературы». 734 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Л. Сейфуллина.** Собрание сочинений. В 4-х томах Вступительное слово И. Андроникова. Предисловие Е. Стариковой Том I. Повести и рассказы 343 стр. Цена 85 к.

**Д. Чивер.** Семейная хроника Уопшотов. Роман Перевод с английского. 366 стр. Цена 88 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- М. Анчаров.** Сода — солнце. Фантастическая трилогия. 334 стр. Цена 38 к.  
**Э. Багрицкий.** Избранная лирика. 51 стр. Цена 12 к.  
**А. Безыменский.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 12 к.  
**Е. Войскунский и И. Лукодянов.** Очень далекий Тартесс. Фантастический роман. 272 стр. Цена 29 к.  
**Е. Долматовский.** Избранная лирика. Предисловие К. Симонова. 32 стр. Цена 12 к.  
**И. Ирошнинова.** Здравствуй, пани Катерина. Повесть. 208 стр. Цена 30 к.  
**Муза в красной косынке.** Комсомольская поэзия. 1918—1950. Предисловие С Наровчатова. 368 стр. Цена 1 р. 35 к.  
**М. Светлов.** Избранная лирика. Предисловие Я. Смелякова. 31 стр. Цена 10 к.  
**С. Щипачев.** Звездочет. Поэма. 32 стр. Цена 9 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- В. Конашевич.** О себе и своем деле. Воспоминания. Статьи. Письма. 496 стр. Цена 2 р. 26 к.  
**Э. Корпачев.** Вечный день июня. Рассказы. 174 стр. Цена 38 к.  
**И. Крамов.** Утренний ветер. Повесть о Л. Рейснер. 193 стр. Цена 51 к.  
**М. Нармаев.** Наран — золотое сердце. Повесть. Перевод с калмыцкого. 128 стр. Цена 33 к.  
**Пушкинский вечер в школе.** Инсценировки. Музыкальные произведения. 190 стр. Цена 33 к.  
**Л. Родин.** Путешествие в Пальмиру. 127 стр. Цена 50 к.  
**А. Фадеев.** Повесть нашей юности. Из писем и воспоминаний. 365 стр. Цена 1 р. 10 к.

## «ПРОГРЕСС»

- Х. Абреу.** Это называлось НБ. Роман. Перевод с испанского. 228 стр. Цена 60 к.  
**В. Бредель.** Новая глава. Роман. Перевод с немецкого. 380 стр. Цена 1 р. 13 к.  
**П. Дювиньо и М. Танг.** Биосфера и место в ней человека. Перевод с французского. 254 стр. Цена 1 р. 79 к.  
**Коммунистическая партия Германии.** 1945—1965. Краткий исторический очерк, документы, хроника событий. 303 стр. Цена 1 р. 28 к.  
**Против идеологии современного антикоммунизма.** Перевод с немецкого. 415 стр. Цена 1 р. 33 к.

## «ИСКУССТВО»

- Б. Бабочкин.** В театре и кино. 388 стр. Цена 1 р. 90 к.  
**И. Вайсфельд.** Завтра и сегодня. О некоторых тенденциях современного фильма и о том, чему нас учит опыт многонационального советского киноискусства. 216 стр. Цена 1 р. 10 к.  
**М. Мерцалова.** Дети в мировой живописи. 144 стр. Цена 4 р.  
**Михаил Александрович Врубель (1856—1910)** Альбом репродукций. Составитель и автор вступительной статьи А. Федоров-Давыдов. 46 стр. Цена 6 р. 76 к.  
**Б. Петкер.** Это мой мир. Воспоминания. 352 стр. Цена 1 р. 75 к.  
**М. Рехельс.** О режиссерской этике. Размышления. Вопросы. Воспоминания. 95 стр. Цена 24 к.  
**А. Шварц.** В лаборатории чтеца. Предисловие И. Андроникова. 167 стр. Цена 40 к.  
**А. Эленшлегер.** Пьесы. Перевод с датского. 384 стр. Цена 1 р. 14 к.

---

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорosh, А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

---

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.  
 Почтовый адрес Москва. К-6. пл. Пушкина, д. 5.

---

Сдано в набор 3/Х 1968 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 24/ХII 1968 г.  
 А 11382 Формат бумаги 70×108/16. 27,59 уч.-изд. л. 9 бум. л. (24,66 усл. печ. л.).  
 Заказ 3166. Тираж 118.800.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 70 коп.

70636